

Д. МЕДВЕДЕВ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ



Командир отряда Герой Советского Союза Д. Н. Медведев в тылу врага

СВЕРДЛОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Д. МЕДВЕДЕВ
Герой Советского Союза

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1952

*Печатается по тексту
издания Военного издательства
Военного министерства Союза ССР*

1951 г.

ОТ АВТОРА

В 1948 году Государственное издательство детской литературы выпустило мою книгу «Это было под Ровно» о делах партизанского отряда, которым мне довелось командовать в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины. Книга была рассчитана на юношество, но, судя по отзывам,— а их было несколько тысяч,— ее читали и взрослые.

Большинство отмечало, что книга «Это было под Ровно» написана очень сжато, что многие волнующие события боевой жизни отряда даны в ней слишком кратко и бегло. Читатели выражали пожелания, чтобы я расширил книгу, подробнее, обстоятельнее рассказал о жизни и борьбе ее героев, осветил также замечательные дела ровенского большевистского подполья. Эти пожелания и побудили меня вновь взяться за перо.

В этой книге, как и в прежней, нет вымысла. Мне не пришлось к нему прибегать, ибо жизнь, прожитая отрядом, так богата и разнообразна, что она ярче фантазии. В то же время эта жизнь не представляет собой ничего исключительного, из ряда вон выходящего. Беззаветная любовь к Родине, преданность великой партии Ленина — Сталина, рождающие героическое,— это жизненное, типическое явление нашей действительности.

Многое из того, что здесь описано, я видел своими глазами. В остальном помогли товарищи — бывшие командиры и бойцы партизанского отряда и участники ровенского большевистского подполья. От них я получил больше ста писем-воспоминаний, которые и использовал в книге. Особенно хочется мне поблагодарить за помощь

руководителей ровенской большевистской подпольной организации Т. Ф. Новака, В. Ф. Соловьева, И. Т. Кутковца и других.

Каждый год все больше отдаляет нас от событий, здесь описанных. Но есть дела, которые не меркнут, есть слава, которая не увядает. Таковы, в частности, дела и такова слава патриотов нашего отряда, отдавших жизнь за счастье Родины. Их светлой памяти и посвящается эта книга.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ЛЕСАХ ПОД РОВНО



Глава первая

Есть в жизни у каждого из нас минуты наивысшего подъема всех сил, незабываемые минуты вдохновения. В моей жизни, жизни рядового коммуниста, эти минуты неизменно связаны с получением заданий партии. Каждый раз, получая очередное задание, — а из этих «очередных заданий» и состоит вся биография людей моего поколения, — я испытывал это непередаваемое состояние внутренней мобилизованности. Мысль работает в одном направлении; планы, развиваясь, вырастают в мечты, мечты, в свою очередь, обретают зримую реальность планов, с поразительной ясностью видишь свой завтрашний день, трудный и радостный, и хочется приступать к делу немедленно, каждая минута промедления кажется невыносимой.

Именно такое состояние испытывал я апрельским вечером сорок второго года, идя по молчаливым, рано обезлюдевшим затемненным улицам Москвы.

Незадолго перед тем я вернулся из Брянских лесов, где в течение полугода командовал партизанским отрядом. И вот теперь мне поручено сформировать новый отряд — группу людей, которая выбросится на парашютах в глубоком тылу противника, в лесах Западной Украины, осядет там, сплотит вокруг себя местное население и поведет активную борьбу против немецких оккупантов.

...Сурова и необычно тиха вечерняя, затемненная Москва, но такою она еще дороже. На улице Горького, у Центрального телеграфа, меня останавливают красноармейцы с автоматами — комендантский патруль. Мимо проносятся

грузовики с бойцами. «Идет война народная, священная война...» — долетает до слуха их песня.

Дорога кажется нескончаемо долгой.

Впереди — ночь, томительная, бесконечная... Теперь уже не уляжется беспокойство, не перестанет томить бездействие, пока не окунешься с головой в новую, как всегда захватывающую, волнующую своим высоким назначением работу, порученную партией.

Утром следующего дня в номере гостиницы «Москва», где я тогда жил, появился Саша Творогов. С ним мы знакомы по Брянским лесам. Саша еще очень молод, ему немногим больше двадцати, а выглядит он и того моложе. Он в новом летнем обмундировании, которое ему не по росту и топорщится. Стриженный под машинку, с пухлым юным лицом, успевшим уже загореть, Саша похож на школьника или, вернее, на юношу — воспитанника воинской части. Кто бы сказал, что у этого юноши за плечами опыт бывалого партизана.

В начале войны воинская часть, в которой сражался Творогов, попала в окружение. Молодой боец не растерялся. Вместе с товарищами он направился из лесов Белоруссии к линии фронта, уничтожая по дороге вражеские автомашины. Осенью 1941 года группа оказалась в Брянских лесах, где и присоединилась к моему отряду. Так произошло наше знакомство.

В первой же операции Саша зарекомендовал себя отважным воином; оказавшись в сложной обстановке, он проявил выдержку, находчивость и незаурядные способности разведчика. Скоро он окончательно расположил всех нас к себе своей скромностью и старанием; Саша стал начальником разведки отряда. На этом посту он работал очень успешно.

Должность начальника разведки предназначалась ему и в новом отряде.

Желание казаться старше выработало у Саши привычку морщить лоб и какую-то особую сдержанность. Явившись ко мне, он деловито справляется, когда и куда нам предстоит лететь. Что его участие в отряде — вопрос решенный,— это для Саши вне сомнений.

— А ребят возьмете? — спрашивает он, имея в виду наших брянских партизан, и тут же советует: — Хорошо бы Дарбека Абдраимова, и еще найдется человек двадцать. Списочек я вам составлю.

Вскоре приходит майор Пашун — начальник штаба отряда, за ним майор Стехов, назначенный заместителем командира по политической части. Он подтянут, тщательно выбрит. В армии Стехов недавно, но чувствует себя уже кадровым военным. Он охвачен тем же нетерпением, что и мы с Твороговым.

— Местом базирования отряда намечены леса в районе города Ровно,— объясняю я, отвечая на вопрос Творогова.— Выбор не случайный. В Ровно немцы устроили «столицу» оккупированной ими территории Украины. В этой «столице» находится со своим рейхскомиссариатом наместник Гитлера имперский комиссар Эрих Кох, здесь сходятся все нити управления гитлеровцев на украинских землях.

— Почему именно здесь? — спрашивает Творогов.— Почему не в Киеве?

— Они, видимо, полагают, что в Ровно, за полторы тысячи километров от фронта, им будет спокойнее. Ведь Западная Украина, это, если можно так выразиться, младшая сестра в нашей большой советской семье. Не год, не два, а много лет она находилась на чужбине. Здесь долгое время хозяйничали австрийцы, а после первой мировой войны — польские паны. Сохранилось кулачество, бывшие помещики с их прихвостнями; сохранились осколки петлюровцев, буржуазных националистов и другие матерые враги нашей Родины. Эти люди, верные своей подлой натуре предателей, служат теперь гитлеровцам. Поэтому-то гаулейтер Кох предпочитает сидеть в Ровно, а не в Киеве. Но и здесь ему не должно быть покоя!..

Все согласились, что следует включить в отряд несколько уроженцев Западной Украины, хорошо знающих ее. Найти и подобрать этих товарищей было поручено Творогову.

...Наш отряд—пока еще московский — рос не по дням, а по часам. Люди шли и шли,— мы со Стеховым не успевали принимать всех желающих. Каждый из новичков просил к тому же, чтобы приняли в отряд одного-двух его знакомых. Иногда эти знакомые звонили и являлись сами.

Так позвонил мне однажды молодой человек, назвавшийся доктором Цесарским. Он явился сразу же после телефонного звонка и заявил, что он просит зачислить его в отряд.

— Вы очень молоды для врача, — сказал я, выслушав его просьбу.

— Я окончил медицинский институт. Будучи студентом, практиковался в институте имени Склифасовского.

— Вы хирург?

— Да. Знаю полевую хирургию.

— Это хорошо, что вы хирург, но нам нужен врач по всем болезням, да такой, чтобы в него бойцы верили...

— Понимаю... Хвалить себя трудно. Спросите обо мне товарищей из отряда, они меня знают.

— Кто именно?

— Шмуйловский, Селескериди, Базанов — многие!.. От них я и узнал, что вы формируете отряд.

Я внимательно рассматривал своего собеседника. Высокий, стройный юноша, с темными вьющимися волосами, правильные черты лица... Держался он просто, с достоинством, и только глаза выдавали глубокое внутреннее волнение, с каким он ждал моего ответа. Юноша мне нравился. Я чувствовал, как искренне стремится он на опасный участок борьбы с врагами.

Я готов был уже согласиться, но меня остановило то, что молодой врач стоял передо мной в военной форме — шинели с петлицами и пилотке.

— Вы служите в армии?

— Да. В первые дни войны я подал заявление в Московский комитет комсомола. Просил направить на фронт, а меня взяли да и заперли во внутренние войска.

— Но теперь вас оттуда не отпустят!

— По вашему ходатайству...— юноша замялся.— Я не хочу сидеть в тылу... Очень прошу вас добиться...

Через полчаса я был в кабинете командующего внутренними войсками, генерал-полковника.

— Врач Цесарский из вашей дивизии просится в отряд полковника Медведева,— сказал кому-то по телефону генерал, пробегая глазами рапорт Цесарского. — Как вы на это смотрите?

Выслушав ответ, он решил:

— Здесь можно сделать исключение.

И написал на рапорте: «Откомандировать Цесарского в распоряжение т. Медведева».

...Подготовка отряда заняла около месяца. В окрестностях Москвы, в лесу, был разбит лагерь, и, живя там, мы ежедневно тренировались в стрельбе, изучали тактику.

Вблизи лагеря находилось озеро, и, воспользовавшись этим, мы стали практиковаться в постройке плотов, переправлялись на них с берега на берег.

В свободные часы разучивали песни. Не просто пели, а именно разучивали. Большими энтузиастами и мастерами этого дела оказались Цесарский и его друг Гриша Шмуйловский. Они, как никто, любили песню, понимали в ней толк, а главное — отдавали себе отчет в том, что она должна сослужить нам хорошую службу в нашей партизанской жизни. Они так и говорили: «Нужно взять с собой туда побольше песен!»

Цесарский появлялся в лагере только по вечерам. Целыми днями он носился по городу, запасаясь в больших количествах перевязочным материалом, медикаментами — всем, что могло понадобиться с первого же дня пребывания во вражеском тылу.

Впоследствии я узнал еще об одном занятии, которому наш доктор посвящал это время. Он совершенствовался в хирургии, читал медицинские книги, консультировался у профессоров своего мединститута. Шутка ли, ему предстояло быть врачом по всем болезням!

Как командир отряда, я пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с людьми о предстоящей нам жизни. Полугодовой опыт командования партизанским отрядом в Брянских лесах позволял предвидеть условия, в которых придется работать, трудности, которые нас ожидают. Я рассказывал о них товарищам, ничего не утаивая, предупреждая о лишениях, о постоянном риске, с которым связана жизнь партизана. И видел по глазам молча слушавших людей, что опасности и лишения ни в ком не вызывают страха.

Перелететь сразу в намеченное место, в Сарненские леса Ровенской области, оказалось делом весьма трудным. Сарненские леса были слишком далеко. Лететь над оккупированной территорией можно только ночью, а весной ночи короткие: самолет не успеет затемно сделать рейс и вернуться обратно. К тому же появление советских самолетов могло привлечь внимание немцев к Сарненским лесам, и это сразу же подвергало отряд большой опасности. Мы решили поэтому лететь ближе — не в Сарненские, а в Мозырские леса, оттуда к месту назначения добираться пешком. Наметили для приземления район села Мухоеды, расположенного на границе Ровенской области.

В конце мая вылетела первая группа из четырнадцати человек. Во главе группы полетел Саша Творогов. В списках бойцов отряда он стоял первым.

— Что бы ни случилось, мы встретимся у села Мухоеды,— предупредил я его перед вылетом.

Через два дня пришла радиограмма, в которой Творогов сообщал, что вместо Мозырских лесов группа оказалась южнее Житомира. Это почти за триста километров! Мало того, местность оказалась безлесной, укрыться негде.

Еще через день Саша сообщил о своем решении: не взирая ни на какие трудности, пробираться в Мозырские леса, к назначенному месту сбора. Во время передачи этого сообщения связь неожиданно прервалась.

Мы ждали день, два, три — связи все нет и нет. Что могло случиться?

Решили отправить вторую группу. Виктору Васильевичу Кочеткову, возглавившему ее, было поручено во что бы то ни стало разыскать Творогова и обеспечить прием всего отряда. Но и на этот раз нас подстерегала неудача: Кочетков и его товарищи оказались тоже не у села Мухоеды, а севернее на двести километров.

Спустя некоторое время, однако, Кочетков радировал со станции Толстый Лес. Это на железной дороге Чернигов — Овруч, в тридцати километрах от Мухоед. Кочетков сообщал, что там он остановился и организует сигналы для приема новой группы парашютистов.

Настроение поднялось. Третья группа во главе с начальником штаба отряда Пашуном вылетела к Толстому Лесу. В составе этой группы не было радиста — их у нас нехватало — но зато в звене были два партизана, хорошо знавшие и Мозырские леса и даже самое станцию Толстый Лес.

Мы сообщили Кочеткову, чтобы он встречал самолет кострами.

— Костры зажег,— ответил Кочетков.

Всю ночь я ходил по комнате из угла в угол, не в силах ни спать, ни даже присесть, поминутно смотрел на часы, и, вероятно, именно поэтому время тянулось особенно медленно. С наступлением рассвета ожидание стало еще более мучительным. Чем светлее становилось утро, тем тревожнее делалось на душе. Когда, наконец, с аэродрома сообщили желанное «прилетели», я почувствовал, насколько выбился из сил за одну эту ночь.

— Все в порядке,— доложил пилот.— Парашютисты сброшены на сигналы у станции Толстый Лес.

Но в то же утро Кочетков радировал, что никакого самолета не было, хотя костры горели всю ночь. Что за наваждение? Значит, опять не туда сбросили людей! Радиста у Пашуна нет, стало быть, и вестей от него ждать нечего.

Творогов пропал. Пашун неизвестно где...

«Вылетаю сам»,— тут же решил я и тут же, обратившись к командованию, получил категорический отказ. Оставалось ждать.

С очередным звеном четвертым полетел Сергей Трофимович Стехов. Как ни печально, но и его группу тоже выбросили не на сигналы Кочеткова.

«Не было никакого самолета»,— сообщил Кочетков. «Третий день,— радировал Стехов,— не могу определить место, где нахожусь. Посылаю людей в разведку — не возвращаются».

Волнение достигло предела. Я категорически потребовал, чтобы мне разрешили отправиться самому. Наконец, последовало согласие.

Со мной должны были лететь Александр Александрович Лукин, намеченный после исчезновения Творогова начальником разведки отряда, радистка Лида Шерстнева и несколько бойцов-испанцев.

Они были из числа тех испанских товарищей, которые в свое время сражались за свободу родины и потом бежали от фашистского террора Франко. Когда началась Великая Отечественная война, испанские антифашисты, обретшие у нас свою вторую родину, стали просить Советское правительство об отправке их на фронт. Они заявили, что, участвуя в войне Советского Союза против гитлеровской Германии, они тем самым ускорят освобождение своей родной Испании. Пятнадцать испанцев были зачислены в наш отряд.

Вечером 20 июня я со своей группой был на аэродроме. Провожали нас товарищи по первому отряду.

Прощание было недолгим. Провожающие знали, что мы летим на запад, что писем от нас скоро не будет, но ни о чем не расспрашивали, лишь желали счастливого пути, счастливой звезды, говорили те привычные скупые, но полные значения напутственные слова, что надолго западают в сердце. В назначенное время самолет был готов. До свиданья, Москва!

Как всегда в первые минуты пути, мы еще всеми мыслями там, в городе, который только что покинули, с теми, кто еще четверть часа назад пожимал нам на прощанье руки. Но вот эти мысли постепенно отходят, появляются новые, и они устремлены уже не назад, не в прошлое, а в ту новую неизвестную и волнующую жизнь, которую мы начнем с наступлением утра. В самолете возникает оживленный разговор, кто-то начинает песню: русская сменяется испанской, испанская — украинской, и так всю дорогу.

Пролетая над линией фронта — а она проходила не так далеко — несколько западнее Тулы,— самолет оказался в слепящих полосах прожекторных лучей. Вокруг нас рвутся снаряды немецких зениток. Но самолет счастливо минует опасную зону. Прошел еще час, и последовала команда — приготовиться к прыжку.

Я глянул в окно и отчетливо увидел внизу огни костров. Самолет, делая круг, пошел на снижение. Мы выстраиваемся в затылок у открытой бортовой двери. Там, за дверью,— ночь, пустота. Трудно справиться с волнением.

— Пошел!

Прыгаю первым.

Нас сбросили высоко — метрах в девятистах от земли. Небо ясное, над головой ярко светит луна, внизу, на земле, видны костры, но они удаляются — ветер относит нас в сторону. Кругом парашютисты — вверху, справа, слева. Вот один пролетел мимо меня, обгоняя. Успеваю подумать: парашют раскрылся не полностью, может разбиться человек.

Внизу — лес. По правилам приготовился: взялся крест-накрест за лямки. Но в тот же миг рвануло воздушной волной, отнесло в сторону и, наконец, стукнуло о землю.

От опушки леса меня отнесло метров на сорок.

Заранее было условлено, что я зажгу костер и на огонь соберутся приземлившиеся парашютисты. Но я так ушибся при падении, что не могу встать на ноги и набрать хвороста для костра. Тогда я подтягиваю к себе парашют и зажигаю его, а сам, держа наготове автомат, отползаю в кусты. Как знать, кто сейчас придет на этот костер!

Слышу чьи-то осторожные шаги. Спрашиваю:

— Пароль?

— Москва!

— Медведь,— отвечаю и — громче: — Брось свой парашют на огонь, иди ко мне.

— Есть!

Подходит Лукин, за ним — Лида Шерстнева, потом один за другим появляются остальные.

Километрах в трех-четырех лают собаки,— лают беспрерывно, не унимаясь, будто кто-то все время их дразнит. Значит, недалеко деревня.

Собрались все. Последним подошел товарищ, которого я заметил в воздухе. Его парашют раскрылся не полностью, и он неминуемо разбился бы, но, к счастью, ударился ногами о телеграфные провода, протянутые вдоль железной дороги, это смягчило падение.

Я встал, с трудом распрямился.

Компас, звездное небо и железная дорога — этого достаточно, чтобы знать, куда итти. Станция Толстый Лес совсем недалеко.

Итак, мы в тылу врага, за шестьсот километров от линии фронта, за тысячу километров от Москвы.

Глава вторая

Прекрасен летний, весь в зеленом наряде лес. Все кругом напоено его запахом — запахом прелой хвои, душистых смол, ароматами цветов и трав.

На востоке брезжит заря, голубым и розовым окрашивая горизонт, высвечивая в сумерках верхушки деревьев. Обильно увлажненная росой трава проминается под ногами. Мы идем гуськом, ступая точно след в след, оставляя за собой одну-единственную дорожку, по которой даже опытному следопыту трудно определить сколько прошло тут людей. Осторожность — первое правило партизана.

Тревожен и таинственен этот лес на занятой врагом земле. Кто знает, какой жизнью он живет, кого прячет, кого пошлет нам навстречу — друга ли, врага ли?..

Мы идем молча. Слух напряжен. Стоит грозная тишина.

К девяти утра мы уже близко от станции Толстый лес. Даю команду на отдых, выставляю секреты, приказываю Лиде Шерстневой развернуть рацию.

Не успел я сделать последнее распоряжение, как бойцы из выставленного вперед секрета привели троих людей. Увидев меня, «пленники» радостно улыбаются. Это — разведчики Кочеткова.

Минут сорок спустя уже сам Виктор Васильевич рассказывал нам о своих злоключениях. Мало того, что их

выбросили за двести километров севернее намеченного пункта, их угораздило не приземлиться, а «приболотиться». Перебираясь с кочки на кочку, промокшие до костей, они всю ночь до рассвета блуждали по болоту, пока не напали, наконец, на твердую почву. Промокли спички, нечем было разжечь костер, нельзя обсушиться. Но спички — это еще полбеды: промокла рация. Радисту стоило невероятных трудов связаться с Москвой.

Я не знал встречи теплее и радостнее, чем эта, в лесу, за линией фронта. Здесь мы как-то особенно глубоко почувствовали, какими крепкими узами связаны, насколько близки и дороги друг другу. Люди наперебой делились новостями, точно не виделись нивесть сколько времени. Самое отрадное, что и Стехов со своими товарищами был здесь, в лагере Кочеткова. Здесь же и доктор Цесарский. Предполагалось вначале, что он полетит со мной, но план этот был нарушен несчастным случаем, происшедшим в группе Кочеткова. Партизан Калашников, человек пожилой, огромного роста, тяжелый, приземляясь, повис на парашюте между деревьями метрах в шести от земли. Он не стал ждать, пока его снимут. Обрезав финкой стропы парашюта, Калашников рухнул на землю, но подняться уже не мог: кости обеих ног оказались переломленными.

Получив тогда от Кочеткова радиограмму о случившемся, я показал ее Цесарскому:

— Сегодня можете вылететь?

— В любую минуту,— отвечал Цесарский.

— Через два часа.

— Есть.

Незадолго перед тем Альберт Вениаминович Цесарский женился. Он побежал проститься с женой, но не застал ее дома. Так и улетел, не простившись.

Калашникова в лагере не было. Он лежал в полукилометре от станции Толстый Лес, в будке у путевого обходчика, куда его пристроил Кочетков. Доктор и партизаны навещали его там каждый день.

О Саше Творогове и о Пашуне попрежнему ничего не известно. Как в воду канули.

Нельзя было терять ни минуты. Мы отправили людей в разведку — узнать, можем ли принимать здесь остальные группы. Под вечер я пошел проверить, как охраняется лагерь, как расставлены посты. Обошел вокруг, пересек большую поляну, углубился в лес.

Бор Толстый Лес — недаром так названа ближайшая станция — действительно могучий. Вековые дубы, березы, ели, сосны, плотные заросли подлеска образовали сплошной непроходимый массив. Нигде ни одной тропинки.

Я решил вернуться обратно. Но минут через десять понял, что иду не туда, куда следует. Повернул левее, прошел еще с километр,— лагеря нет. Наступили сумерки, и я понял, что окончательно сбился с дороги.

А ведь я неплохо ориентируюсь в лесу. Родился я в Белоруссии, в детстве часто ходил по грибы, по ягоды, с юности пристрастился к охоте. Я знал не один способ, как определить в лесу страны света, знал множество тех лесных безошибочных примет, что ведомы одним охотникам. Полгода, проведенные в Брянских лесах, тоже чему-то научили. И, однако же, сплоховал. Решил взобраться на дерево. Выбрал огромный дуб, ухватился за сук, подтянулся. После падения с парашютом это причиняло нестерпимую боль. Стал карабкаться вверх. Поднялся метров на десять над землей. Кругом — во все стороны — лес и лес. И вот в одном месте замечаю дымок. Засек этот ориентир на компас, спустился с дерева и пошел.

К лагерю добрался уже в темноте. У костра шла мирная беседа, слышался сдержанный смех. Говорили об испанце Ривасе. Ривас был механик по самолетам, мы взяли его в отряд, чтобы на всякий случай иметь и такого специалиста. Я прислушался. Рассказывал Толя Копчинский — голубоглазый, атлетически сложенный юноша, рекордсмен Союза по конькам, человек веселый, общительный, ставший нашим общим любимцем еще в лагере под Москвой.

— Ну, значит, собрались мы на костер. Сделали перекличку — нет Риваса. Пошли искать. Темно, ничего не видать, кричим: «Ривас!» — не отзывается. Всю ночь проискали. Нету. Пропал. Наутро опять в поиски, и опять нет. Уже перед вечером напал я на болотце. Посреди болотца одна осина, да и та тонкая. Вижу, за ней кто-то прячется. Голову спрятал, а плащ-палатка торчит. Присмотрелся, обмундирование наше. Ну ясно — Ривас! Кричу: «Ривас, выходи!» А он в ответ одно:

— Камуфлаж! Камуфлаж!

Узнал меня, обрадовался, обнимает. А потом вдруг вытаскивает из-за пазухи голубя живого. А зачем ему этот голубь — так и не знаю до сих пор.

У костра засмеялись. Все смотрели на Риваса. А тот, маленький, тщедушный, тоже смеется, поблескивая глазами. Он не умел говорить по-русски и не мог объяснить, зачем, в самом деле, понадобился ему голубь.

Лишь через полгода, когда Ривас выучился русскому языку, он рассказал про свои тогдашние страхи, про то, как боялся остаться один. Голубя он поймал, решив, что съест его, если не скоро отыщет своих.

Настроение было приподнятое. Люди успели освоиться с новой обстановкой, она оказалась не такой уж страшной, какой представлялась издали. Мне показали интересную светящуюся «клумбу», которую кто-то сделал из гнилушек. Радистка Лида успела уже прицепить гнилушку к волосам, и та играла голубоватым светом, как драгоценный камень.

Я не хотел нарушать этого радостного настроения. Я знал, что оно сменится серьезными делами, трудными заботами, что будут и бои, и кровь, и скорбные минуты прощания с павшими товарищами; что в первом же селе, где мы появимся, нашим глазам предстанет картина человеческих бедствий.

И в тот вечер, как и позже, я старался не омрачать веселья товарищей, когда оно так естественно возникало от молодости, от силы и духовного здоровья...

Через два дня мы приняли еще одно звено парашютистов.

Самолет высоко пронесся над нашими кострами. Костры горели так ярко, что озарили своим светом и пролетавший самолет и тучи на небе.

Пролетев над сигналами, самолет ушел в сторону, развернулся и снова показался уже на высоте трехсот метров. От него стали отделяться купола парашютов. Их скашивало в сторону ветром.

Неожиданно, на высоте не более восьмидесяти метров, один за другим раскрылись два парашюта. Первый парашютист упал около костра, поодаль приземлился другой.

Площадка для приема парашютистов была непригодной. Она находилась близко от станции. Рядом — и рельсы, и булыжная мостовая, и лесной склад. Приземление на такой площадке грозило опасностью изуродоваться. Пришлось радировать в Москву, чтобы людей покамест не отправляли.

...Разведка приносила тревожные вести. По окрестным деревням разнесся слух, что каждую ночь прилетают чуть ли не по двадцать-тридцать самолетов и сбрасывают парашютистов, которых скопилась уже якобы целая дивизия. Об этом разведчикам, не скрывая своей радости, рассказывали местные жители. Слухи, эти, конечно, дошли и до фашистов.

— Что же,— сказал Сергей Трофимович Стехов, — если придется драться, покажем, что нас тут дивизия, не будем их разочаровывать.

Но на рассвете 23 июня мы все же покинули лагерь. Оставили только «маяк» из пяти бойцов, которым поручили наблюдать за станцией. На «маяке» остался и Цесарский. Он должен был лечить Калашникова, который все еще лежал у путевого обходчика. Взять с собой Калашникова мы не могли — ноги у него были в гипсе.

...Мы заметили в пути одинокий бревенчатый домик, затерявшийся в лесной чаще. Послали на разведку трех партизан в штатской одежде.

— Попросите поесть и постарайтесь разузнать о противнике,— поручил им Лукин.

На стук вышел крепкий сутулый старик с седыми мохнатыми бровями.

— Чего надо?

— Отец, поесть чего-нибудь не найдется?

Старик вынес с десяток сырых картофелин.

— Отец, что немцы, в какой стороне, не знаешь?

— Не интересовался,— ответил старик и плотно затворил за собой дверь.

Не успели мы пройти и километра, как тыловое охранение нашей колонны передало, что задержан подозрительный человек. Он скакал галопом на лошади. Увидев бойцов охранения, подъехал к ним:

— Где можно видеть начальника полиции?

— А зачем он тебе? — не растерявшись, спросили партизаны.

— Ко мне только что заходили три хлопца, спрашивали о немцах. По всему видать, партизаны. Ушли вон в ту сторону!

В задержанном мы узнали того самого лесника, у которого брали картофель.

При допросе он сознался, что ехал в районный центр Хабное, чтобы сообщить карателям о появившихся парти-

занах. За свое предательство он надеялся получить награду. О себе старик сказал, что был в свое время осужден по уголовному делу советским судом.

— Расстрелять! — таково было единодушное желание всего отряда. Мы его исполнили.

Это происшествие насторожило нас. Хотя люди устали, привала решено было не делать. Часа в три дня всем было роздано по куску вареного мяса. Ели на ходу. Хлеба не было.

Как на зло начался проливной дождь. Одежда и обувь набухли, итти стало тяжело. Прошел час, другой — ливень не утихал. Превозмогая усталость, мы шли дальше и дальше от опасных мест. Лишь к ночи я решил остановиться. Дождь перестал, в лесу пахло сыростью, тучами вились комары. Люди, не привыкшие к длинным переходам, валились с ног и засыпали тут же, на мокрой земле.

На другой день в лесу, среди огромнейших сосен, мы нашли подходящее место для временного лагеря. Судя по всему, тут раньше было культурное хозяйство. На каждом дереве «стрелы» для стока смолы, и к концам их прикреплены чашечки. Мы быстро растянули шесть палаток из парашютов. Недалеко от лагеря выбрали площадку для приема парашютистов. В тот же день укомплектовали подразделения и направили в разные стороны разведчиков. Им было поручено выяснить: не идут ли следом за нами каратели, как живет население в деревнях и нельзя ли где-либо достать продуктов.

Утром 25 июня охранение лагеря доставило еще одного человека, показавшегося подозрительным. Недалеко от лагеря он тщательно просматривал местность. Бойцам, задержавшим его, он назвался местным жителем. При обыске у него нашли справку о том, что он состоит на службе в полиции. Стало ясно, что нас ищут и, быть может, уже напали на след.

В ту же ночь в лагере была тревога. Один из часовых услышал в лесу шорох. В темноте ему не удалось ничего разглядеть. Он шопотом приказал своему напарнику бежать в лагерь и доложить, что слышен шум.

Через несколько минут отряд находился в боевой готовности.

Но вокруг все было тихо, ничто не нарушало лесного покоя. Обшарили кругом всю местность. Ничего подозрительного не обнаружили.

Через час был дан отбой, но остатки ночи мне уже не спалось. Тревога оказалась ложной, но она обнаружила наши непорядки. Многие товарищи одевались и обувались очень медленно — по пятнадцать-двадцать минут. Бойцы поддежурного взвода спали раздетыми, хотя не имели права раздеваться. Я вызвал к себе командиров подразделений вместе с нарушителями дисциплины и строго отчитал тех и других.

Наутро Александр Александрович Лукин отправился в том направлении, где ночью часовой слышал шум. Он шел осторожно, держа автомат наизготовку. Вдруг неподалеку от него кто-то шарахнулся в сторону. Быстро, еще не поняв в чем дело, Лукин ударил прикладом, но... оказалось, что это была дикая козочка. Тут же он услышал, как заблеяла вторая. Лукин поймал обеих козочек и с этими «трофеями» вернулся в лагерь.

— Вот кто был виновником тревоги!

Поздно вечером в лагерь неожиданно явился в полном составе наш «маяк» со станции Толстый Лес. В числе пришедших был и Цесарский.

— Что случилось?

— Каратели,— коротко отвечал доктор.— Прочесывают лес.

— Где Калашников?

— Арестован вместе с путевым обходчиком.

Только теперь мы по-настоящему, со всей остротой ощутили, в какой опасности находился отряд. Задержись мы около станции, отряд мог погибнуть, не выполнив задания.

В ту же ночь была выделена группа разведчиков во главе с Толей Копчинским. Разведчики получили задачу пойти к станции Толстый Лес и наблюдать за гитлеровцами. Если они вздумают двинуться по нашим следам,— немедленно выслать связного, а самим обстрелять карателей, отвлекая их боем в сторону от отряда.

Толя Копчинский, с которого вмиг слетела вся его беззаботность, взволнованный и обрадованный этим первым боевым заданием, сдержанно отвечал на каждую фразу: «Есть». Затем собрал разведчиков и долго о чем-то с ними говорил. На рассвете группа вышла из лагеря.

Но итти разведчикам пришлось недалеко. Уже в полукилометре от лагеря, на другом берегу маленькой речушки, они обнаружили немцев и тут же впервые открыли огонь.

Буквально через две минуты лагерь был на ногах. В палатке со мной находился Сергей Трофимович Стехов. Он успел выбежать раньше меня и во главе поддежурного взвода бросился по направлению выстрелов.

Я вынужден остаться в лагере. Нельзя оставлять радиостанцию и штабные документы.

Стрельба разгорается. У речки развернулось настоящее сражение.

Началась стрельба и с другой стороны. Стреляют прямо по лагерю. Быстро посылаю туда группу бойцов во главе с Кочетковым. Из оставшихся в лагере партизан расставляю дополнительные посты на случай, если противник вздумает пойти в обход.

Шум боя, каждый выстрел отдаются по лесу громким эхом. Слышно, как кричат немцы, гремит партизанское «ура». Сначала нестройное, звучит все дружнее, мощнее, заглушая голоса фашистов, как бы подминая их под себя. Значит, дело идет хорошо. Однако же, в бою, несомненно, есть раненые. Вызвать Цесарского!

— Доктора нигде нет,— доложил посыльный,— говорят, что он первым побежал в сторону боя.

Связной, явившийся от Стехова, принес весть, что немцы подкрадывались к лагерю, но неожиданно напоролись на нашу разведку. Первая группа противника рассеяна, подкреплений пока не требуется,— сообщал Стехов.

— Там находится доктор Цесарский. Передайте, что я приказываю ему немедленно вернуться в лагерь,— сказал я связному.

— По вашему приказанию прибыл,— доложил через десять минут Цесарский.

— Кто вам разрешил итти к месту боя?

— Я полагал, что мое место там.

Затвор его маузера, висевшего на колодке, был в крайнем заднем положении: он выпустил всю обойму.

— Вы врач, у вас есть свои обязанности. Раненых доставят сюда. Приготовьте свою палатку и инструменты. В дальнейшем на будущее запомните, что без моего приказа вы не имеете права отлучаться из лагеря.

— Есть!

Выстрелы и крики то затихали, то вспыхивали с новой силой. Они удалялись. Значит, наши теснят фашистов.

В лагерь принесли первого раненого. Это был испанец Флорежакс. Тяжелая рана от разрывной пули причиняла

ему неимоверные страдания. Его положили в санитарную палатку. Цесарский приступил к операции.

Вскоре доставили пленных — двух немцев и трех полицейских. Немецкий язык знал один Цесарский, но он был занят, поэтому в первую очередь допросили полицаев.

Изменники Родины, одетые в гитлеровскую форму, шли в составе головной колонны фашистов.

Колонна насчитывала сто шестьдесят человек. Уже в начале боя фашистский офицер, командир колонны, сообщил по радио в Хабное, чтобы немедленно выслали подкрепление.

Цесарский работал, не обращая ни малейшего внимания на стрельбу. Вслед за Флорежаксом появились еще двое раненых. Цесарский очищал раны, накладывал повязки, приговаривая:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке, ничего опасного нет.

С поля боя, без чьей-либо помощи, залитый кровью, пришел Костя Постоногов. Рука у него была неестественно вывернута. Ослабевшим от боли и потери крови голосом он сказал:

— Всыпали гадам! — и упал на землю.

Цесарский поднял его, положил на разостланную плащ-палатку и занялся его рукой, кость которой оказалась раздробленной — рука держалась на одних сухожилиях.

Бой длился уже два часа. Наши далеко преследовали бежавших карателей. Пришлось посылать связных, чтобы вернуть людей обратно в лагерь.

Этот бой был боевым крещением отряда. Двадцать пять партизан, непосредственно участвовавших в схватке, справились со ста шестьюдесятью врагами. Было убито свыше сорока карателей, в том числе семь офицеров, захвачены ценные трофеи: ручные пулеметы, винтовки, гранаты и пистолеты.

Но в бою отряд понес тяжелую утрату: погиб Толя Копчинский.

В далеком Мозырском лесу, на цветущей поляне, мы вырыли могилу герою-партизану. Опустили тело в землю, обнажили головы.

— Прощай, дорогой друг! Мы за тебя отомстим.

В суровом молчании прошли бойцы мимо открытой могилы, кидая в нее горсти земли.

Потом зарыли могилу, выросший бугорок любовно обложили дерном.

Надо было уходить отсюда немедленно. Вызванное карателями подкрепление могло появиться в любую минуту, и тогда туго пришлось бы нашей «дивизии» из восьмидесяти человек.

У нас было три повозки. Мы положили на них раненых и тронулись в путь. Из предосторожности пошли не дорогой, а лесом. Колонну замыкало четверо бойцов, маскировавших наши следы.

...Связь с Большой землей не прекращалась. От этой связи зависела судьба всей работы отряда. Поэтому радистов и радиоаппаратуру мы охраняли, как зеницу ока.

Во время переходов каждому радисту для личной охраны придавалось по два автоматчика, которые помогали также нести аппаратуру. Аппаратура радиста, хотя и считалась портативной, была далеко не легкая. Она состояла из чемоданчика, в который были вмонтированы приемник-передатчик с ключом и «питание» — сухие анодные и катодные батареи. Кроме того, приходилось носить запасное «питание» и отработанные батареи, использовавшиеся для слушания передач из Москвы.

Ежедневно в точно установленный час мы связывались с Москвой. Если отряд находился на марше и останавливать его было нельзя, мы оставляли радиста и с ним человек двадцать охраны в том месте, где заставал радиочас. Отряд шел дальше, а радист связывался с Москвой. Закончив работу, он вместе с охраной догонял отряд, и мы получали радиограмму.

Мы шли по ночам, а днем отдыхали, располагаясь прямо на земле. Мы мокли в болотах и под проливными дождями. Не давали покоя комары. Не было ни хлеба, ни картофеля, и, бывало, сутками шли голодные. В хутора и деревни заходили только разведчики и то с большой осторожностью, чтобы не выдать движения отряда.

Мы шли со всеми препятствиями, какие только мыслимы, и поэтому двести километров по карте фактически превратились для нас в пятьсот.

А наши разведчики — те преодолевали расстояния втрое, а то и вчетверо большие, чем остальные. Когда отряд отдыхал, разведчики уходили вперед, изучая предстоящий нам завтра путь, подыскивая места для новых при-

валов, затем возвращались к отряду и вели его уже по изученному пути.

Особенно тяжело приходилось раненым. Каждый бугорок, каждая коряга, оказавшиеся под колесами повозок, отзывались острой болью. В болотистых местах колеса повозок увязали по ступицы, и лошади не в силах были их вытянуть. Тогда мы распрягали лошадей и на себе вытаскивали повозки.

Путь лежал к селу Мухоеды. Если Саша Творогов и Пашун живы, то они будут искать нас там.

На одном хуторе вблизи Мухоед жители сообщили нашим разведчикам, что к ним заходили какие-то люди в комбинезонах и пилотках, покупали картошку, молоко и хлеб. Прощаясь, сказали, что придут еще.

Мы решили устроить засаду. Я послал в хутор Валю Семенова с группой в несколько человек и велел им укрыться возле крайней хаты. Там они ждали часов шесть, наконец, на дороге показались три фигуры. Разведчики изготовились к стрельбе. Когда же эти трое приблизились, Семенов, забыв о всякой осторожности, закричал во весь голос:

— Ребята, да ведь это же наши — Шевчук, Дарбек Абдраимов...

Выскочив из засады, разведчики бросились обнимать товарищей.

Через несколько часов мы встретились с Пашуном и его людьми. За то время, что мы не виделись, молодежь — физкультурники из группы Пашуна — превратилась в бородатых мужчин.

Они искали нас больше месяца. Сбросили их с самолета около станции Хойники, за сто восемьдесят километров от Толстого Леса. Летчиков ввели в заблуждение костры, которые были там зажжены. Как выяснилось позже, костры эти жгли местные жители, мобилизованные для работы на железной дороге.

Все бы ничего, если бы поблизости не находились немцы и полицейские, охранявшие мобилизованных, чтобы те не разбежались.

Несколько дней партизаны Пашуна пробирались по болотам, скрываясь от вражеской погони. Им удалось дойти до реки Припять и переправиться через нее на лодках. После нашего ухода они были на станции Толстый Лес и оттуда уже двигались по нашим следам.

Вскоре мы узнали о судьбе Саши Творогова и его группы.



Саша Творогов

Вначале к нам доносились смутные сведения о какой-то горстке храбрецов, дравшейся с большим отрядом фашистов. Этот из уст в уста передававшийся рассказ звучал, как легенда, как сказание о богатырях, наделенных чудесной силой и одолевших многочисленного врага. Богатырей именовали красными десантниками, называли их число — четырнадцать человек.

Чем ближе мы подходили к селу Мухоеды, тем все большими подробностями обрастала легенда о красных десантниках; наконец, нашлись очевидцы, и вот что мы узнали от них.

Группа Саши Творогова, выброшенная с самолета южнее Житомира, обошла город с запада и направилась на север, к месту сбора отряда. В одной деревне партизаны расположились на ночлег. Ночью хата была окружена отрядом эсэсовцев — сотней солдат. Офицер-эсэсовец предложил партизанам сдаться живыми.

— Большевики не сдаются,— отвечали Творогов и его товарищи и открыли огонь из окон хаты.

Всю ночь и весь следующий день длился этот неравный бой. Партизаны перебили свыше полусотни эсэсовцев, но и у них из четырнадцати товарищей в живых оставалось только пять.

На вторую ночь эсэсовцы подожгли хату. Партизаны выскочили из окон. Им удалось уйти.

За ночь, раненные, измученные боем, голодные, они отошли километров на десять. На рассвете, увидев погоню, добежали до ближайшей деревни, вошли в первую же хату и в ней забаррикадировались. Гитлеровцы оцепили хату, стреляли в окна, выламывали двери, но не могли сломить сопротивление пятерых богатырей. Лишь когда трое из них были убиты, фашисты сумели войти в хату. Двоих они не застали — тем удалось каким-то чудом убежать. По описаниям крестьян мы поняли, что в числе убитых был и Творогов.

Вот все, что мы узнали о нем и его товарищах. Лишь много времени спустя, уже после войны, меня нашел один партизан из группы Творогова, Колобов. Оказывается, он и другой партизан, испанец, когда их осталось двое, бежали через окно и были спрятаны крестьянами. После долгих мытарств они примкнули к одному партизанскому отряду, в котором и пробыли до конца войны.

Прошло много времени. Много прошло людей, много миновало событий, оставивших в душе неизгладимый след. И попрежнему передо мной — не тускнеющий от времени образ Саши Творогова. Я вижу его юное лицо с пушком над верхней губой: чуть нахмуренные брови придают лицу выражение озабоченности, а сосредоточенный, внимательный взгляд отражает напряженную работу мысли. Саша так и не успел стать начальником разведки отряда, не успел сделать всего, к чему был предназначен в жизни. Но и то, что он успел к двадцати трем годам, навсегда останется в памяти у всех нас, переживших его.

Глава третья

Шаг за шагом нашим глазам открывались суровые картины человеческих страданий.

Поражала тишина, встречавшая нас в деревнях. Ни голосов, ни кудахтанья птицы, ни ржанья лошадей. По вечерам деревни казались вымершими. Нигде не видно ни огонька. Изредка послышится вдалеке одинокий собачий лай, всколыхнет тишину и смолкнет. Чтобы войти в хату, приходилось долго стучать в калитку. Гремели засовы, и, наконец, испуганный голос спрашивал: «Кто?..»

Оккупанты отбирали у крестьян скотину, хлеб, птицу. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали. Заподозренных в сочувствии советской власти вешали, сжигали живьем, умерщвляли в лагерях и тюрьмах.

Эта страшная жизнь и была тем, что называлось фашистами «новый порядок».

В городах и селах Западной Украины появлялось все больше и больше немцев. То были новоявленные помещики, приехавшие из Германии осваивать «восточное пространство», принесшие сюда мрачные нравы крепостничества. На землях, присвоенных ими, трудились украинские крестьяне. Туда же, в немецкие имения, сгонялся отобранный

у крестьян скот. В пользу новоявленных помещиков-крепостников отбиралось все, вплоть до дворовой птицы.

...В густом лесу, окаймленном топким болотом, наши разведчики, высланные вперед, обнаружили большую группу крестьян, живших здесь, судя по всему, уже не первый день.

Оказалось, что тут скрывается население целой деревни. Люди не хотели работать на оккупантов, скрывались от отправки в Германию, предпочитая голод и страдания фашистскому рабству.

Вожаком крестьян оказался бывший председатель колхоза, человек уже немолодой — лет под шестьдесят, высокий, кряжистый, с седыми мохнатыми бровями.

Сначала крестьяне испугались завернувших к ним вооруженных людей. Но когда убедились, что имеют дело с советскими партизанами, несказанно обрадовались встрече и долго рассказывали о пережитых мучениях, о гитлеровской «мобилизации».

— Обещают золотые горы тем, кто едет в Германию на работы,— рассказывали крестьяне.— А на самом деле морят голодом, заставляют работать круглые сутки. Одно слово — каторга. Наши хлопцы и девчата, которых эти злодеи угнали, присылают оттуда страшные письма.

— А разве письма с такими вестями пропускает фашистская цензура?

— А мы, когда отправляли своих, условились: если на письме будет нарисован цветочек, значит, жизнь в неметчине плохая, а если оборван уголок письма, значит, жить можно. И вот все письма приходят с цветочками.

— Грабят сильно?

— Грабят, — отвечал председатель. — Особенно сечевики. Немцы — те прошли большими шляхами, сюда не углубились. Здесь оставили сечевиков.

— Что это за сечевики?

— Бульбовцы. Хиба же вы не знаете? — удивился председатель.— Це ж тоже фашистское войско, только из украинских бандитов. Ой, что это за лютый народ!

До нас и прежде доходило много различных толков об украинских националистах. Больше всего говорили, что националисты они только по названию, а на деле — это заправские головорезы, которые кочуют из села в село и

грабят крестьян. Бандитские «атаманы» присваивали себе громкие прозвища. Были среди них и «Тарас Бульба», и «Кармелюк», и другие. На самом деле тот, кто именовал себя «Тарасом Бульбой», был вовсе не лихой казак, а владелец каменоломен в Людвипольском районе Ровенской области. Этот «атаман» прошел полный курс обучения в Берлине, куда бежал в тридцать девятом году.

Еще до начала войны гитлеровцы начали забрасывать на нашу территорию своих агентов — украинцев по национальности — беглых кулаков, бывших петлюровцев и другую белогвардейскую шваль, нашедшую пристанище в фашистской Германии и по дешевке купленную гестапо. Эти предатели своего народа в течение ряда лет проходили специальную подготовку. Их учителями и наставниками были гестаповские заплечных дел мастера. Нам как-то попалась брошюрка, выпущенная на украинском языке в Берлине еще в сороковом году; эта брошюрка содержала подробные указания по шпионской, диверсионной и повстанческой «работе».

В первые же дни после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз сколоченные предателями банды из разного рода кулацких прихвостней и уголовников начали нападать на сельсоветы и правления колхозов, убивать советских активистов. В действиях этих банд проявлялась страшная, нечеловеческая жестокость. Они вырезали целые семьи, не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей; были случаи, когда они запирали семьи комсомольцев или коммунистов в хате и поджигали. В каждом поступке этих людей была видна фашистская звериная злоба к советскому человеку.

— Где же теперь этот «Бульба» и его штаб? — допытывались наши товарищи.

— Да раньше штаб стоял в Олевске — тут, неподалеку. Там был и сам Бульба. Нынче он разъезжает со своими головорезами по всей Ровенщине...

С этими словами председатель протянул нам несколько номеров газеты под названием «Гайдамак».

— Послушайте, товарищи! — сказал, подняв руку, Стехов.

И прочитал:

«Немецкое правительство во главе с ясновельможным паном Адольфом Гитлером поможет нам построить самостоятельную украинскую державу...»

О «самостийной Украине» мы уже слышали раньше. Это был националистический лозунг, которым банды предателей прикрывали свои истинные цели. Истинной же целью продажных авантюристов было одно — выслужиться перед оккупантами, получить за измену Родине местечко потеплее.

Стехов читал дальше:

«Украинская добровольческая армия «Полесская сечь» очищает нашу болотистую территорию от большевистских партизан. Это — основное. Кроме того, наша Сечь везде проводит большую работу...»

— Знаемо, що за така работа! — воскликнул председатель колхоза.

Вокруг зашумели.

— А вот что за работа! — сказал Стехов.— Послушайте!

«Может быть охота погулять — кого-либо ограбить, добыть себе какую-нибудь личную выгоду? Есть такие, не возражаем...»

С возмущением слушали эти циничные строки обступившие нас крестьяне: ненавистью к предателям горели их глаза.

— Послушайте, товарищи, что они о нас пишут,— сказал Цесарский, державший в руках номер «Гайдамака».

«Полесская сечь,— прочитал он вслух, — взяла на себя тяжелое, но почетное дело по ликвидации партизанства в лесах Северной Украины и Южной Белоруссии и свое историческое задание выполнила с честью...»

— Сволочи! — бросил Цесарский. — Мы им покажем, как они нас «ликвидировали»!

Затем мы прочитали, что «Бульба» и его молодчики предлагают еще при жизни поставить Гитлеру золотой памятник на его родине, в городе Браунау. Дальше читать не стали.

Стоило только представить себе мощь украинского народа, мощь его государства — Украинской Советской Социалистической Республики, как всякому становилось ясным, какой ничтожной кучкой головорезов были националисты, опиравшиеся только на немецкие штыки. Не подлежало сомнению, что в скором времени нам придется не раз столкнуться с этими предателями.

...Двадцать первого июля, когда отряд остановился на отдых, Сергей Трофимович Стехов собрал на лесной полянке всех членов и кандидатов партии. Это было первое партийное собрание в отряде.

Наша партийная организация оказалась немногочисленной: нас, членов партии, было всего пятнадцать, кандидатов — четверо. На этом первом собрании мы говорили о самом главном: о месте коммуниста в борьбе, о том, что мы, девятнадцать человек, должны служить образцом для всех партизан, ибо мы здесь—посланцы партии.

Именно это чувство, чувство ответственности перед партией, доверившей нам выполнение важной задачи, побудило коммунистов обсуждать на собрании самые насущные вопросы.

— Мы не ведем разъяснительной работы среди населения,— говорил Стехов.— А ведь это наш прямой долг, как коммунистов. Листовки — дело сложное, на марше их не приготовишь, а вот устная агитация, общение с людьми — это нам доступно! Да и что может быть действеннее, чем живое слово!

Собрание подробно обсудило вопрос о методах устной агитации среди населения. Дело это было сложное. Продвигаясь в Сарненские леса— к месту базирования отряда, мы вынуждены были итти как можно осторожнее, не привлекая к себе излишнего внимания; но как можно удержаться от того, чтобы не разъяснять людям правду!..

Наши разведчики бывают в селах. Беседовать ли им с крестьянами на политические темы, о Родине, о ненависти к оккупантам или молчать, чтобы ничем не выдать себя? Да, беседовать — решило собрание.

Когда повестка была исчерпана, слово попросил Валя Семенов. Валя — секретарь комсомольской организации отряда, он готовился к вступлению в партию. Глядя на него, никто бы не подумал, что этот невысокий, тщедушный на вид девятнадцатилетний паренек — в недавнем прошлом студент Института физической культуры. Несмотря на тщедушное телосложение, в этом пареньке скрывались недюжинная сила, выносливость и ловкость. Партизаном Валя Семенов был наследственным — его отец в гражданскую войну тоже партизанил на Украине.

— По какому вопросу хочешь выступить? — спросил Стехов.

— Разное,— помедлив, ответил Валя.

Видно было, что это свое «разное» он долго вынашивал.

Семенов встал, оправил гимнастерку и заговорил — сначала тихо, а затем все громче и возбужденней.

— Мы летели сюда, чтобы громить фашистов,— начал он, и все сразу поняли, о чем пойдет речь.— А что получается? Мы идем, прячемся, воевать не воюем. Народ скучать начинает. Мы проходим мимо сел, где есть гарнизоны оккупантов. Надо смелее на них нападать! Чего мы ждем? Пора делом заниматься, хватит нам «осваиваться»!

— Правильно! — послышались голоса.

— Где наши диверсии? — продолжал Семенов, ободренный поддержкой товарищей.— Где взрывы? Где убитые гитлеровцы? Люди на фронте жизни не жалеют, а мы? Отсиживаемся? Так получается!

— Можно мне? — поднялась Лида Шерстнева и, не дожидаясь разрешения, заговорила горячо. — Нас тут оберегают, точно мы нестроевики какие-то, не можем за себя постоять! Я летела сюда, думала — воевать будем, а нам шагу ступить не дают! Семенов правильно сказал: «Чего мы ждем?»

Вокруг одобрительно зашумели. Неожиданно это «разное», не предусмотренное повесткой дня, оказалось самым главным вопросом.

— Та люди ж просятся в бой, хиба ж вы не бачите! — обращаясь ко мне и Стехову, выкрикнул Михаил Шевчук.— В бой рвутся... Та хиба вы не бачите, як ци катыеекирники хозяйствуют по деревням!?

Шевчук — уроженец этих краев, ровенский. Он смертельно ненавидел бандитов из шаек «Бульбы» и других «атаманов», готов был немедленно уничтожать их всех, от первого до последнего.

Вообще же Михаил Макарович Шевчук был человеком миролюбивым, к военным занятиям не испытывал никакой тяги. Был, вероятно, хорошим семьянином, понимал толк в хозяйстве и, как мне казалось, был создан исключительно для мирной, трудовой, устойчивой жизни.

Если теперь он испытывал неутомимую жажду активной борьбы, то действительно велика была его ненависть к врагу.

Подождав, пока товарищи выговорятся, Стехов ответил всем сразу.

— У меня у самого руки чешутся, — сказал он.— Но что делать, товарищи, нельзя нам сейчас вступать в бой,

Нельзя! Мы еще не дошли до места. И потом, ведь наша главная задача — разведка. Драться мы, конечно, будем, но тогда и там, где нас к этому вынудят.

...Вечером, в пути, Стехов подошел ко мне.

— Я хотел с вами поговорить, Дмитрий Николаевич,— начал он негромко. — На собрании, как вы слышали, я поддержал вашу точку зрения. Но у меня есть и своя — она расходится с вашей; я считаю своим долгом вам об этом заявить. Я хорошо понимаю мотивы, по которым вы настаиваете, чтобы отряд избегал активных действий. Я сам проводил эти мотивы на собрании. Но со своей стороны считаю, что пренебрегать активными действиями нельзя. Это неверно и вредно. Мы расхолаживаем людей, лишаем их морального удовлетворения. Разве не ясно, что боевые действия крепче сплотят отряд, придадут людям силы и энергии...

Он умолк, долго разжигал трубку, которую с некоторых пор завел для защиты от комаров, и затем продолжал, стараясь говорить как можно тише:

— Я не мог говорить об этом вслух на собрании. Но вам, Дмитрий Николаевич, хочу сказать прямо: вы проводите неверную линию.

— А что вы предлагаете? Растрачивать силы на отдельные стычки?

— По крайней мере не пропускать случай, когда можно нанести врагу урон!

— Но разве разведка в тылу противника не наносит ему урона? Разве сейчас не важнее для нас сберечь людей именно для разведывательной работы, куда более чувствительной, если уж говорить об уроне, чем взорванные эшелоны!

Сергей Трофимович, видимо, был подготовлен к такому ответу.

— Но ведь не все же люди в отряде могут заниматься разведкой,— возразил он.— Что делать остальным?

— Ждать, пока мы не приступили к настоящей работе. Придет это время, тогда всем найдется дело.

— Ну, хорошо,— помолчав, согласился Стехов, но я понял, что внутренне он остался при своем мнении. Переубедить его было нельзя.

Мне отчетливо припомнились в ту минуту мои собственные переживания, когда в Москве, получая указания командования о задачах отряда, я впервые узнал, что мы

не только не должны, но и не имеем права предпринимать диверсии, налеты на вражеские гарнизоны и другие чисто партизанские действия. «Ваше дело сидеть тихо, заниматься разведкой и ни на какие другие задачи не отвлекаться,— вспомнились слова члена Государственного Комитета Обороны.— Партизанских отрядов много. Пусть каждый из них знает свое дело, свои функции... Партизанская война — это не значит беспорядочная война...»

Спокойной уверенностью веяло от этих слов. И разочарование, охватившее меня в первую минуту (мне представлялась совсем иная картина — рисовались активные действия, наступательные бои, дерзкие налеты на тылы противника), уступило место другому властному чувству — чувству гордости за нашу силу, за нашу могучую армию, планомерно идущую к победе над врагом. Нет, не для стихийных действий, не для случайных ударов, не для отчаянных, беспорядочных налетов на произвольно выбранные объекты отправляет нас партия в глубокий вражеский тыл. Мы — один из отрядов великой победоносной армии, частица единого плана, начертанного рукой гениального полководца,— плана Победы.

...Каким простым и ясным казалось все издали, и сколько, оказывается, сложных и противоречивых вопросов ждало нас тут, на месте! Ведь тот же Семенов — секретарь комсомольской организации — прекрасно знает главную задачу отряда, знает, что нам нужно — на первых порах, по крайней мере,— вести себя тихо,— знает и все же не может примириться с мыслью, что мы проходим мимо гитлеровцев и не трогаем их!

А вопрос о приеме в отряд новых людей! Еще в Москве мы точно договорились, что не будем форсировать рост отряда: чем меньше нас, тем незаметнее наше пребывание в здешних лесах, тем легче работать. Условились принимать исключительно тех из местного населения, которые могут быть полезными в деле разведки.

Но вот к нам явилась группа красноармейцев, бежавших из фашистского плена. Как быть? Люди просят принять их в отряд, дать возможность искупить свою тяжкую вину перед Родиной. Отказать им? Нет, мы не могли этого сделать.

Прежде чем зачислить их в отряд, Лукин, Кочетков и Фролов допросили каждого: кто он, откуда, в какой части служил, как и когда попал в плен.

Потом, по приказу Стехова, всю группу выстроили в стороне, и начался обыск. Стехов и я стояли тут же, наблюдая за происходящим.

Вытаскивают из кармана военнопленного игральные карты. Стехов берет их, кладет себе в карман и смеется:

— Благодарю вас! В сырую погоду пригодятся костер разжечь.

У другого находят бутылку водки.

— И за это спасибо! У нас пока своего запаса нет, передадим в санчасть.

Когда обыск кончился, Стехов дал команду «смирно» и сказал перед застывшим строем:

— Мы примем вас в свой отряд, но запомните — дисциплина у нас строгая. Приказ командира — закон. За проступки — взыскания и наказания вплоть до расстрела. Спиртные напитки запрещены. Игра в карты запрещена. Брать что-либо у населения и присваивать себе запрещается. За грабеж будем расстреливать. Конфискованные у предателей вещи сдаются в хозяйственный взвод отряда и распределяются по усмотрению командования. Даже табак присваивать нельзя... Учтите! — предупредил он с решительным жестом.— Партизанщины здесь нет и не будет. Здесь мы все солдаты и свято выполняем свой долг— статью сто тридцать третью Сталинской Конституции о защите отечества...

— Как с оружием будет? — спросил кто-то из строя.

— Вы хотите спросить? — Стехов повернулся на голос.— Прежде всего получите разрешение... Надо сказать: «Разрешите обратиться, товарищ замполит»...

— Разрешите обратиться, товарищ замполит!

— Обращайтесь!

— С оружием как? Дадите?

Стехов некоторое время молча смотрит на бойца, спросившего об оружии, и говорит:

— Потеряли свое? Добудьте в бою новое!..

...В отряде было теперь около сотни бойцов, но молва удесятерила это число.

В одном селе разведчики слышали о тысяче советских парашютистов, в другом называлась цифра десять тысяч.

Слухи о нас ширились, приумножая силу небольшого отряда, идущего к Сарненским лесам, рисуя многотысячную армию парашютистов, завладевшую лесными масси-

вами, угрожающую немецким гарнизонам и немецким коммуникациям.

Эти слухи были последствиями нашего первого боя с карателями в Толстом Лесу.

— Ничего не поделаешь,— твердил Стехов.— Тысяча так тысяча. Будем драться каждый за десятерых.

Он часто говорил о драке... Этот исполнительный, точный офицер, щеголевато одетый, всегда при оружии, питающий пристрастие к воинскому ритуалу, на самом деле,— я могу это сказать,— был человеком глубоко штатским.

Впрочем, в Мозырском лесу он дрался не как штатский, а как настоящий военный, как испытанный командир.

...В ночь с 24 на 25 августа отряд принимал последнюю из своих групп.

Обширная лесная поляна окружена дозорными. С вечера еще в нескольких местах сложены сухие дрова, заготовлены бутыли со скипидаром. Партизаны дежурят тут же. Не разжигая костров, о чем-то вполголоса беседуют. Нет-нет кто-нибудь и отвлечется от разговора, прислушается: не летят ли?

Не впервые уже мы ожидаем и встречаем самолет из столицы, но всякий раз этой встрече предшествует одно и то же непередаваемое чувство: словно сама Москва, сама Родина наша парит над нами на серебряных крыльях, неся все, что так дорого сердцу: и сияние кремлевских звезд, и дым родного очага, и привет близких.

Одинаково глубоко взволнованы и москвичи, ожидающие писем, и те, кто писем не ждет,— бывшие военнопленные, местные жители, пришедшие в отряд уже здесь, за линией фронта. Хотя на поляне расставлены «слухачи», но то и дело кто-либо предупреждает:

— Тсс! Кажется, гудит!

Сразу все смолкает. Напряженно все слушают.

— Нет, показалось.

У единственного зажженного костра прохаживается Кочетков, ответственный за приемку людей и грузов,— «начальник аэродрома», как его уже успели прозвать быстрые на шутку бородатые физкультурники Пашуна.

Вот он было успокоился, присел, но тут же не выдерживает — вскакивает и отходит в темноту. Все знают: Кочетков, не доверяясь «слухачам», сам вслушивается в ночную тишь. И, как всегда, первый улавливает в ней еще далекий, еле слышный гул.

— Воздух! Поднять костры! — раскатывается гулкий бас «начальника аэродрома».

Все на поляне приходит в движение. Вспыхивают один за другим костры; партизаны — одни подбрасывают в огонь щепу, другие ковшами льют в огонь скипидар. От скипидара пламя взвивается вверх. Костры становятся огромными...

— Поддай, поддай! — зычно кричит Кочетков.

Гул нарастает. Самолет появляется над поляной. При ярком свете костров видно, как он, приветствуя нас, покачивает крыльями. Он пролетает дальше, чтобы, спустя минуту, появиться вновь.

— Поддай, поддай! — не унимается Кочетков.

И от этого крика, от пылающих костров, багровых лиц, мелькающих в отсветах пламени, от всей этой сказочной, фантастической картины захватывает дыхание.

Белые облачка парашютистов раскрываются в небе, увеличиваясь и розовея по мере того, как приближаются к земле.

Покачав на прощанье крыльями, самолет уходит на восток.

На площадке—оживление. Парашютистов, едва они коснулись земли, подхватывают, передают из объятий в объятия, засыпают вопросами.

Первым ко мне подходит Коля Приходько. Он кажется смущенным и даже немного растерянным в этой шумной, суетливой обстановке.

— Ось прибыли до вас, товарищ командир,— произносит он, застенчиво улыбаясь.

За ним идут другие.

Подходит щуплый паренек, по фамилии Голубь; рядом с богатырем Приходько он кажется еще ниже ростом.

Подходят Коля Гнедюк, Борис Сухенко, лейтенанты Волков и Соколов.

Волков — опытный партизан, был со мной в Брянских лесах, получил ранение, поправился и вот прилетел к нам. Первое, с чем он обратился, был вопрос о том, что же случилось с Сашей Твороговым.

Подошел Николай Иванович Кузнецов, старый друг Творогова, по его рекомендации принятый в отряд.

Еще при первой встрече с Кузнецовым меня поразила спокойная решимость, чувствовавшаяся в каждом слове, в каждом движении этого малоразговорчивого, спокойного,

но внутренне страстного человека. Помню, он вошел в номер и начал прямо с того, что заявил о желании лететь в тыл врага.



Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов

— Я в совершенстве знаю немецкий язык,—сказал он.— Думаю, что сумею хорошо использовать это оружие.

— Где вы учились языку? — спросил я.

Вопрос был не праздный. Мне приходилось встречать немало людей, владевших иностранными языками. Это было книжное знание, достаточное для научной работы, но едва ли могущее служить оружием, выражаясь словами моего собеседника.

Кузнецов, очевидно, поняв мои сомнения, объяснил:

— Видите ли, я не только читаю и пишу по-немецки. Я хорошо знаю немецкий разговорный язык. Я много бывал среди немцев...

— Вы жили в Германии? — заинтересовался я.

— Нет, не жил,— улыбнулся Кузнецов.— Я окончил заочный институт иностранных языков. Вообще же по профессии я инженер. Когда работал на Уралмашзаводе, немецкие специалисты не хотели верить, что я русский. Они считали меня немцем; даже спрашивали, почему я скрываю свою национальность...

Глядя на него, я подумал, что он действительно похож на немца: блондин с серыми глазами.

— Мало ли людей знает немецкий язык! По-вашему, все они должны лететь за линию фронта?

— Я знаю не только язык, — возразил Кузнецов. — Я вообще интересовался Германией, читал немецких классиков...— и, помолчав, добавил.— Я немцев знаю.

— Хорошо. А представляете ли вы себе, с какими опасностями связана работа разведчика?

— Я готов умереть, если понадобится, — сказал Кузнецов.

— Берите его в отряд! — горячо настаивал Творогов. — Не ошибетесь!

Я согласился.

Через несколько дней Кузнецов был освобожден с завода, на котором работал, и приступил к подготовке.

Он ежедневно беседовал с пленными немецкими солдатами, офицерами и генералами. Ему предстояла задача детально ознакомиться со структурой гитлеровской армии, с нравами фашистской военщины, а главное, в совершенстве изучить какую-либо местность Германии, за уроженца которой он смог бы себя выдать.

Подготовка эта велась в строгой тайне. Не только рядовые бойцы, но даже руководители отряда — Стехов, Пашун, Лукин — не знали о Кузнецове.

Вместе с Кузнецовым обучались военному делу Николай Приходько, Голубь, Николай Гнедюк и другие добровольцы — уроженцы Западной Украины. Жили они отдельно. Соколов и Волков познакомились с ними всего за несколько дней до вылета.

Поздоровавшись, Кузнецов отходит в сторону и молча слушает рассказ о подвиге Саши Творогова. Я вижу, как мрачнеет его лицо.

В лагерь мы идем с ним вдвоем. Кузнецов молчит. Он не задает вопросов, на мои — отвечает коротко. Мне он кажется человеком замкнутым. Или это только сегодня — в первые часы пребывания на территории, оккупированной врагом, под впечатлением рассказа о Творогове? Мы идем рядом. Я не вижу его лица, но мне кажется, что и теперь на нем застыло то же выражение решимости, какое я видел в Москве: та же сосредоточенность и спокойная уверенность человека, все обдумавшего и знающего, что он будет делать. И действительно, Кузнецов, отвечая на мой вопрос о его планах, говорит:

— Я смогу беспрепятственно действовать в городе. Подготовился, кажется, хорошо. Да и стреляю теперь сносно. В Москве много тренировался.

— Это хорошо. Только стрелять вам пока не придется.

— Почему не придется?

— У вас будут задачи другого рода.

— Что ж, хорошо,— неохотно соглашается он. Чувствую, что своим ответом разочаровал его.

Мне предстоит, однако, разочаровывать его и дальше:

— И посылать вас пока, я думаю, никуда не будем,— говорю я.

— Как не будете?

Впервые слышится в его голосе волнение.

— Вам придется готовиться и довольно долго. Посидите, подучитесь еще, а там и начнем.

— Когда это? — спрашивает он уже с нескрываемой досадой.

— Месяца через два — два с половиной. Как успеете.

Кузнецов ответил сухо:

— Слушаюсь.

Весь остальной путь мы прошли молча.

...Приближается август, а мы все еще в пути. Перевалили через железную дорогу Ковель — Киев, до места, где мы намерены расположиться, осталось километров сорок.

Близ разъезда Будки-Сновидовичи местные жители предупредили наших разведчиков, что фашисты нас заметили, когда мы переходили через железную дорогу, и на рассвете следующего дня готовятся к нападению на отряд.

Как ни странно, это тревожное известие вызвало среди партизан шумное и радостное оживление. Наконец-то мы снова встретимся с врагом лицом к лицу! Ясное дело, мы должны их опередить!

Мой приказ — выделить группу из пятидесяти человек для удара по противнику — вызвал общее разочарование. Бойцы рассчитывали, что ударим всем отрядом.

Особенно удручен был Стехов. Он собирался итти во главе группы, я же его не пустил. Командиром пошел начальник штаба майор Пашун — кряжистый, расчетливый, с энергичным скуластым лицом, белорус по национальности, в прошлом паровозный машинист.

Тем, кто попал к нему в группу, все откровенно завидовали.

Ночью группа скрытно приблизилась к разъезду. Разведка установила, что фашисты находятся в эшелоне, стоявшем неподалеку на запасном пути.

Партизаны скрытно подползли к вагонам и залегли. Не успел Пашун осмотреться, как группе пришлось действовать. Какая-то собачонка, видимо, услышав шорох, подняла лай и всполошила охрану. Часовой окликнул — ему никто не ответил; тогда он дал два сигнальных выстре-

ла. Медлить было нельзя, и Пашун скомандовал: «Огонь!»

В вагоны полетели гранаты, вступили в дело автоматы и пулеметы. От разрывной пули загорелась стоявшая у самого состава бочка с бензином; огонь перекинулся на вагоны; начался пожар.

К рассвету гитлеровцы, собиравшиеся нас разгромить, оказались разбитыми. Немногим из них удалось унести ноги.

Трофеи мы взяли большие: много оружия — винтовок, гранат, патронов; разный хозяйственный инвентарь и очень нужные нам продукты, в особенности сахар и сахарин.

При этой операции погиб испанец Антонио Бланко. Он первым подбежал к вагону и бросил в окно гранату. Нацелился бросить вторую, но тут же упал сраженный автоматной очередью.

Бланко был молод, ему было всего двадцать два года, но короткую жизнь свою он прожил достойно—как истинный патриот своей родины и антифашист. В 1936 году, шестнадцатилетним юношей, он дрался с легионами Франко в рядах народной милиции. Потом жил в Советском Союзе. В партизанский отряд Бланко пошел добровольно. Он погиб, сражаясь с фашистами и, наверно, не желая для себя лучшей жизни и лучшей смерти.

Через два дня после боя у разъезда Будки-Сновидовичи мы пришли в Сарненские леса.

Глава четвертая

На улице необычное скопление народа.

Все население деревни — от ветхого, всех пережившего деда до малых ребят — вышло из хат. Великое горе, страшное бедствие обрушилось на людей: угоняют в Германию.

Плачут женщины. Прижавшись испуганно к матерям, голосят ребятишки.

Пятеро полицейских безучастно наблюдают это зрелище.

— Куды ж воны их угоняють! — причитает старая крестьянка, схватившись за голову и беззвучно рыдая.— Що воны роблять, що воны роблять!..

— Петро! — кричит другая, окликая стоявшего неподалеку от нее полицая. — Петро! Це же твое село, що

же ты робишь!.. С ким же мои диты застануться? Мий чоловик зовсим хворый, зовсим хворый...

Петро поворачивает голову, смотрит на женщину мутными, пьяными глазами.

— Перестань реветь! Говорят тоби, що поидете до Великонеметчины, а твои диты тут як-нибудь перебудуть!

И вдруг в толпе неожиданно появляется богатырская фигура человека, неизвестно откуда взявшегося. Он грозно спрашивает:

— Що тут таке робиться?

Он направляется к полицаям, нахмурившись, смотрит на них с высоты своего роста.

— Хто вы таки, хлопцы?

Женщина бросается к нему. Лицо у нее в слезах.

— Воны забирают до Неметчины!

— До Неметчины...— незнакомец уничтожающим взглядом окидывает полицейских.— Зачем забираете людей из села?

— Нам приказали, мы и забираем,— отвечает, пятясь назад, полицай.— А ты хто таки?

— А вот сейчас представлюсь!

С этими словами незнакомец хватает за шиворот двух полицаев и сталкивает их лбами. Происходит замешательство. А незнакомец уже гремит, держа перед собой автомат:

— Ни с места! Кладить зброю!

Полицейский по имени Петро, поднимаясь с земли, хватает свою винтовку, но тут же падает вновь, сбитый с ног тяжелым ударом.

— Кладить, кажу, зброю, бо буду стрелять!

Полицейские послушно складывают винтовки.

— А теперь — геть з села! Шоб вашего духу тут не було! Швыдче, швыдче!

И полицейские побежали без оглядки.

Крестьяне обступают избавителя.

— Спасибо тебе, хлопче,— произносит дед с низким, поясным поклоном.— Ты, як я бачу, свий хлопец, партизан?

— Партизан... партизан...— разносится вокруг...

...Разведчики отряда, придя в село, застают здесь трогательную сцену. Партизан-избавитель стоит в тесном кругу крестьян и мирно с ними беседует.

— Микола! Микола! — кричат ему разведчики издали.—

Вот он где, чорт возьми! Микола! Приходько! — продолжают звать его до тех пор, пока он не оборачивается.

— Пришли? — как ни в чем не бывало сказал Приходько и, распрощавшись с крестьянами, отправился к товарищам.

Он был виноват перед ними. Вышли все вместе, а он, вот, взял и отбился, ушел в сторону. Хорошо, что они его нашли. Неровен час, наскочат гитлеровцы, а он тут один..

Доро́гой Приходько упросил товарищей, чтобы, придя в отряд, молчали о том, что случилось в селе. Он чувствовал, что ему не миновать взыскания.

Но куда денешь винтовки, взятые у полицаев? По нашему обычаю, все трофеи подлежат немедленно сдаче. И через час после возвращения разведчиков Коле Приходько пришлось выслушать выговор. Началось с расспросов.

— Приходько, это ты принес винтовки?

— Я, товарищ командир.

— Где ты их взял? У кого?

— Та там, у одних полицаев.

Постепенно выясняется вся картина.

— У тебя есть свое задание, своя работа. Тебя послали в разведку. Тебе было приказано — не стрелять.

— Та я не стрельнув ни разу, товарищ командир!

— Не стрелять и не связываться ни с какими немцами, ни с какими полицаями.

Тут Приходько, до сих пор старавшийся отвечать уклончиво, не выдерживает:

— Так я ж не могу, товарищ командир!

— Все не могут... Подумай сам, где от тебя больше пользы: когда ты с риско́м для жизни убьешь фашиста или полицая или когда доставишь нам ценные сведения о противнике?

Приходько понимающе кивнул. Конечно, он был согласен с моими доводами. Согласен до тех пор, пока мог рассуждать, но как только доходило до дела, он терял эту способность. Все, что было в его душе наболевшего, выстраданного, вырывалось наружу, не давая опомниться.

— Ступай и чтобы впредь без молодечества,— говорю ему.— В следующий раз, если повторится, получишь трое суток и поставлю вопрос в комсомольской организации... Понятно?

— Разрешите итти?

— Иди.

...Первое время, в Москве, Приходько казался мне человеком чрезвычайно замкнутым. Рослый, широкий в плечах, с простым и добрым лицом, какие бывают у богатырей, он старательно делал все, что от него требовалось, ни о чем не расспрашивал, больше молчал и, казалось, был поглощен своими думами.

Но замкнутость эта была обманчивой. На самом деле редко встретишь человека более открытого и непосредственного, чем Коля Приходько. Бывают лица и глаза, зримо и понятно выражающие душу человека — все, что он думает, что чувствует. Таким лицом обладал и Николай Приходько. Все думы его были о тех местах, куда нам предстояло лететь. То были места его детства и юности, родные края, с которыми разлучила его война и по которым он тосковал.

Николаю шел восемнадцатый год, когда над землей Западной Украины взошло солнце счастливой советской жизни. Сын путевого обходчика, младший в многодетной семье, он с детских лет батрачил у помещика. День, когда над городом Здолбунов и окрестными селами взвились красные флаги, был для него, как и для многих сотен тысяч других его сверстников, первым счастливым днем в жизни. Николай поступил на железную дорогу грузчиком, вступил в комсомол. Незадолго перед войной он стал начальником снабжения в одной из транспортных организаций, начал посещать вечернюю школу.

Когда началась война, Николай был тяжело болен. Но он превозмог болезнь и нашел в себе силы притти в эти горячие дни на станцию. Его вела сила долга, сила преданности Родине. Он помогал отправлять ценности на Восток, эвакуировать людей и покинул станцию только тогда, когда в предместьях города показались вражеские танки.

Судьба забросила Приходько в Пензу. Здесь он некоторое время работал. Одно из заявлений, которые он подавал в военкомат, достигло цели: он попал в армию, в формирующуюся часть, а уже оттуда, как уроженец Западной Украины, был передан нам.

И вот теперь эта история..

В душе я по достоинству оценил все благородство поступка Приходько. Но мне не давала покоя мысль, что так, распыляясь на случайные операции, можно упустить главное, ради чего нас сюда прислали. Разведка, разведка

и еще раз разведка,— твердил я товарищам и старался отвлечь их внимание от диверсий, от налетов на отдельные группы фашистов, всячески добиваясь того, чтобы люди поняли огромное значение разведывательной работы, столь важной для командования Красной Армии.

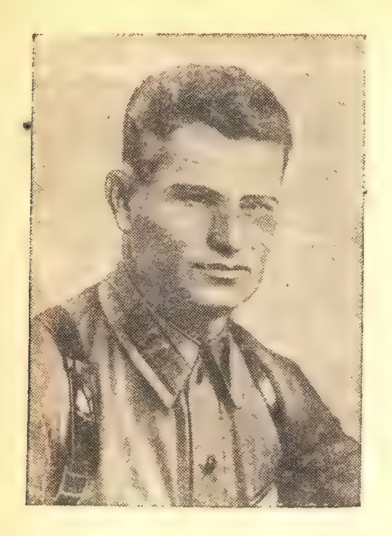
— Ходите, узнавайте, где находятся и какие немецкие части, из кого они состоят, куда передвигаются,— наказывал я товарищам.— Посещайте деревни, беседуйте с населением, рассказывайте правду о ходе войны. Но избегайте ввязываться в бои, устраивать стычки, рискуя собой.

Легко сказать — не ввязываться в бои, ограничиваться разведкой, когда эти «запрещенные» действия как раз и были самым желанным, о чем люди мечтали, к чему стремились. Каждое новое злодеяние оккупантов, совершавшееся на глазах партизан, усиливало, доводило до крайнего предела жажду активной борьбы, страстное желание немедленного возмездия.

Не проходило дня, чтобы ко мне или к Стехову не обращались с предложениями о той или иной операции, в результате которой был бы убит какой-нибудь фашистский комендант или выведено из строя предприятие. Предложения эти звучали как личные просьбы. Иногда мы их удовлетворяли. Когда же приходилось отказывать, мы чувствовали, что лишаем людей чего-то самого насущного для них, сдерживаем самые благородные порывы, и всякий раз больно было отказывать, тем более, что и нас — и Стехова и меня — желание активной борьбы захватывало не меньше, чем других.

Сама жизнь требовала нашего активного вмешательства в установленный гитлеровцами «новый порядок». Мы не могли не защищать свой народ, не мстить палачам за их злодейства.

В первые же дни пребывания в Сарненских лесах, как ни важно было нам оставаться пока незамеченными, мы выслали группу партизан на разгром фольварка «Алябин». Это было богатое имение, в недалеком прошлом ставшее народным достоянием, а ныне присвоенное немецким фашистом — начальником гестапо города Сарны, который посадил здесь своего управляющего, человека неслыханной, садистской жестокости. О бесчинствах этого управляющего крестьяне рассказывали нашим разведчикам. Нельзя было спокойно слушать о его преступлениях.



Начальник штаба отряда Ф. Пашун

Группа из двадцати пяти человек во главе с Пашуном отправилась на фольварк «Алябин» в сопровождении крестьян. Охрана фольварка была разоружена. Захваченная врасплох, она даже не пыталась оказать сопротивление.

Налет был произведен ночью, а под утро в лагерь пришел обоз. На лошадях, взятых там же, на фольварке, партизаны привезли хлеб, масло, крупу, мед, картофель. Обоз замыкало стадо коров.

Лучших молочных коров мы отдали крестьянам, поделились с ними и остальными продуктами.

Пашун доставил в лагерь двух пленных. Первый был немец по фамилии Рихтер, управляющий имением, на которого жаловались крестьяне, второй, по фамилии Немович, оказался украинским националистом и одновременно гитлеровским шпионом-профессионалом. Окончив в Германии, куда он бежал по освобождении Западной Украины, гестаповскую школу, он еще до войны вел подрывную деятельность на Украине.

Когда пришли оккупанты, Немович под видом украинского учителя разъезжал по деревням, выведывал у своих друзей-националистов, где живут советские активисты, и предавал их гестапо. Немович знал многих других, подобных ему предателей, которые учились с ним в гестаповской школе. Поэтому мы не стали его расстреливать, а решили отправить в Москву.

Но где держать Немовича, пока придет самолет? Из палатки он может убежать. Выход был найден: сшили специальный мешок из брезента и посадили в него предателя так, что только голова торчала из мешка.

Операция по разгрому фольварка «Алябин» положила начало нашим систематическим налетам на немецкие хозяйства. Мы разгромили в ближайших районах несколько

крупных имений, в том числе еще один фольварк начальника сарненского гестапо.

...При первых же выходах в деревни и хутора Ровенской области партизаны стали сталкиваться с бандами украинских националистов.

Были эти банды невелики по числу, но вооружены неплохо. У них имелись немецкие автоматы, немецкие винтовки, немецкое снаряжение. Я вспомнил времена гражданской войны, когда мне приходилось, сражаясь на Украине, иметь дело с подобными предателями. Тогда это были петлюровцы, махновцы, кулацкие сынки, которых буржуазия использовала в своей борьбе против молодой Советской республики. Банды эти в то время насчитывали по три-пять тысяч человек каждая. Но наши отряды, даже когда они состояли из четырехсот-пятисот бойцов, успешно справлялись с ними. С нынешними дело было еще проще — и не только потому, что были они малочисленными,— по трусости нынешние превосходили своих предшественников.

О том, какие это вояки, фашисты знали. Банды националистов, которые они включали в свои карательные отряды, пользовались доверием лишь там, где дело касалось расправы над мирными жителями, грабежей и поджогов. Когда же приходилось вступать в бой с партизанами, при первых же выстрелах «войско» бандитов пускалось наутек.

Наши партизаны не могли говорить без смеха об этих «вояках».

Однажды Валя Семенов привел пленных.

— Бандитов забрал,— доложил он.

— Каким образом?

— Да они как увидели нас, сразу сделали «трезубы».

— Что, что?

— Трезубы. Ведь у них на пилотках такой знак — из трех зубьев состоит, вроде как вилы. Так вот они сразу подняли руки вверх, и получился трезуб — две руки, а посредине голова!

С тех пор, когда украинские националисты сдавались в плен, у нас так и говорилось: «сделали трезуб».

Наши вылазки в окрестные села, налеты на отдельные группы фашистов, на фольварки — все это приносило большое моральное удовлетворение. Но в то же время каждый из нас сознавал: если мы стремимся оказать действительно эффективную помощь Красной Армии, надо заняться разведкой, а все остальное отодвинуть на второй план.

Именно так стоял вопрос для нас, находившихся под городом Ровно, бок о бок с наместником Гитлера на Украине Кохом, с его «рейхскомиссариатом», с многочисленными штабами и учреждениями, с «всеукраинским» гестапо.

Город Ровно был фашистской «столицей» Украины, средоточием гитлеровского аппарата управления, гнездом фашистского оккупационного чиновничества и военщины. Здесь легче можно было узнать о перегруппировках вражеских войск на фронте, о строительстве новых линий обороны, о мероприятиях хозяйственного характера, наконец, о том, что творится в самой Германии.

И нашей главнейшей задачей было — прочно обосноваться именно здесь и протянуть в Ровно свои надежные щупальцы.

В каких-нибудь двадцати километрах от Ровно находился другой важнейший пункт — узловая станция Здолбунов, через которую курсировали все поезда с Восточного фронта в Германию, в Чехословакию, Польшу и из Германии, Польши и Чехословакии на Восточный фронт. Стратегическое положение Здолбунова подсказывало, насколько важно нам пробраться к этой станции и «оседлать» здолбуновский узел.

Мы начали с двух ближайших к нам пунктов — с районных центров Сарны и Клесово, в которых стояли крупные немецкие гарнизоны. Заняться ими было поручено группе разведчиков во главе с Виктором Васильевичем Кочетковым.

Кочетков быстро нашел в окрестных селах людей, которые имели в Сарнах и Клесове родственников или знакомых. Люди эти охотно согласились выполнять его поручения. Так у Кочеткова появились ценные помощники.

Один из них как-то сказал Кочеткову, что с ним хочет повидаться некто Довгер — работник Клесовского лесничества. Виктор Васильевич согласился встретиться.

Перед ним предстал пожилой человек с гладко выбритой головой, одетый в старомодную хорошо сохранившуюся пару, при галстуке, завязанном тонким узлом. Сквозь овальные, в железной оправе очки на Кочеткова смотрели внимательные, изучающие глаза.

— Что скажете? — сухо спросил Кочетков.

— Все, что я могу рассказать, вам, наверно, уже известно.

— Вот как?

— Я советский человек и, когда узнал, что здесь у вас партизанский отряд,— решил, что буду с вами.

— Мы, пожалуй, без вас обойдемся,— ответил Кочетков. Он не сомневался, что имеет дело с вражеским лазутчиком.

Довгер понял.

— Не надо думать о людях плохо,— сказал он, не скрывая обиды.— У меня здесь семья — жена, мать, трое детей. Пусть они ответят за меня, если я провинюсь перед вами!

Кочетков заколебался.

— Но ведь вы пожилой человек,— сказал он после молчания.— Вам будет трудно.

— А я не прошу принять меня в партизаны. Я просто буду выполнять ваши задания, все, что вам нужно...

— Хорошо,— согласился Кочетков.

На следующий день Довгер получил задание съездить в Ровно и посмотреть, что там делается. Он охотно пошел на это.

Вернувшись из Ровно, Довгер привез вести о расправах над мирными людьми, о массовых расстрелах на улице Белой.

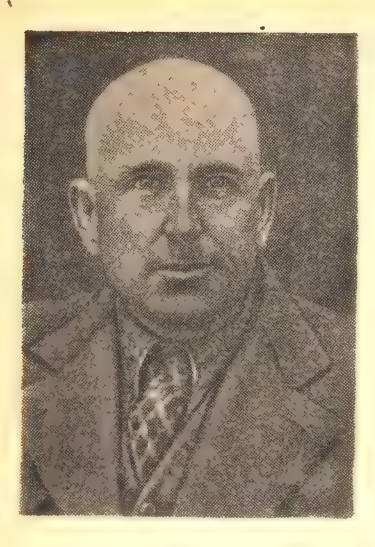
— Вот вам адреса,— заключил он свой скорбный рассказ и передал Кочеткову план города с нанесенными на нем кружочками. План этот, довольно точный, был начерчен самим Довгером.— Это,— объяснял он, указывая на кружочки,— рейхскомиссариат... Вот тут помещается резиденция Коха, этот черный кружок — гестапо, здесь здание суда...

— Спасибо, Константин Ефимович,— от души благодарил Кочетков.— Спасибо!

— Пожалуйста,— сухо отвечал тот. Ему не нравилось, что его благодарят.

— Я не одолжение вам делаю,— сказал он как-то Кочеткову.— Я выполняю свой долг так же, как и вы.

Константин Ефимович Довгер — белорус по национальности — принадлежал к той части местной интеллигенции, которая хорошо знала Россию еще по дореволюционным временам. Все годы, когда Западная Украина входила в состав панской Польши, эти люди с волнением следили за происходившими у нас событиями, всей своей духовной жизнью жили с нами. Перед первой мировой войной Довгер окончил лесной институт в Петербурге, затем приехал



Константин Ефимович Довгер

сюда, на Волынь, и с тех пор работал в Клесовском лесничестве.

«Дядя Костя» прозвали Довгера разведчики, вместе с Кочетковым ходившие к нему на связь. Это прозвище укрепилось за ним и у нас в штабе, даже я ловил себя на том, что называю Константина Ефимовича дядей Костей.

Нередко Довгера, наряду с другими лесничими, вызывали к себе жандармские офицеры, приезжавшие во главе карательных экспедиций.

— Не знаю, у меня партизан не слышно, а вот в двадцатом квартале, там, кажется, их видали,— говорил по нашему указанию Довгер жандармам.

В двадцатом квартале нас, конечно, давно уже не было. Каратели выбивались из сил, изорвав одежду и обувь, заставали там полуразрушенные шалаши из древесных ветвей и золу от костров.

Однажды, после очередной такой истории, мы долго не встречались с дядей Костей и уже начали за него беспокоиться. Наконец, он пришел в отряд сам и на наши расспросы ответил, что имел «некоторые неприятности». Он попросил Кочеткова в дальнейшем связываться с ним через его дочь Валю.

— Не рано ли ей? — усомнился Кочетков, знавший дочь Константина Ефимовича.

— Ей семнадцать лет, — сказал Довгер и добавил со вздохом.— Что поделаешь, надо.

Валя выглядела моложе своих семнадцати. Тоненькая, хрупкая, с большими, похожими на отцовские, карими внимательными глазами, она напоминала подростка. Работала она счетоводом на мельнице в селе Виры. Роль связной между отцом и партизанами пришлась ей по душе. Она ревностно принялась за дело.

Как-то встретившись в условном месте с Кочетковым

и сообщив ему то, что велел передать отец, Валя добавила кое-что и от себя.

— Была я в Сарнах,— сказала она,— немцев там полным-полно. Какой-то запасный полк разместился.

— Пехотный? — поинтересовался Кочетков. Он уже имел эти данные от своих ребят и решил проверить способности Вали, как разведчицы.

— Не знаю,— честно призналась девушка.— Но я вам обещаю: к следующему разу я изучу все отличительные знаки. Обязательно.

И действительно, при следующей же встрече Валя назвала Кочеткову все роды войск, проследовавшие в эти дни мимо станции Клесово.

— А зачем вы ходили на станцию? — спросил Кочетков.

— То есть как зачем? Смотрела на немецкие эшелоны. Я знаю, вам это нужно.

Так она сама — хотел или не хотел того Кочетков — стала разведчицей.

И он дал ей первое самостоятельное задание.

Валя стала бывать в окрестных селах, ездила в Сарны, где у нее были подруги, узнавала все, что ей поручалось узнать, и, гордая, сияющая, рассказывала Кочеткову.

Константин Ефимович, узнав, что дочь работает самостоятельно, отнесся к тому, что она делает, неодобрительно. Однажды в разговоре со мной он даже пожаловался: «Семнадцать лет девчонке, куда ей! Я бы уж сам как-нибудь... Знаете, одно дело мы с вами...»

Я понимал его тревогу. Он хотел оградить дочь от жестокой действительности войны. Можно ли было осуждать его за это?

Слухи о появлении в Сарненских лесах целой армии партизан были, по существу, не так уж неосновательны. Хотя отряд насчитывал немногим более ста человек, но в действительности нас было не сто, не двести и даже не дивизия, а гораздо больше. Тем или иным путем, нападая или только сопротивляясь, саботируя немецкие мероприятия, помогая партизанам всюду, где только была к тому возможность, нанося оккупантам урон, все население от мала до велика боролось за свободу и независимость своей Родины — было с нами.

Если бы мы действовали только силами своего отряда, мы ничего не смогли бы сделать; очень скоро мы были бы

парализованы или даже уничтожены. Население являлось нашим верным помощником и защитником. На всех этапах борьбы оно было нашей прочной и надежной опорой в тылу врага.

Крестьяне охотно делились с нами скудными своими запасами. Целые деревни собирали для нас продукты: хлеб, овощи. В крупных селах находились наши — «маяки» — по восемь-десять партизан. Эти «маяки» жители называли комендатурами и туда доставляли «харчи для партизан». Место лагеря мы держали в секрете.

Население помогало нам и в разведке. Якобы для продажи кур, овощей или просто под предлогом, будто идут проведать родственников, местные жители посещали районные центры, ближайшие железнодорожные станции; высматривали, выспрашивали и рассказывали обо всем нам. Особенно отличались девушки, старухи и подростки, которых трудно было в чем-либо заподозрить. Местные жители знали дороги, знали людей и приносили отряду неоценимую пользу.

Отряд быстро разрастался. Колхозники сами, по собственной инициативе, стали отправлять к нам своих сыновей. Снаряжали молодежь торжественно — вытаскивали запрятанную от фашистов лучшую одежду и обувь, благословляли в путь. От многих сел в отряде было по десять-пятнадцать человек. А такие села, как Виры, Большие и Малые Селища, стали целиком партизанскими: от каждой семьи кто-нибудь был в отряде.

Вливавшиеся в отряд новички проходили у нас военное обучение по программе, рассчитанной на двадцать дней. Дело было поставлено, как в самой заправской военной школе: обучались маршировке, тактике лесного боя, обращению с разного рода оружием. Потом комиссия принимала зачеты. Большинство заканчивало учение на «хорошо» и «отлично».

Ежедневные сводки с фронтов Отечественной войны, которые мы получали по радио и распространяли в деревнях, поддерживали веру населения в победу Красной Армии.

В хуторах и селах, где мы часто бывали, крестьяне переставали сдавать оккупантам продукты. До нашего появления в этом краю немцам с помощью националистов довольно легко удавалось производить «заготовки». Теперь, когда фашисты заходили туда, их встречали огнем из засад.

Так росло и ширилось организованное сопротивление народа немецко-фашистским захватчикам. Так возник в оккупированной Ровенской области новый партизанский край.

Глава пятая

Сарненские леса раскинулись на десятки километров. Но это — не сплошной лесной массив. Через каждые шесть-восемь километров попадается хутор или деревенька, за ней — поле и затем — опять лес.

Мы остановились в лесу неподалеку от деревни Рудня-Бобровская, километрах в ста двадцати от Ровно. Был август, дни стояли жаркие, поэтому землянок рыть не стали, а натянули свои плащ-палатки. У кого их не было, делали шалаши. Лучшим материалом для них оказались еловые ветви. Уложенные густо, они не пропускали дождя. Еловые лапы были и хорошей подстилкой.

Планировка лагеря была такая: в центре, вокруг костра, симметрично растянуты плащ-палатки работников штаба отряда. В нескольких метрах от штаба с трех сторон располагались санслужба, радиовзвод и штабная кухня. Немного дальше — подразделение разведки. Затем, по краям занятого массива, устраивались строевые подразделения.

Весь наш «поселок» был выстроен за одни сутки. Уже на другой день пошли во всех направлениях разведчики — знакомиться с населением, искать верных людей, узнавать о немцах, добывать продукты.

В первую очередь пошли товарищи, знающие украинский язык. Таких у нас было много.

Но не всех партизан можно было посылать в разведку. У многих за время перехода вконец истрепалась обувь. Складов обмундирования у нас не было, а на склады врага на первых порах рассчитывать не приходилось.

«Босоногих», как их в первый же день окрестили в отряде, скопилось довольно большое число. Им ничего не оставалось, как заняться «домашним хозяйством».

Никто не хотел мириться с такой участью.

Боец Королев, коренастый, круглолицый, в прошлом работник пожарной охраны, человек работящий, особенно тяготился своим положением «босоногого», и он нашел выход.

— Товарищ командир, разрешите отлучиться на тридцать минут в лес! — обратился он к своему командиру отделения Грише Сарапулову.

— Зачем? — спросил Сарапулов, смуглолицый парнишка, чуть ли не самый молодой в своем отделении и поэтому невольно напускавший на себя строгость.

— Липу обдирать,— отвечал Королев, помахивая топором, который он только что взял в хозяйственном взводе.— Я себе лапти сплету.

— Что еще за новости? — неодобрительно проворчал Сарапулов, но, подумав, все же разрешил.

— Идите, только чтобы не больше тридцати минут.

Через полчаса Королев вернулся. Он устроился на пеньке возле костра и начал работать. Из липовой коры надрал лыка, свил два оборника, вырезал из дерева колодку.

Уроженец Рязанской области, он хорошо владел этим хитрым искусством. «Босоногие», столпившиеся вокруг, дивились, как ловко он прокладывает лыко сквозь лыко, продергивает конец одного, стягивает вниз конец другого... Сначала пробовали шутить над Королевым, но он не отвечал, поглощенный делом.

Через час он уже примерил готовый лапоть.

— Ну-ка, давай посмотрю,— сказал подошедший Сарапулов.

Взял, повертел лапоть в руках и, не говоря ни слова, унес с собой. Королев не понимал, что бы это значило.

Сарапулов скоро вернулся и сказал:

— Товарищ Королев, твоя работа одобрена. Майор Стехов просил сплести ему пару лаптей. Одновременно дал приказание всем командирам взводов выделить по два человека и направить к тебе на обучение.

— Ну и ну,— удивился «мастер». Он уже примерял второй лапоть. Делал он это сосредоточенно, чувствуя на себе десятки глаз; польщенный таким вниманием, он, однако, не подавал виду, что доволен им.

Через несколько минут начали подходить «ученики».

— Вы будете товарищ Королев?

— Я.

— Нас послали учиться плести лапти.

Собралось восемь учеников.

— Вы, ребята, не смущайтесь,— сказал им Королев, видя, что не все пришли по доброй воле.— Дело стоящее.

Лапоть — старинная русская обувка. Мы сейчас с вами трудности переживаем, босиком приходится бегать. Со своего брата крестьянина сапоги не снимешь, а до фашистов пока не добрались. Что делать?.. Между прочим, сказать вам, лапоть для партизана даже лучше сапог. В сапогах ты стучишь ногой так, что за версту слышно, а возьмите лапти,— он прошелся по лугу,— ну что, слышно? Вот вам и мораль. Лапти — партизанская обувь, я считаю... А теперь перейдем к делу. Берется кора и от целой коры вдоль вырезывается лыко...

На первом же уроке бойцы сплели по одному, хотя и некрасивому лаптю, а через пару дней многие ходили в новеньких лаптях. Так, на первое время, разрешена была проблема обуви.

Много нужд было у нас, когда мы оказались в лесу, оторванные от большого мира. Но из всякого положения находился выход. У людей обнаруживались таланты и как раз в тех областях, в которых более всего были нужны. Так произошло с испанцем Ривасом, тем самым, что когда-то растерялся, оказавшись один в лесу.

Ривас никак не мог найти себе применения в отряде. Он был назначен во взвод, но, будучи человеком физически слабым, не мог нести боевую службу наравне с другими. При переходах он так уставал, что его приходилось сажать на повозку вместе с ранеными. По-русски он не знал почти ни слова. Дел по его специальности авиационного механика пока никаких не было. Впервые в жизни пришлось ему нести караульную службу. Он тяжело переживал свое положение. А тут еще, стоя на посту, он имел привычку строгать перочинным ножом какие-то палочки, нарушая этим устав караульной службы, за что получал замечания. Однажды Риваса забыли сменить. Он так расстроился, что совсем пал духом. Мы ему предложили с первым же самолетом, который к нам придет, отправиться обратно в Москву. Ривас согласился. Но случай все изменил.

Как-то Ривас увидел, что один партизан возится с испорченным автоматом. Испанец подошел, посмотрел и промолвил, качая головой:

— Чу, чу! Ремонтир?

— Вот тебе и «чу-чу», ни черта не выходит! — отозвался с досадой партизан.

— Э! Попроба ремонтир! — предложил Ривас, взял автомат и занялся им.

Оказалось, что в диске автомата лопнула пружина. Ривас нашел сломанный патефон — трофей боя на разъезде Будки-Сновидовичи, вытащил из него пружину и пристроил к автомату. Оружие оказалось в исправности.

Этот случай принес Ривасу славу оружейного мастера. Из всех рот потянулись к нему с просьбой починить оружие. Разведчики достали для него тиски, молотки, напильники, и вот Ривас днями целыми пилит, сверлит, режет. Однажды из ржавого болта, работая одним напильником, он сделал превосходный боек для пулемета, так что трудно было отличить от заводского.

Ривас повеселел, часто улыбался и даже начал полнеть. Работал он с большим удовольствием.

Когда было много «заказчиков», он трудился и ночью при свете костра. Потом смастерил себе подобие лампы, которую по-испански называл «марипоса». Заправлялась «марипоса» не керосином, а конским или коровьим жиром.

Множество оружия, которое было бы брошено, Ривас вернул в строй.

У него оказались поистине золотые руки.

— Ривас, часы что-то стали!

— Э! Плехо. Попроба ремонтир.

— Ривас, зажигалка испортилась!

— Ремонтир!

Когда, наконец, пришел самолет и я спросил Риваса, полетит ли он в Москву, он даже испугался, услыхав этот вопрос, замахал обеими руками.

— Ни, ни, я полезный ремонтир!

Так нашелся у нас оружейных дел мастер.

Походных кухонь, как в регулярных частях армии, у нас не было. Не было, конечно, и настоящих поваров. Да что повара — у нас и продовольствия в первое время не было никакого. Было только то, что добровольно давали крестьяне, и то, что силой забирали у предателей.

Порядок распределения продуктов был строгий. Все, что приносили разведчики, до последней крупинки, сдавалось в хозяйственную часть и там уже шло по подразделениям. Никто не имел права воспользоваться чем-либо лично для себя.

В каждом подразделении была своя кухня; отдельная кухня обслуживала санчасть, штаб, радистов и разведчиков.

Поваром на штабную кухню назначили казаха Дарбека Абдраимова. Новый «повар» ввел свое «меню». Мы стали есть «болтушку». Делалось это так: мясо варилось в воде, затем оно вынималось, а в бульон засыпалась мука. Получалась густая клейкая масса. Мы назвали ее «болтушкой по-казахски». Ели «болтушку» вприкуску с... мясом. Хлеба не было.

Когда муки не было — а это случалось часто,— вместо «болтушки» ели «толченку»: варили в бульоне картошку и толкли ее.

Если не было ни муки, ни картошки, находили зерно — пшеницу или рожь — и варили это зерно. Всю ночь, бывало, стоит на костре котел, кипит, но зерно все же не разваривается.

Когда появилась мука, стали печь вместо хлеба лепешки. Дарбек это делал мастерски. Он клал тесто на одну сковородку, прикрывал другой и закапывал в угли. Получались пышные «лепешки по-казахски».

Большим подспорьем служил «подножный корм» — грибы, земляника, черника, малина. Ежедневно группы партизан отправлялись в лес собирать грибы и ягоды; каждая группа для своего подразделения. От черники у многих были черные зубы, губы и руки. Иногда чернику «томили» в котелках, на углях костров. Томленая, она походила на джем. А если в нее добавлялся трофейный сахарин, получалось уже лакомое блюдо — варенье к чаю. Кстати сказать, чаю у нас тоже не было. Кипяток заваривали листьями и цветом малины.

Много хлопот выпадало на долю Цесарского. Он устраивал санитарные палатки, лечил раненых и больных, следил за гигиеной в лагере и поспевал даже в окрестные села, где с нетерпением ждали партизанского доктора.

В самый короткий срок Альберт Вениаминович завоевал себе, как врач, непоколебимый авторитет. Мы со Стеховым радовались этому обстоятельству: раз бойцы верят в своего врача, значит, каждый из них убежден, что в случае ранения получит нужную помощь; отсюда рождалось чувство уверенности, спокойствие, столь необходимое в нашей боевой работе.

В Цесарского, как врача, все абсолютно верили. Даже раненому испанцу Флорежаксу он внушил веру в выздоровление, несмотря на то, что тот ничего не понимал по-русски. Цесарский неподражаемой мимикой и жестами

умел ему разъяснить то, что хотел, и во всяком случае убедить в том, что он, Флорежакс, будет жить и еще убьет не одного фашиста.

Руку Кости Постоногова наш доктор пристроил на выстроганной по его указанию дощечке, и кость начала срастаться.

Каждое утро, независимо от погоды, Цесарский производил осмотры. Выстроит взвод, прикажет раздеться до пояса. Кого найдет не в порядке — пристыдит, отругает, заставит пойти мыться. Если обнаружит хоть у одного вошь, все подразделение немедленно направляется на санитарную обработку. В теплые дни мылись в речке или у колодца, а когда стало холодно — прямо у костра нагретой водой. Мытье было не из приятных, но никто даже не пытался перечить. Раз сказал доктор, значит баста, так нужно.

Но зато в отряде не было дизентерии и сыпняка, а кругом в деревнях эти болезни свирепствовали.

В отрядной газете «Мы победим», которая стала выходить еще на марше, Цесарский был постоянным корреспондентом. Газета писалась от руки, на обычной ученической тетради. В каждом номере — 3—4 страницы отводилось, как правило, доктору. «Объявим войну эпидемиям»,— писал Цесарский,— «Чистота — наше оружие», «Нечистоплотность в наших рядах — предательство».

В одном номере он поместил такой рисунок: из болота пьют воду свинья и партизан. Под рисунком — стихи:

Боец, похожий на свинью,
Нас подвергает всех заразе.
В сырой воде всегда полно
Бацилл, бактерий, вони, грязи!

Когда Цесарский приезжал в село, там немедленно выстраивались очереди на прием. Это был единственный вид медицинской помощи, которую получало население. Больных было много. Голод и эпидемии косили людей. В этих условиях на врача смотрели, как на избавителя.

После таких приемов Альберт Вениаминович возвращался в лагерь разбитым, молча уходил к себе и долго сидел один в шалаше.

Самое тягостное впечатление производили на него дети — десятки больных детей, которых родители приносили к нему, завернутых в грязное тряпье.

Стоило Цесарскому не побывать в какой-либо деревне шесть-семь дней, как разведчики приносили просьбу жителей прислать поскорее доктора. И Цесарский немедленно отправлялся.

В беседах с товарищами наш доктор утверждал, что его истинное призвание — искусство.

— Вот кончится война, пойду в театр актером,— говорил он.

Лишь только выдавался вечером свободный часок, Цесарский шел к костру, где его уже ждали, и начинал «концерт». Он мастерски, с подъемом читал стихи Пушкина, Маяковского. Далеко был слышен ровный, певучий голос:

С каким наслажденьем
        жандармской кастой
я был бы
        исхлестан и распят
за то,
    что в руках у меня
                молоткастый,
серпастый
    советский паспорт.

Со временем появились у нас свои певцы, плясуны, баянисты. Но на первых порах Цесарский лечил и от болезни, и от грусти. Делал он это с одинаковым успехом. Да, это был врач «на все руки».

Глава шестая

По шоссе Ровно — Костополь едут три фурманки. И хотя в запряжке хорошие, сытые лошади, фурманки движутся не спеша.

На первой — немецкий офицер. Он сидит вытянувшись, равнодушно и презрительно поглядывая вокруг. С ним рядом человек в военной форме, с белой повязкой на рукаве и трезубом на пилотке.

На двух других фурманках полно полицейских. Одеты они пестро. На одном — военные брюки и простой деревенский пиджак, на другом — гимнастерка, а на голове обыкновенный картуз, на третьем — красноармейское обмундирование со следами от снятых петлиц. Но на рукавах у всех белые повязки с надписью «шуцполицай». Повязки эти крестьяне называли «опасками».

Если на первой фурманке офицер и полицейский, видимо, старший, сидят чинно, то на двух других полицаи, развалившись, горланят песни, дымят самосадом.

Картина обычная: бандиты с офицером-фашистом во главе едут в какое-нибудь село громить жителей за непокорность.

Шоссе — прямое и открытое. По сторонам — поля и луга, поодаль — леса. Движение на дороге довольно оживленное. Время от времени грузовая или легковая немецкая машина на большой скорости проносится мимо фурманок. Когда машина обгоняет фурманки или едет им навстречу, офицер еще больше подтягивается, злобно покрикивает на горланящую братию и, выбрасывая правую руку вперед, приветствует встречных немцев. Ясно, что офицеру противно тащиться на фурманке со сбродом людей «низшей расы», когда его коллеги разъезжают в комфортабельных автомобилях.

Вот уже три часа как фурманки движутся по шоссе, пугая своим появлением жителей придорожных хуторов. При их появлении люди скрываются в хаты и испуганно выглядывают из окон.

Впереди на шоссе показалась большая красивая легковая машина. Дорога тянется среди поля. Офицер на фурманке привстал, внимательно осмотрелся вокруг. Кроме этой машины, ни позади, ни впереди никого не видно. Тогда, повернувшись к задним фурманкам, он поднимает руку. Песни и гам мгновенно смолкают.

Машина приближается. Полицай, сидящий рядом с офицером, соскакивает с фурманки и быстро идет вперед. Как только машина поравнялась с ним, он спокойно, как на учении, бросает в нее противотанковую гранату. Разрыв пришелся позади машины. Взрывная волна скидывает блестящий «оппель-адмирал» в придорожный кювет.

«Хлопцы», горланившие на задних фурманках, посыпались на землю и с оружием наизготовку бросились к опрокинутому автомобилю. Офицер, командовавший «полицаям» уже стоял тут.

— Молодец, Приходько! — сказал он по-русски «полицаю», бросившему гранату.— Хорошо рассчитал. Машину перевернул, а пассажиры целы.

Когда из машины вытащили двух испуганных и немного помятых фашистов, тот же офицер заговорил с ними по-немецки:

— Господа, прошу не беспокоиться! Я лейтенант немецкой армии Пауль Зиберт. С кем имею честь разговаривать?

Пожилой офицер с рыжими волосами и прыщеватым лицом ответил:

— Я майор граф Гаан, начальник отдела рейхскомиссариата. А со мною — он указал на другого — имперский советник связи Райс, из Берлина.

— Очень приятно,— сказал лейтенант.— Ваша машина пострадала, прошу пересесть на повозку.

— Объясните, в чем дело! — потребовал граф.— Я ничего не понимаю.

Он собирался что-то еще выяснить, но лейтенант кивнул своим людям. Те схватили фашистов, связали им руки и уложили в фурманки.

На первом же повороте фурманки свернули в сторону от шоссе и скоро очутились на нашем партизанском «маяке». Здесь немецкий офицер переоделся в комбинезон и стал тем, кем был на самом деле — Николаем Ивановичем Кузнецовым.

Изо дня в день Кузнецов изучал обстановку, подолгу беседовал с товарищами, возвращавшимися из разведки, с задержанными на постах местными жителями. Но больше всего интересовали Кузнецова пленные гитлеровцы. Решив объявить себя пруссаком, он перечитал все, что мог достать о Восточной Пруссии, об ее экономике, природе, населении, в конце концов настолько живо представлял себе эту область и ее центр — город Кенигсберг, словно там родился и прожил всю жизнь.

Беседы с пленными гитлеровцами могли помочь ему в этих занятиях.

Но пленные, которых мы брали, никак не удовлетворяли Николая Ивановича.

— Не люди, олухи какие-то! — сказал он мне как-то после очередной беседы. — Заводные манекены! Кроме «хайль Гитлер» и «Гитлер капут», ни черта не знают. Спросишь о чем-нибудь важном — обязательно станут во фронт, руки по швам: «я солдат и в политике не разбираюсь!» Разговаривать противно.

— Откуда же я вам профессора достану? — смеясь возразил я.

— Я мог бы достать себе настоящего «языка», длинного, который многое знает и многое сможет рассказать.

— Каким образом?

— Надумал одну операцию. Дело только за вашим разрешением.

Так возник план «подвижной засады».

Как указывается в военных учебниках, обыкновенная засада проводится так: притаившись в определенных местах, бойцы ждут появления противника и нападают на него. Ну, а если вам дано открытое шоссе и кругом одни лишь поля — где там устроить засаду? Вот почему Николай Иванович решил провести, как он сам выразился, «подвижную засаду» на фурманках.

Он недаром облюбовал красивый «оппель-адмирал». Пассажиры этой машины действительно оказались интересной добычей, «языки» на самом деле длинные.

В лагере Кузнецов явился к пленным все в той же форме немецкого лейтенанта. Соблюдая положенный в германской армии этикет, он расшаркался перед ними.

— Садитесь,— хмуро предложил галантному лейтенанту майор Гаан, указывая на бревно. Иного сиденья в палатке не было.

— Как вы себя чувствуете? — любезно осведомился Кузнецов.

Но пленные были настроены не столь благодушно.

— Скажите, где мы находимся и что все это означает?

— Вы в лагере русских партизан.

— Почему же вы, офицер немецкой армии, оказались в стане наших врагов.

— Я русский.

— Зачем вы говорите неправду! — возмутился граф.— Вы немец, вы предали своего фюрера!

Кузнецов решил уступить.

— Я пришел к выводу, что война проиграна. Гитлер ведет Германию к гибели. Я добровольно перешел к русским, а вам советую быть откровенными.

Пленные упирались недолго. Скоро у Кузнецова началась с ними откровенная беседа. С этими «собеседниками» Николай Иванович мог вполне проверить себя и свое знание немецкого языка. К тому же граф Гаан оказался «земляком» Кузнецова. Он проживал в Кенигсберге.

Среди многочисленных секретных бумаг у пленных оказалась топографическая карта, на которой были детально нанесены все пути сообщения и средства связи гитлеровцев как на территории Украины и Польши, так и в самой

Германии. Изучая эту ценную карту, Кузнецов обратил внимание на линию, смысл которой был ему неясен. Линия начиналась между селами Якушинцы и Стрижевка, в десяти километрах западнее города Винницы, и кончалась у Берлина.

Какая же связь между маленькими украинскими селами и столицей гитлеровской Германии?

Ни граф Гаан, ни имперский советник связи Райс долго не хотели отвечать на этот вопрос.

— Это государственная тайна,— заявил Гаан.

Но именно поэтому-то мы и интересовались линией Берлин —Якушинцы. Кузнецову пришлось допросить пленных как следует.

— Это многожильный подземный бронированный кабель,— сказал, наконец, Райс под упорным взглядом Кузнецова.

— Для чего он проложен?

— Он связывает Берлин с деревней Якушинцы.

— Это я вижу на карте... А почему именно с Якушинцами?

— Там находится ставка фюрера,— процедил имперский советник.

— Когда проложен подземный кабель?

— Месяц назад.

— Кто его прокладывал?

— Русские. Военнопленные.

— Русским военнопленным доверили тайну местонахождения ставки Гитлера?

— Их обезопасили.

— Что вы имеете в виду?

Пленные молчали.

— Что вы имеете в виду? — повторил Кузнецов, меняясь в лице.— Их уничтожили?

Пленные продолжали молчать.

— Сколько их было?

— Военнопленных? — пробормотал Гаан.— Двенадцать тысяч.

— И все двенадцать тысяч...

— Но это же гестапо.

— Двенадцать тысяч человек!

— Это гестапо! — твердили фашисты.

Кузнецов был по натуре человеком сдержанным. Я не помнил случая, чтобы он нервничал, повышал голос, да-

вал волю своему негодованию. Но тут он не выдержал. Все, что день ото дня накапливалось в его душе, вырвалось наружу неукротимым желанием мести, стремлением самому, своими руками физически уничтожать извергов.

С этого дня просьбы Кузнецова об отправке его в Ровно стали еще настойчивее.

— Я готов, — доказывал он. — Видите, вот у этих двух гитлеровцев не возникло даже сомнения в том, что я немец.

В самом деле, история с Гааном и Райсом послужила прекрасной проверкой готовности Кузнецова. Язык он знал действительно в совершенстве и также в совершенстве усвоил манеры состоятельного отпрыска прусской юнкерской семьи, привилегированного офицера.

Что касается языка, то Кузнецов вообще был прирожденным лингвистом. До прибытия в лагерь он совершенно не знал украинского языка. За короткое время пребывания на Украине, посещая хутора, общаясь с партизанами-украинцами, он быстро усвоил язык, научился украинским песням. Крестьяне считали его настоящим «хохлом». Когда мы появились в местах, населенных поляками, Николай Иванович заговорил по-польски и даже запел польский национальный гимн.

Можно было бы не откладывать отправку Кузнецова, если бы не некоторые мелочи, внушавшие беспокойство. Одной из таких «мелочей» было то, что Николай Иванович иногда разговаривал во сне. Разговаривал, конечно, по-русски.

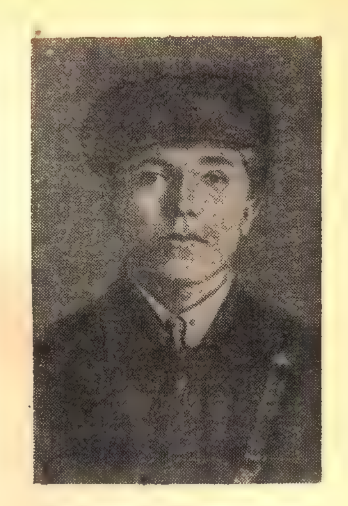
— Это может вас выдать,— сказал я ему.— Вы должны забыть русскую речь. Именно—забыть. Говорите только по-немецки, думайте по-немецки. Не с кем говорить? Идите к Цесарскому, разговаривайте с ним...

— Хорошо,— согласился Кузнецов.— Я постараюсь.

Он принадлежал к числу тех людей, которые скупо рассказывают о себе и о которых больше говорят их поступки, нежели слова. Чем ближе я узнавал его, тем лучше видел, что причиной его замкнутости была не скрытность характера, не самомнение, а скромность — естественная скромность человека, не находившего в своей жизни ничего такого, что могло бы поразить или чем-то удивить других людей. Биографию свою он считал самой заурядной и нередко завидовал тем, чья жизнь скла-



Н. Кузнецов — студент техникума



Н. Кузнецов — комсомолец

дывалась бурно, была насыщена событиями, казалась интереснее, чем его.

Как-то мы разговорились с ним, возвращаясь с охоты. Был холодный осенний полдень. Моросил мелкий дождь. Мы оба порядком устали, думали каждый о своем и лишь изредка перебрасывались отдельными словами. Незаметно разговор зашел о Саше Творогове, человеке, которого мы оба хорошо знали и любили.

— Творогов был из тех, кто к тридцати годам может писать свою биографию в трех томах,— сказал Кузнецов, не скрывая зависти.

— А разве вы, Николай Иванович, не могли бы рассказать о себе, о своей жизни,— ну, если не в трех томах, то хотя бы в одном,— удивился я.— Неужели ваша жизнь протекала так уж неинтересно, что о ней и сказать нечего?

— Да нет, я бы не сказал, что недоволен своей жизнью,— ответил Кузнецов задумчиво.— Но есть люди, жизнь которых достойна удивления и подражания. Люди воевали в Испании, дрались с японцами на Халхин-Голе, участвовали в финской войне, а у меня — что? Моя жизнь самая обыкновенная; найдутся сотни тысяч с такой биографией. Родители мои простые крестьяне. Нас, детей, у них было четверо — сестры Лида и Агафья, брат Виктор и я. Из

братьев я старший. Семи лет пошел в школу. У меня всегда была хорошая память. Было мне лет семь или восемь, когда я читал отцу наизусть «Бородино» Лермонтова. Помните?

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой...

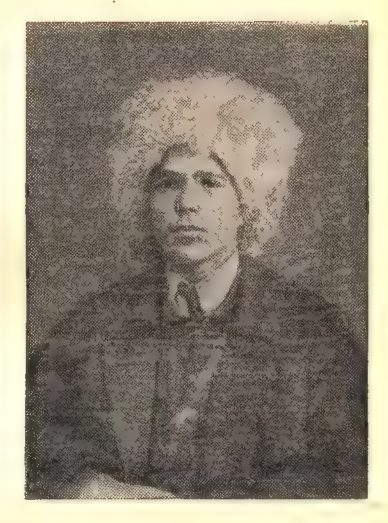
— Я забыл сказать,— продолжал Кузнецов,— что жили мы на Урале, в Свердловской области, в селе Зырянка. Село большое — дворов триста, сплошь беднота, школа маленькая — четыре класса. Тем, что мне удалось доучиться, я во многом обязан семье Прохоровых. Эти чудесные люди много сделали для моего воспитания, я до сих пор благодарен им. Потом мне пришлось ехать в Талицу, районный центр. Там я жил самостоятельно; отец платил за угол да за харчи. Техникум кончил в Тюмени, оттуда уехал в Кудымкар — в Коми-Пермяцкий автономный округ, там работал по специальности. Так получилось, что я редко с тех пор виделся со своими. Помню, приехал домой в двадцать девятом году — отца в живых уже не было, мать мучается одна с семьей. Приезжаю я, как сейчас помню, в комсомольском костюме — некоторые комсомольцы тогда форму носили. Говорю матери: почему, мама, в коммуну не вступишь? Рядом с селом была коммуна «Красный пахарь»; организовалась она еще в девятнадцатом году. «Боязно». Три дня я ее агитировал. Убедил-таки. Хотел на следующий год приехать, посмотреть, как старушка в коммуне работает, да не удалось. Так, представьте себе, и не был с тех пор на родине. Кончим войну — обязательно побываю.

Он умолк, задумался немного и снова заговорил:

— С тех пор из родных виделся только с братом Виктором. Он приезжал в Кудымкар. В то время он работал в Свердловске, на Уралмашзаводе. Много интересного рассказывал, хвалился. Своими рассказами он и меня соблазнил. Уехал я в Свердловск. Поступил на Уралмаш, в конструкторское бюро, и начал учиться в заочном индустриальном институте. Учиться хотелось дьявольски. Читал запоем — книгу за книгой.

— Тогда и немецкий язык изучали? — спросил я.

— Да, начал тогда... Взялся за него случайно. До этого никогда не подозревал в себе способностей к языкам. Были у нас на заводе немцы, иностранные специалисты. По работе мне приходилось иметь с ними дело. Придет этакий дядя в брюках гольф, начнет тарахтеть, тычет пальцем в чертежи, доказывает... Я и не заметил, как научился довольно ловко с ними объясняться. Немецкий язык меня крепко заинтересовал. Захотелось читать Гете в подлиннике. В переводах все-таки сильно проигрывает. Поступил я — опять заочно — на курсы иностранных языков. Учеба шла довольно быстро. С одной стороны, курсы—грамматика, словари, переводы из классиков, с другой — немцы-инженеры, разговорная практика. Так вот и научился. В тридцать шестом году я защищал диплом инженера и знаете как? — Кузнецов прищурил глаза.— На немецком языке. Захотелось блеснуть! — Помолчал.— Из Свердловска я попал в Москву, года полтора работал на заводе, тут началась война...



Николай Кузнецов в Кудымкаре

Снова помолчал.

— У вас родные остались в Москве? — вдруг неожиданно спросил он.

— Осталась жена,— ответил я. — Сын добровольно пошел в армию.

— Вы о них что-нибудь знаете?

— Почти ничего.

— Вот и я о своих почти ничего не знаю. Сам-то я, правда, жил всегда бобылем, в свои тридцать лет так и не успел жениться... Брат в армии. С первого дня. В октябре под Вязьмой попал в окружение. Месяц ходил по лесам, голодный, еле выбрался. Попал в Волоколамск, оттуда в Москву. Представьте — звонит ко мне с Ржевского вокзала. Пробыли мы вместе два часа, пока эшелон стоял.

Где он теперь — не знаю. Перед вылетом написал ему на полевую почту...

Беседа наша была прервана самым неожиданным образом. Мы почувствовали, что в кустах находится какое-то живое существо. Явственно слышалось прерывистое дыхание. Не сговариваясь, изготовив оружие, стали подходить к кустам.

Мы увидели мальчугана, совсем маленького, лет шести-семи. Он лежал, запрокинув голову. Малыш еле слышно отозвался на наш оклик.

Вид у него был страшный. Худое тело, ребра, обтянутые синей кожей, неестественно тонкие ноги... Одет в какое-то тряпье. На ноге гноилась рана. Мальчик мутными, словно безжизненными глазами смотрел на нас и ежился. Из нескольких слов, которые он произнес, мы узнали, что его зовут Пиней, что он убежал из гетто искать мать, которую в группе евреев фашисты вывезли за город, искал ее почему-то в лесу... Заблудился. Лежал в кустах двое или трое суток.

Николай Иванович стоял бледный, сжав губы так, что на лице его ясно обозначились скулы. Ни слова не говоря, он снял с себя телогрейку, бережно, словно боясь причинить боль, поднял мальчика, укутал его и быстрыми шагами пошел с этой ношей к лагерю.

Вечером он пришел ко мне и вновь стал просить, чтобы его немедленно отправили в Ровно.

Если еще тогда, в гостинице, при нашем первом знакомстве, Кузнецов высказал твердое желание активно бороться с ненавистным врагом, то теперь, после всего, что он здесь увидел, это желание удесятерялось, становилось всепоглощающей страстью, неутолимой жаждой. И чем дальше, тем труднее было удерживать Кузнецова в отряде.

Недалеко от лагеря, у деревни Вороновки, мы подыскали луг, удобный для приема самолетов. Площадка большая, но ровного места — в обрез. Чтобы произвести посадку, от летчика требовалась большая точность.

Из Москвы нам обещали прислать боеприпасы, а в Москву мы хотели отправить добытые нами важные документы и раненых.

Мы сообщили координаты площадки и получили извещение, что самолет будет.

Кочетков, как специалист по аэродромным делам, по всем правилам распланировал костры: один из них ограничивал площадку, другие изображали букву Т, указывая направление и место посадки.

На дорогах, ведущих к аэродрому, на расстоянии трех-пяти километров были расставлены наши секретные сторожевые посты.

Две ночи прождали мы напрасно, и только на третью самолет вылетел. Но нас подстерегала беда.

За час до появления самолета со стороны небольшой речушки надвинулся густой туман. Расстилаясь по земле, он совсем закрыл площадку. Что делать? Предупредить летчика, что сажать машину опасно, мы не могли — сигналов для этого не было предусмотрено.

— Виктор Васильевич,— сказал я Кочеткову,— разжигайте сильнее костры, может, кострами разгоним туман.

Костры запылали, но туман не проходил.

Послышался гул моторов.

— Воздух! Поддай еще! — командовал Кочетков. Вот где пригодился его зычный голос!

Еле видный из-за тумана, самолет появился над площадкой, пролетел и ушел в сторону.

— Улетел — понял, что садиться нельзя,— решил я.

Но вдруг вновь послышался моторный гул.

— Летит, летит!

— Решил садиться.

Гул нарастал. Мы не видели самолета, но по звуку поняли, что он уже над площадкой. Мгновенная вспышка и страшный треск.

В тумане летчик не увидел знака Т и приземлился не там, где следовало.

За краем площадки, в нескольких метрах от речушки, уткнувшись носом в землю, стояла машина. Из нее выскочили с пистолетами в руках летчики, штурман и радист. Увидев своих, они запрятали пистолеты и беспомощно сели на землю. У командира экипажа, с которым я поздоровался, лоб был в крови.

— Вы ранены?

— Пустяки. А вот он,— капитан указал на самолет,— ранен смертельно.

Вместе с экипажем наш механик Ривас осмотрел машину и подтвердил, что ничего сделать нельзя: все раз-

бито. Повреждено шасси, пробиты крылья и баки. Нужен не ремонт, а замена частей.

Как ни жаль, но единственное возможное решение — сжечь самолет, а несгоревшие части бросить в реку.

Партизаны быстро разгрузили машину, сняли с нее пулеметы и все, что могло быть отвинчено и оторвано. Потом подложили под крылья и баки солому, полили бензином и подожгли.

Самолет охватило пламенем, взорвались баки, к небу поднялись клубы дыма. А мы стояли в стороне и молча прощались с ним, как с живым посланцем Родины. В какой-то степени и мы, и летчики чувствовали себя виноватыми. Но в чем наша вина? Проклятый туман!

Произошло это в дни героической обороны Сталинграда, именно в те дни, когда все силы советских людей были направлены на борьбу с фашистскими полчищами. Родина не забывала нас, советских людей, борющихся в далеких Сарненских лесах...

На следующий день в отряде состоялся митинг. Мы поклялись, что вместо этого самолета уничтожим десять вражеских и взятые в бою ценности отправим в Москву на постройку новых машин. Находясь в тылу врага, мы поддержали патриотическое движение рабочих, колхозников, советской интеллигенции, отдававших свои сбережения на постройку вооружения для нашей армии.

Снова начались поиски более надежной площадки. В этих поисках мы встретились с людьми, которые указали нам место, пригодное для посадки самолетов, и принесли отряду большую пользу.

Глава седьмая

Разведчики доложили, что несколько дней назад на одной из дорог, в двух десятках километров от лагеря, неизвестные люди напали на вражеский обоз с молочными продуктами. Фашистов перебили, а продукты забрали и роздали крестьянам. «Вероятно, кто-нибудь из наших разведчиков»,— подумал я. Опросил товарищей — никто ничего не знает. Через несколько дней опять новость: на большаке кем-то была остановлена немецкая легковая машина. В ней ехал майор, шеф жандармерии района, в сопровождении двух солдат. Они везли с собой пятерых связанных по рукам и ногам крестьян. Неизвестные расстреляли

шефа жандармерии и солдат, а крестьян отпустили по домам.

Сведения были туманны и нуждались в уточнении. Но какую радость вызвали они в отряде, как подняли настроение партизан:

— Значит, мы здесь не одни!

Хотелось как можно скорее узнать, кто они, эти неизвестные наши соратники.

Разведчикам было поручено наводить справки во всех окрестных селах, расспрашивать крестьян: кто еще, кроме нас, партизанит в этих краях? Но проходили дни, а мы так и не слышали ничего нового.

Зато мы убедились, что действительно рядом с нами существуют и действуют группы советских патриотов, небольшие по численности, не всегда хорошо вооруженные, оторванные друг от друга, но сильные в своей непреклонной решимости уничтожать немецких захватчиков. Не проходило дня, чтобы такие группы не давали о себе знать. Все чаще и чаще видели мы их у себя в лагере — они приходили в сопровождении наших разведчиков и оставались в отряде.

Так пришел к нам житель села Виры Демьян Денисович Примак, человек пожилой, не очень крепкого здоровья, но тем не менее решившийся итти в лес партизанить вместе со своими двумя сыновьями. Все трое были вооружены винтовками и имели солидный запас патронов.

— Сил нет смотреть, что с народом делают,— заявил Демьян Денисович. Несмотря на небольшой рост и сутулые натруженные плечи, он гордо стоял среди безусых своих сыновей.

Неподалеку от села Ясногорки разведчикам повстречался деревенский паренек Поликарп Вознюк. С ним было пятеро хлопцев, которые сидели в засаде и которых он кликнул, когда убедился, что имеет дело с партизанами.

Хлопцы были из разных деревень и первое время скитались поодиночке, ища способов добыть оружие и начать борьбу.

Иван Лойчиц, первый ставший на этот путь, нашел сначала Поликарпа Вознюка, затем Семена Еленца. Оба парня были комсомольцы, и тем охотнее Лойчиц им доверился. Потом к ним присоединился еще один товарищ, за этим — двое других.

Первые три винтовки были отняты у лесников, еще

три и четыреста патронов к ним добыли в результате засады на эсэсовца, «ведавшего» шестью селами и угонявшего молодежь на фашистскую каторгу. Сам эсэсовец, чудом уцелевший, тут же уехал в районный центр Клесово и больше у себя на «участке» не показывался. В деревне Селищи они вшестером обезоружили группу полицаев, надолго отвадив их от этой деревни.

Таким образом, Вознюк, Лойчиц и остальные, правда, не причинив врагам достаточно большого урона, все же нагнали на них страху и, главное, завладели оружием, которое пригодилось на будущее.

Разведчики привели их в отряд. У всех — и у разведчиков и у хлопцев — были сияющие лица. Они долго потом рассказывали, как знакомились, как угощали друг друга: разведчики хлопцев — самодельной партизанской колбасой и папиросами, те их — хлебом и махоркой-самосадом — всем, что у них было.

Новички поведали о том, что много людей в селах стремится уйти в партизаны; их останавливает лишь мысль о семьях, которым в этом случае наверняка грозит гибель от рук врагов.

Мы, конечно, спросили и у Демьяна Денисовича Примака, и у Вознюка с его ребятами, — не известен ли им в этих местах какой-либо еще партизанский отряд, кроме нашего, и, в частности, не слыхали ли они о нападении на машину шефа жандармерии. Но они знали об этом не больше нашего.

Вскоре, однако, загадку удалось решить.

Четверо партизан отправились в разведку. Им было дано задание подыскать новую площадку, которая могла бы служить аэродромом.

Во главе четверки пошел молодой партизан по фамилии Саргсян, по имени Наполеон, уроженец Еревана; человек смелый, но увлекающийся, способный сгоряча сделать неосторожный шаг. Так случилось с ним и на этот раз. Возвращаясь в лагерь, Наполеон остановился с товарищами возле незнакомой деревни, куда ему вдруг захотелось заглянуть.

— Вы подождите меня,— сказал он разведчикам,— я скоро! Только посмотрю, что делается,— и обратно.

Это был, конечно, безрассудный шаг. Пойти в незнакомую деревню в гимнастерке и брюках защитного цвета, в пилотке с пятиконечной звездой!

Недолго думая, Саргсян «замаскировался»: повернул пилотку звездой назад и отдал автомат товарищу.

У крайней хаты ему пришлось остановиться. Он увидел какого-то мужчину. Тот дал знак в окно хаты. Оттуда вышел еще мужчина. Саргсян решил, что это засада, и бросился назад. Незнакомцы — за ним. Разведчики, наблюдавшие с опушки, заметили погоню и залегли, собираясь прикрыть огнем безоружного товарища.

Но тут они услышали довольно мирный голос одного из преследователей:

— Эй, хлопец, подожди, поговорим!

Саргсян добежал до опушки, взял у партизан свой автомат, изготовился к стрельбе.

— Да положи ты автомат! — крикнул один из преследователей. Спокойствие, с которым он приближался к разведчикам, подействовало на Саргсяна отрезвляюще.

Он опустил оружие и увидел перед собой коренастого, розовощекого парня. Тот говорил:

— Поверни-ка лучше пилотку! Я сам успокоился, когда ты бежал: раз звездочка, значит все в порядке, свои.

— Допустим,— отвечал Саргсян, на всякий случай не выпуская автомат. Он был совершенно сбит с толку.

— Меня зовут Николай Струтинский,— отрекомендовался новый знакомый.— Передайте вашему командиру, что я хочу с ним поговорить. У меня тут небольшая группа — тоже партизаним.

Они условились о следующем свидании. На прощание Струтинский подарил Саргсяну трофейный серебряный тесак. Разведчики были уже далеко, когда Саргсян, оглянувшись, увидел коренастую фигуру Струтинского. Юноша все еще стоял на опушке, провожая их взглядом.

Возвратившись в лагерь, Саргсян доложил мне о встрече, но умолчал о том, как он оставил оружие у товарищей и как потом бежал. Ничего не сказал он и о подарке. Я велел привести Струтинского в лагерь.

На другой день я все же узнал о том, что хотел скрыть от меня Саргсян. Узнал из нашей отрядной газеты «Мы победим». В газете был нарисован шарж: с перевернутой назад пилоткой, заложив руки в карманы, важно шествует Саргсян, а позади стоит удивленный разведчик и держит его автомат.

Под рисунком стихи:

Наполеон в поход собрался,
И, чтоб свободным быть,
Он быстро догадался
Друзьям оружье сбыть...

Саргсяна в лагере не было — он отправился за Струтинским. Когда он вернулся, я показал ему рисунок в газете.

— Узнаешь?

Он долго рассматривал рисунок. Я видел, как густая краска залила его лицо. Видимо, не зная, что ответить, он смущенно молчал. Я пришел на помощь:

— Это правда?

— Да,— ответил Саргсян.

— Кто же отдает свое оружие? Где это слыхано, а?

— Больше не повторится,— выговорил он тихо.

Я узнал, что Саргсян, сознав свою вину, пуще всего боится, что его перестанут посылать в разведку.

Неподалеку от штабного шалаша стояли люди, которых привел Саргсян. Их девять человек. Они были вооружены самозарядными винтовками «СВ», немецкими карабинами и пистолетами. Из карманов торчали рукоятки немецких гранат, похожих на толкушки, которыми хозяйки мнут вареную картошку. Тут же стоял пулемет, снятый, видимо, с советского танка.

— Кто старший? — спросил я, глядя на пожилого с тронутыми сединой, рыжеватыми усами партизана. Он стоял, опершись вместо палки на срезанный сосновый сук, и взирал, именно взирал, строго и испытующе на стоявших рядом молодых людей. Я полагал, что человек с выцветшими усами и есть старший.

Но я ошибся. От группы отделился молодой паренек с пунцовыми — то ли от волнения, то ли от природы — щеками.

— Это вы Николай Струтинский?

— Да,— отвечал паренек сдержанно, но с достоинством.

— Я вас слушаю.

— Да вот, как видите, пришли к вам. Хотим остаться.

— Это ваш отряд?

— Тут у нас почти все свои,— сказал Струтинский.— Это,— он показал на пожилого,— отец, эти вот — братья: Жорж, Ростислав, Владимир. Те двое — наши колхозники, а эти—военнопленные, убежали из ровенского лагеря.

Еще мать у нас с сестренкой на хуторе укрытые. Если примете нас — возьмем их сюда...

Итак, передо мной партизанская семья. Отец, мать, четверо сыновей... Ребята, что называется, один к одному.

— Всей семьей — к нам?

Старик ответил за сына:

— Да уж все, кто есть.

Крепкие, кряжистые, похожие друг на друга и на отца; у всех правильные черты, чистые голубые глаза, своеобразная посадка головы, придающая гордую осанку фигуре.

Николай рассказал, что в их группе было двадцать человек, но одиннадцать из них — бывшие военнопленные — недавно ушли к линии фронта, на соединение с Красной Армией.

Говорил он медленно, то и дело заливаясь краской. Старик не сводил глаз с сына и беззвучным движением губ как бы повторял его слова.

— Как же вы партизанили? — поинтересовался я.

— Да так уж,— отвечал, опустив глаза, Николай. — Что умели, то и делали. Ну, а больше скрывались и искали партизан.

— Откуда вы о нас узнали?

— О вас много разговоров по деревням. Мы и решили найти вас и присоединиться...

Так отряд пополнился еще девятью бойцами.

Я много думал о семье Струтинских. Вот она, наша сила! Семья, от мала до велика поднявшаяся на борьбу с врагом! Такой народ невозможно покорить!

...Я увидел у Саргсяна серебряный тесак. Такие тесаки носили обыкновенно немецкие старшие офицеры.

— Откуда он у тебя?

— Товарищ командир, это подарок.

— От кого?

— Да этот самый Струтинский подарил.

Откуда у Струтинского взялся немецкий офицерский тесак? — Спросил его.

— Да мы тут как-то отбивали арестованных колхозников, а с ними шеф жандармерии ехал. У него я и взял.

— Так это были вы?

— Мы,— сказал Струтинский, недоумевая, почему это могло меня заинтересовать.— Разве мы тут ошиблись, товарищ командир? — спросил он, краснея.

— Нет,— сказал я,— вы поступили правильно. Уничтожать фашистов из фельджандармерии — это наша всенародная, почетная задача.

Всю свою жизнь Владимир Степанович Струтинский проработал каменщиком в Людвипольском районе. Девять детей вырастил он с женой Марфой Ильиничной. Советская власть принесла счастье этим простым труженикам. Впервые почувствовали они себя свободными, полноправными людьми. Свет нового мира вошел в жизнь Струтинских, согрел ее своим теплом, озарил своими высокими идеями, сделал доступными самые смелые мечты.

Владимир Степанович получил возможность на старости лет оставить тяжелую работу и устроился в лесничество помощником лесничего. Николай, окончив курсы, начал работать шофером в Ровно. Жорж уехал в Керчь, поступил на судостроительный завод учеником токаря. Как и брат, он получил квалификацию бесплатно, за счет государства. Младшие дети оставались пока в семье.

Началась война. Враг захватил родной край. В первые же дни оккупации двух сыновей Владимира Степановича — Николая и Ростислава — арестовали и хотели отправить в Германию, но они бежали из лагеря в лес. Скоро к ним присоединился третий брат, Жорж. Начало войны застало его в армии; часть попала в окружение; после долгих мытарств Жорж пробрался в родные края.

С разбитого, брошенного на дороге танка Жорж снял пулемет и приспособил его для стрельбы с руки. Так у братьев появилось оружие.

Из этого пулемета Николай и убил фашистского жандарма. Автомат, взятый у убитого врага, стал оружием Николая.

Они и не заметили, как стали партизанским отрядом — пусть маленьким, но активным. К сыновьям присоединился отец. По его предложению командиром назначили Николая.

Партизанская семья Струтинских обрастала людьми. Присоединялись односельчане, колхозники из соседних деревень, бежавшие из лагерей военнопленные.

В селах начали поговаривать о братьях-партизанах. По указке предателя фашисты ворвались в дом Струтинских, где была только мать, Марфа Ильинична, с четырьмя младшими детьми. Ее били ногами, прикладами, били на

ее глазах детей, требуя, чтобы она указала, где муж и сыновья. Ничего не добившись, палачи скрутили ей руки и заявили: «Повесим, если не скажешь!»

Но не повесили. Решили — оставить, надеясь, что когда она будет дома, удастся выследить ее сыновей.

Ночью Владимир Степанович пробрался к своей хате и тихонько постучал.

Марфа Ильинична открыла дверь.

— Слушай, мать, — сказал Владимир Степанович, войдя в хату.— Зараз собирайся, бери хлопцев, бери дочку и пойдем. Я провожу тебя на хутор к верному человеку. Володю возьму с собой...

Марфа Ильинична наскоро собралась, разбудила детишек. Под покровом короткой летней ночи, никем незамеченные, Струтинские покинули родной угол. Через день фашистские жандармы сожгли хату, а оставшийся скарб разграбили.

Эту волнующую историю рассказал мне Владимир Степанович. Он поделился своей тревогой за жену и детей:

— Боюсь, найдут их на хуторе. Если найдут — беда. Не оставят в живых.

— А часто ездят фашисты на этот хутор?

— Фашисты почти не ездят...

— Ну, ничего, пока как-нибудь обойдется, а там — придумаем,— успокоил я старика, думая про себя, что надо взять его жену и малышей в отряд и отправить самолетом в Москву.

— Фашисты почти не ездят,— продолжал Владимир Степанович,— а вот националисты... Они ведь нас агитировали, хотели, чтобы мы к ним подались. Видите, вот,— он достал из кармана кисет и извлек оттуда смятую бумажку с краями, оборванными на курево.— Листовки давали читать... Ну а мы... Мы как прочли те листовки, так сразу и порешили: будем искать партизан, а не найдем — сами останемся партизанить, своим, значит, отрядом. Я и опасаюсь теперь, как бы предатели не нашли старуху мою на том хуторе...— Голос его дрогнул. Он помолчал и добавил: — Может, можно их в отряд, товарищ командир? Старуха у меня еще бодрая. Да и дети будут помощниками.

— Хорошо,— согласился я.— Пошлем за ними.

— Спасибо вам.

— Что же за листовки давали вам читать?

Старик расправил концы бумажки, протянул ее мне. Я прочел: «Немцы — это наш временный враг. Если его не озлоблять — ничего худого он не сделает. Как пришел, так и уйдет».

— Вы видите,— гневно проговорил старик,— они призывают смириться, стать перед фашистом на колени! Вы видите?

— Вижу, — сказал я.

— А мы... лучше мы все погибнем, лучше на смертную казнь, но на коленях не будем... Этого они не увидят,— горячо произнес он, забрав листовку и пряча ее обратно в кисет.

Рассказ Струтинского лишний раз подтвердил, что агитация «Бульбы», Бандеры и других бандитских «атаманов» не только не имеет успеха среди населения, но оказывает прямо обратное действие. «Атаманы» навсегда разоблачили себя перед населением как прислужники немецких фашистов. Каждый день подымал на борьбу против захватчиков и против предателей-националистов все новые и новые массы крестьян.

В те дни мы еще не знали, что «атаманы», предвидя свой близкий провал, предпримут последнюю попытку спастись, что в темных недрах гестапо возник новый чудовищный план, план так называемого «ухода в подполье», что во Львове и Луцке уже печатаются в огромных тиражах антинемецкие листовки за подписью «атаманов» — печатаются в немецких военных типографиях под строжайшей охраной гестапо!

Но спустя короткое время образцы этой печатной «продукции» уже лежали у нас в штабе.

Вскоре мы получили приглашение «Бульбы» «вступить в переговоры».

«Бульба» считал, что нас тут на самом деле целая армия. Так он адресовал и записку, которую принес нам Константин Ефимович Довгер: «Командующему советскими партизанскими силами». Очевидно, мы все же неплохо «подтверждали» ходившие про нас слухи.

Как поступить? Посылать ли наших людей туда, где согласно записке будет ждать их «Бульба»? Или это ловушка?

Мы долго ломали голову над этим вопросом. Самой убедительной показалась все же версия, что «Бульба» будет пытаться установить с нами «добрососедские отношения»,

с тем чтобы, во-первых, уверить нас в своей «лойяльности», во-вторых, выведать о нас как можно больше и эти сведения передать гитлеровцам. Ну, что же, у нас тоже были свои планы. И мы решили рискнуть.

Шестнадцатого сентября в лесу, в назначенном месте, наша группа из пятнадцати автоматчиков во главе с Александром Александровичем Лукиным была встречена группой националистов, главарь которой, махровый бандит, носивший знаки «бунчужного» и назвавший себя «адъютантом атамана Бульбы», заявил, что ему поручено сопровождать партизан «до ставки атамана».

«Ставка» находилась на одиноком хуторе близ села Бельчаки-Глушков. Хутор был оцеплен тройным кольцом вооруженных бандитов. Лукин и его автоматчики подумали, что если они попали в западню, то об отступлении нечего и думать. Они были готовы дорого отдать свои жизни.

Полный, большеголовый, с вьющейся седеющей шевелюрой, Лукин шел впереди автоматчиков, внимательно поглядывая по сторонам, и все запоминал. Память же у него была необыкновенная.

На хуторе Лукин принял все меры предосторожности. Хату, куда привел их «бунчужный», окружили наши автоматчики, занявшие посты возле каждого из окон. Троих бойцов Лукин оставил в сенях, внутри комнаты рассадил своих людей таким образом, что каждый из «бульбовцев» оказался между двумя партизанами-автоматчиками, а последние двое «случайно» оказались у самой двери. Такая расстановка наших людей должна была отбить у «атамана» охоту к враждебным действиям: в случае, если бы его шайка попыталась напасть на партизан, «атаман» первым оказался бы жертвой своей провокации. Сам Лукин с Валей Семеновым и еще одним партизаном вошли во вторую комнату. «Бульбы» там не было. Адъютант поспешил доложить, что «атаман» прибудет сию минуту. Когда появился «Бульба», Лукин, сидя, ответил на его приветствие и указал на табурет, как бы подчеркивая, что хозяин здесь не «Бульба», а он, Лукин, представитель командования партизан.

«Атаман», как мы и предвидели, старался показать, что он настроен миролюбиво. Он обратился к Лукину по всем правилам дипломатического этикета, назвав его «высокой договаривающейся стороной», которую он, «Бульба», рад приветствовать.

— Должен с самого начала заявить, что мы не считаем вас «договаривающейся стороной»,— предупредил «атамана» Лукин.— Мы пришли говорить с вами как с изменником Родины. Договариваться нам с вами не о чем. Вы можете раскаяться в совершенных вами тягчайших преступлениях перед народом и постараться искупить свою вину, немедленно приступив к активной вооруженной борьбе с немецкими захватчиками. В этом случае мы будем просить законную власть Украины — Президиум Верховного Совета — об амнистии для членов вашей незаконной и преступной организации, разумеется, для тех, на чьей совести нет крови советских людей. Остальным мы обещаем жизнь и возможность искупить свою вину честным трудом. Вот все, что я могу вам обещать.

«Бульба» ответил не сразу. Очевидно, поведение и слова Лукина застали его врасплох, и «речь», которую он приготовил, теперь уже не годилась. После долгой паузы, в течение которой «атаман» мучительно морщил лоб, он заговорил. Судя по всему, это была все та же заранее приготовленная «речь». Она не имела ни малейшего касательства к словам Лукина, а содержала упреки по адресу Гитлера, который их, националистов, бесстыдным образом обманул: обещал власть, а сам и близко к ней не подпускает. Словом, все шло так, как мы предвидели: «атаман» по указке гестапо хочет усыпить нашу бдительность.

Из длинной и высокопарной речи «атамана», пересыпанной к делу и не к делу иностранными словами, Александр Александрович понял истинные намерения своего «собеседника». Речь «атамана» была малопонятной, варварской смесью украинских слов с немецкими. Это был язык, которым, как мы после убедились, широко пользовались украинские националисты, вскормленные в берлинских пивных, в кабаках Оттавы и Чикаго, люди без паспорта, без родины, подданные международной биржи,— проходимцы, готовые продать себя и гестапо, и «Интеллидженс сервис», и «Федеральному бюро расследований», и любой другой буржуазной разведке.

С трудом дослушав эту «речь», Лукин предложил ответить по существу: согласны ли они, «Бульба» и его подручные, обратить оружие против оккупантов?

— Согласен,— поспешно ответствовал «Бульба», но тут же добавил, что он должен «проконсультироваться и скоординировать» этот вопрос с «центром».

— Вот когда «скоординируете», тогда и будем говорить,— сказал Лукин.

Как только «переговоры» были окончены, адъютант трижды хлопнул в ладоши, и двое «бульбовцев» внесли в комнату огромную корзину со снедью. Они быстро расставили на столе бутылки с самогоном, сало, хлеб и жареную дичь.

— Прошу к столу,— обратился к Лукину «адъютант».

— Неважно вы живете,— осмотрев стол, сказал Лукин.— Ну-ка, Валя,— обратился он к Семенову,— принесите, что у нас там есть!

Семенов быстро вернулся. Он поставил на стол три бутылки вина разных сортов, московскую колбасу, сыр, печенье и галеты, положил на стол несколько плиток шоколада «Золотой ярлык» и несколько пачек московских папирос.

Все это Лукин нарочно захватил с собой в дорогу. Нужно было видеть, с какой жадностью смотрели на невиданную снедь предатели. Теперь они могли не сомневаться в том, что у партизан существует регулярная связь с Москвой.

Если к этому добавить двенадцать новеньких автоматов, три ручных пулемета, пистолеты и гранаты, которыми были вооружены сопровождавшие Лукина товарищи, что все они одеты были строго по форме и четко, по-военному, обращались друг к другу, то станет ясно, какое впечатление произвели партизаны на этих «храбрых вояк».

Наши, разумеется, не прикоснулись к еде националистов, зато националисты с жадностью набросились на угощение партизан.

Следующее свидание было назначено на 26 сентября, но состоялось оно только через месяц, так как нам пришлось кочевать с места на место из опасения, что нападут каратели.

Каратели искали нас с каждым днем все усерднее. Они рыскали по лесным дорогам, всюду «чувствуя» наше присутствие, но заставая там, где мы находились, лишь разрушенные шалаши да золу от костров.

В тот день, 16 сентября, когда у Лукина было свидание с «Бульбой», в ближайших к нам районных центрах — Людвиполе, Березне, Сарнах, Ракитном — начали сосредоточиваться крупные силы карателей. На другой день они двинулись в свой долгий, беспорядочный и бесплодный

путь. Поиски длились две недели и закончились тремя небольшими стычками, в которых фашисты потеряли с полсотни солдат, после чего несолоно хлебавши вернулись в районные центры и остались там гарнизонами.

Не было сомнения в том, что оба эти события — «переговоры» с «Бульбой» и приход карателей — имеют между собой связь. Наше внимание хотели отвлечь «переговорами», с тем чтобы в это время окружить нас и уничтожить.

И все же мы пошли на продолжение «переговоров» с «Бульбой». Обстановка подсказывала, что «атаманы» считают сейчас выгодным для себя жить с нами в мире, что замирение с партизанами — это для них такого же рода маскировка, как и антинемецкие «воззвания». Ну, что же, мир так мир — мы-то на нем выгадаем больше, чем они!

И 28 октября Лукин отправился на второе свидание к «Бульбе».

«Бульбу» на этот раз окружали не только «адъютант» и охрана из бандитов, но и так называемые «представители центра». Тут был и свой «политический референт», и редактор газеты «Самостийник». Все они, как правило, прибыли из-за границы: «редактор» жил в Чехословакии, «референт» прибыл только что из Берлина. Они говорили на том же украинско-немецком языке, что и «Бульба», и отличались от «атамана» только костюмами: тот был одет под «запорожца», эти же предпочитали европейский костюм, пестрый галстук и маникюр на пальцах, считавшийся у бандитов признаком особого лоска.

Снова речь «Бульбы» тянулась нескончаемо долго, и если бы не напыщенные тирады, служившие Лукину своеобразным развлечением, он едва ли высидел бы до конца ее. Лукин с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться. Наконец, «Бульба» заявил, что с сегодняшнего дня он вступает на путь вооруженной борьбы с немецкими захватчиками и что на этой «стезе» намерен «обрести благословение божие», а заодно одобрение советских партизан, с которыми намерен жить в мире и согласии.

— Что ж,— произнес Лукин,— давайте жить в мире. Мы ваших людей трогать не будем, как, надеюсь, и вы наших. Ну, а что касается вашей борьбы против гитлеровцев — начинайте! Посмотрим и оценим по результатам. Заслужите — будем за вас ходатайствовать перед правительством.

Под конец свидания «Бульба» предложил установить пароль во избежание столкновений между партизанами и националистами.

Лукин согласился. Пароль был установлен.

На обратном пути Лукин и его автоматчики уже пользовались этим паролем. Дважды встречались им вооруженные группы националистов, их окликали: «Куда идет дорога на Львов?», следовал ответ: «Через реку» — и на этом расходились.

Можно было заметить разницу между теми, одетыми как попало молодчиками, которых застали партизаны в первый раз, и этими, теперешними. Теперь они были в широких брюках, спущенных на голенища сапог, в пиджаках с отворотами, наподобие формы гестаповцев.

По примеру партизан они пытались на вопросы начальства отвечать четко, по-военному, но выходило у них так, что партизаны, несмотря на строгое предупреждение, не могли удержаться от смеха. И как было не рассмеяться при виде того, как эти молодчики неуклюже поворачивались кругом через правое плечо и, вытягиваясь перед начальством в положении «смирно», шатались.

Кстати сказать, рядовые националисты шумно выражали свое одобрение по поводу начала борьбы с гитлеровцами. Они радостно заявляли, что вот, наконец-то, они начнут «бить швабов».

Трудно было понять, что это — обман, лицемерие или действительно искреннее проявление чувств.

Вернувшись в лагерь, Лукин всю ночь рассказывал нам — Стехову, Пашуну и мне — о том, что он увидел у «Бульбы», что узнал, какие выводы сделал. Рассказ этот в сочетании с теми данными, какие у нас уже были, позволил нарисовать довольно подробную и во всяком случае верную картину.

Мы получили ясное представление о самих «атаманах», наглядно увидев облик одного из них.

«Бульба»-Боровец прислал с Лукиным открытку — репродукцию с картины, на которой какой-то художник запечатлел его физиономию. Надо сказать, что сделал он это довольно-таки выразительно.

С этой картинки, исполненной в духе крикливой модернистской живописи новейшего западного образца, смотрел дегенерат, облаченный в мундир с немецкими генеральскими погонами. Жестокость — вот что выражало тупое

лицо с выпяченной нижней губой, со сдвинутыми бровями, из-под которых глядели бесцветные, ничего не выражающие глаза. Волосы бобриком, под Керенского, длинные, с непомерно большими фалангами пальцы, лежащие на эфесе сабли, дополняли портрет. Над левым плечом «атамана» художник изобразил некую символическую фигуру в цепях, над головой — флаг с трезубом и церковь, по праву руку — марширующих, с ружьями наперевес, солдат.

Кто же, какие люди собрались под это знамя, на котором свастика была кое-как прикрыта трезубом?

Прежде всего, кулацкое отродье, петлюровские недобитки, злейшие враги советского строя, движимые лютой ненавистью к нашей стране и готовые на любые преступления. Другую часть банды составлял уголовный элемент. Про этих даже не скажешь, что они против советской власти и за Гитлера. Они хотели грабить, а в националистской банде грабежи поощрялись. Изо дня в день банды кочевали по украинским селам, совершая здесь все, что вздумается: обирая, насилуя, убивая. Все это происходило с благословения гитлеровцев, которые сами не «осваивали» населенные пункты, лежащие вдали от шоссейных и железных дорог, предоставляя «атаманам» наводить там «новый порядок».

Бросалась в глаза непримиримая вражда между отдельными «атаманами». «Бульба» ненавидел Андрея Мельника, Мельник — Степана Бандеру. И Бандера и Мельник были платными агентами гестапо; первый носил кличку «Серый», второй — «Консул первый». Бандера возглавлял так называемую «организацию украинских националистов». Это был махровый гитлеровец, выученик гестапо. Он собрал подонки петлюровской контрреволюции, беглых кулаков, весь сброд, оказавшийся после тридцать девятого года в гитлеровской Германии; собрал, вооружил и поставил на службу гестапо. Недаром учитель Бандеры Коновалец еще в 1921 году был в личной дружбе с Гитлером.

Бандера и соперничавшие с ним «атаманы» называли себя националистами. Они выдвигали даже территориальные претензии (так, согласно «географии», выпущенной Бандерой, Украина включала в себя Кавказ, Поволжье, Урал и даже... Среднюю Азию), но на деле были непримиримо враждебны национальным интересам украинского народа. Единственным побуждением этих выродков явля-

лась жажда власти, единственной их «идеей» — стремление «управлять» украинским народом при помощи иноземных штыков — немецких, английских, американских — все равно чьих, все равно кто будет платить за предательство. Явившись с фашистами на советскую землю, Бандера попытался было организовать во Львове «правительство». Гитлеровцам, однако, эта затея не понравилась, и «правительство» разогнали. Впрочем, Бандера скоро успокоился. Его «хлопцы» грабили украинские села и хутора, а «прибыли» от грабежей шли «атаману». Награбленные капиталы Бандера помещал на свое имя в швейцарский банк.

«Атаманы» поносили друг друга в листовках, старались скомпрометировать один другого перед гитлеровцами. В своем соперничестве и в частых стычках друг с другом они не жалели крови своих людей. В этой вражде отражался не только бесшабашный авантюризм этих выродков, но и нечто большее, а именно: борьба иностранных разведок (в конечном счете, работавших на гестапо), чьи интересы сталкивались здесь.

Фашисты искусно играли на вражде между «атаманами», используя ее в своих целях.

Нетрудно понять, почему территория Западной Украины оказалась полем наиболее интенсивной «деятельности» украинско-немецких или, вернее, немецко-украинских националистов. «Атаманы» надеялись, что именно здесь они обретут поддержку, что население пойдет за ними. В таком духе они и обнадеживали гитлеровцев.

Неполных два года жизни при советском строе — срок слишком малый для того, чтобы переделать сознание освобожденных из-под власти капитализма крестьянских масс, чтобы изжить собственнические инстинкты и предрассудки, воспитанные веками.

И все же «атаманы» жестоко просчитались. Население возненавидело их смертельной ненавистью.

«Нейтралитетом», «антинемецкими» листовками, беспардонной демагогией националисты надеялись одурманить людей. Это не было для нас секретом, как не было секретом и то, что, ведя «переговоры» с нами, «Бульба» одновременно ведет переговоры и с гитлеровцами.

И, действительно, не далее как 30 октября «Бульба» встретился с шефом политического отдела СД Иоргенсом и дал ему заверение с помощью обещанных шефом частей полиции очистить леса Волыни и Полесья от партизан.

Но «нейтралитет» все же связывал руки «атаманам». Нам же он облегчал работу. Мы многое выгадывали, открыв себе доступ в те села, где «секирники» имели свою агентуру и где мы могли теперь работать среди населения, уже не опасающегося зверской расправы за общение с партизанами. Мы могли теперь вести разъяснительную работу и среди самих бульбашей. Многим из них, шедшим за «атаманом» по заблуждению, мы должны были открыть глаза на то, в какую преступную авантюру их вовлекли.

Глава восьмая

Ровно был одним из тихих, утопающих в зелени и погруженных в дремоту западноукраинских городов. Небольшие дома с палисадниками, малолюдные прибранные улицы — все здесь, казалось, создано для мирной, безмятежной жизни. Русский писатель Короленко, приезжавший сюда в начале века, назвал этот город вялым, и это слово, пожалуй, точнее всего определяло и облик города, и ритм его жизни.

Полтора года, в течение которых в Ровно была советская власть, пробудили город, изменили его лицо. Он стал шумней, начал разрастаться; появились новые фабричные здания, школы и клубы, больницы и новые жилые дома. Население города достигло пятидесяти тысяч человек. Перед войной в Ровно насчитывалось уже восемнадцать школ, два театра, много клубов и библиотек. Складывался новый, советский облик города. Теперь это был уже не вялый, заштатный городишко, а кипучий промышленно-культурный центр; в то же время он сохранил очарование своих тенистых улиц, своих памятников, навевавших мысли о старине.

Невозможно было примириться с тем, как изуродовали город немецкие оккупанты. Они как будто оказали ему «честь», сделав своей «столицей», и в то же время они его умертвили. В Ровно собралось огромное количество фашистов. Тут были и военные, и чиновники, и их семьи; немецкие помещики, приехавшие сюда «осваивать восточное пространство», были и «украинцы» берлинского происхождения, и всякого рода бывшие люди. Вся эта разноликая масса сновала по улицам, шумела в так называемых казино и торговала, торговала, торговала. Сделки совершались в ресторанах, учреждениях и прямо на улице.

По вечерам у кинотеатров, где красовалась намалеванная на щите во всю высоту первого этажа блудливо улыбающаяся немецкая кинозвезда, собирались толпы офицеров, раскрашенных девиц, коммерсантов в котелках и в крахмальных манишках. Из окон доносилась сентиментально-эротическая музыка, слышались голоса развлекающихся офицеров... а город был мертв.

Приходько шел по городской улице с таким чувством, будто он идет по кладбищу, где похоронено все самое дорогое, что у него было. Шел и на каждом шагу читал: «только для немцев», «только для немцев». Куда девалась ровенская зелень! То там, то тут на месте деревьев торчали пни. Приходько заглянул в здание театра, где до войны он смотрел «Наталку-Полтавку», но теперь это был не театр, а склад награбленного добра... У входа резким окриком остановил его солдат-часовой.

...Николай Приходько первым из нас отправился в Ровно. Посылая его, мы учитывали то, что он — местный житель, знает город, имеет здесь хороших друзей, знакомых... Здесь у него родной брат. Но учитывали не только это. Приходько обладал богатырской силой и выносливостью. Ничто не страшило его, он рвался туда, где опаснее. Если на марше разведчикам приходилось ходить втрое больше остальных партизан, то Приходько ходил больше любого разведчика. Получалось так, что он всегда оказывался под руками, когда требовалось выполнить какое-нибудь срочное задание.

Однажды, тоже на марше, в нескольких километрах от нас послышались выстрелы. Я послал Приходько узнать в чем дело.

Только он ушел, явился Цесарский.

— Дмитрий Николаевич! Нельзя было Приходько посылать. У него так натерты ноги, что он не может сапоги надеть!

— Как так? — удивился я. — Он в сапогах и, по-моему, отлично себя чувствовал.

Когда Приходько вернулся, я первым делом спросил:

— Что у тебя с ногами?

— Та ничего, пустяшный мозоль.

Он говорил неправду. Сапоги были ему малы, причиняли нестерпимую боль, и в разведку он пошел босиком. Вернулся, снова надел сапоги как ни в чем не бывало.

Побывать в Ровно было давней мечтой Приходько. Не проходило дня, чтобы он не напоминал об этом. Однажды выходя из чума,— как мы с чьей-то легкой руки прозвали наши шалаши, сооруженные из еловых веток, видом своим действительно напоминавшие полярные чумы,— я встретил Приходько и спросил его: готов ли он отправиться в Ровно?

— Конечно, готов! — обрадовался партизан.— Можете положиться!

Что на него можно положиться — в этом сомнений не было, но вот как одеть его, в каком виде ему показаться в городе?

Брюки и телогрейка, в которых он ходил и в которых спал у костров, порядком обтрепались, имели далеко не такой вид, в каком можно было, не обращая на себя излишнего внимания прохожих, ходить по улицам Ровно. Как назло, из трофейных вещей ничего подходящего не было. Пришлось обследовать все население лагеря: у кого сохранилась хоть сколько-нибудь подходящая для Коли одежда. Нашли четырех бойцов.

И вот представьте такую картину.

Четыре человека сидят у костра в одном белье и не понимают, зачем у них попросили одежду. Отправку Приходько в Ровно мы держали в секрете.

А в палатке идет примерка костюмов на Колю. Ни один ему не годится.

— Не люди, а лилипуты какие-то! — ворчит Приходько.

Из рукавов пиджака торчат его ручищи с огромными кулаками, обнаженные почти до локтей, брюки,— как с младшего братишки, еле закрывают коленки. Пока он примеряет, костюмы трещат по швам.

— Настоящий дядя Степа, каким его написал Михалков,— смеется Стехов.

К кострам выносят костюмы и возвращают владельцам.

С большим трудом мы все-таки одели Колю. Пиджак и брюки были малы чуть-чуть, а ботинок на его ногу так и не подобрали. Пришлось отправить в сапогах, брюки навыпуск.

Приходько пошел в Ровно с документом, удостоверяющим, что «податель сего Гриценко является жителем села Ленчин».

От лагеря до города сто двадцать километров. Туда и обратно — двести сорок. Приходько отправился пешком.

По расчетам, он должен был вернуться в лагерь через шесть-семь дней.

И он не опоздал, вернулся во-время. С каким облегчением вздохнули мы, завидев издали между деревьями его рослую фигуру. Первая вылазка прошла удачно. Это было для нас большим событием.

Приходько скромно и деловито доложил о результатах своего путешествия. Но и из этого скупого рассказа мы поняли, какое тяжелое впечатление произвел на него город, который он знал и любил и который увидел теперь мертвым.

На углах улиц появились новые, немецкие таблички: «Фридрихштрассе», «Немецкая улица». Приходько рассказал, что на этих центральных улицах живут сплошь фашисты. Местные жители, обитавшие там, выбрасывались на улицу. Мебель, годами нажитое добро — все оставалось в «собственность» новых хозяев. Не только генералы, но и офицеры, начиная от гауптмана, разместились в особняках, в лучших квартирах. К ним налетели из Германии вороньем многочисленные родственники. Как хищники набросились они на добро изгнанных людей. Заодно новые «хозяева», сразу же по «освобождении» для себя квартир, под конвоем доставляли на сборные пункты девушек и подростков, мужчин и женщин для отправки на фашистскую каторгу.

Приходько побывал в городе у своего брата. Они не виделись с начала войны. И вот теперь оказалось, что один из них — партизан, а другой... другой служит у оккупантов. Да, Иван Приходько служил у немцев и пользовался их доверием. Он был женат на немке. Когда гитлеровцы объявили о регистрации лиц «немецкой крови», Иван и его жена усмотрели в этом возможную для себя выгоду. Жена зарегистрировалась как «фольксдойче». С этого дня Иван и его семья стали получать пайки и иные «блага». Ивана немцы сделали заведующим хлебопекарней.

Братья долго молчали после того, как узнали все друг о друге. Наконец, Николай поставил вопрос ребром:

— Будешь помогать партизанам или тебе дороже выгода, получаемая от врага?

Иван ответил не сразу. Он долго раздумывал над предложением брата, взвешивал все «за» и «против». Он понимал, что, согласившись на предложение Николая, можно потерять не только хлебное место, но и голову.

И все же он согласился.

Согласилась быть помощницей партизанам и его жена. Она была «немкой» только ради пайка.

Квартира Ивана Приходько по Цементной улице, № 6 стала с этого дня явочной квартирой отряда. Вскоре Иван последовал примеру своей жены и сам зарегистрировался как «фольксдойче». Сделал он это по нашему заданию.

Приходько успел съездить и на станцию Здолбунов. Там он нашел старых друзей и договорился о следующей встрече.

Когда Приходько кончил свой немногословный доклад, я спросил его:

— Ну, а документ у тебя где-нибудь проверяли?

— Как же, проверяли. Раза три или четыре. Все в порядке.

Это было тоже нашей победой.

Вслед за Колей мы решили послать в Ровно и других разведчиков. Задача ставилась для всех одна: подыскать надежные квартиры и установить, где и какие немецкие учреждения находятся. Снарядили Поликарпа Вознюка. Следом за ним отправили Бондарчука, тоже местного жителя. Не дожидаясь их возвращения, послали в Ровно Колю Струтинского. У него был документ с печатью Костопольской городской управы, удостоверяющий, что он является учителем и командируется в Ровно за немецкими учебниками. Для Коли нашелся хороший штатский костюм, и он выглядел в нем так, что мы поневоле на него заглядывались.

Семья Струтинских оказалась для нас ценной находкой. Струтинские хорошо знали свой край, во многих местах имели родственников и знакомых. И, главное, всем им был хорошо знаком Ровно.

Они как-то удивительно быстро акклиматизировались в отряде, стали своими людьми, получили от партизан прозвища, а это являлось верным признаком проявляемой к ним симпатии.

Николая Струтинского прозвали «Спокойный». В самом деле, он был очень спокойный человек. Если вначале мы удивлялись, как этот молодой, безусый, розовощекий парень командует хотя и маленьким, но отрядом, то теперь это не вызывало удивления. В первой же стычке Николай Струтинский проявил большую отвагу и изумительное хладнокровие. Отсюда и пошло его прозвище — «Спокойный».

На Жоржа Струтинского, который был всего на год моложе Николая, мы вначале не обратили особого внимания. Как и все Струтинские, Жорж был коренастым, голубоглазым, светловолосым и отличался от брата разве лишь тем, что был пониже ростом и обладал, пожалуй, еще более спокойным и уравновешенным характером. Ходил Жорж медленно, вразвалку. «Увалень»,— сказал про него Лукин, так за ним и утвердилось это «увалень».

После первых боевых операций, в которых Жорж участвовал, о нем стали говорить, как о человеке, не ведающем страха. Жорж оказался метким стрелком. Со своим снятым с танка пулеметом он шел во весь рост на врага.

— Действует пулеметом, как шахтер отбойным молотком,— сказал про него с гордостью командир взвода Коля Фадеев.

У пулемета, с которым не расставался Жорж, не было глушителя, поэтому стрельба его наводила страшную панику.

Вскоре оказалось, что Жорж хорошо знает и другие виды оружия. Как-то само собой получилось, что он начал обучать партизан прицельной стрельбе, обращению с оружием. Прозвище «увалень» скоро забылось.

Третьему брату, Володе, было семнадцать лет. Его назначили сначала в хозяйственный взвод, так как он был глуховат. Но Володя запротестовал, сказал, что хочет воевать вместе со всеми. Пришлось дать ему оружие и назначить во взвод к Коле Фадееву. Тот попытался было держать юношу в лагере, боялся, что в бою он не услышит команды. Но Володя так рвался на операции, что Фадеев в конце концов не устоял, взял его с собой и не пожалел.

Подобно Жоржу, Володя до страсти любил оружие. Почти всегда его можно было увидеть занятым своим карабином, который он все время разбирал, чистил и снова собирал.

Старика Струтинского назначили заместителем командира хозяйственной части. Он ходил вместе с бойцами на заготовки продуктов. В этом деле он был незаменим. Зная хорошо украинский и польский языки, он умел, как никто, договориться с любым хозяином. Где был Струтинский, там всегда особенно охотно давали нам картофель, овощи, муку, крупу и другие продукты. Это не мешало Владимиру Степановичу участвовать и в другого рода заготовках — в партизанских налетах на немецкие склады и обозы. Он

и тут был на месте, хорошо стрелял из винтовки. Очевидно, братья Струтинские были отличными стрелками по наследству.

Узнав, что мы отправляем Колю в Ровно, Владимир Степанович забеспокоился. Он очень любил сыновей. Целый день напутствовал Николая. А вечером, вчетвером — Стехов, Лукин, я и Владимир Степанович — вышли его провожать. Мы остановились на опушке леса, облюбовали одно дерево и условились, что на случай, если нам придется отойти, в дупле этого дерева для Коли Струтинского будет лежать записка. Потом расцеловались, старик сказал еще несколько напутственных слов, и Коля ушел. Мы долго провожали его глазами.

Через два дня вернулся Поликарп Вознюк. Он был очень возбужден. Поспешно доложил все, о чем узнал в Ровно, и рассказал о происшествии, которое с ним приключилось. Нашелся у него знакомый парень, работающий в немецком комиссионном магазине. Этот парень рассказал Вознюку, что в магазин каждый день приходит какой-то агент гестапо. Вознюк два дня караулил у входа в магазин, пока товарищ не указал ему на вошедшего туда гестаповца в штатской одежде. Недолго думая, Вознюк дал несколько выстрелов по гестаповцу, уложил его и бросился бежать. Перебегая улицу, он наткнулся на легковую машину, в которой ехали два немецких офицера; бросив в машину две гранаты, забежал во двор, перемахнул через забор и благополучно скрылся. На наш вопрос, что за немцы ехали в легковой машине, Вознюк ответить не смог. В чинах он еще не разбирался.

Рассказав все это, Вознюк заулыбался. Я заметил, что еще во время рассказа его тянет улыбаться, но он сдерживается. Он ждал нашей похвалы.

Вместо похвалы Вознюк, к своему удивлению, получил нагоняй. Лукин укоризненно посмотрел на него и тихо, раздельно заговорил:

— Кто же это тебя, дурья голова, надоумил на такое дело? Тебя послали, чтобы ты тихо, осторожно прошелся по улицам, посмотрел, где гестапо, где другие немецкие учреждения, и так же тихо вернулся. А ты? Ты не только не выполнил задания, но еще поднял в городе ненужную панику. Теперь там начнутся облавы, к каждому будут придираться. Из-за какого-то паршивого агента гестапо могут пострадать наши люди. Тоже, герой нашелся!

Но переубедить Вознюка было невозможно.

— Как же не убивать их, сволочей?— недоуменно бормотал он.— Какие же мы тогда партизаны!

При разговоре присутствовал Валя Семенов. Он молча выслушал все, что мы говорили Вознюку, а потом добавил от себя в своем обычном шутливом тоне:

— Значит, шумим, браток?

Тот пожал плечами.

— Эх, ты, шумный!

Так и укрепилось за Вознюком прозвище — «Шумный».

По всей видимости, Вознюк долго еще не понимал, в чем он провинился, за что его так отчитывали. Горячая, поистине шумливая натура его рвалась к активным действиям.

Через несколько дней вернулся и Бондарчук. Одну явочную квартиру он нашел, но больше ничего сделать не сумел. В городе ему пришлось туговато. Он работал здесь до войны и теперь встречал на улицах много знакомых, которые, естественно, интересовались, что он сейчас делает. В конце концов он напоролся на предателя и с трудом скрылся.

Самые серьезные надежды мы возлагали на Колю Струтинского. Уравновешенный, вдумчивый, с ясным сметливым умом, он должен был добыть такие сведения, которые сразу определили бы все возможности для работы наших людей в Ровно.

Наши надежды Струтинский оправдал. Он подробно доложил не только по вопросам, которые мы перед ним поставили, но и высказал свои интересные и правильные соображения о том, как целесообразнее развернуть работу. Он связался в городе с рядом людей, заручился их согласием помогать нашим разведчикам и даже достал через них образцы документов, по которым партизаны могли свободно ходить в город и обратно.

Пробыл Струтинский в Ровно долго — свыше двух недель, доставив большое беспокойство нам и, конечно, немалую тревогу Владимиру Степановичу. Старик подходил ко всем, кто, по его мнению, мог знать, что с Колей, но, разумеется, никто не мог ответить ему на этот вопрос.

Когда Коля вернулся, старик ходил сияющий и порывался поделиться с каждым встречным своей радостью, с трудом удерживаясь, чтобы не выдать всего того, что держалось нами в строгом секрете.

Особо ценны для нас были образцы документов, добытые Николаем.

— Ну, а как твой документ, проверяли? — спросил я.

— Проверяли. Да что там, он лучше настоящего!

Документы были делом рук Струтинского.

Как-то мимоходом он сказал мне, что в детстве занимался резьбой по дереву. Я предложил попробовать скопировать немецкий штамп. Коля достал циркуль, наточил свой перочинный нож, долго искал резину, наконец, не найдя, оторвал ее от подошвы своего сапога и принялся за дело. Штамп, который он изготовил, нельзя было отличить от настоящего. Тогда мы стали давать ему копировать и другие немецкие печати и штампы. Так отряд обзавелся собственным гравером.

Вначале Коля работал медленно: каждая печать занимала два-три дня, но потом он так набил руку, что любую сложнейшую печать мастерил за три-четыре часа. Работал он теми же инструментами, какими начал, — циркулем и перочинным ножом. Резину для штампов и печатей, после того как Струтинский ободрал свою обувь, обувь многочисленной родни и уже добирался до обуви штабных работников, стал доставлять наш хозяйственный взвод.

На одном фольварке нам попались пишущие машинки с украинским и немецким шрифтами. На этих машинках Цесарский наловчился печатать любые немецкие документы по образцам, которые мы ему давали, а Лукин мастерски подделывал подпись любого начальника.

Цесарский печатал текст, нес на подпись Лукину, затем прикладывалась печать, сделанная Струтинским, и получался документ, выданный немцами.

Так были изготовлены удостоверения для Приходько, Струтинского и для многих других разведчиков — документы от городских и районных управ, от частных фирм и даже от гестапо.

Они, эти наши документы, повсюду выдерживали проверку. Они действительно получались лучше настоящих!

Глава девятая

Весь день 6 ноября в лагере царило праздничное оживление. Не было человека, кто бы в этот день оставался в чуме. В центре внимания находилась повозка, возле ко-

торой с самого утра суетились радисты, устанавливая радиоаппаратуру и добытый репродуктор. Радисты были сегодня героями дня. Каждый считал своим долгом осведомиться у Лиды Шерстневой, все ли в порядке, помогали Ване Строкову натягивать антенну...

— Не коротка ли? — волновалась, прикидывая на глаз длину антенны, Лида Шерстнева.

— Что вы, Лида! — успокаивал Ваня.— Антенна чуть ли не на километр!

Было пять часов вечера, когда радисты закончили приготовления. К этому времени партизаны окружили повозку плотным кольцом. Когда в репродукторе раздался знакомый характерный треск, наступила полная тишина. Пять месяцев мы не слышали радио.

Репродуктор словно откашливался, прежде чем начать, и вот начал. Полилась чистая, ласкающая мелодия вальса из «Лебединого озера». Это был милый сердцу голос Родины.

Радисты сияли.

Но не ради концерта собрались сегодня вокруг репродуктора. Все ждали, все надеялись услышать самое главное... Рядом с повозкой, за самодельным столом, сидели четверо партизан. Перед ними лежали стопки бумаги и тщательно очиненные карандаши. Условились, что записывать будут сразу все четверо: то, что пропустит один, восполнят другие.

Около шести часов вечера раздался знакомый всем голос диктора Левитана; он объявил то, чего ждала вся страна, чего ждали мы, стоя под холодным осенним дождем в глухом лесу, за линией фронта: будет транслироваться доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина.

Едва диктор произнес эти слова, как на поляне стало невероятно тихо. Но вот из репродуктора вырвался шум оглушительной овации. Ей не было конца. Взволнованные, захваченные торжеством этих значительных минут, партизаны все, как один, зааплодировали,— рукоплесканиями и громкими здравицами приветствуя великого Сталина. Казалось, что в эти минуты он присутствует среди нас. Мы так ясно ощущали его близость, словно исчезли все расстояния и сами мы находимся не на лесной поляне, затерянной в глубоком вражеском тылу, а в Москве, в сияющем огнями зале.

После секундной тишины раздался полный спокойной уверенности голос вождя:

— Товарищи! Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя.

Оценивая положение на фронтах Отечественной войны, товарищ Сталин указал, что немцы, воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, бросив на фронт все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и вышли в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока.

Главная цель летнего наступления немцев, указал товарищ Сталин, состоит в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году. Этими иллюзиями кормят гитлеровцы своих одураченных солдат. Но эти расчеты немцев, как и прежние их расчеты на лобовой удар по Москве, не оправдались.

Товарищ Сталин со всей наглядностью показал, что если бы в Европе существовал второй фронт, то положение гитлеровцев было бы плачевным. Уже нынешним летом, летом 1942 года, гитлеровская армия стояла бы перед своей катастрофой.

— Я думаю,— говорит товарищ Сталин,— что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск.

Эти слова покрываются бурей аплодисментов. Рукоплещем и мы, и кажется нам, что наши рукоплескания слышны в эту минуту там, в Большом театре, что слышит их Сталин, слышит вся страна.

— И не только выдержать, но и преодолеть его,— продолжает товарищ Сталин.

С полной уверенностью говорит наш вождь о победе, о том, что наша армия разобьет врага в открытом бою, погонит его назад. И перед всей страной товарищ Сталин ставит задачи: уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей, уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей... Товарищ Сталин говорит о третьей задаче. Нам кажется, что эти слова вождя обращены непосредствен-

но к нам. Мы слушаем их в напряженной тишине, чувствуя, как бьются сердца, охваченные невыразимым волнением.

— Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не всё. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем неповинных граждан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов.

Наша третья задача,— продолжает товарищ Сталин,— состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.

Крепче сжимаются кулаки. Да, мы будем мстить, будем бороться до конца, до полного разгрома гитлеровской армии, до уничтожения ее!

«Нашим партизанам и партизанкам — слава!» — прозвучали над поляной заключительные слова сталинской речи. В то же мгновение вспыхнула новая овация. И как бы вливаясь в нее, раскатилось на нашей поляне мощное партизанское «ура».

Мало кто спал в эту ночь. Десятки людей, вооружась карандашами и перьями, переписывали принятые дословно радистами доклад товарища Сталина и приказ Верховного Главнокомандующего от 7 ноября 1942 года.

На утро наши разведчики понесли сталинское слово в хутора и деревни.

У советских людей есть прекрасная традиция отмечать свои революционные праздники трудовыми и боевыми подвигами. И мы решили отпраздновать 7 ноября согласно этой традиции.

Задолго до праздника мы начали готовить две операции по взрыву вражеских эшелонов. В ночь на 7 ноября, сразу же после доклада товарища Сталина, две группы — одна под командой Шашкова, другая под командой Маликова— отправились выполнять задание.

В полдень Шашков вернулся и отрапортовал:

— Товарищ командир! Боевое задание в честь двадцать пятой годовщины Великой Октябрьской революции выполнено. На железной дороге подорван следовавший на восток вражеский эшелон с военными грузами и войсками.

А к вечеру вернулся и Маликов. Он также доложил, что в подарок годовщине Великого Октября взорван вражеский эшелон с техникой противника, следовавший в сторону фронта.

Днем 7 ноября в лесу состоялась спартакиада. На лесной поляне, в километре от лагеря, все пять взводов состязались в метании гранаты на дальность и в цель, в лазании на деревья, в беге с препятствиями. Гам стоял невообразимый. Шумели, конечно, не столько участники состязаний, сколько болельщики. Их было очень много, и уже несколько дней не прекращался между ними спор о том, кто окажется победителем. Самыми страстными болельщиками оказались старик Струтинский, Лукин и Кочетков.

Владимир Степанович Струтинский то и дело подскакивал на месте, приговаривая: «Ах, чтоб тебя!» «Вот, дурья голова, промахнулся!» Лукин перебегал с места на место, подзадоривая отстающих. Кочетков же так громко хохотал и кричал, что стоять близ него было небезопасно — могли пострадать барабанные перепонки.

Самый большой шум поднялся, когда началось состязание по перетягиванию каната. Две группы тянули канат каждая на себя: кто кого осилит. «А ну!.. А ну, поднатужьтесь!..» — кричали болельщики. Вот одна сторона, обессилев, ослабила канат. Победители, перетянув конец, повалились на землю. Взрыв смеха снова огласил лес.

Праздник закончился концертом партизанской самодеятельности. Началось с хорового пения. Пели «Марш

энтузиастов» — песню, без которой у нас не обходился ни один из торжественных вечеров. Запевало несколько голосов, остальные подхватывали припев. Потом затянули нестареющую песню про Катюшу. Не успели кончить «Катюшу», как поднялся Владимир Степанович Струтинский и, дирижируя обеими руками, затянул: «Реве та стогне Днипр широкий». Кругом заулыбались, подхватили. Песню знали все: не только украинцы, но и русские, и даже казах Дарбек Абдраимов с чувством подтягивал непонятные ему слова.



Н. И. Кузнецов в отряде

Вышли в круг плясуны: нашлись мастера и гопака, и камаринской, и лезгинки, и чечетки. За танцорами последовали чтецы. К костру подошел двадцатилетний партизан Лева Мачерет. До войны он учился на литературном факультете.

— Я прочитаю вам стихи Николая Тихонова «Двадцать восемь гвардейцев».

Читал Мачерет очень хорошо. Его вызывали на «бис» несколько раз.

Уже под конец вечера поднялся Николай Иванович Кузнецов. Он был в приподнятом настроении и вместе с тем сильнее, чем всегда, задумчив и сосредоточен. Не сказав, что будет читать, он сразу начал:

— Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море...

Читал Кузнецов негромко и спокойно, иногда останавливался, припоминая или задумываясь,— читал так, будто делился со слушателями своими мыслями; и оттого, что мысли эти были самые сокровенные, чтение действовало с особой впечатляющей силой.

— Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

Я смотрел на бойцов. Они сидели серьезные, торжественные и какими-то новыми глазами смотрели на Кузне-

цова. «Песня о Соколе» звучала у него как исповедь. Но не только его личное, кузнецовское звучало в этом чтении. Слова горьковской «Песни» как будто относились непосредственно к нам, слушателям Кузнецова. В них говорилось о высоком призвании человека. Они звучали как гимн мужеству. И каждому из нас хотелось вслед за Кузнецовым повторять слова этого гимна: «О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!..

Безумству храбрых поем мы песню!..»

Концерт еще продолжался, когда Кузнецов, отведя меня в сторону, обратился со словами, в которых не было, конечно, ничего нового и неожиданного, разве лишь то, что сказаны они были на этот раз более решительно.

— Прошу послать меня немедленно. Я считаю, что слова Сталина насчет расплаты с фашистскими мерзавцами обращены в первую очередь ко мне. Конечно, рано или поздно эти палачи за все поплатятся. Но я в силу обстоятельств имею возможность действовать уже теперь, и я прошу вас не лишать меня этой возможности.

Откладывать его отправку было больше невозможно.

— Хорошо, Николай Иванович. Собирайтесь.

Он облегченно вздохнул.

— Но, пожалуйста, не думайте,— продолжал я,— что вы будете ходить по улицам и стрелять. Не настраивайте себя на это. Думаю, что стрелять-то вам не придется довольно долго. Вы разведчик, ваше дело добывать данные о гитлеровцах. Это куда труднее, чем поднять шум на улице.

— Понимаю,— проговорил Кузнецов.

Он был явно раздосадован. Может быть, в этот момент он представлял себя расхаживающим в немецком мундире по улицам Ровно. Если здесь, в отряде, он мучился невозможностью активно бороться против фашистских извергов, то каково же будет это чувство там, в городе, в гуще гитлеровцев, с которыми ему придется мирно жить!

— Вам будет нелегко,— сказал я.— Потребуется величайшее самообладание. Придется чорт знает с кем водиться, строить на лице приятную мину в тот момент, когда захочется своими руками задушить палача.

— Понимаю,— повторил Кузнецов.— Что ж, я готов и к этому.

Он многое дал бы за возможность поступить так, как велит ему сердце. Мы лишали его этой возможности. И все же Николай Иванович радовался, что вот, наконец, его отправляют в город. Я видел, как он взволнован, этот сдержанный, внешне хладнокровный человек. Глядя на него, я вспомнил себя в тот час, когда получил задание партии. Вероятно, подобное чувство испытывал теперь Кузнецов. Родина, партия отправляли его на задание.

В попутчики Кузнецову мы решили дать Владимира Степановича Струтинского. Старик имел в городе родственников и мог познакомить с ними Николая Ивановича.

Для тех, кто знал об отправке Кузнецова, эти дни были днями большого волнения. Сам Николай Иванович на глазах у товарищей вел себя так, будто ничего особенного не происходит. То ли он, после того как Гаан и Райс признали его за настоящего немца, был уверен в успехе, то ли искусно скрывал свою тревогу, но он со снисходительной улыбкой следил за тем, как мы со Стеховым и Лукиным обсуждаем каждую мелочь его костюма, как прикалываем и перекалываем нашивки и ордена на его мундире. Мундир был трофейный, его подправили, пригнали по фигуре Кузнецова, и Николай Иванович выглядел в нем настоящим щеголем. Для нас было целым событием, когда нашлись хорошие сапоги по его ноге, когда удалось раздобыть значок члена национал-социалистской партии. Сам же Кузнецов остался ко всему этому до обидного безучастным. Он хотел ехать немедленно, а наши приготовления его задерживали.

То, к чему готовился Кузнецов, держалось в тайне от всего отряда. В случае, если бы в наших рядах оказался подосланный фашистами агент, он ничего не знал бы о Кузнецове. Как ни трудно было соблюдать конспирацию в условиях лагеря, мы твердо придерживались правила: никто не знает того, что лично его не касается.

Если Кузнецов не испытывал или ничем не выдавал своего беспокойства, то спутник его, Владимир Степанович, в первые дни буквально не находил себе места.

Для него поездка в Ровно была сопряжена с немалым риском. В городе многие его знали и знали, что он — отец партизанской семьи. Эта поездка была для него первым ответственным заданием. Я не видел ничего зазорного в

том, что он волнуется и робеет. Но однажды, уже накануне отъезда, все-таки сказал ему:

— Может, вас действительно не следует посылать, Владимир Степанович?

— Почему? — вскинулся он.— Раз уж сказали, я пойду, сделаю все, что надо.

Неизвестно, когда он и Кузнецов спали. Днем оба были заняты приготовлениями, а вечерами и по ночам сосредоточенно беседовали, прохаживаясь в стороне от товарищей или сидя где-нибудь на пеньке.

Струтинский и Кузнецов поехали в Ровно на фурманке: старик — ямщиком, Кузнецов в качестве тылового офицера. Он сам составил текст удостоверения, дал Цесарскому отпечатать, Лукину подписать и приложил печать. Документ удостоверял, что он, лейтенант Пауль Зиберт, является виртшафтсофицером, ведающим продовольственными заготовками в Людвипольском и Клесовском «гебитах» Ровенской области. В документе содержалась просьба оказывать Паулю Зиберту всемерное содействие в его работе.

Километрах в восемнадцати от Ровно партизаны остановились на хуторе у родственника Струтинских Вацлава Жигадло. Узнав, в чем дело, Жигадло сказал:

— Пожалуйста, мой дом в вашем распоряжении. Когда нужно, останавливайтесь. Но делайте все осторожно, а то и себя погубите, и у меня, как видите, семья не маленькая.

У Жигадло было десять детей. С приходом фашистов семья лишилась большой помощи, которую Жигадло получал от советской власти по многосемейности. Теперь, при гитлеровцах, им жилось плохо: семья голодала, дети не могли учиться.

Около самого Ровно Струтинский остановился еще у одного родственника. Там была оставлена фурманка. В город пришли пешком.

Шли они по городу так: Кузнецов по одной стороне улицы, Владимир Степанович по другой.

Старик долго потом рассказывал, не мог успокоиться:

— Я иду, ноги у меня трясутся, руки трясутся, вот, думаю, сейчас меня схватят. Как увижу жандарма или полицейского, отворачиваюсь. Такое чувство, будто все на тебя подозрительно смотрят. А Николай Иванович, гляжу, идет, как орел. Читает вывески на учреждениях, останавливается у витрин магазинов и хоть бы что! Встретится

немец, он поднимает руку: «Хайль Гитлер!» Часа четыре водил меня по городу. Я ему и так и эдак делаю знаки, утираю нос платком, как условились, дескать, пора, а он ходит и ходит. Бесстрашный человек!

В Ровно Струтинский познакомил Кузнецова еще с одним своим родственником, Казимиром Домбровским, который имел небольшую шорную мастерскую, где чинил седла и упряжь. Казимир Домбровский согласился помогать партизанам и дал в этом Кузнецову и Струтинскому торжественную клятву. Надо сказать, что клятву свою он сдержал.

Позже шести часов ходить по улицам было запрещено, поэтому партизаны заблаговременно покинули город, уселись в фурманку и направились в лагерь.

Кузнецов был очень доволен. Его появление не вызвало никаких подозрений,— значит он по-настоящему натренировал себя на немецкий лад. Но вот с костюмом оказалось не все ладно. На нем был летний мундир, а немецкие офицеры в это время ходили уже в шинелях и демисезонных плащах. Он был в пилотке, а пилотки носили только фронтовики,— в Ровно большинство офицеров было в фуражках.

Прежде чем послать Кузнецова во второй раз, мы справили ему новое обмундирование. Теперь мундир для него шил известный варшавский портной Шнейдер.

Кого только не было у нас в лагере! И сапожники, и пекари, и колбасники, и вот этот портной Шнейдер, живший до войны в Варшаве. Когда польскую столицу заняли гитлеровцы, евреев согнали в гетто. Родственники Шнейдера были расстреляны, сам он уцелел лишь благодаря тому, что его взял к себе на квартиру немецкий генерал, кажется, комендант города. Он поместил портного в маленькой каморке, на чердаке своего особняка, и заставил шить не только на себя, но и на других офицеров. Плату за работу генерал брал себе. Но и за это Шнейдер благодарил судьбу, с ужасом вспоминая о тех, кто оказался в гетто. Однажды генерал заявил ему, что больше не намерен держать его у себя. Из гетто путь был один — под расстрел. И Шнейдер решил бежать. Это ему удалось. После долгих мытарств он попал к нам в отряд. Первый раз в жизни портной с любовью и тщательностью шил немецкий мундир для Кузнецова.

После первого опыта Николай Иванович стал частенько бывать в Ровно. Ездил он туда обыкновенно с Колей

Струтинским или с Колей Приходько. Останавливался либо у Ивана Приходько, либо у Казимира Домбровского.

Николай Иванович стал знакомиться с немцами — в столовой, в магазинах. Мимоходом, а иногда и подолгу беседовал с ними. В ту пору в Ровно все разговоры вертелись вокруг Сталинграда. Немцы были встревожены. Неоднократно Сталинград объявлялся взятым, а бои все продолжались и продолжались и даже, судя по сводкам Геббельса, не приносили гитлеровцам успеха. Носились слухи, что армия Паулюса попала в окружение.

Одновременно с Кузнецовым направлялись в Ровно и другие товарищи, но они, как правило, не знали, кого и когда мы посылаем. Тех, кто ехал в Ровно, мы предупреждали: если встретите своих, не удивляйтесь и не здоровайтесь, проходите мимо.

Однажды мы отправили Николая Ивановича с особенным комфортом. Достали прекрасную пару рысистых лошадей — серых в яблоках — и шикарную бричку. Я приказал Владимиру Степановичу дать этих лошадей Кузнецову. Чем богаче он будет выглядеть, тем безопаснее: никто его не остановит. Но так как на этот раз Кузнецов должен был на несколько дней задержаться в Ровно, я велел ему, как только он въедет в город, бросить лошадей.

Владимир Степанович взмолился:

— Таких лошадей бросать! Побойтесь бога! Давайте, я вон тех рыженьких запрягу.

Просил, уговаривал, чуть не плакал, но ничего не добился. Кузнецов отправился на хороших лошадях. Возницей поехал Коля Гнедюк, у которого были свои задания по разведке.

Через три дня вдруг в лагерь приезжают на кузнецовских рысаках, в той же бричке, наши городские разведчики Мажура и Бушнин. Оба они постоянно проживали в Ровно, в отряд являлись только по вызову.

Я не на шутку взволновался. Мажура и Бушнин не знали Кузнецова, а тем более не знали, что кто-то от нас послан в Ровно в немецкой форме. Как же они могли встретиться? Кто передал им лошадей и бричку? Неужели провал?

Я быстро направился к приехавшим, а там Владимир Степанович уже с радостью похлопывал лошадок.

— Что случилось? — спрашиваю Мажуру. — Откуда у тебя эти кони?

— Да целая история. У немцев сперли.

— Как так?

Мажура, не торопясь, отошел со мной в сторону и с улыбкой, которая меня страшно раздражала, начал рассказывать.

— Были мы на своей явочной квартире. Собирались уже в лагерь. Вдруг видим в окно — на этих лошадях подъехал какой-то немец, офицер. Слез с брички и ушел. Извозчик снял уздечку, надел лошадям на головы мешки с кормом и тоже ушел. Ну, мы с ребятами смозговали: чего нам пешком итти в лагерь! Взяли лошадей — и айда! На «маяке» отдохнули ночь и вот прикатили. Правда хорошие лошадки, товарищ командир?

— Лошадки замечательные, особенные лошадки! Молодцы! Немцы вас не поблагодарят,— сказал я, с трудом удерживаясь, чтобы не расхохотаться.

11 ноября нам удалось принять самолет из Москвы. Площадка около деревни Ленчин, указанная Колей Струтинским, оказалась очень хорошей и удобной. К тому же мы буквально прощупали там каждую травинку, сравняли все бугорки. Пришлось даже спилить тригонометрическую вышку, стоявшую в четырех километрах от площадки. Крестьяне были довольны: вышка подгнила, и они боялись несчастного случая.

Накануне той ночи, когда мы собирались принимать самолет, в село Михалин, километрах в девяти, прибыла на автомашинах большая группа немцев. Мы выслали на дорогу засаду с твердым наказом: немцев в нашу сторону не пропускать!

Согласно условиям Москвы мы должны были каждые полчаса выпускать красные и зеленые ракеты, чтобы пилот за сорок-пятьдесят километров мог видеть место посадки. Эти ракеты подвергали нас еще большей опасности.

Все, однако, прошло благополучно. В час ночи мы услышали гул моторов. Подлили скипидару в костры, и они загорелись ярким пламенем.

Посадка прошла превосходно. Радовались удаче не только мы, не было конца восторгам и жителей села, когда советский самолет пронесся над крышами их домов и побежал по полю, ярко освещая все вокруг огнями своих фар.

Самолет пробыл у нас сорок минут. Оставил нам письма и подарки. Мы погрузили раненых, документы и письма

родным. На этом самолете улетали в Москву Флорежакс и Постоногов — им надо было еще долго лечиться,— а также приемыш Пиня. Улетал и Александр Александрович Лукин для доклада о положении в тылу противника. Погрузилась также команда самолета, потерпевшего аварию при посадке. В Москву были отправлены ценности, отбитые у фашистов: мы вносили их на постройку нового самолета.

Самолет зашел на старт, плавно поднялся в воздух, сделал два круга над поляной и, дружески покачав крыльями, улетел.

Глава десятая

На хуторе у Вацлава Жигадло мы организовали «маяк». От города до лагеря было больше девяноста километров. Курьер связи мог проделать этот путь лишь за двое суток. Теперь, когда у нас появилась база на хуторе, дело облегчалось: курьер из Ровно шел только до «маяка», здесь его ждал другой, делавший на сытых и отдохнувших лошадях вторую половину пути — от «маяка» до лагеря.

В конце декабря я вызвал в лагерь всех разведчиков. В Ровно и на «маяке» находились в то время Кузнецов, Николай и Жорж Струтинские, Приходько, Гнедюк, Шевчук, в общем человек двадцать.

По нашим расчетам они должны были прибыть в лагерь на рассвете. Но прошло утро, прошел день, а разведчики не появлялись. Я, Стехов и еще немногие, знавшие об этом, спать уже не могли и ночью сидели взволнованные у костра. Что могло случиться с людьми? Напоролись на карателей, попали на засаду бандитов? Предположения одно мрачнее другого.

— Подождем до утра,— предложил я.— Если не придут, пошлем за ними.

В три часа ночи является дежурный по лагерю:

— Товарищ командир! Разрешите доложить: прибыл Кузнецов.

— А где остальные?— вырвалось у меня.

Дежурный не знал, что мы кого-то ждем. Он не понял моего вопроса и был крайне удивлен, что все сидевшие у костра в тревоге поднялись с места. Не успел он ответить, как к костру подошел Николай Иванович.

— Разрешите доложить, товарищ командир. Разведчики прибыли.

— Где же они?

— Там, за постом. Охраняют пленных.

— Каких пленных?

— А мы разбили отряд карателей.

Я передал дежурному распоряжение принять пленных и с облегчением вздохнул.

— Ну, теперь спать уже некогда. Рассказывайте, Николай Иванович, что там с вами приключилось!

К нам подошли разведчики, бывшие с Кузнецовым, поздоровались и тоже устроились у костра.

— Путаная история, товарищ командир,— начал Кузнецов. — Не знаю, с чего и начать! Собрались мы на «маяке» и направились в лагерь. По дороге встречаем Тарасенко. Бросается он нам навстречу. «Хорошо, говорит, что я вас увидел». «В чем дело?» — спрашиваю. «Я узнал,— говорит,— что людвипольский гебитскомиссар в отпуск собирается. Скоро повезут на фурманках награбленное барахло — чемоданов десять, не меньше. Фурманки сопровождают жандармы. Сам гебитскомиссар выедет двумя часами позже, на машине, погрузится со своими «трофеями» на поезд в Костополе». Как пропустить такой случай! — Кузнецов взглянул на меня. — Сообщать вам и просить разрешения — поздно, никакой курьер не сможет обернуться. Посоветовался с ребятами. Сами понимаете, как они встретили это дело... Решили познакомиться с гебитскомиссаром. Залегли мы на шоссе Людвиполь — Костополь. Место неудобное, голое, реденькие кустики и ничего больше. На шоссе Гросс заложил мину, шнур засыпал землей, протянул к Коле Приходько. Ждем час, другой, третий — ни багажа, ни гебитскомиссара. Вдруг, видим, километра за три впереди от нас клубы черного дыма, потом кое-где огонь показался. Слышим — пулеметная очередь. Догадались — каратели жгут село. Прошел после того час или немного меньше — появляется на шоссе обоз. Едет со стороны горящего села. Десятка два фурманок. На передней четыре гестаповца — их мы сразу узнали по черным шинелям. За ними жандармы, ну, и еще всякий сброд, секирники. Это, конечно, не те, кого мы ждали, но надо было нападать. Деревню сожгли, негодяи. Дальше — понятно. Приходько дернул за шнур. Гестаповцы сделали сальто-мортале и — на землю. Тут мы давай резать из автоматов по колонне. Кто отличился, так это Жорж со своим пулеметом. Дело было в открытом поле, спрятаться

гестаповцам некуда — бегут куда глаза глядят, а мы по ним из их же винтовок. Пленных привели двенадцать человек, все полицейские, жандармов живых не осталось. Ну, трофеи, документы взяли... Я знаю, Дмитрий Николаевич,— Кузнецов усмехнулся, заметив мой нетерпеливый жест,— вы собираетесь пробирать меня, будете говорить, что у нас, разведчиков, другие задачи. Но вы подождите, я еще не кончил. По дороге допрашиваем пленных — оказывается, они нас искали! То ли кто-то следил за Тарасенко, то ли другое что, но только гебитскомиссару стало известно, что на него готовится засада. Он отложил поездку и выслал карателей. Они устроили на нас засаду около села Озерцы, а мы сами в засаде, в трех километрах от них! Они ждут нас, мы — гебитскомиссара! Стал холод их пробирать, они и разложили костры возле деревни. Крестьяне почуяли недоброе и толпой — в лес. Гестаповцы заметили это. У них явилось предположение, что крестьяне хотят предупредить партизан, а может, крови захотелось. Дали команду полицейским, те стали ловить и расстреливать перепуганных крестьян. И на этом не успокоились. Начали жечь дома. Убивали людей, бросали в горящие хаты... Все это мы узнали от пленных. Сами можете с ними поговорить... Думаю, мы правильно поступили, — закончил Кузнецов свой рассказ.

Наступила тишина. Что я мог сказать Кузнецову, когда сам на его месте поступил бы точно так же.

Николай Иванович подал мне какую-то вещичку.

— Мой личный трофей!

Это был жетон из белого металла на прочной цепочке. На одной стороне было написано: «Государственная политическая полиция» — и ниже: «4885». На обороте был изображен фашистский орел со свастикой.

— Эта бляха,— пояснил Кузнецов,— была у старшего гестаповца, который сейчас валяется на шоссе. Мне она, пожалуй, пригодится.

Диверсии, операции по взрыву эшелонов, мостов, различных немецких предприятий стали неотъемлемой частью работы нашего небольшого разведывательного отряда. Обойтись без этого было невозможно хотя бы потому, что ни я, ни Стехов не могли противостоять напору наших партизан, жаждавших видеть реальные, физически ощутимые результаты своей работы в тылу врага.

С другой стороны, появилась практическая необходимость в подобных операциях. По мере того как отряд рос, людей, свободных от разведки, становилось все больше и больше. Теперь мы могли позволить себе заниматься и чисто партизанскими делами.



Замполит отряда Сергей Трофимович Стехов

Кстати, чем дальше от нашего лагеря выбирались объекты таких дел, тем спокойнее мы могли заниматься нашей основной работой, зная, что диверсиями отвлекаем от себя внимание фашистов.

Так сам собою разрешился наш давний спор со Стеховым.

...Однажды, при очередной встрече с Константином Ефимовичем Довгером, Виктор Кочетков узнал, что в Сарнах гитлеровцы освободили большой дом и спешно приступили к его оборудованию.

Комендант города, члены городской управы и украинские полицейские разыскивали по городу лучшую мебель: зеркальные шкафы, никелированные кровати, мягкие кресла. Многие семьи лишились в этот день годами нажитого добра.

— На ваших креслах будут отдыхать наши герои из-под Сталинграда,— говорили фашисты жителям.

Наши разведчики заинтересовались сообщением Довгера. Скоро они узнали, что здание переоборудуется под дом отдыха для старшего и среднего офицерского состава гитлеровской действующей армии и что в ближайшие дни ожидается прибытие в Сарны первого эшелона.

Мы решили устроить достойную встречу «героям» Сталинграда.

К этому времени у нас сложилась крепкая группа подрывников — людей большой храбрости и исключительной любви к опасной профессии минера. Старшим в этой группе был инженер Маликов, человек скромный и отважный, наш лучший шахматист. Вместе с ним обычно ходили

на операции командир взвода Коля Фадеев со своими ребятами и испанец Хозе Гросс.

Еще в годы войны испанского народа против фашистов Франко Гросс отличился в минировании дорог. У нас Гросс работал по той же специальности и был непревзойденным мастером своего дела.

Группа в сорок два человека во главе со Стеховым, не упускавшим случая пойти на интересную операцию, с вечера заняла позиции у полотна железной дороги. В полночь подул сильный ветер, сырой снег тяжелыми липкими хлопьями стал застилать землю. Всю ночь, дрожа от сырости и холода, лежали бойцы, не имея возможности даже закурить. Мимо по полотну прошла группа немецких солдат с фонарями... Путевые обходчики. Мины они не заметили.

Ночь была на исходе, а состав не появлялся.

«Может быть, где-нибудь произошла диверсия, и движения не будет, пока не расчистят путь?» — подумал Стехов.

Ему было обидно уходить ни с чем. А уходить с рассветом надо обязательно: дорога оголена — гитлеровцы по обе стороны ее вырубили все деревья и кустарники — скрыться большой группе партизан днем будет невозможно.

Но вот сигнальщики, выставленные вперед, дали знать, что с востока идет поезд. Вскоре послышался его характерный шум. Но уже по стуку вагонов было ясно, что идет порожняк.

— Пропустим,— сказал Стехов.

Через полчаса появился второй состав и тоже порожняк. Впереди паровоза шли платформы, груженные балластом. Расчет у гитлеровцев был такой: если дорога минирована, взорвется балласт.

Стехов догадался, что эти два поезда пущены для проверки.

— Приготовиться,— приказал он.

И вот показался груженый состав. За паровозом длинной лентой — пассажирские вагоны. В окнах бледно мерцает синий маскировочный свет.

Когда паровоз прошел линию засады и поравнялся с Маликовым, тот дернул шнур от мины. Мина взорвалась, паровоз дрогнул, остановился, вагоны образовали месиво лома, задние громоздились на те, что были впереди, давя и ломая их.

Из уцелевших вагонов начали выскакивать фашисты.

— Огонь! — скомандовал Стехов.

Первым заговорил партизанский крупнокалиберный пулемет, снятый с разбившегося самолета и установленный на специально приспособленной для него двуколке. Пули изрешетили котел паровоза. Затем дуло пулемета ровной линией пошло по вагонам. Пулеметную стрельбу дополнял огонь из автоматов.

Минут сорок продолжался обстрел эшелона. Маликов видел, как один офицер выскочил из вагона и начал громко смеяться: помешался со страха.

Было уже совсем светло, когда группа отошла в лес.

Через два дня Виктор Васильевич Кочетков доложил о результатах этой диверсии.

Разведчики установили, что эшелон вез в Сарны на отдых офицеров — летчиков и танкистов. Через час после отхода наших подрывников на место диверсии прибыли немцы. Они оцепили район катастрофы, никого не подпускали к разрушенному составу. Убитых и раненых отвозили на автомашинах и автодрезинах в Сарны, Клесово и Ракитное. Сколько убитых точно не было установлено, но только в Сарны привезли сорок семь трупов. Из Клесова и Ракитного несколько человек убитых отправили в Германию. Вероятно, то были важные персоны.

Когда стало известно, что наши войска прорвали немецкий фронт под Сталинградом и окружили шестую и четвертую танковую гитлеровские армии, мы испытывали чувство неизъяснимой гордости и счастья: пусть небольшая, скромная, но и наша доля есть в этом великом деле.

Потерь при ликвидации офицерского эшелона у нас не было. В бою у бойца Ермолина пуля пробила каблук. Но с Ермолиным это случалось постоянно. Удивительно, до чего пули любили его! В любой стычке, самой короткой, пуля обязательно попадает в Ермолина, вернее не в него, а в его одежду: то в шинель, то в фуражку, то, вот как теперь, в каблук. После каждого боя Ермолину приходилось сидеть и штопать свое обмундирование. Только однажды за все время боев он был ранен и то шутя: в палец.

После операции на железной дороге авторитет Сергея Трофимовича Стехова в отряде поднялся еще выше. Прекрасный политработник, Стехов не пропускал возможности встретиться с врагом лицом к лицу. Он до педантичности тщательно готовился к боевым заданиям, старался

предусмотреть каждую мелочь. Партизаны считали за счастье итти на операцию со Стеховым.

Заслужить любовь партизан — дело не такое легкое, а Стехова любили и уважали. В нем сочетались качества партийной чуткости к людям, большой заботы о человеке, личной храбрости. Небольшого роста, стремительный, всегда по форме одетый, с автоматом, маузером и полевой сумкой, он выглядел, как на параде. В наших условиях постоянная подтянутость, четкость и дисциплинированность Стехова служили хорошим примером для партизан.

Все свободное время Сергей Трофимович проводил среди бойцов. Придет в подразделение, сядет к костру и попыхивает трубочкой, служившей ему, некурящему, защитой от мошкары, ведет беседы, выслушивает просьбы и жалобы, дает советы.

На сообщение Кочеткова о результатах диверсии Стехов заметил:

— Что-то не верится мне, что так много убитых!

Кочетков обиделся:

— Вам всегда не верится! Я получил сведения от проверенных людей, все они показывают одно и то же. Долго не забудется гитлеровцам сарненский санаторий.

Приближалось рождество. Готовясь к празднику, фашисты усиленно грабили крестьян. По дороге в Клесов группе подрывников во главе с тем же Стеховым, решившим под праздник взорвать склад с взрывчаткой, встретилась девушка-колхозница из села Виры. Ее послала в лагерь Валя Довгер. Девушка рассказала Стехову, что в село нагрянули гитлеровцы, они забирают у крестьян свиней, гусей, кур; на мельнице забрали всю крестьянскую муку. Стехов изменил маршрут. Он решил защитить село от грабежа.

На дороге, неподалеку от Виры, партизаны увидели такую картину. Впереди группы солдат шествует офицер в эсэсовской форме и белых перчатках. Не идет, а именно шествует — торжественно, как на параде. Солдаты держат ружья наготове. Процессию замыкают четыре пары волов, запряженных в телеги. На телегах визжат кабаны, кудахчут куры, орут гуси, «заготовленные» к праздничному столу.

Когда гитлеровцы поравнялись с партизанами, Стехов дал очередь из автомата. Вражеский офицер вскинул руки и рухнул на землю. Вслед за Стеховым открыли огонь и остальные бойцы. В течение нескольких минут фашисты

были перебиты. Только двое из них залегли в кювет около дороги и открыли огонь.

Пока возились с этими двумя, из Клесова на машинах подоспело подкрепление — взвод. Раздалась команда. Фашисты рассыпались в цепь и пошли в атаку на партизан. Стехов предусмотрел возможность того, что гитлеровцы получат подкрепление. В сторону Клесова, в нескольких сотнях метров от места засады, он выдвинул группу бойцов. Эта группа и решила дело. Мародеры были уничтожены, а награбленное добро возвращено крестьянам.

Новый 1943 год мы отметили партизанской елкой.

В предновогоднем номере стенгазеты появилось объявление: «Редакция готовит новогоднюю елку. От желающих участвовать требуются елочные украшения.

Мы принимаем:

1. Светящиеся гирлянды из горящих немецких поездов.

2. Трофейные автоматы для звукового оформления.

3. Эсэсовцев любого размера (желательно с дыркой в голове для удобства подвешивания).

4. Каждый может проявить свою инициативу.

Подарки сдавать до 31 декабря».

Гирлянду из горящего поезда «преподнесла» 31 декабря группа подрывников во главе с инженером Маликовым.

Для охраны железной дороги от участившихся диверсий фашисты стали сгонять крестьян из ближайших деревень. Они расставляли крестьян вдоль полотна, предупредив, что если будет совершена диверсия, то их расстреляют, как заложников. Хотя нам и не хотелось подвергать опасности население, но мы все же решили провести операцию, наметили время — в ночь под Новый год.

Сарненскими лесами немцы с каждым днем интересовались все сильнее. Чтобы отвлечь их внимание в противоположную от нас сторону, мы решили взорвать поезд на участке Ковель — Ровно.

Маликов с двенадцатью бойцами отправился на выполнение задания.

Вдоль полотна железной дороги, метрах в пятидесяти друг от друга, были расставлены крестьяне. Время от времени для контроля проходила группа охранников-солдат. Маликов повел своих бойцов к будке стрелочника. Старик-стрелочник, увидев вооруженных людей, перепугался, но потом, узнав партизан, успокоился и рассказал, что поезда здесь ходят часто, с большими грузами. В сторону

фронта везут войска и вооружение, а обратно — раненых, обмороженных и награбленное имущество. Партизанам не пришлось объяснять старику, зачем они сюда пришли.

— Мне уж ладно,— сказал он,— только вот как быть с народом! Ведь их перестреляют!

— Мы сами с ними посоветуемся,— ответил Маликов.

Выждав, пока пройдут мимо очередным рейсом солдаты-охранники, Маликов, сопровождаемый двумя бойцами, подошел к крестьянам.

— Мы партизаны,— без излишних церемоний открылся он.— Намерены взорвать эшелон. Рассчитываем на вашу помощь, товарищи.

Крестьяне ответили согласием:

— Давайте, раз надо.

Но шли они на это с нелегким сердцем. В случае взрыва поезда беда грозила всей деревне.

— Как же нам задание выполнить? — задумался Маликов.— Может лучше вас разогнать, чтобы не было на вас ответственности?

Пожилая крестьянка предложила:

— А вы свяжите нас и делайте свое дело. Рты нам заткните да вдарьте, чтоб синячок под глазом остался позаметнее.

— Бить вас? Нет, не можем,— отказался Маликов.

Крестьянка посмотрела на него и усмехнулась:

— Да коли ж надо... Ну-ка, Степан,— сказала она соседу,— вдарь-ка да покрепче...

И смех и горе! Пока Маликов с товарищами закладывали мину, «сторожа» награждали синяками друг друга. Потом партизаны связали их и положили около костра, чтоб не замерзли.

Вскоре показался поезд. Шел он в сторону фронта.

Взрыв состава, груженного оружием, боеприпасами и другим военным имуществом, был произведен блестяще. Паровоз стал «на попа». Все шестьдесят вагонов разбились и сгорели.

Это и был наш елочный подарок стране.

Глава одиннадцатая

В январе ударили двадцатиградусные морозы. Наши чумы оказались мало приспособленными для зимы. Часто меняя место лагеря, мы не занимались строительством теп-

лых землянок. Из тонких жердей строили основание чума, обкладывали его еловыми ветками, засыпали землей и жилье было готово. Вместо дверей навешивали плащ-палатки. В середине крыши чума оставлялась дыра для дыма. Внутри горел костер. Люди укладывались спать вокруг него ногами к огню. От костра ногам жарко, а там, где голова,— мороз. Бывало так: проснется человек, хочет встать, а головы поднять не может — волосы примерзли. Ночью то один, то другой вскочит от холода, потанцует у костра, чтобы согреться, и, съежившись, снова укладывается.

А тут еще беда. По всем законам физики дым из чума должен выходить в верхнюю дыру, а у нас он не выходил, стелился внутри, разъедая глаза. Должно быть в конструкции шалашей была какая-то неправильность.

Словом, бед было достаточно. Пришлось подумать о надежном селе, где мы могли бы перезимовать.

Лично я всегда стоял за то, чтобы жить в лесу. В лесу в случае опасности мы, если не находили нужным принимать бой, могли незаметными тропками покинуть лагерь. В лесных лагерях партизаны всегда находятся в боевой готовности, тогда как пребывание в теплых хатах,— так, по крайней мере, казалось мне,— размагничивает людей. Другое дело, что и в лесу мы должны создать себе нормальные «оседлые» условия жизни. В лесу бойцы ограждены от эпидемий, с началом немецкой оккупации свирепствующих в селах. Наконец, нельзя не учитывать и того, что, живя в деревнях, мы неизбежно подвергаем мирное население опасности налета карателей. Все эти соображения заставляли меня отнестись очень сдержанно к перспективе переезда на зиму в село. Но что было делать?

Мы выбрали село Рудню-Бобровскую, решив, что пробудем там только то время, пока стоят крепкие морозы. Село было надежное. Там давно находился наш «маяк», разведчики организовали самооборону из крестьянской молодежи.

Девятнадцатого января отряд двинулся из лесного лагеря в Рудню-Бобровскую.

Огромная толпа крестьян встретила нас далеко за околицей, раздавались приветственные возгласы в честь Красной Армии, нашего Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. На площади, в центре села, у здания сельсовета стоял покрытый красной материей стол, над

ним — портреты Сталина и Ворошилова, бережно сохраненные в новеньких рамках. У стола, держа в руках поднос с хлебом-солью, стоял пожилой крестьянин.

Когда колонна выстроилась на площади, крестьянин вышел вперед.

— Хлеб да соль вам, дорогие гости,— сказал он.— Располагайтесь у нас, как у себя дома. Мы вас накормим и обогреем. Ваш отряд мы хорошо знаем и уважаем. Вы нас не обижаете и никому в обиду не даете. Ну, а ежели теперь придется драться с заклятым врагом, будем драться вместе,— закончил он и передал хлеб-соль Стехову. Стехов взял поднос в руки и сказал ответное слово, такое же простое и короткое.

После митинга подразделения сразу разошлись по указанным квартирам.

Увидев, как партизаны наши смешались с местными жителями, как те и другие, радостно взволнованные, вместе пошли к хатам, пошли, как хорошие давние друзья, я подумал: это может быть и неплохо, что мы будем здесь жить. Тесная связь и дружба с местным населением укрепят отряд, сделают его еще боеспособнее.

С самого начала мы условились о безукоризненном поведении в селе, о том, что каждый из нас является здесь представителем советской власти и потому должен быть образцом дисциплинированности, товарищеской спайки, чуткости к людям, культуры в быту. У нас жестоко преследовался мат, поощрялось обращение друг к другу на «вы», искоренялось вообще все, что пахло «партизанщиной».

Не успели мы как следует разместиться в штабной хате, как явилось несколько мужчин — жителей села. Они просили использовать их по нашему усмотрению и, главное, обучить их обращению с оружием. Уже на следующий день начались в селе военные занятия. Постепенно в них втянулось все мужское население.

Крестьяне села оказались нашими преданными помощниками. Мы начали посылать их на заставы и посты, расставленные вокруг села, назначали в состав патрулей. Зная в лицо местное население, они быстро распознавали и задерживали чужаков.

«Столица» наша — как партизаны окрестили Рудню-Бобровскую — зажила новой жизнью. Воскресли давно забытые «посиделки», молодежь, собравшись вечером в какой-нибудь хате, проводила время за песнями и играми до

рассвета. Энтузиасты художественной самодеятельности— Лева Мачерет, Валя Семенов, доктор Цесарский — привлекали крестьянских парней и девушек к участию в самодеятельных коллективах. На политинформации к Стехову являлось много крестьян. Бойцы рассказывали о себе, о своих родных городах, о колхозном труде, о Москве, с которой связывались все наши думы о Родине. Порой казалось, что мы находимся не в глубоком тылу врага, а где-нибудь в Подмосковье или на Урале... Вокруг Рудни-Бобровской по крупным селам Сарненского, Ракитинского, Березнянского и Людвипольского районов находились наши «маяки» — представители советской власти в этих местах. Ежедневно из партизанского центра во все стороны отправлялись группы партизан: одни с разведывательными и диверсионными заданиями, другие для связи с «маяками».

Под контроль отряда были взяты все молочарни, работавшие на фашистов, и фашисты оттуда ничего уже не могли взять. Мы «оседлали» Михалинский лесопильный завод, посадили там своего коменданта, и лесоматериалы выдавали отныне только крестьянам. Один за другим партизаны громили фольварки новоявленных немецких помещиков уже на западном берегу рек Случь и Горынь. К востоку от этих рек немецкие имения были разгромлены окончательно. Вся округа полностью стала нашей, партизанской.

Из Ровно, из районных центров, с железнодорожных станций — отовсюду к нам, в «столицу», стекались важные сведения и от нас передавались в Москву.

В пятидесяти километрах к югу от Рудни-Бобровской находился «оперативный маяк» во главе с Фроловым. Там происходило формирование местных вооруженных отрядов.

Оборудовав площадку около села, мы начали принимать самолеты. Вместе с нами местные жители раскладывали сигнальные костры. Самолеты из Москвы приходили почти каждую ночь, сбрасывали нам грузы. В воздухе раскрывались огромные парашюты, и у костров «приземлялись» тюки в мягкой упаковке с боеприпасами, обмундированием, теплой одеждой, шоколадом, папиросами и прочими нужными нам вещами.

Бойцы отогрелись в хатах, привели в порядок свое обмундирование.

Но все же долго не могли привыкнуть партизаны к хатам. До этого мы семь месяцев жили на свежем воздухе.

В жару и в морозы, в вёдро и дождь спали почти под открытым небом. Гостеприимно натопленные дома казались теперь нестерпимо душными. И, за небольшим исключением, бойцы по нескольку раз за ночь выходили на мороз подышать свежим воздухом.

...Известия с фронтов прибывали все более и более отрадные. В Сталинграде армии немецких захватчиков окружены кольцом наших войск. Это кольцо сжималось все теснее. Уничтожение врага в сталинградском котле было теперь вопросом времени. В январе советские войска прорвали блокаду под Ленинградом. На Северном Кавказе началось стремительное наступление Красной Армии.

Эти известия вызывали необычайный подъем духа у наших партизан и у всего населения.

«Будет и на нашей улице праздник» — эти слова с тех пор, как их произнес товарищ Сталин, жили в сердце каждого, укрепляя дух, поднимая силы, рождая стремление как можно больше сделать для приближения светлого часа победы. Не было, пожалуй, более радостного события в нашей жизни, чем хорошая сводка. И то, что эти хорошие сводки приходили теперь каждый день, создавало особое, постоянно приподнятое настроение. Мы жили в предчувствии праздника.

Наступление Красной Армии вносило растерянность в среду оккупантов, вызывало у них новые и новые приступы бешеной злобы.

...Кузнецов, вернувшись из Ровно, сообщил о приказе Эриха Коха очистить Полесье от партизан.

Надо сказать, что к этому времени прибыли в наши районы два батальона из партизанского соединения Героя Советского Союза генерала Сабурова. Кроме того, в селе Вороновке стоял отряд подполковника Прокопюка.

Скопление партизан поблизости от Ровно беспокоило фашистов. Во исполнение приказа гаулейтера шеф ровенской полиции Питц сосредоточил в городе тысячи две эсэсовцев, прибавил к ним группы украинских националистов и расставил гарнизонами по районным центрам вокруг нас.

Получив эти сведения, мы приняли «контрмеры». Через местных жителей, ходивших по нашим заданиям в разведку, распространили слух, что партизаны собираются нападать на районные центры. Слухи дошли до фашистов, и вместо того, чтобы наступать на нас, они стали готовиться к обороне. В помещениях, где гитлеровцы расквартирова-

лись, обили толстым железом двери, на окнах из такого же железа сделали ставни с амбразурами для пулеметов и пушек. Вокруг помещений отрыли окопы, поставили проволочные заграждения. А мы тем временем, пока враги сидели в ожидании налета партизан, продолжали свою работу.

Не проходило дня, чтобы наши радисты не передали в Москву очередное сообщение из Ровно, из Луцка, из Сарн, со станции Здолбунов. Разведчики трудились на славу. Они были гордостью отряда, его золотым фондом. Но не меньше уважались у нас и связные, эти скромные люди, изо дня в день совершавшие свой подвиг.

Воистину подвигом был их опасный путь из города на «маяк», с «маяка» в отряд. Одним из этих скромных героев все считали Николая Приходько. Никто не знал, когда он отдыхает, как не знали и того, каким неожиданностям подвергается он в пути. Кое-что смутно доходило до нас об его приключениях, сам же он молчал, иногда лишь выдавая себя озорным блеском глаз. Этого он скрыть не мог.

Число связных мы собирались увеличить — этого требовали растущие размеры работы. Группа бойцов, тщательно отобранных, проходила специальные занятия. В этой группе обращал на себя внимание одиннадцатилетний мальчуган по имени Коля, по прозвищу Коля Маленький. В отряд он попал недавно, но все уже знали его и знали его историю.

Один из наших разведчиков — Казаков — отбился от своей группы, направлявшейся к станции Клесово. Казаков — разведчик молодой, не умел как следует ориентироваться. Целые сутки бродил он по лесу и не мог найти дороги к лагерю. Куда бы ни пошел, через час-два снова оказывался на старом месте.

Ночь он провел в лесу, утром снова начал поиски. Но все старания его были напрасными.

Под вечер Казаков услышал мычание коров. Осторожно, избегая наступать на валежник, он направился в ту сторону, откуда доносилось мычание.

Казаков вышел на лесную полянку. На пеньке сидел мальчуган, усердно строгавший ножиком палку.

Партизан подошел к мальчугану:

— Как тебя звать, хлопчик?

— Коля.

— Ты здешний?

— Здешний.

— Из какого села?

— Из Клесова.

— А далеко отсюда до Клесова?

— Да километров двадцать пять будет.

— И ты так далеко гоняешь скот? — удивился Казаков.

— Та я ж здесь роблю. У одного хозяина. Його товар пасу. А ты, дяденька, часом не партизан? — спросил мальчуган, показывая глазами на винтовку за плечами у Казакова.

— А ты встречал здесь партизан? — поинтересовался Казаков.

— Та ни. Люди кажуть, що километров за тридцать е партизаны, а я их не найшов.

— А зачем ты их искал?

— Я теж хочу в партизаны,— решительно заявил пастушонок.

Так они познакомились.

Колиного отца замучили фашисты. Мать и старшего брата угнали в Германию. Раньше мальчик учился в школе, теперь школы закрыты, он пошел в пастухи, чтобы как-нибудь прокормиться.

— Вот что, Коля,— сказал Казаков.— Время позднее. Ты гони скот в деревню и принеси мне чего-нибудь поесть.

Коля защелкал кнутом, засвистел и погнал свой «товар». Поздно уже он вернулся, принеся с собой крынку молока, лепешки и сало.

— Кушайте, дяденька! Це мени на ужин хозяйка дала.

Казаков набросился на еду. Коля — сразу же к нему с вопросом:

— Дяденька, можно я с тобою до партизанив пиду?

— Командир заругает... Мал ты еще.

Мальчик насупился и долго молчал. Ночью он привел Казакова в какой-то двор, и там, на сеновале, партизан, не спавший две ночи, заснул мертвым сном.

Коля похаживал неподалеку от сарая, охранял его, а на рассвете разбудил и пошел провожать.

Утром крестьяне выгнали из дворов свой скот, но пастушонок не явился. Его долго искали, окликая по дворам. Коли нигде не было.

— Да куда ж вин сховався? — удивлялись жители.

А Коля и Казаков были в это время далеко от хутора. Они шли к Рудне-Бобровской. Партизаны отнеслись к мальчику так ласково, что не оставить его в отряде было нельзя.



«Коля Маленький» в отряде

С Колей я встретился на второй день после его прихода. Вижу — сидит среди партизан белобрысый, щуплый мальчуган.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Коля,— и, поднявшись, он стал навытяжку, подражая бойцам.

— Хочешь с нами жить?

— Хочу.

— А что же ты будешь делать?

— А що прикажете.

— Ну, что ж,— согласился я.— Будешь у нас пастухом. У нас ведь тоже есть стадо, побольше, пожалуй, чем у твоего хозяина.

— Ни, пастухом я вже був.

И как мы его ни уговаривали, Коля ни за что не хотел ходить за стадом.

— Скотину пасти я мог у куркуля, у кого я робив, а до вас прийшов, щоб нимакив бити!

Сначала Коля был в хозяйственном взводе, помогал ухаживать за лошадьми, чистил на кухне картошку, таскал дрова. Все делал охотно и быстро, но постоянно приходил осведомляться: когда, наконец, дадут ему винтовку?

Вместе с другими новичками он пошел в учебную команду и на «отлично» сдал экзамен по строевой подготовке.

Присмотревшись к мальчику, мы решили готовить из него связного. Верилось, что этот Маленький совершит большие дела.

Ребятишек в отряде прибавлялось, и я не препятствовал этому, видя, как любовно относятся к ним партизаны.

Вначале был у нас Пиня. Он сделался предметом всеобщей нашей заботы. Разведчики не возвращались в отряд без того, чтобы не принести ему гостинец. Когда Пиню отправили в Москву, многие долго о нем тосковали. Теперь в отряд пришел Коля. Пришли со своей матерью, Марфой Ильиничной Струтинской, Вася и Катя, пришла племянница Марфы Ильиничны Ядзя. Присутствие детей делало лагерь как бы более уютным.

Марфе Ильиничне Струтинской было уже за пятьдесят, но она оказалась неутомимым работником, ни минуты не могла сидеть сложа руки. Сама она стеснялась ко мне придти, послала мужа, с тем чтобы попросил поручить ей какое-нибудь дело. Но я не хотел ничем загружать ее, зная, что и без того у нее много хлопот с детьми. Тогда Марфа Ильинична по своей инициативе начала обшивать, обштопывать своих и чужих, стирать партизанам белье. Работала, хлопотала от зари дотемна.

Как-то ночью я застал Марфу Ильиничну за штопкой носков.

— Не трудно вам так? — спросил я.

— Нет,— ответила женщина, продолжая штопать.

— А что, если назначим вас поварихой во взвод? Все-таки полегче будет.

— Назначайте,— согласилась она, не задумываясь.

На другой день Марфа Ильинична уже стряпала обед бойцам Вали Семенова. Взялась она за это дело с радостью, как, впрочем, бралась за все, к чему бы ни приложила руки.

Но штопать и стирать партизанам она также продолжала.

Васю Струтинского, несмотря на его боевой пыл, мы все же определили в хозяйственный взвод, смотреть за лошадьми. Сначала он обиделся, ходил надутый, но потом ему так понравился мой жеребец по кличке «Диверсант» и другие лошади, что он смирился со своей должностью. Кроме того, так сказать по совместительству, Вася состоял адъютантом у своего отца: носился по лагерю с разными поручениями. Вторым помощником Владимира Степановича был одиннадцатилетний Слава. Племянница Ядзя тоже работала поварихой в одном из подразделений отряда.

Дочь Струтинского, пятнадцатилетнюю Катю, устроили в санчасть. В противоположность своим спокойным, рассу-

дительным братьям Катя была непоседой. Быстрая, юркая, она то и дело подскакивала к больным:

— Что вам надо? Что принести?

И неслась выполнять просьбы таким вихрем, что русые косы ее развевались во все стороны.

Однажды она пришла ко мне. Не пришла — влетела. Запыхавшись от бега и волнения, сверкая голубыми глазами, она быстро застрочила:

— Товарищ командир, раненые недовольны питанием. Хоть они и при штабе питаются — все равно. Очень невкусно готовят и всегда одно и то же, а раненым всегда чего-нибудь особенного хочется. Для них надо отдельную кухню.

— Отдельную кухню? А где же достать «особенного» повара? Кто будет им готовить?

— Хотя бы я. А что ж!

— Ну, хорошо.

Мы выделили кухню для санчасти, а Катю назначили главным поваром. Дали ей двух помощников — это были солидные, бородатые партизаны. Они немного обиделись, попав под начало к девчонке, и Катя, не умея с ними сладить, все делала сама. Бывало, принесет огромную ногу кабана, сама же рубит ее, варит — и все успевает во-время. Раненые с аппетитом уплетали приготовленные ею борщи, свиные отбивные, вареники. Со своими помощниками Катя в скором времени подружилась, и они работали дружно.

Владимира Степановича Струтинского мы очень ценили. Он считался поистине незаменимым работником на своем посту партизанского интенданта. Но была одна беда у старика — его непомерная доброта. Дело в том, что Владимир Степанович ведал спиртом, который всегда имелся в отряде в больших количествах. Мы его «получали» на немецких спиртоводочных заводах. Расходовался спирт в в строго определенном порядке. По возвращении с операции каждый участник ее получал пятьдесят граммов. Но главным образом спирт шел на нужды госпиталя. А любители выпить для веселья всегда находились. Заявляется какой-нибудь боец к Струтинскому и ежится:

— Владимир Степанович! Что-то меня лихорадка трясет. Дай граммов пятьдесят, может, лучше будет.

Иногда подход менялся.

— Ой, простыл я,— жалуется Владимиру Степановичу,— наверно, грипп.

И старик не мог отказать — давал «лекарство».

Тех, кто ходил и просил спирт, мы ругали, даже наказывали. И Владимиру Степановичу выговаривал я не раз. Он сконфуженно оправдывался:

— Вы уж простите меня, товарищ командир. Жалко, больной человек приходит.

— Владимир Степанович! У нас есть врач, и надо, чтобы больные лечились у него.

— Да, это уж так, правильно. Я больше не буду никому давать.

Но проходил день, другой — снова повторялась та же история. Пришлось, в конце концов, Струтинского от спирта отстранить.

Спирта, конечно, никто не жалел, страшна была опасность пьянства. Поэтому и наложили строжайший запрет на самовольное употребление спиртных напитков. Этот вопрос имел для нас глубоко принципиальное значение, как и вообще все вопросы партизанской этики.

В лесу, в лагере дисциплина в отряде была безупречной. В селе, где люди расквартированы по хатам, влияние коллектива, естественно, ослабевало, и кое-кто по слабости и неустойчивости характера мог распуститься. Этого, по совести говоря, я боялся больше всего.

Значительную часть отряда составляла молодежь, не прошедшая суровой жизненной школы. Правильное руководство, дисциплина, четкое выполнение обязанностей предохранили партизан от многих неприятных «случайностей».

Опасение, что разбросанность по хатам может плохо отразиться на отряде, к чести наших людей, не оправдалось. Никто из нас, за редкими исключениями, не изменил строгим правилам поведения.

Бывало так. Придет партизан с задания, хозяйка соберет на стол, поставит чарочку, угощает:

— Закуси вот да выпей. Прозяб, небось?

— Покушать можно, спасибо, а пить не пьем.

— Что же так? С дороги полезно.

— Нет, пить не буду, не полагается.

Только один человек нарушил отрядное правило, и последствия были самые тяжкие.

На «маяке» у Вацлава Жигадло жил партизан Косульников. В отряд он пришел вместе с группой бывших военнопленных, бежавших от немцев. Маликов, бывший на

«маяке» командиром, сообщил, что из-за Косульникова «маяку» грозит провал. Косульников чуть ли не ежедневно доставал самогон и напивался пьяным. Больше того, он стал воровать у товарищей продукты и вещи для обмена на самогон. В конце концов, он связался с какой-то подозрительной женщиной и выболтал ей, что он партизан.

Стало ясно, что этот негодяй подвергает смертельной опасности не только наших товарищей, но и всю многодетную семью самого Жигадло.

Штаб принял решение немедленно вызвать с «маяков» и из Ровно всех партизан, а Косульникова арестовать.

Отряд построили на площади. Пришли и жители Рудни-Бобровской. Мне предстояло сказать краткое слово.

— Однажды,— сказал я, показывая на Косульникова, этот человек уже изменил своей Родине. Нарушив присягу, он сдался в плен врагу. Теперь, когда ему была предоставлена возможность искупить свою вину, он, этот клятвопреступник, нарушил наши порядки, опозорил звание советского партизана, дошел до предательства. Он совершил поступок во вред нашей борьбе, на пользу гитлеровцам. Командование отряда приняло решение расстрелять Косульникова. Правильно это, товарищи?

— Правильно! — единодушно закричали бойцы.

И Косульников был расстрелян.

...Пущенный нами слух о готовящемся нападении партизан на вражеские гарнизоны на время отсрочил облаву, которую собирались предпринять против нас каратели. Но только на время. В конце января стало известно, что готовится крупная карательная экспедиция. Гитлеровцы вызвали войсковые части из Житомира и Киева с намерением сжать отряд в клещи.

Начали готовиться и мы. С помощью населения были устроены лесные завалы вокруг сел, где находились наши «маяки», на всех дорогах и, конечно, вокруг самой Рудни-Бобровской.

Каратели двинулись к Рудне-Бобровской с четырех сторон.

Ждать мы их не стали. Разумеется, мы могли принять бой, но стоило ли безрассудно рисковать партизанами и подвергать опасности гостеприимных крестьян? Каратели пустят в ход артиллерию и сожгут село.

Мы ушли из Рудни-Бобровской. Ушла вместе с нами и большая часть жителей. Они перенесли свои пожитки

в лес, пригнали туда скот и устроили свой «гражданский» лагерь.

Кольцо вокруг Рудни-Бобровской быстро сужалось, и скоро каратели вошли в село. Но нас там уже не было. Каратели пошли по нашим следам, замыкая кольца у других сел и хуторов, но мы из них уходили на день-два раньше, чем появлялись фашисты. Так началась игра в «кошки-мышки». Каратели всюду натыкались на лесные завалы, обстреливали их ураганным огнем, полагая, что за завалами сидят партизаны, и нарывались на мины, которые мы закладывали. По этим взрывам, по стрельбе впустую, а также по сообщениям местных жителей мы точно знали, где противник, а каратели шли словно с завязанными глазами.

На север от нас простирались большие лесные массивы, в них легко было укрыться. Туда ушли два батальона соединения Сабурова и отряд Прокопюка. Мы же кружили по хуторам, продолжая игру. Не шутки ради мы это делали, нас держала работа. Повсюду в этих районах находились по заданиям наши люди, в селах имелись «маяки». Из Ровно от Кузнецова и других разведчиков то и дело приходили важные сведения,— и бросать налаженную работу мы, конечно, не могли.

Время от времени небольшие группы наших связных и разведчиков, сновавших во все стороны, наталкивались на отряды карателей. После небольшой перестрелки — они уходили. Но одна крупная стычка все же произошла.

Каратели стояли между нами и «оперативным маяком» Фролова, от которого вот уже три дня не было связных. Предполагая, что Фролову грозит опасность, я направил ему на помощь шестьдесят пять бойцов. В составе этой группы было несколько фурманок, которыми командовал Владимир Степанович Струтинский. По дороге группа неожиданно встретилась с командой карателей. С обеих сторон произошло замешательство. Командир группы Бабахин был убит. Лишившись командира, часть бойцов растерялась. Но пулеметчик Петров уже вел огонь по врагу. Не сплоховал и Владимир Степанович. Он быстро отвел в сторону лошадей и фурманки. Партизаны приготовились к жестокому бою. Но фашисты неожиданно прекратили огонь и исчезли.

Только на следующий день мы узнали, почему так произошло. Оказалось, что партизанам встретилась не просто

колонна карателей. Из Вороновки в Рудню-Бобровскую ехал командир карательной экспедиции, гитлеровский генерал, в сопровождении отборных телохранителей. Чуть ли не первыми пулями этот генерал и его адъютант были убиты. Телохранителям ничего не оставалось, как поспешно ретироваться.

В ночь на 7 февраля отряд находился на Чабельских хуторах. Мы сообщили Москве, что можем принять самолет. Костры горели всю ночь. Самолета не было. Перед рассветом из Чабеля, за семь километров, прибежал крестьянин. Он сообщил, что свыше тысячи карателей ночуют у них в селе и что они ищут провожатого в нашу сторону. Несмотря на трескучий мороз, крестьянин, принесший это известие, был мокрый от пота.

На дороге, по которой должны были двигаться каратели, мы заложили три «слепых» мины. Сами покинули хутор и отошли в лес километра на четыре. Только успели мы остановиться на привал — раздался взрыв. За взрывом последовали длинные пулеметные очереди. Через несколько минут снова два взрыва. Это «сработали» наши мины.

Свыше двух часов каратели поливали из пулеметов лес. Немало патронов израсходовали они на потеху нам, спокойно сидевшим в чащобе и слушавшим беспорядочную, сумасшедшую стрельбу перепуганных гитлеровцев. Когда стрельба прекратилась, наши разведчики были уже на Чабельских хуторах. Там они узнали, что каратели на хутор не заходили. Туда забежала только пара взмыленных лошадей, тащивших на себе дышло от взорванной тачанки.

На минах взорвался десяток карателей. Боясь, что вся дорога к хутору минирована, фашисты повернули обратно в село Чабель.

Через два-три дня мы снова обосновались в своем старом лагере у Рудни-Бобровской. Произошло это после того, как каратели, вдоволь навоевавшись с деревьями и лесными завалами, несолоно хлебавши, ушли в направлении Житомира. Они увезли с собой тело своего командира и еще двадцать пять трупов.

И в это время мы получили по радио необычайное, потрясающее душу сообщение: отборные гитлеровские армии в Сталинграде полностью разгромлены советскими войсками!

Скоро до нас дошел слух, что немцы объявили какой-то траур. По приказу рейхскомиссариата в течение трех дней запрещались всякие зрелища. Немцы должны были на левом рукаве одежды носить черные повязки, а немки одеваться в темную одежду. Темную одежду приказали носить и населению. Никто не оповещал по какому поводу объявлен траур, поэтому начали поговаривать, будто умер Гитлер.

Мы тоже не знали толком о причинах немецкого траура, пока не пришел из Ровно Кузнецов. Оказывается, гитлеровцы оплакивали свою разгромленную под Сталинградом трехсоттысячную армию.

Николай Иванович доложил обо всем, что узнал за последнее время в Ровно. Через станции Ровно и Здолбунов необычайно усилилось движение. Железные и шоссейные дороги забиты войсками, едущими из Германии на восток, и санитарными эшелонами, направляющимися с востока на запад.

Среди новостей, привезенных им, одна прямо касалась нас: имперский комиссар Украины Кох издал приказ о беспощадной расправе над населением сел и районов за несдачу натурального и денежного налогов и о ликвидации партизан в районе города Ровно.

Глава двенадцатая

Обстановка становилась напряженной. Можно было не сомневаться, что за приказом Коха о «ликвидации партизан» последует новая карательная экспедиция в Сарненские леса. Фашисты собирались с силами.

На случай, если каратели вынудят нас уйти из насиженных мест, нам нужно иметь новое пристанище. Мы решили искать его в районе города Луцка.

Шестьдесят пять партизан во главе с майором Фроловым начали собираться в дорогу. Весь отряд участвовал в этих сборах. Маршрут группы был известен немногим, но что дорога предстоит дальняя и трудная — об этом догадывались все. Партизаны заботливо снаряжали уходящих товарищей, отдавая им одежду потеплее, обувь покрепче.

Путь предстоял действительно долгий и трудный: двести километров туда и двести обратно по грязным, раскисшим дорогам, с ночевками под открытым небом, с неизвестностью, которая ждала в незнакомых районах.

Группе поручалось не только подыскать удобное место для будущего базирования отряда, но заодно разведать обстановку в самом Луцке, выяснить, какие там немецкие учреждения, какой гарнизон, какие штабы. Людей Фролову поэтому мы подбирали очень тщательно. Предпочтение отдавалось тем, кто знал Луцк или его окрестности.

В эти дни в штабной чум пришла Марфа Ильинична Струтинская.

Я очень удивился. Что заставило ее преодолеть свою застенчивость и явиться ко мне? До сих пор все ее просьбы передавал Владимир Степанович.

В чуме горел костер, вокруг него лежали бревна, они служили сиденьем.

— Садитесь, Марфа Ильинична!

Она степенно уселась и объявила:

— Я к вам ненадолго, по делу. Хочу просить, чтобы меня послали в Луцк.

Я вспомнил, что одними из первых вызвались итти с Фроловым Ростислав Струтинский и Ядзя. От них-то, видимо, Марфа Ильинична и узнала о походе.

— Марфа Ильинична,— ответил я,— вам итти в Луцк не следует. Сил нехватит. Вы и здесь приносите большую пользу.

— Ну, какая польза от моей работы! Варить и стирать всякий может, а насчет сил моих, пожалуйста, не беспокойтесь. Я крепкая. И пользы принесу больше молодого. В Луцке у меня родственники, знакомые, через них все, что надо, узнаю, с кем хотите договорюсь.

— Ну, а как же маленькие? — я имел в виду младших детей Марфы Ильиничны — Васю и Славу.

— За ними Катя присмотрит.

— А опасности... Вы понимаете, как много предстоит их? — пытался я отговорить Марфу Ильиничну.

— Бог милостив. Ну, кто подумает, что я партизанка!

С большим уважением смотрел я на женщину, на ее хорошее, исполненное доброты и благородства лицо.

— Хорошо, — ответил я. — Посоветуюсь с товарищами.

Боясь, что последует отказ, она прислала ко мне мужа — Владимира Степановича. Но я все же не решался.

Вскоре Цесарский сказал мне, что Марфа Ильинична простудилась и ей сильно нездоровится. Я решил восполь-

зоваться этим и поручил Фролову передать Марфе Ильиничне, что в Луцк мы ее не пошлем.

Не успел Фролов возвратиться, как со слезами на глазах прибежала она сама.

— Да я только малость простыла. Все завтра пройдет!

И принялась так горячо упрашивать, что я, в конце концов, согласился.

Шестнадцатого февраля группа вышла в путь.

Владимир Степанович вместе с младшими детьми провожал жену далеко за лагерь.

Спустя неделю мы получили сведения, что группа благополучно прошла в район Луцка, расположилась в лесу, в двадцати пяти километрах от города, и отправила разведчиков в город.

Вероятно, все пошло бы и дальше так же успешно, если бы не чрезвычайные обстоятельства, заставившие вернуть группу в отряд.

После истории с Косульниковым мы вынуждены были отказаться от гостеприимства Жигадло, а вместо его хутора в тридцати километрах от Ровно был организован новый, еще более удобный «маяк». Здесь постоянно дежурили двадцать пять бойцов и с ними несколько пар хороших лошадей с упряжками. Специально для Кузнецова имелись ковровые сани, на которых он отправлялся в Ровно.

Связь между Кузнецовым и «маяком» осуществлял Коля Приходько. На фурманке, на велосипеде или пешком он доставлял пакеты от Кузнецова на «маяк». Пока другой курьер добирался от «маяка» до лагеря и обратно, Приходько отдыхал. А потом, уже с пакетом из отряда, он вновь отправлялся к Кузнецову в Ровно. Порой ему приходилось совершать рейсы по два раза в день. И все сходило благополучно. Появление Приходько в Ровно ни у кого не вызывало подозрений. Несколько раз немецкие посты проверяли у него документы, но документы были хорошие.

Однако мы знали характер Коли Приходько. Наш богатырь не мог равнодушно пройти мимо немца или полицая. Хотя он скрывал свои приключения, но кое-что становилось известным.

Однажды Приходько возвращался на фурманке из Ровно. Еще в городе он заметил, что позади идут двое полицаев и, как ему показалось, следят за ним. Вместо того,

чтобы погнать лошадей и уехать подобру-поздорову, Приходько нарочно поехал шагом. Полицаи шли следом.

Впереди показался мост через Горынь. За полкилометра от моста Приходько остановился и стал подтягивать подпругу, хотя упряжь была в полном порядке.

Когда полицаи поравнялись с повозкой, Приходько весело окликнул их:

— Сидайте, хлопцы, подвезу. Вам до Клесова?

— До Клесова.

— Сидайте! Зараз там будем.

Полицаи положили в фурманку винтовки, прыгнули сами. Приходько тронул коня и завел разговор с пассажирами.

— Що, хлопцы, в полицаях служим?

— Служим.

— Куда едете?

— Народ забираем до Великонеметчины. Тут вот с одного хутора брать будем. Добром не хотят...

— Несознательный народ, — посочувствовал Приходько.

— А тоби тож, хлопче, дюже добре до Великонеметчины поихаты,— заявил полицай, глядя на Колю.— Таких здоровых с удовольствием берут. О, брат, там жизнь! Разживешься, паном до дому приидешь!

— Та я разве здоровый? — упрямился Приходько.

Фурманка въехала на мост. Возница вдруг остановил коня, поднялся по весь рост.

— Руки в гору! — загремел он. В руке у него пистолет.— Геть с повозки, продажны твари! Прыгай в воду, а то постреляю!

Внизу бурлит река. Она вздулась, вода проходит под самым настилом моста. Глянув вниз, полицаи отпрянули от края.

— Прыгай!

Пятясь от пистолета, полицаи прыгнули в воду.

Приходько спрятал пистолет, деловито посмотрел вниз, на реку, где, хватаясь друг за друга и топя один другого, барахтались полицаи, и, убедившись, что оба пойдут ко дну, занял свое место на фурманке и стегнул коня...

Вероятно, мы так бы и не узнали об этом случае на Горыни, если бы не винтовки, доставшиеся Приходько и подлежавшие сдаче в хозяйственный взвод. Трофеи и на этот раз подвели нашего богатыря. Он сдал их Францу



Коля Приходько
(снимок 1939 года)

Игнатьевичу Нарковичу, командиру хозяйственного взвода, и уже спустя полчаса предстал передо мной и Лукиным в штабном чуме.

— Кого ты там повстречал по дороге, Коля?

— Я?

— Ты.

— Так то были полицаи, два человека, ну я их, значит, это... в речке выкупал.

— Опять ты лезешь на рожон?

— Так воны сами попросилися на фурманку!

— Забыл наш разговор?

Приходько опустил глаза, молчит и, наконец, признался чистосердечно:

— Все понимаю, товарищ командир, но ось як подвернется подходящий случай, нема сил сдержаться!

...Двадцать первого февраля я передал курьеру с «маяка» пакет для Кузнецова.

— Вы повезете важный пакет,— предупредил я.— Если он попадет к врагу, мы рискуем потерять лучших наших товарищей. Будете передавать пакет Приходько— скажите ему об этом.

На другой день пакет был вручен на «маяке» Коле Приходько, и он направился с ним в Ровно.

Кузнецов ждал весь день. Но Приходько не приехал. Не явился он и утром следующего дня.

А к двенадцати часам дня по городу пошли слухи о необычайном происшествии у села Великий Житень. Рассказывали, что один молодой украинец перебил «богато нимаков» и сам был убит. По одной версии это был житель села, по другой — партизан из лесу и вовсе не молодой, а «в летах». Но все утверждали, что бой вел один человек и что он перебил фашистов «видимо-невидимо».

Кузнецов немедленно послал в село Великий Житень Казимира Домбровского, у которого были там родственники.

Николай Иванович хорошо знал Приходько. Они подружились еще в Москве, вместе прилетели в отряд, вместе работали. Жажда активной борьбы роднила их. Кузнецов ни на минуту не сомневался, что если Приходько попадет в руки врагов, он ни под какими пытками не выдаст товарищей. Но если Приходько погиб, то что сталось с пакетом?

Домбровский вернулся, нашел Кузнецова и долго не мог начать говорить. Кузнецов не торопил его. У него уже не оставалось сомнений в судьбе Коли.

Вот что узнал со слов очевидцев Казимир Домбровский.

...Как обычно, Приходько ехал на фурманке под видом местного жителя. У села Великий Житень его остановил пикет из фельджандармов и полицейских.

— Стой! Что везешь?

Жандарм проверил документ, который и на этот раз не вызвал подозрений.

— Можешь ехать.

Но один из предателей решил на всякий случай обыскать фурманку. Под сеном у Приходько были спрятаны автомат и противотанковые гранаты.

— Да чего тут смотреть? — попробовал возразить Приходько.

Но жандарм уже погрузил руку в сено.

Тогда Приходько сам выхватил автомат и длинной очередью уложил нескольких врагов. Остальные отбежали за угол дома и открыли стрельбу.

Приходько был ранен в левое плечо. Правой рукой он стегнул лошадей.

Но навстречу, как назло, ехал грузовик с жандармами. Жандармы были в касках, с винтовками и ручными пулеметами, изготовленными к стрельбе. Они с ходу открыли огонь по Приходько.

Раненный во второй раз, Приходько бросил повозку, прыгнул в кювет. Дал длинную очередь по жандармам. Несколько тел вылетело из кузова машины на дорогу.

Разгорелся неравный бой. Тяжело раненный Приходько продолжал стрелять до тех пор, пока силы не начали его оставлять. Тогда он взял противотанковую гранату, привязал к ней пакет и метнул гранату туда, где скопились жандармы. Раздался взрыв.

Последней пулей Приходько выстрелил себе в сердце.

Жандармы осторожно ползли к партизану, все еще не решаясь в открытую подойти к нему, страшась его даже теперь, когда он был мертв.

Мы никогда не оставляли на поругание врагу тела павших товарищей. Всегда, чего бы это ни стоило, мы забирали их и хоронили со всеми почестями. Но тела Приходько разведчики, специально посланные в Великий Житень, доставить в лагерь не смогли: каратели увезли его в Ровно.

...Весть о гибели Николая Приходько глубоко взволновала весь отряд.

На митинге, после коротких прочувствованных речей, несколько партизан заявили о своем желании заменить Приходько на посту связного. К этим голосам присоединились десятки других.

Советское правительство высоко оценило патриотический подвиг нашего товарища. Ему посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а подразделение разведки, бойцом которого он состоял, стало называться подразделением имени Героя Советского Союза Николая Тарасовича Приходько.

Гибель Приходько усилила нашу тревогу. Я приказал Кузнецову и всему составу «маяка» немедленно, до выяснения обстановки, вернуться в лагерь.

Вечером 1 марта Николай Иванович с товарищами приблизились к селу Хотынь, Людвипольского района. Здесь они должны были перейти по мосту реку Случь.

Мост был уже виден, река засверкала вдали рыбьей серебряной чешуей, когда разведчики заметили поодаль, на берегу, перебежки неизвестных людей. В ту же минуту кто-то с берега окликнул их по-украински. После ответа «Мы партизаны» последовал огонь из винтовок. Раздалась пулеметная трель. Трассирующие пули полетели во все стороны. Стреляли много, но беспорядочно.

— Товарищи,— начал Кузнецов и вдруг, первым срываясь с места, закричал во всю силу легких.— За Колю Приходько! Вперед, ура-а!

— Ура-а! — грянули в ответ разведчики и бросились к мосту крича и стреляя.

Схватка длилась четверть часа. Через четверть часа враги больше не стреляли. У моста валялось с десяток их трупов. Оставшиеся в живых, побросав оружие, стояли с поднятыми вверх руками.

То были хлопцы из «войска» Бульбы.

Оказывается, их специально послали к мосту, чтобы устроить засаду на партизан. О том, что партизаны почти ежедневно пользуются мостом через Случь, националистам было известно. В засаде сидело до тридцати человек. Значительно больше находилось поблизости, в селе Хотынь.

— В село! — крикнул товарищам Кузнецов.

Он и раньше не очень-то одобрительно относился к «нейтралитету» бульбашей, а теперь, после нападения их на разведчиков, его больше ничто не связывало: сами националисты нарушили договор. Он был рад возможности отплатить предателям и повел разведчиков в Хотынь.

Нельзя сказать, чтобы это был осторожный шаг. В селе было много националистов, с Кузнецовым же только двадцать пять человек. Рассчитывал ли он на то, что разгром засады произведет на бандитов паническое действие, или надеялся на силу партизан, охваченных ненавистью к врагу, ободренных одержанной только что победой и готовых драться каждый за десятерых?

Так или иначе, но, ворвавшись в Хотынь, Кузнецов не застал там бульбашей. Они бежали, узнав о разгроме своей засады.

Несколько бандитов, оставленных в селе, с помощью местных жителей были скоро обнаружены и схвачены партизанами.

С песней «В бой за Родину, в бой за Сталина» проехал Кузнецов с товарищами по селу. В фурманках они везли ручной пулемет, автоматы и винтовки, взятые в стычке с предателями.

В тот же день стало известно, что в близлежащих районах появились фашистские карательные экспедиции. Разведчики сообщили также, что отряды «шуцполицай» в Сарнах, в Клесове, в Ракитном усиленно вооружаются.

Возникла опасность, что дороги будут перекрыты. Я передал приказ Фролову немедленно вместе со всеми людьми возвращаться в лагерь. Тут же следовало предупреждение о том, что по пути группа может быть атакована из засады украинскими националистами.

Итак, «нейтралитет» лопнул. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно «атаман», по требованию гитлеровцев, должен был возобновить открытую борьбу против партизан. Сами националисты не могли не понимать, что они делают это себе на погибель.

Одно дело «воевать» с безоружным населением — тут они были храбрые, другое дело драться с партизанами. Чем кончаются столкновения с партизанами — это предатели не раз испытали на собственной шкуре.

Но хозяевам, гитлеровцам, надоело смотреть на бездействие своих лакеев. Хозяева потребовали от националистов активных выступлений.

К этому времени из раздобытого разведчиками протокола нам дословно стало известно содержание беседы «Бульбы» с шефом политического отдела СД Иоргенсом. Оказывается, Иоргенс очень недоверчиво отнесся к заверениям «атамана», что, дескать, «нейтралитет» используется в целях уничтожения партизан. Иоргенс потребовал от «атамана» активности. В свою очередь «атаман», смекнув, что хозяева в нем заинтересованы, воспользовался случаем и попытался добиться, чтобы они признали его, «Бульбу», своим равноправным союзником. Иоргенс вел «переговоры» непосредственно от имени гаулейтера Коха. На требование «Бульбы» он без обиняков заявил, что «атаману» надлежит выполнять свои функции, а именно очищать леса от партизан,— иначе говоря, посадил лакея на место. Чем окончились эти «переговоры», в протоколе не указывалось, но об этом нетрудно было догадаться.

Вслед за первой встречей состоялась новая. Иоргенс приехал на этот раз не один, а с начальником. Имперского комиссара Коха представлял сам доктор Питц, шеф СД Волыни и Подолии. Этот доктор Питц оказался более любезным, нежели его подчиненный. Он начал с того, что удостоил «атамана» Бульбу лестных похвал — упомянул прошлую деятельность «атамана», его участие при взятии немецкими войсками города Олевска, его неизменную помощь Германии. Закончил Питц деловым предложением. Он предложил «атаману» место своего личного референта по вопросам борьбы с партизанами. То, что «атаман» метит в «правители Украины», шефа СД нисколько не волновало. Больше того, он так же недвусмысленно, как и Иоргенс, дал понять «господам националистам», что они нужны единственно как полицейская сила и если в этом смысле окажутся бесполезными, то лишатся куска хлеба, а то и собственных голов.

«Переговоры» закончились полным согласием обеих «сторон».

Этого и следовало ждать.

— Что ж, драться, так драться! Мы в долгу не останемся,— сказал, ознакомившись с протоколом, Александр Александрович Лукин, только что прилетевший из Москвы. Нового для себя Лукин ничего не прочитал. Иного и нельзя было ожидать от предателей, давно уже связавших свою судьбу с гестапо. Гитлеровцы не могли допустить того, чтобы замирение с партизанами продолжалось. Очень уж невыгодным для них и выгодным для партизан оказался этот «нейтралитет».

Лукина мы заждались. Дело в том, что он давно уже выполнил все поручения и мог вернуться, но ему не везло: то погода нелетная, то самолета свободного нет. Дважды он вылетал, но оба раза летчики теряли ориентировку, не находили наших сигнальных костров. И вот, наконец, Лукин спустился к нам на парашюте. С этого же самолета на парашютах нам сбросили много «гостинцев»: письма от родных и друзей, журналы и газеты, автоматы, патроны и продукты.

Вместе с Лукиным прилетели четверо новичков: радистки Марина Ких и Аня Веснянко, а также Гриша Шмуйловский и Макс Селескериди, московские студенты, друзья Цесарского.

Шмуйловский учился в институте истории, философии и литературы. Он долго добивался, чтобы его послали в наш отряд.

— Ну, а как же институт? — спросил я его при первой же встрече в Москве.

— После победы закончу,— ответил он.

Шмуйловский привез много новых песен, по которым партизаны сильно стосковались. Что ни вечер, у костров повторялись одни и те же «Марш энтузиастов», «Катюша», «Землянка». Гриша привез «Вечер на рейде», «Морячку», «Песню сапер» и другие.

Он был от природы музыкален, пел с чувством. Через несколько дней новые песни распевал весь отряд.

Макс Селескериди, грек по национальности, учился до войны в театральной студии. Если верить ему, он был по характеру своего дарования комиком. У нас он хотел стать подрывником. Я и тогда, и позже часто удивлялся, почему Макс решил, что он комик. Ни разу я не видел улыбки на его широком, смуглом, с густыми черными бровями лице.

Селескериди и Шмуйловский долго расспрашивали Цесарского о партизанских делах. На вопросы о Москве, которыми засыпал их доктор, оба отвечали односложно: им хотелось поскорее узнать об отряде, о том, что уже успели здесь без них сделать, какие были бои, какие интересные операции.

Оба новичка откровенно позавидовали Цесарскому: человек и в боях побывал, и убитых фашистов на счету имеет, и уже в партии!

— Мне большую честь оказали,— задумчиво отвечал Цесарский.— Теперь надо оправдывать. Вы ведь знаете, ребята, что значит быть коммунистом, особенно здесь.

Так и не дождался он в тот день рассказа о Москве. Рассказ этот мы услышали только спустя несколько дней, после боя, в котором сразу — не успели они прилететь — пришлось участвовать обоим новичкам.

...Вернулся со своей группой Фролов. С ним было теперь не шестьдесят пять, а пятьдесят один человек.

Близ реки Случь, у села Богуши, группа напоролась на вражескую засаду. После получасового боя, потеряв шесть человек убитыми, разведчики отошли. По их словам они имели дело не с немцами, а с националистами. Это подтверждалось и командой, отдававшейся на украинском языке,— ее наши бойцы явственно слышали,— и документами, которые они успели забрать у одного из убитых врагов.

— А где же остальные? Где Марфа Ильинична? Где Ростик и Ядзя? — спрашивал Стехов у Фролова.

— Остались под Луцком,— отвечал Фролов. — Они трое и с ними пять бойцов для охраны.

И он рассказал о том, как горячо настаивала Марфа Ильинична, чтобы ее оставили, дали закончить начатое дело. Она и Ядзя дважды ходили в город, связались с полезными людьми. Один из этих людей, инженер со станции Луцк, сообщил ценные сведения, в частности о том, что немцы разгрузили на станции несколько вагонов химических снарядов и авиационных бомб и намерены опробовать их на партизанах и мирных жителях. Этот инженер обещал достать подробный план города с указанием всех немецких объектов: штабов, учреждений, складов боеприпасов и химических снарядов. Марфа Ильинична через несколько дней должна была снова пойти в Луцк за этим планом. Но тут как раз и был получен приказ о возвращении.

Как только Фролов закончил свой рассказ, я пошел к старику Струтинскому. Он уже все знал и сидел в землянке расстроенный, хмурый.

— Ну, как дела, Владимир Степанович? — спросил я.

— Ничего дела,— сдавленным голосом ответил он. Потом, помолчав, добавил: — Скучаю по старухе!

Я попытался его успокоить:

— Владимир Степанович, вернется Марфа Ильинична. Там же Ростислав остался, он не даст мать в обиду.

— Он-то в обиду не даст, но может так получиться, что и его обидят... Ну, ничего не поделаешь, война...

Вернувшись в штабной чум, я застал шумный разговор. Стехов и Лукин продолжали расспрашивать Фролова.

— В черных шинелях? — волновался Лукин.— Вы слышите, Дмитрий Николаевич, бульбаши-то в эсэсовских шинелях!

— И шлемы стальные на головах! — добавил Фролов. — Один подскакивает, схватил меня за борта полушубка: «Хлопцы,— кричит,— сюды, спиймав!» Ну, я его тут же — хлоп из пистолета.

Фролов долго еще рассказывал о подробностях боя и особенно много о мужестве партизана Голубя, погибшего от бандитской пули. Голубя все мы знали и любили. Родом из Ковеля, он в начале войны успел эвакуироваться на восток, подал заявление с просьбой зачислить его в партизанскую группу и вылетел вместе с нами. «Маленький, да удаленький», прозвали его партизаны. Голубь ходил на самые опасные операции и вел себя действительно геройски.

В этом бою он, как всегда, был впереди. Вражеская разрывная пуля попала ему в живот. Смертельно раненный, Голубь продолжал стрелять и подбадривал других, пока на сразила его вторая пуля...

— Разрешите, товарищ командир?

На пороге чума стоял лейтенант Александр Базанов, командир первой роты. Лицо его, с которого обычно почти не сходило выражение лукавой веселости, было омрачено.

— Да, Саша?

Базанов помялся и спросил:

— Не будем с ними рассчитываться? Ребята рвутся,— поспешил добавить он.— За «Маленького, да удаленького»!

— Нужно их проучить! — поддержал Стехов.— Раз и навсегда отбить у бульбашей охоту на нас лезть! Нужно!

— Хорошо, ступайте,— сказал я Базанову.— Мы это дело обсудим.

Базанов лихо повернулся кругом и вышел. По тому, как он это сделал, можно было заключить: он не сомневался, что драться будем и что пошлем именно его, Базанова.

На следующее утро он получил приказ: выступить с ротой, напасть на село Богуши и разгромить засевшую там банду националистов.

Не успел Базанов, повторив приказ, уйти, как прибежал Цесарский:

— Пустите меня с Базановым! Там должен быть большой бой и не обойдется без раненых.

Я посмотрел на его горящие глаза — и согласился.

С Сашей Базановым, бывшим беспризорником, заканчивавшим институт физической культуры, Цесарский дружил еще в Москве. Здесь, в отряде, их дружба окрепла. Они были неразлучны. Оба — молодые, темпераментные, оба — смелые, оба — запевалы, зачинщики отрядных затей. Одной из таких затей были тренировки в беге, которые по совету Цесарского завел у себя в роте Саша Базанов. Каждое утро бойцы после физкультурной зарядки пробегали определенную дистанцию. С ними вместе неизменно бежал сам доктор. «Уж не улепетывать ли собираетесь?» — шутили товарищи над Базановым и Цесарским.— «Почему улепетывать? — возражал Цесарский. — Готовимся не улепетывать, а догонять».

Получив разрешение отправиться на операцию, доктор бросился к прибывшим из Москвы друзьям, делясь с ними своей радостью. Но и новичкам разрешили побывать в этом бою. Показали они себя с самой лучшей стороны.

...На рассвете группа партизан из ста человек под командой Базанова вышла из лагеря и после дня пути приблизилась к селу Богуши.

Была уже ночь, когда Базанов послал людей в разведку. В ближайшем лесочке разведчики заметили небольшой костер, вокруг которого сидели и лежали неизвестные люди. Предполагая, что это бандиты, разведчики осторожно подползли к кострам. Но неизвестные оказались крестьянами из села Богуши. Они обрадовались появле-

нию партизан и обстоятельно рассказали, что делается в в селе, где расположились националисты.

— Проучите этих выродков,— в один голос просили крестьяне,— жизни от них нет!

И тут же охотно согласились быть проводниками.

Село Богуши находится на западном берегу реки Случь. Здесь до сентября 1939 года проходила советско-польская государственная граница. По берегу, у самой воды, были разбросаны доты и дзоты. Река разбухла, и вода затопила эти сооружения.

Рассчитав свои силы и поставив задачи перед командирами подразделений, Базанов ждал рассвета.

По сигналу к атаке бойцы, бесшумно подобравшись к крайним хатам села, с громким «ура» бросились вперед. Заспанные, не успевшие протрезвиться бандиты метались, как перепуганное стадо баранов, по всему селу. Повсюду их настигали меткие пули партизан.

Одним из первых вбежал в село Цесарский. Он в упор расстреливал врагов из своего маузера. Брошенные им в сарай две гранаты навсегда заставили замолчать строчивший оттуда вражеский пулемет.

Когда Цесарский перезаряжал маузер, появился раненый. Тут только доктор вспомнил о своих прямых обязанностях. Здесь же, посреди села, он приступил к перевязке. Но не успел он кончить, как застрочил неподалеку автомат, и пули просвистели над его головой.

— За мной! — крикнул раненому Цесарский и потащил его за угол хаты. Стрельба продолжалась. Заканчивая перевязку, врач заметил, что стреляют с сеновала, из ближайшего сарая. В несколько прыжков он очутился там.

— Сдавайтесь, гады! — крикнул он.

В ответ бросили гранату. Она упала у самых ног доктора. Цесарский переметнулся за угол. «Жаль, гранат не осталось»,— подумал он. Но тут же вспомнил о фляжке со спиртом, что висела у него на поясе. Недолго думая, он опорожнил фляжку на стены сарая, поднес спичку.

Скоро из сарая, проломив крышу, один за другим спрыгнули на землю три бандита. На одном из них тлела одежда.

Спокойно, будто стреляет по мишеням, Альберт Вениаминович уложил всех троих.

— Не догнали бы мы их, пожалуй, если бы не тренировались в беге,— шутили Цесарский и Базанов, возвратившись в лагерь с большими трофеями.

Тогда-то, после боя, новички и рассказали все, о чем так жаждали услышать партизаны. Рассказали о родной Москве, об атмосфере спокойствия и уверенности, царящей там, о том, что уже сейчас в разгар войны, идет восстановление освобожденных городов, продолжается жилищное строительство и строительство метро.

— Да,— вспомнил вдруг Гриша Шмуйловский,—ведь для тебя есть посылочка, Алик! — и он достал из своей сумки небольшой пакет и передал Цесарскому.

— Что же ты молчал столько! — сказал Цесарский, со смущенным видом разворачивая пакет.

— Да ты мне сам забил голову своими расспросами!

Жена прислала доктору письмо, пестрое шерстяное кашне, очевидно, ею же связанное, и новое издание «Гамлета». С этими дорогими ему вещами Цесарский никогда уже не расставался.

В тот же день пришли в лагерь Ростик и Ядзя.

Старик Струтинский перехватил их раньше всех. Он молча выслушал обоих и, не проронив ни слова, скрылся в своем шалаше.

Ядзя пришла ко мне. Она вытащила из потайного кармана пакет:

— Вот, тетя Марфа велела передать. — И, заливаясь слезами, рассказала о происшедшем.

Ядзя с Марфой Ильиничной пошли в Луцк на условленную встречу, получили от инженера пакет и вернулись в лес, где их ждали партизаны, которых оставил Фролов. Документы Марфа Ильинична вшила в воротник пальто. Всей группой отправились они к своему отряду. Днем отдыхали в хуторах и селах, ночью шли.

В хуторе Вырок хату, где они отдыхали, окружили гитлеровцы.

Ростик и его товарищи предложили матери и Ядзе бежать через двор в лес, а сами выскочили из хаты.

Марфа Ильинична быстро распорола воротник пальто, достала пакет:

— Возьми, Ядзя. Ты еще можешь убежать... ноги молодые... Передашь командиру...

Схватка шла около хаты. Шестеро партизан не могли устоять против сорока жандармов. Трое были убиты, а Ростик с двумя бойцами, уверенный, что мать и Ядзя уже скрылись, стал отходить к лесу.

— Ростик не видел, как в хату ворвались жандармы,—

рыдая, рассказывала Ядзя.— Тетю ранили, а меня схватили за руки... Я больше ничего не видела... Вырвалась, схватила пистолет, выстрелила в кого-то, потом выпрыгнула в окно. На другой день я встретилась в лесу с Ростиком и двумя нашими ребятами. Ростик не знал, что мать у фашистов осталась.



Марфа Ильинична Струтинская

— Ну, а дальше?

— Дальше вот что. Мы все ходили в том лесу, недалеко от Вырок. Вечером смотрим, идет какая-то женщина. Мы ее дождались и расспросили. От нее узнали, что тетю ужасно били, но она ничего не выдала. Потом гестаповцы ее увели и за деревней расстреляли. Ночью крестьянки подобрали ее тело и похоронили в лесу. Эта женщина привела нас на свежую могилу. Она, оказывается, тоже хоронила тетю и пришла в лес, чтобы кого-нибудь из нас встретить.

Мы жили на войне. Мы не раз видели смерть, не раз хоронили наших товарищей. Мы беспощадно мстили за них фашистам. Казалось, мы уже привыкли к жестокостям борьбы. Но смерть Марфы Ильиничны потрясла нас всех до глубины души. Весть о ее гибели мгновенно разнеслась по лагерю и как-то необычно тихо было у нас в лесу, когда я шел в чум Владимира Степановича.

Говорить с ним было нельзя — спазмы душили старика. Я ушел от Владимира Степановича с таким чувством, словно был в чем-то перед ним виноват.

Сейчас, вспоминая гибель Марфы Ильиничны, я нашел один из номеров нашей партизанской газеты и в нем некролог, написанный партизанами.

«Печальную весть принесли наши товарищи, возвратившиеся из последней операции: от рук фашистских извергов погибла Марфа Ильинична Струтинская.

Мы хорошо узнали ее за месяцы, что пробыли вместе

в отряде. Мать партизанской семьи, семьи героев, она и сама была героиней — мужественной патриоткой.

В отряде она была матерью для всех. Неутомимая, умелая, она работала день и ночь.

Марфа Ильинична добровольно отправилась на выполнение серьезного оперативного задания. На обратном пути пуля фашистского палача оборвала ее жизнь.

За нее есть кому отомстить. Поплатятся фашисты своей черной кровью за дорогую для нас жизнь Марфы Ильиничны Струтинской.

Родина ее не забудет!»

Николая и Жоржа Струтинских не было в лагере, когда мы узнали о гибели их матери. Они находились в Ровно. Тем тяжелее было Владимиру Степановичу. Чтобы както рассеять его горе, мы специально придумали для него командировку. Он поехал, вернулся, пришел ко мне и доложил, что задание выполнено. Я поразился, до чего же изменился старик: за несколько дней он осунулся, сгорбился.

— Садитесь, Владимир Степанович!

Он тяжело опустился на пень. Я налил ему чарку вина. Но он отодвинул ее.

— Не могу.

Молчание казалось бесконечным, и я не смог нарушить эту безмолвную исповедь: старик не нуждался в том, чтобы его утешали. Наконец, он заговорил — вернее, поделился своей давно выношенной мучительной мыслью:

— Вот если бы с ней был Николай... или Жорж — этот тоже крепкий. Ну, да что уж теперь, не вернешь.

Теперь Владимир Степанович часто справлялся о сыновьях, когда они были в отлучке:

— Что с Жоржем? Когда вернется Николай?

После смерти матери Вася и Слава остались одинокими. Девушки-партизанки ухаживали за ними, но заменить мать не могли. Да и опасно было у нас. Поэтому, как только представилась возможность, мы отправили Васю и Славу на самолете в Москву. С ними улетела и Катя. Отец строго наказал ей заботиться о братьях.

Глава тринадцатая

Станцией Здолбунов мы заинтересовались сразу же по прибытии в Ровенскую область. Здолбуновский железнодорожный узел связывал Германию с Восточным фронтом.

По магистралям Львов — Киев, Ковель — Луцк — Киев, Минск — Сарны — Киев через Здолбунов шли в обе стороны — на запад и на восток — немецкие эшелоны.

Организовать здесь разведывательную и диверсионную работу — значило оказать серьезную помощь Красной Армии.

Первым из нас посетил Здолбунов Николай Приходько. Это был его родной город. Связь со Здолбуновом Приходько установил еще задолго до своей гибели.

— Смотри,— предупреждал я его,— будь осторожен со старыми знакомыми. На станции не показывайся — узнают. Достаточно одного предателя — и пиши пропало. Понял?

— Понял,— кивал в ответ Приходько, больше всего боявшийся, что командование раздумает его посылать.

Приехав в Здолбунов, он принялся разыскивать друзей — людей, в которых не сомневался. Один из них — Дмитрий Михайлович Красноголовец — встретился ему на улице. Красноголовец был до войны работником железнодорожной милиции, теперь, при немцах, он работал столяром в городской управе. Он признался Коле Приходько, что давно уже мечтает об активной борьбе, но не знает, с чего начинать: где достать взрывчатку, с кем из товарищей можно связаться. Приходько указал ему на братьев Шмерега, которых знал как надежных людей. Оба брата охотно согласились помогать партизанам. Приходько объяснил, в чем должна заключаться эта помощь, но никаких конкретных заданий не дал.

— Собирайте людей, — сказал он, — а там будет видно.

Задания Красноголовец и его товарищи получили только тогда, когда у них организовалась подпольная группа. Создав эту группу, Дмитрий Красноголовец проявил себя как патриот, готовый отдать свою жизнь за освобождение Родины, и в то же время как хороший организатор, способный выполнять наши задания. И задания последовали.

Впрочем, здолбуновские товарищи, как только они оказались вместе, не стали ждать связного из отряда и начали действовать самостоятельно, делая все, что было в их силах. Они срезали шланги тормозов на паровозах и вагонах, развинчивали рельсы. Им удалось задержать в депо на ремонте семьдесят паровозов почти исправных — задержать на целых триста часов каждый. Это было уже чувствительнее прежних мелких диверсий, после которых

немцы за два-три часа ликвидировали повреждения.



Связной Леня Клименко

Вслед за Приходько в Здолбунове побывали Кузнецов, Гнедюк, Шевчук, Коля Струтинский. Они приезжали сюда каждый раз, когда в Ровно становилось «тесновато», то есть, когда они получали сведения о готовящейся облаве. Разведчики проводили у Красноголовца или у братьев Шмерега по два-три дня и, узнав, что опасность миновала, возвращались обратно. Они-то и были представителями отряда в Здолбунове — направляли работу организации, строго следя за тем, чтобы она была тщательно законспирирована.

Связь с отрядом здолбуновская организация держала не только через ровенских разведчиков, но и через специального курьера связи, которого выделил Красноголовец. Этим связным был Леонтий Петрович Клименко, или просто Леня, как все его звали. Леня был военнопленным, немцы освободили его из лагеря как опытного шофера и назначили на автобазу одного из хозяйственных учреждений в Здолбунове. Прямого отношения к железной дороге Леня не имел, зато в его распоряжении находилась полуторка. Как-то он прикатил на ней на «маяк», сдал Вале Семенову пакет от Красноголовца, а обратно повез пятьдесят мин замедленного действия.

Вскоре обязанности Лени Клименко расширились. Он стал возить из Ровно на «маяк» и обратно наших разведчиков. Когда бы нам ни понадобилась машина, она у нас теперь была.

Этого невысокого, простого, улыбчивого парня полюбили все, кого он возил и с кем просто встречался. Дни, когда ему удавалось побывать в лагере отряда, он считал праздником. Клименко ходил от костра к костру, присаживался, подолгу беседовал, пел наши песни и, бывало, ночи не спал, чтобы не расходовать попусту время, которое он мог побыть с партизанами.

С нетерпением ждал Клименко, когда, наконец, ему разрешат сжечь полуторку, явиться в отряд и стать автоматчиком. Это было его мечтой!

Мины, которые Леня доставил здолбуновским товарищам, причиняли немцам огромные убытки. Мины оказывались под котлами паровозов, под цистернами с горючим, под вагонами составов, следовавших на Восточный фронт. Взрывы происходили в пути, в восьми-десяти часах езды от станции Здолбунов. Сведения о результатах диверсий доходили к подпольщикам от поездных бригад. Проводники рассказывали, что «ни с того, ни с сего» вдруг на полном ходу взрывался котел паровоза или цистерна с бензином — тогда сгорал весь эшелон.

Красноголовец слушал эти рассказы с трудно скрываемым волнением. Человек уже не молодой, много на своем веку повидавший, он часами простаивал на станции в ожидании поезда с востока и не мог уйти до тех пор, пока не узнавал о результатах диверсии. Ему хотелось видеть эти результаты своими глазами, слышать своими ушами взрыв, от которого гибнут немецкие грузы и падают мертвыми вражеские солдаты. Когда случалось, что о заминированном эшелоне не приходило известий, это вызывало тревогу,— Красноголовец боялся, что работа его пошла насмарку. В таких случаях он не находил себе места до тех пор, пока не летел в воздух новый немецкий эшелон.

Еще накануне Нового года Константин Ефимович Довгер предложил нам связаться с неким Фидаровым.

— Этот человек будет вам полезен,— сказал Константин Ефимович.— Он инженер Ковельской железной дороги, перед войной работал начальником станции Сарны. В Сарнах и Ковеле у него много знакомых.

— А положиться на него можно? — спросил Кочетков.

— Член партии.

— Что он сейчас делает?

— Долго мытарился при немцах, скрывался, а сейчас устроился диспетчером на мельнице, недалеко от Сарн.

Дядя Костя умел подбирать людей для нашей работы. Мы уже убедились: если он рекомендует кого-либо — значит на человека можно положиться.

Кочетков пошел на свидание к Фидарову.

Фидаров, маленький, коренастый, подвижный, как все

уроженцы Кавказа, горячо сказал Кочеткову в ответ на его предложение:

— Что за вопрос! Давайте приступать к делу немедленно. Говорите, что нужно сделать.

— А как вы сами считаете? — спросил Кочетков.

— Я считаю,— воскликнул Фидаров, жестикулируя,— нужно взорвать мосты! Я давно так считаю, но у меня нет мин. Пришлите — сделаю. И давайте скорей. Я и без того потерял много времени.

— Взорвать мосты вы успеете,— сказал Кочетков.— Начать нужно с создания крепкой подпольной группы.

Спустя полтора месяца Фидаров передал через Валю Довгер список членов своей организации. Это были рабочие, машинисты, путевые обходчики, станционные служащие.

По заданию Кочеткова сарненская подпольная организация начала интенсивную разведку на железной дороге. Фидаров бесперебойно давал в отряд сведения о движении на магистралях Ковель — Коростень и Сарны — Ровно: сколько проходит поездов, куда и какие перевозятся войска, грузы, снаряжение. Эти сведения незамедлительно передавались нами в Москву.

Вскоре группа Фидарова расширила свою деятельность — стала заниматься не только разведкой, но и диверсиями. Наконец-то наш кавказец добрался до своих мостов. Все чаще и чаще в районе Сарн летели под откос немецкие эшелоны!

В дальнейшем мы организовали подпольные группы на других станциях — в Костополе, Ракитно, Луцке. Повсюду советские патриоты, получив нашу помощь и руководство, охотно брались за дело и наносили немецким захватчикам чувствительный урон.

Тем временем продолжал свою патриотическую работу и сам Константин Ефимович Довгер.

Он побывал не только в Ровно. По нашим заданиям он посетил Ковель, Луцк, Львов и даже Варшаву. Отовсюду он привозил ценные разведывательные данные.

Особенно успешным было его посещение Варшавы. Он пробыл там всего пять или шесть дней, но за это короткое время сумел узнать немало интересного.

В частности, дядя Костя установил, что в Варшаве существуют две псевдо-подпольные польские офицерские

школы. В каждой из них обучается по 300 человек. Школы эти субсидируются из Лондона эмигрантским польским правительством пресловутого Сикорского. Кого же готовят в школах? Ответ на этот вопрос давало одно обстоятельство, которое удалось выяснить Константину Ефимовичу. Субсидии в виде американских долларов, получаемые из Лондона, шли в карман гитлеровцам. Да, гитлеровцам! Гитлеровцы же — генералы, офицеры и гестаповцы — являлись преподавателями в этих школах. Нетрудно было понять, что за кадры готовили эти «учебные заведения», чему там учили и к чему предназначали обученных офицеров.

Однажды при встрече с Кочетковым Валя Довгер передала очередное донесение отца: фашисты собираются вывезти все оборудование механических мастерских из села Виры Клесовского района.

Мастерские эти считались одним из крупных предприятий в области. В них ремонтировались паровозы, тягачи, тракторы, автомашины. При мастерских была своя электростанция. Отдельная железнодорожная ветка связывала их со станцией Клесово.

Рассказав о намерении немцев, Валя предложила взорвать мастерские и железнодорожный мост между ними и Клесовым. То ли отец велел ей передать это Кочеткову, то ли сама она надумала,— во всяком случае она довольно решительно, не предвидя возражений, заявила об этом плане.

Кочетков сообщил его нам, прибавив от себя, что вполне разделяет предложение дяди Кости и Вали. Мы согласились.

После того как были детально разведаны порядки в мастерских, число и расположение охраны, Кочетков направился туда с группой в двадцать человек; пятеро из этой группы — местные жители. Пошли в Виру и наши маститые специалисты подрывного дела — инженер Маликов, Коля Фадеев, Хозе Гросс.

Ночью они приблизились к мастерским и разбились на три группы: одна с Гроссом пошла к мастерским, другая с Маликовым — к электростанции, третья — с Кочетковым и Фадеевым — к паровозному депо. Каждая группа бесшумно сняла охрану на своих объектах и начала минирование.

Когда приготовления были окончены, Кочетков дал сигнал. В одну и ту же секунду раздалось три оглу-



Виктор Васильевич Кочетков

шительных взрыва. Депо, мастерские и электростанция загорелись.

Подрывники собрались в условленном месте. Пора было двинуться в обратный путь. Но Кочетков, вернувшийся последним, сказал упавшим голосом:

— Плохо получилось, товарищи. В депо в момент взрыва находились только два паровоза, а третий с пятьюдесятью вагонами стоит недалеко отсюда, на железнодорожной ветке. Неужели оставим его?

— Взорвать!

— Сам знаю, что взорвать, но у нас осталась только одна мина для моста. Как быть?

Выход нашел Хозе. По его совету половина людей пошла взрывать мост, другая направилась к паровозу. Здесь партизан Нечипорук, работавший раньше помощником машиниста, взобрался на паровоз и развел огонь в топке. Когда мост был взорван, паровоз стоял уже под парами. Нечипорук пустил его со всеми вагонами, а сам спрыгнул на ходу. Набирая скорость, паровоз влетел на взорванный мост и с ходу рухнул вниз, за ним загремели туда же вагоны.

Через несколько дней к месту взрыва приехала специальная комиссия из рейхскомиссариата. Она определила, что убытки от диверсии в Вирах исчисляются миллионами марок.

— Ну, и отвел я душу,— говорил Кочетков в лагере.— А какой молодец Гросс, как хорошо придумал!

Кочеткова партизаны очень уважали, но тихонько острили и посмеивались на его счет. Главной темой шуток был громкий бас Кочеткова. Виктор Васильевич не умел тихо разговаривать. Ночами в походах все старались итти бесшумно, боялись сломить веточку, чтобы не нарушить лесной тишины. Стоило Кочеткову услышать чей-нибудь шопот, как тут же следовало строгое замечание.

— Прекратите разговоры! Итти бесшумно! — требовал Кочетков, да так громогласно, что в соседнем хуторе начинали лаять собаки...

Операцию по взрыву механических мастерских Виктор Васильевич провел блестяще, как, впрочем, и все, за что ни брался.

В этой диверсии участвовал с пятью бойцами своего отделения Гриша Сарапулов. Он так умело поднял на воздух сначала депо, а затем мост, что удостоился похвалы самого Гросса.

...В один из первых весенних дней Константин Ефимович Довгер, получив задание, направился в Сарны, чтобы оттуда поездом выехать в Ровно. Его попутчиками были двое партизан — Петровский и Петчак. Они, так же как и дядя Костя, должны были сесть на станции Сарны в поезд — один вместе с Довгером на ровенский, другой — на поезд, следующий в Ковель.

По дороге их остановила группа вооруженных людей. Один из этой группы, видимо старший, приказал своим людям обыскать всех троих. Обшарив карманы, забрали деньги и документы — больше ничего не нашли. У Константина Ефимовича взяли часы.

— В штаб! — приказал старший.

Их привели в одинокий домик на окраине села, на берегу реки Случь. Вокруг домика сновали вооруженные люди. Дядя Костя заметил трезубы на шапках и тут только окончательно понял, с кем имеет дело.

Конвоиры привели задержанных к бандиту, который, судя по регалиям, был здесь главным.

Бандит взял у конвоира документы задержанных, бегло их просмотрел и крикнул конвоиру: — Пришли хлопцев!

«Хлопцы» уже ждали сигнала и по команде набросились на партизан, колючей проволокой связали им руки за спиной, затем разули. Петровского и Довгера отвели в клуню, Петчак был оставлен для допроса.

Допрос длился до тех пор, пока Петчак не повалился без сознания, исколотый иголками и гвоздями, израненный перочинным ножом, избитый шомполами. Вопрос, который ему задавали, был один и тот же:

— Куда и зачем идешь?

Петчак молчал.

Его окатили холодной водой, снова принялись допрашивать и, не получив ответа, начали бить ногами.

В бессознательном состоянии, окровавленного, его втолкнули в клуню к Петровскому. На допрос взяли Довгера.

Так же, как Петчак, дядя Костя ни слова не сказал своим мучителям. Он был подвергнут таким же нечеловеческим пыткам и без сознания принесен и брошен в клуню.

— Ты украинец? — обратился фашист к Петровскому, когда его привели на допрос.

— Да, украинец.

— Так расскажи нам, куда ты пошел с этим ляхом и белорусом?

— Я шел в Сарны,— отвечал Петровский.

— Зачем?

— По своим делам.

Резиновая дубинка опустилась на его голову.

— Будешь говорить?

— А я говорю,— промолвил Петровский, когда пришел в себя.

— Ты получил задание от советских партизан?

— Нет.

— Врешь!

Его начали бить шомполами. Били до тех пор, пока он мог стоять на ногах. Когда он свалился, бандиты продолжали наносить ему удары ногами.

Наконец, и его бросили в клуню...

Было начало марта, и они коченели от холода, лежа без пальто, без сапог, со связанными колючей проволокой руками.

У клуни каждые полчаса сменялись часовые.

Шопотом, чтобы не услышали часовые, дядя Костя сказал товарищам:

— Если кому-нибудь из вас удастся вырваться — зайдите к моим, передайте привет. Дочка пусть идет в отряд. Командиру расскажите все, от начала до конца.

Перед рассветом в клуню вошли пятеро молодчиков. Ударами ног они заставили пленников встать, проверили, хорошо ли связаны у них руки, и потащили к реке.

— Стой! — скомандовал один из бандитов, когда подошли к берегу. Река была скована толстым слоем льда, на котором чернела прорубь.

Трое схватили дядю Костю.

— Прощайте, товарищи! — крикнул он.

Петровский и Петчак видели, как возились бандиты, засовывая под лед свою жертву.

— Лучше умереть от пули! — закричал Петровский и бросился в сторону, увлекая за собой Петчака.

По ним открыли стрельбу. Петчак упал, не успев сделать и несколько шагов. Петровский продолжал бежать, собрав все силы, ускоряя шаг, делая зигзаги. И пули миновали его.

Спустя три часа он был уже в лагере. Руки его были отморожены, в тело впились ржавые острия колючей проволоки, ноги были изранены, из глубоких ран сочилась кровь.

К вечеру того же дня банда националистов, учинившая жестокую расправу над нашими товарищами, была полностью уничтожена.

Из-подо льда извлекли тело дяди Кости. Мы похоронили его с партизанскими почестями.

Глава четырнадцатая

У входа в штабной чум остановилась худенькая бледная девушка-подросток. На ней серый шерстяной платок, покрывающий голову и грудь и завязанный за спиной, старые чиненые валенки. За плечами — рюкзак, в руках какой-то сверток.

— Валю привел,— басом докладывает Кочетков, ставя в угол автомат.— Так пристала, что пришлось взять с собой.

— Рад видеть тебя, Валюша, молодец, что пришла,— сказал я, помогая ей сбросить рюкзак и забирая из рук сверток.— Раздевайся, у нас тут тепло.

Девушка сняла варежки, развязала платок и затем, все так же молча, протянула мне свою маленькую детскую руку.

«Совсем ребенок»,— подумал я и спросил: — В гости к нам?..

Я не знал, с чего начать, какими словами утешить ее, как ободрить.

— Нет, не в гости. Я пришла проситься в отряд, — серьезно и, чего я вовсе не ожидал, совершенно спокойно сказала Валя.

— А мама как?

— Она сама послала. Ведь надо же кому-нибудь заменить папу!..

Голос ее дрогнул, когда она произнесла «папу».

— Константин Ефимович много делал для нас, но почему именно ты должна его заменить? Весь народ ненавидит фашистов. К нам приходят десятки новых людей. Они и заменят нам его, и отомстят. А ты еще молода. Живи в отряде, работу тебе здесь подыщем...

— Оружие дадите?

— Твой отец и без оружия хорошо воевал...

— А я прошу дать мне оружие,— настойчиво сказала Валя, продолжая смотреть на меня в упор.

Я не хотел разочаровывать девушку.

— Хорошо, Валя, поживешь, освоишься — тогда дадим и оружие.

Есть часто употребляемое образное выражение «глаза горят ненавистью». У Вали глаза горели ненавистью в прямом, буквальном значении этих слов.

Как мне, так и Сергею Трофимовичу Стехову показалось, что все это — и заявление насчет оружия и сама ненависть — не что иное, как выражение личной обиды и боли, крик детской души. Мы, как могли, успокаивали девушку. Затем решили познакомить ее с нашей новой радисткой Мариной Ких.

— Попробуй, Марина, по-своему, по-женски поговорить с Валей,— попросил я.

Марина была одной из самых уважаемых партизанок в отряде. Не только в отряде — во всей Западной Украине знали и чтили эту скромную, неприметную молодую женщину, у которой, оказывается, такая богатая, такая честная и мужественная жизнь за плечами. Уроженка Львовской области, простая крестьянская девушка, Марина еще в 1932 году связала свою судьбу с коммунистической партией. В 1936, на политической демонстрации при похоронах безработного, зверски убитого польскими жандармами, Марина была ранена, вскоре затем арестована и приговорена к шести годам тюрьмы. Наши войска в 1939 году освободили ее вместе с многими другими политическими заключенными. Трудящиеся Западной Украины избрали Марину Ких в свое Народное собрание. В числе других делегатов она ездила сначала в Киев, а затем и в Москву на Чрезвычайные сессии Верховного Совета.

Когда началась война, Ких поступила на курсы радистов, блестяще их окончила и после этого прибыла к нам в отряд.

— Хорошо,— отвечала она на мою просьбу.— Попробую поговорить с Валей, отвлечь ее от тяжелых мыслей,— только времени у меня осталось мало. Ведь мы как будто на-днях выходим. Или вы, товарищ командир, — Марина посмотрела на меня испытующе,— раздумали брать меня с собой на задание?



Марина Ких

Мы со Стеховым переглянулись.

— Нет, Марина, не раздумал, — сказал я. — Но оставшееся время вы уж, пожалуйста, посвятите Вале. Может быть мы и ее с собой возьмем. Подумаем.

— И до чего они все одинаковы, эти новички! — воскликнул замполит, как только Марина вышла. — Сегодня ко мне пристал Шмуйловский: «Возьмите да возьмите, я знаю — вы собираетесь на боевую операцию». Я объясняю: это не я собираюсь, а полковник, обращайтесь к полковнику. Он у вас был?

— Был. И он, и Селескериди.

— Как вы решили?

— Думаю, надо взять. Ребята рвутся в бой, хотят наверстать упущенное время, догнать «старичков».

— Александр Александрович, насколько я понимаю, тоже причисляет себя к новичкам,— сказал Стехов, завидев входящего Лукина.— Тоже, небось, собирается в дорогу?

Лукин не ответил. Молча достал из полевой сумки карту и принялся за работу.

Собственно то, к чему мы готовились, не было боевой операцией. Я просто решил перейти с частью отряда в Цуманские леса. Причиной послужило то, что фашисты в последнее время активизировали свою борьбу против нас. Держать связь с Ровно становилось все труднее и труднее. По дороге все переправы через реки были перекрыты вооруженными бандами. Для связи с городом тре-

бовались теперь не один-два курьера, а целые группы бойцов — в двадцать-тридцать человек.

После боя под Богушами вооруженные стычки стали обычным явлением. Немцы и в особенности «секирники» в этих стычках несли большие потери. Но и с нашей стороны участились жертвы.

Чтобы спокойнее продолжать работу в Ровно, я и решил с частью отряда перейти в Цуманские леса, расположенные по западную сторону города. Там я надеялся подыскать новое, более удобное и безопасное место для лагеря.

Я отобрал сто пятнадцать человек, в том числе и новичков, которые были несказанно рады этому. Командиром в старом лагере остался Сергей Трофимович Стехов.

Помимо разведчиков, уже работавших в Ровно, в группу вошли все те, кто знал город. Предполагалось, что мы более широко развернем там свои дела. Пошел с нами и Лукин.

Действительно, переход в Цуманские леса оказался настоящей боевой операцией.

Первый бой разгорелся при переезде через железную дорогу Ровно — Сарны, у села Карачун. Фашисты узнали о нашем продвижении и устроили засаду. После пятиминутной перестрелки я дал команду отступить в лесок, чтобы выяснить силы противника.

Только мы отошли, к месту засады прибыл поезд, доставивший батальон карателей. Вероятно, по телефону фашисты вызвали подкрепление.

Я решил напасть первым.

Фашисты не успели выгрузиться из вагонов, как мы обрушились на них с криком «ура». Это «ура» и решило дело: каратели отступили в беспорядке.

Человек двадцать мы перебили, пятерых взяли в плен.

Пленные показали, что из Ровно и Костополя в район Рудни-Бобровской отправлено большое число эсэсовцев на разгром партизан. Эти же сведения подтвердили и местные жители.

— Не менее двухсот грузовых машин с прицепленными пушками прошло в ту сторону,— говорили нам.—В каждой машине — битком, человек по тридцать солдат.

Я попытался по радио предупредить Стехова, но радиосвязь не удавалась. Тогда я отправил ему радиограмму

через Москву, хотя понимал, что предупреждение мое опоздает.

В бою при переезде у нас был убит один партизан и двое ранено.

Раненым оказался Маликов. Ему разрывной пулей раздробило два пальца на правой руке. Цесарский на месте ампутировал отбитые пальцы и обработал рану.

Вторым раненым был Хозе Гросс. Ранение серьезное. Разрывная пуля раздробила ему лопатку. Хозе мужественно переносил нестерпимую боль и обращался к Цесарскому только с одним вопросом: когда он, Гросс, может рассчитывать на выздоровление? Доктор избегал отвечать на этот вопрос, зная, что Хозе не скоро вернется в строй.

На следующий день, к вечеру, нам пришлось драться вторично. Наше передовое охранение, передвигаясь по ровному, как стрела, большаку в направлении села Берестяны, неожиданно было встречено бешеным пулеметным и ружейным огнем. Оказывается, бойцы охранения напоролись на вражескую заставу.

Отряд развернулся и ударил по врагу.

Бой длился часа два с половиной. Он стоил фашистам семидесяти голов. Остальные разбежались или сдались в плен.

Мы нагрузили фурманки трофейным оружием. Здесь были пулеметы, минометы, боеприпасы.

Пять суток группа находилась в пути без горячей пищи. К общему удовольствию партизан, в числе трофеев оказалась походная армейская кухня, в котлах которой не успел остыть вкусный и жирный картофельный суп со свининой.

В этом бою у нас ранило трех человек. Одному из них, Коле Фадееву, разрывной пулей раздробило кость ноги ниже колена.

В дороге обнаружилось, что у Фадеева началась гангрена и необходима срочная операция.

— Иначе,— сказал Цесарский,— нельзя ни за что ручаться. Может умереть.

— Что же делать? — спросил я.— У вас есть инструменты?

— С собой ничего. Если разрешите, я ампутирую Фадееву ногу обычной поперечной пилой.

— Что вы, Альберт Вениаминович! Разве это возможно?


Коля Фадеев

— Риск, конечно, есть,— невозмутимо отвечал доктор,— но я приму все меры предосторожности. Без ампутации он наверняка не выживет.

Пришлось дать согласие, взяв на себя долю ответственности за жизнь человека. Коле Фадееву всего двадцать один год, ему еще жить и жить.

Многое передумал я, пока готовилась эта необычайная операция.

Между тем, наш хирург, внешне по крайней мере, казался совсем спокойным. Он подозвал к себе одного из партизан. Держа в руках простую поперечную пилу, Цесарский объяснял ему:

— Эти зубцы сточи наголо, вместо них нарежь новые, маленькие.

Часа через два пила была готова, и Цесарский стал дезинфицировать ее — протирать спиртом, прожигать и снова протирать. Тем временем, по его указанию, в санчасти готовилось все остальное: построили нечто вроде палатки, просторную четырехстороннюю загородку из еловых ветвей с открытым верхом, чтобы было больше света, кипятили инструменты, готовили бинты.

За несколько минут до операции Коля Фадеев позвал меня к себе. Я пришел. Он, когда-то здоровый, сильный и веселый, теперь лежал на траве осунувшийся, с бледноземлистым цветом лица.

— Товарищ командир! — сказал он.— Если все сойдет благополучно, дайте мне рекомендацию в партию.

Я готов был прослезиться, услышав эти слова. Фадеев был хорошим бойцом, достойным комсомольцем, из рядовых его сделали командиром взвода...

— Конечно, дам. А за исход операции ты не беспокойся. Ты ведь знаешь Цесарского, у него все выходит хорошо.

О том, какой пилой ему собираются отнимать ногу, и о всех наших волнениях Фадеев не подозревал. Но он,

безусловно, понимал, что операция предстояла рискованная.

Кроме Цесарского и его помощника, все, в том числе и я, отошли от «операционной».

Через несколько минут мы услышали... громкие ругательства. Это Коля Фадеев, нарушив все запреты, разошелся под наркозом.

— Вот парень душу отведет, и ничего ему за это не будет! — попробовал пошутить Лукин, стараясь отвлечь нас и себя от тяжелых мыслей.

На открытом воздухе наркоз быстро улетучивался, а операция продолжалась больше часа. Хорошо, что у Цесарского был запас хлороформа.

Цесарский пришел ко мне после операции бледный, измученный. Лицо его было в капельках пота.

— Есть, конечно, большие опасения, но надежды не теряю.

И он не ошибся. На другой день температура у Фадеева снизилась, и все пошло, как в первоклассном госпитале. Коля стал быстро поправляться.

А через несколько дней он опять попросил меня зайти.

— Товарищ командир! Неужели правда, что будто я ругался? Может, меня ребята разыгрывают.

Я улыбнулся.

— Значит правда? Вы уж меня извините...

— Ладно. Что поделаешь — придется извинить. Обстоятельства такие.

— Товарищ командир, у меня к вам еще один вопрос: что же я теперь без ноги буду делать? В тыл отправляться не хочу.

— Подожди, придумаем что-нибудь, ты еще будешь полезнее других.

— Вот за это вам большое спасибо!

По выздоровлении я назначил Фадеева начальником учебной группы по подрывному делу. Ему была доверена охрана и учет всего подрывного имущества. Фадеев очень хорошо выполнял эти свои обязанности. Рекомендацию в партию я, конечно, ему дал.

— Дмитрий Николаевич, вы вызывали из Ровно Кузнецова? — обратился ко мне Александр Александрович, когда я вернулся из взвода, где проводил беседу с товарищами.

— Нет, а что?

— Он только что приехал.

— Где он?

— Сейчас зайдет, пошел умываться. С ним что-то неладное...

— Что именно?

— Не знаю. Но мне показалось, он расстроен чем-то.

— Ничего не сказал?

— Я его не успел расспросить. Но чувствую — приехал человек неспроста.

Минуту спустя Кузнецов появился на пороге чума.

— Разрешите, товарищ полковник?

Мы поздоровались.

Во всем его облике, в манере держаться было что-то новое, несвойственное Кузнецову. Всегда уверенный и спокойный, часто непроницаемый, он показался мне сейчас смущенным, даже растерянным, словно совершил какую-то оплошность и не знает, как ее исправить.

— Прибыл без вызова,— сказал Кузнецов и неловко улыбнулся.

— Мы всегда рады вас видеть, Николай Иванович,— ответил я, стараясь не замечать его смущения.— Такие случаи неизбежны. Ведь вы в стане врагов, вам там, наверное, несладко.

Взгляд, которым посмотрел на меня Кузнецов, был лучшим подтверждением того, что я угадал его мысли.

— Да, собственно по этому-то вопросу я и приехал,— сказал он.— Мне, Дмитрий Николаевич, в самом деле тяжеловато. Вы были тогда правы — помните, когда говорили, что нужно величайшее самообладание. Приходится улыбаться и поддакивать. Этот мундир, будь он трижды проклят, он душит меня. А кругом ни одной живой души. Иногда думаешь: все к чорту, буду стрелять. Нет, разведчик из меня плохой,— заключил он.

— Николай Иванович, если вы приехали просить разрешения на активные действия...

— Да нет, я понимаю, что это преждевременно... Но если бы возле меня была хоть одна живая душа! — помолчав, продолжал Кузнецов.— С кем бы я мог советоваться, делиться, да или хотя бы разговаривать по-человечески!

— Мы вас хорошо понимаем, Николай Иванович. Надо будет что-то придумать. Сергей Трофимович предлагает вызывать вас время от времени в отряд на недельку-другую. Как вы на это смотрите?

— Нет, с этим я согласиться не могу,— промолвил Кузнецов решительно.— Мое место там — в Ровно. Сейчас не время для отдыха. Моя просьба вот о чем. Разрешите мне связаться с ровенским подпольем!

— А вы уже знаете кого-либо из подпольщиков?

— Нет. Но если заняться этим делом — можно найти...

— В Ровно подполье есть, это мы знаем, и довольно сильное. Но должен вас огорчить, Николай Иванович: с подпольем вам нельзя связываться.

— Почему? — удивленно взглянул на меня Кузнецов.— Почему нельзя именно мне? — спросил он озадаченно.

— Подпольщики занимаются агитацией, проводят диверсии, вооружают советских людей и отправляют их в леса,— старался объяснить я.— У них своя работа, а у вас — своя. Ваша работа требует исключительной конспирации. Надели фашистскую форму, начали с фашистами жить — значит, должны по-фашистски и выть!

— Поймите меня, товарищ командир,— волнуясь проговорил Кузнецов. — Вы поймите... Идешь по улице, встречный не смотрит в глаза, спешит пройти мимо, а если приветствует, то так, что на душе тошно после этого. Сколько презрения в каждом взгляде! Это может понять только тот, кто хотя бы день пробыл в моей шкуре. Такое чувство, будто тебе в лицо плюнули. И хочется, знаете, подойти к человеку и спросить: за что же, товарищ, ты меня ненавидишь? Ведь я свой...

Сколько горечи и отчаяния было в этом неожиданном признании! Оно не могло не тронуть, не взволновать до глубины души. Одиночество человека, оказавшегося в удушливой фашистской атмосфере, не смеющего дать волю своим чувствам, обязанного не только молчать, но и напускать на себя выражение довольства, наглости, выть по-волчьи,— что может быть тягостнее этого, обиднее и страшнее!

И все же я запретил Кузнецову не только связываться с подпольщиками, но и принимать меры к их розыску.

— Потерпите, Николай Иванович! Мы что-нибудь придумаем. Непременно.

Оставшись наедине, мы с Лукиным долго ломали голову над тем, что бы такое придумать для Кузнецова, пока, наконец, не вспомнили о Вале Довгер.

Она была с нами здесь, на новом месте. На ее участии в переходе настояла Марина Ких. Занявшись, по нашей

просьбе, Валей, Марина уже при первой беседе была сбита с толку неожиданным и резким вопросом девушки:

— Зачем вы меня успокаиваете? Не надо меня успокаивать.

И действительно, познакомившись поближе с Валей, мы убедились, что не успокоения ищет она, что перед нами не просто девушка-подросток, тоскующая о любимом отце, а полностью сложившийся, убежденный антифашист.

При первой встрече Кузнецов и Валя не очень понравились друг другу. Может быть, тут отчасти был виной Лукин, предупредивший Валю, что собирается знакомить ее с разведчиком. Представлениям Вали о разведчике Кузнецов никак не соответствовал. Правда, она оценила в нем безупречное знание немецкого языка, а также польского и украинского, на которых Кузнецов уже хорошо разговаривал, но в остальном он казался ей слишком обыкновенным для той роли, которую она отводила в своем представлении человеку, способному работать в стане врага. Кузнецов в свою очередь тоже не почувствовал в Вале тех качеств, какие он считал обязательными для работы среди немцев. В характере Вали не было ни хладнокровия, ни сдержанности, а ненависть к фашистам, сквозившая в каждом ее слове, проявлявшаяся во всем, что бы она ни делала, эта ненависть, конечно, не могла помочь успеху Вали на трудном посту разведчицы.

Кузнецов подробно расспросил Валю о подругах, которые у нее остались в Ровно, о тех из них, что спутались с гитлеровцами... Он увидел для себя возможность приобретения новых нужных знакомств. Только это и заставило его согласиться с нашим предложением о посылке Вали в Ровно.

Первые же сведения о Вале, которые мы получили, нас обрадовали. Ей скоро удалось подыскать для себя и своей семьи квартиру, которая могла служить убежищем Кузнецову, а если понадобится, то и другим разведчикам. Вале удалось не только найти квартиру, но и оформить прописку, что было делом весьма нелегким. На жительство в Ровно прописывали только тех людей, на которых имелось разрешение гестапо. Через одну из своих «подружек» Валя познакомилась с сотрудником гестапо Лео Метко, личным переводчиком полицеймейстера Украины. Метко поверил

рассказу Вали, будто бы отец ее сотрудничал с немцами и за это был убит советскими партизанами. И не только поверил, но помог достать бумажку, удостоверявшую правдоподобность рассказа. Он же устроил дело с пропиской и рекомендовал Валю на работу продавщицей в магазин.

Теперь у Вали была в Ровно удобная комната с отдельным ходом. Валя собиралась перевезти к себе мать и младших сестер.

Мы радовались не столько этой квартире, хотя и понимали всю ее ценность, сколько тому, с каким удивительным умением эта семнадцатилетняя девушка развила свою деятельность в городе. Отряд получил нового надежного и полезного работника.

Когда все было устроено, Валя познакомила Метко со своим «женихом». Этим «женихом» был, конечно, лейтенант Пауль Зиберт. Метко в свою очередь познакомил Зиберта с несколькими сотрудниками рейхскомиссариата и гестапо.

Изо дня в день мы стали получать от Кузнецова сообщения одно интереснее другого. Нам становились известными многие секретные мероприятия гитлеровцев, проводившиеся на Украине, ближайшие планы гитлеровского командования, данные о перегруппировках войск.

Место нашего нового лагеря оказалось тоже значительно удобнее прежнего. Расстояние от нас до Ровно сократилось почти вполовину. И путь к городу был лучше. Раньше разведчикам встречались на пути две реки, а здесь была одна узкая речушка, приток Горыни. Эту речушку разведчики переходили по небольшим кладкам.

На полпути к Ровно мы и здесь организовали «маяк». В отличие от прежнего он был не на хуторе, а прямо в лесу, в пятидесяти метрах от дороги Ровно — Луцк. Мы назвали его «зеленым маяком».

Апрель в Западной Украине — хороший месяц. Снега уже не было и в помине, кое-где зазеленела трава, на деревьях набухли почки, готовые вот-вот распуститься. Все в природе радовало, предвещая погожие, теплые дни. Мы порядком намерзлись за зиму, привыкли тянуться к кострам и теперь могли облегченно вздохнуть. Впрочем, на «зеленом маяке» апрель был не таким уж ласковым. Разведчики, лежа на сырой земле, мерзли по ночам. Согреться негде — костер они не могли разводить, чтобы не обнаружить себя.

Помимо «зеленого маяка», каждому разведчику, уходившему в Ровно, указывалось отдельное место для «зеленой почты». Это были либо дупло, либо пень, иногда большой булыжник. Сюда партизан прятал свое донесение и тут же находил для себя почту из отряда.

Места «зеленого маяка» и «зеленых почт» сохранялись в большой тайне. Это был центральный узел связи. Хождение на «маяк», дежурство там, сбор писем и разноска по «зеленым почтам» поручались самым опытным, самым осторожным разведчикам. Возглавлял их Валя Семенов.

В это время наравне со взрослыми стал работать Коля Маленький. Он был назначен курьером связи при Кузнецове.

Марина Ких сразу же полюбила Колю. Взяв над ним «шефство», она сшила для него специальные костюмчики. Их было два. Один крестьянский — рубашка и длинные штаны из домотканного полотна. К этому костюму Королев сплел для Коли лапти. Другой костюм Марина сшила городской: рубашку с отложным воротничком и короткие штанишки.

Мы наказали Коле, чтобы, придя на «маяк», он переодевался — оставлял свою деревенскую одежду, надевал городской костюм и в нем шел в Ровно.

В первый день, когда Коля пошел в город, Валя Семенов, беспокоясь о парнишке, не находил себе места. Но Коля благополучно вернулся и принес пакет от Кузнецова.

— Ну, рассказывай, как ты сходил? — набросился на него Семенов.— Останавливали тебя где-нибудь?

— Ага, останавливали. Так я ж им казав, як вы мени навчили: пустить, дяденько, тато и маму бильшовики замордували, я милостыню збираю...

С этого дня Коля стал надежным помощником Николая Ивановича.

В середине апреля Кузнецов передал ему важный пакет и предупредил, чтобы Коля был с ним осторожен.

— Скажешь на «маяке», пускай срочно отправят командиру в лагерь,— предупредил он Колю.— Дождешься ответа и быстро ко мне сюда. Смотри, осторожно!

Коля деловито взял пакет, спрятал его в потайной карман, с серьезным видом простился и ушел.

На этот раз путь его прошел негладко.

На дороге, километрах в пяти от Ровно, он услышал позади себя окрик «хальт»! Оглянувшись, Коля увидел двух немцев — жандармов. Очевидно, когда он проходил, они сидели в засаде, в стороне от дороги. Коля не растерялся. Он бросился к лесу. Сознание опасности прибавило ему сил. Жандармы открыли огонь, над головой мальчика засвистели пули, но он продолжал бежать, пока не скрылся в лесу.

Пакет, который он доставил на «маяк», содержал сведения чрезвычайной важности.

Кузнецов сообщал о готовящемся в Ровно параде по случаю дня рождения Гитлера. Парад был назначен на 20 апреля. Немцы вели интенсивную подготовку к своему «празднику». Фельджандармы и эсэсовцы большими подразделениями разъезжали по селам, грабя и расстреливая крестьян. Награбленные вещи и продукты сдавались в так называемую контору «Пакетаукцион». Этой конторой ведал заместитель Коха — Кнут. В конторе из награбленного добра делались «подарки от фюрера» — посылки, по десять-пятнадцать килограммов каждая, которые спешно рассылались в разные стороны: часть — на фронт, солдатам; часть в глубь Германии, родственникам офицеров ровенского гарнизона; часть продуктов шла «фольксдойчам», живущим в Ровно. В каждый «подарок» было вложено отпечатанное в типографии «письмо фюрера» на немецком языке. В этом письме Гитлер призывал своих солдат продолжать «завоевывать мир», а население «рейха»— помогать завоевателям ради того, чтобы подрастающее «арийское» поколение ни в чем не знало нужды и стало «поколением господ».

Одновременно с письмом Кузнецова мы узнали о готовящемся «празднике» и от Стехова. Он прибыл со своей группой партизан и рассказал о том, что в Сарненском районе фашисты производят «заготовки» для своих «подарков».

Замполит сообщил также, что эти «заготовки» совпали с жестокой расправой, которую учинили каратели над населением Рудни-Бобровской.

Партизан каратели не нашли. Стехов успел увести отряд. Больше половины жителей тоже скрылось в лесах. Но всех, кто остался в деревне, постигла тяжелая участь. Гитлеровцы заходили в дома, забирали все, что было ценного, угоняли скот, а затем сжигали хаты. Все оставшиеся

жители были согнаны на площадь. Стариков, детей и больных расстреляли, а молодежь угнали на сборные пункты для отправки в Германию.

Сообщение Стехова о «предпраздничных грабежах» полностью совпадало с тем, что писал Кузнецов о приготовлениях к параду.

В своем письме Николай Иванович привел две цитаты, собственноручно выписанные им из немецких газет. Одна из них принадлежала Герману Герингу и гласила:

«Мы заняли наиболее плодородные земли Украины. Когда продовольствие потечет оттуда в нашу страну нескончаемым потоком, германское население окончательно поймет, насколько велика победа Германии. Там, на Украине, все имеется — яйца, масло, сало, пшеница — и в количестве, которое трудно себе представить. Мы должны понять, что все это теперь наше, немецкое».

Вторая цитата сплошь подчеркнута Кузнецовым. Он обращал на все наше особое внимание. Это была выдержка из письма Эриха Коха к солдатам Восточного фронта, посланного по поводу предстоящего «праздника».

«Вы можете мне поверить,— писал Кох,— что я вытяну из Украины последнее, чтобы только обеспечить вас и ваших родителей...»

Следовала короткая приписка Кузнецова:

«Прошу разрешить мне командовать этим «парадом».

Смысл приписки был ясен. «Командовать парадом»— это значило ценою собственной жизни уничтожить фашистскую верхушку в Ровно. Это значило совершить значительный по своим последствиям, огромный по политическому резонансу патриотический акт. Кузнецов решался на это так же просто и скромно, как в свое время решился лететь в тыл врага. С убежденностью человека, все до конца продумавшего, он требовал, чтобы ему разрешили пожертвовать собой ради высокой цели, во имя которой он жил, боролся и был готов умереть.

Вслед за Кузнецовым о своем намерении совершить всенародно, на площади, акт возмездия над гитлеровскими главарями заявили и другие ровенские разведчики — Михаил Шевчук, Жорж и Николай Струтинские, Борис Крутиков, Коля Гнедюк.

Всем им был дан одинаковый ответ: «Категорически запрещаю. Этим мы можем сорвать нашу работу по разведке. Придет время, и мы рассчитаемся с палачами. Раз-

решаю быть на параде в толпе. В случае, если кто-либо, помимо вас, будет действовать, поддержите оружием».

Подразумевался Кузнецов, который должен был стоять с Валей у самой трибуны, в группе «гостей». Но и ему разрешалось «командовать парадом» лишь в том случае, если на трибуне появится Эрих Кох.

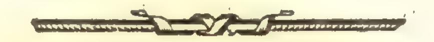
Я не успел еще отправить оба пакета, как пришло новое письмо от Кузнецова. На конверте рукой Николая Ивановича было написано:

«Вскрыть после моей гибели. Кузнецов».

Он не сомневался, что пойдет на самопожертвование.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХОЗЯЕВА МНИМЫЕ И ХОЗЯЕВА НАСТОЯЩИЕ



Глава первая

Агент фашистской криминальной полиции Марчук приметил в Ровно одного украинца, человека средних лет, который время от времени появлялся в комиссионном магазине, покупал там разные вещи и затем, очевидно, куда-то их сбывал. Спекулянта этого,— а в том, что это спекулянт, у Марчука не оставалось сомнений, — нетрудно было узнать в толпе: он ходил в широкополой шляпе, в темных очках и вечно таскал в руке букетик цветов, наподобие того, как это делали немецкие офицеры. Обычный покупатель, войдя в магазин, сразу проходил в нужный ему отдел, этот же, прежде чем войти, любил постоять у витрины, а войдя, подолгу рассматривать товары. Эти приемы «покупателя» убедили агента в том, что он не ошибся.

Однажды Марчук увидел, как спекулянт, появившись в магазине, купил разрозненные хирургические инструменты и дорогой костюм; последний явно не на свой размер. Купил, даже не пробуя примерить его.

Марчук рассказал о спекулянте своему приятелю, тоже агенту криминальной полиции. Они решили, что пройти мимо такого случая нельзя.

— Сдерем с него взятку, а не даст — заберем в полицию,— категорически рассудил приятель.

На следующий день «дружки» с утра дежурили в магазине. Как только спекулянт появился, они заговорили с ним. Было заметно, что спекулянту явно не по себе от

знакомства. Но разговор был затеян безобидный — о дороговизне, о плохом порядке в магазине. Спекулянта это успокоило, и, в конце концов, он разговорился.

— Может, зайдем в ресторанчик,— предложил Марчук,— выпьем для знакомства, поговорим...

— Дело хорошее, я не против.— согласился спекулянт.

В ресторане агенты заказали дорогое вино и закуску, дав спекулянту понять, что расплачиваться будет он. Тот не возражал.

За столиком разговор пошел оживленнее. После двух стаканов Марчук с приятелем назвали себя, спекулянт назвался Янкевичем.

Они просидели в ресторане весь вечер, перепробовали все меню, отведали и русской водки, и австрийского рому, и французских вин. Когда пришло время расплачиваться, Марчук напустил на себя величественный вид, поднялся и назидательно похлопал по плечу нового знакомца:

— Спекулировать, господин Янкевич, надо умеючи, а ты шляпа! Влип ты.

И показал Янкевичу свой документ.

Должно быть, при виде богатого, но простоватого спекулянта у Марчука разгорелся аппетит. Он решил, что, кроме угощения, можно содрать с простака кругленький куш.

— Мы народ не вредный,— полагая, что достаточно напугал свою жертву, примирительно протянул Марчук.— Поделишься с нами прибылью — иди куда хочешь, а нет— прогуляешься в полицию!

Янкевич нисколько не смутился. Неторопливо дожевал поджаренную колбасу, выпил оставшееся в стакане вино, встал, посмотрел сначала на Марчука, потом на его приятеля и сказал:

— Сапожники вы, а не агенты. Не знаю, что вы скажете в полиции, а пока... Расплатитесь!

Агенты опешили.

Янкевич усмехнулся. Молча вытащил из кармана жилетки прикрепленный цепочкой, словно часы, овальный металлический жетон и повернул его перед глазами опешивших друзей из криминальной полиции. Это был знак тайного агента гестапо.

— Знаком? Так-то вот. Расплачивайтесь,— он показал на стол,— и побачим, кто из нас влип!

Мгновенно все изменилось. Марчук и его приятель не только расплатились по счету, но угодливо, явно желая

загладить неприятную историю, начали извиняться. Агенты криминальной полиции как огня боялись агентов гестапо.

Выйдя из ресторана, они усадили подобревшего Янкевича в экипаж и доставили на квартиру.

Янкевич оказался незлопамятным. Он посмеивался, советовал новым друзьям лучше присматриваться к людям, а под конец даже обещал Марчуку побывать у него в гостях.

Марчуку, должно быть, очень понравился гестаповец, который так ловко провел их. После, при каждой встрече, он приглашал его к себе; даже сватал ему свою дочь.

Обо всем этом рассказал нам Михаил Макарович Шевчук, когда по «служебным делам» отлучился из Ровно и прибыл в лагерь. Он-то и был этим «тайным агентом гестапо».

Михаил Макарович пришел в отряд, имея за плечами большой опыт подпольной работы. В панской Польше он просидел пять лет в тюрьме за революционную деятельность. Освободила его Красная Армия в 1939 году. Несмотря на то, что было ему под сорок, он настоял на том, чтобы его приняли в отряд. Свои недюжинные способности разведчика и отвагу он проявил уже тогда, когда, заброшенный со своими товарищами на станцию Хойники, три недели блуждал в поисках отряда.

Ровно он знал плохо и все же вызвался пойти туда на разведывательную работу. По его собственному замыслу, он был снабжен документами на имя поляка Янкевича. «Тайным агентом гестапо» сделал его Кузнецов, подаривший ему жетон. Николаю Струтинскому осталось только оформить «аусвайс» — удостоверение.

Оказавшись в Ровно, Шевчук быстро применился к обстановке. Он надел темные очки, как это водилось у немцев, стал ходить с цветами и, наконец, занялся мелкой спекуляцией. К этому занятию Шевчука вынудило то обстоятельство, что одна из его явок была в комиссионном магазине — надо было для отвода глаз что-то покупать. Большую часть купленных вещей он направлял в отряд, кое-что действительно перепродавал, — когда покупка была ненужной.

После истории в ресторане, когда агенты криминальной полиции услужливо проводили Янкевича до его квартиры, на того начали смотреть, как на человека, обладающего известным весом. Сказал или нет Марчук дворнику дома,

где жил Янкевич, какой «знатный» человек у них поселился, но после того дня дворник стал сообщать Янкевичу-Шевчуку о всех людях, кого считал «подозрительными».

Шевчук на этом не успокоился. Чтобы окончательно легализоваться в Ровно, он устроил свою «помолвку» с хозяйкой одной из своих конспиративных квартир, Ганной Радзевич.

В назначенный вечер на квартиру по улице Ивана Франка, дом 16 — с этого дня квартира становилась еще более надежной — собрались «гости». Помимо родственников, тут был кое-кто из агентов гестапо и криминальной полиции. Все они были рады случаю бесплатно выпить.

Колю Гнедюка, как тот ни стремился попасть на торжество по случаю «помолвки», Шевчук не пригласил.

— Я тайный агент гестапо,— сказал он ему,— а ты кто? Спекулянт!

— Не спекулянт, а коммерсант! — возразил Гнедюк.— Попомни, Янкевич, скоро я сам женюсь — не дождешься и ты приглашения!..

Коля Гнедюк, или, как его за красоту называли девушки, «Коля — гарны очи» слыл, действительно, крупной птицей среди коммерсантов. У него, должно быть, на самом деле были коммерческие способности, ибо торговал он весьма успешно, с большой прибылью сбывая купленный товар.

Недолго, однако, «коммерция» Гнедюка была прибыльным делом. Скоро она начала даже влетать нам в солидную копейку, так как всех прибылей этого «коммерсанта» нехватало на покрытие его расходов. Расходы эти — с тех пор как деятельность Гнедюка обратила на себя внимание агентов криминальной полиции — стали непомерно велики. Гнедюк не стеснялся давать агентам взятки. На этой почве у него установились с ними самые добрые отношения. Это явилось залогом того, что Гнедюк мог безопасно вести ценную разведывательную работу.

Подобно всем нашим ровенским разведчикам, Гнедюк обзавелся несколькими конспиративными квартирами. Хозяева их были преданные патриоты: они не только предоставляли свое жилище партизану, но выполняли отдельные его поручения.

По соседству с одной из таких квартир жила некая Лидия Лисовская, молодая, красивая полька, за которой постоянно увивались немецкие офицеры. Это обстоятельство обратило на нее внимание Гнедюка. Ему не стоило боль-

шого труда узнать ее фамилию и имя, а также и то, что Лидия — вдова офицера польской армии, погибшего в тридцать девятом году в боях с немцами под Варшавой.

«Неужели,— думал Гнедюк,— эта женщина, которой фашисты причинили столько зла, у которой разрушили семью, счастье,— неужели она может забыть это, спокойно принимать ухаживания какого-нибудь фрица!» Ему казалось, что забыть свое горе Лидия не могла.

Он решил познакомиться с нею.

В первый раз он явился в квартиру Лидии Лисовской под каким-то случайным предлогом, во-второй — якобы за тем, что хотел предложить ей приобрести по дешевке пару каких-то необыкновенных чулок, в третий раз зашел уже без всякого предлога... Лидия охотно разговаривала с ним. Познакомившись ближе, Гнедюк решил признаться, что он — партизан. Интуиция, опыт разведчика подсказывали ему, что он не ошибется, сделав смелый шаг.

И он не ошибся.

Лидия не скрывала своей радости, узнав Гнедюка. Первое, что она сделала, откровенно, как близкому человеку, рассказала ему свою горестную историю. Фашисты отняли у нее мужа, лишили родного крова, всего, чем она жила и без чего чувствует себя опустошенной. Она сказала, что смертельной ненавистью ненавидит убийц мужа, готова помогать Гнедюку, делать все, что он укажет. Она предложила сегодня же, если только зайдут немецкие офицеры, расправиться с ними по-партизански. Гнедюк спросил:

— Зачем вы принимаете их у себя?

Лидия со слезами, навернувшимися на глаза, сказала:

— А что мне делать? Я одна. Эти знакомства спасают меня от мобилизации на немецкую каторгу. Но теперь...— Лидия доверчиво посмотрела на Гнедюка.— Хотите, первого, кто ко мне явится, я задушу своими руками. Помогите мне!

— Не надо,— возразил Гнедюк.— Этого не следует делать. Такие знакомства нам очень нужны. Ими дорожить приходится.

С тех пор Коля Гнедюк стал частым гостем у Лидии Лисовской. Тут оказалась, пожалуй, самая спокойная из всех его квартир: часто бывавшие у Лидии немецкие офицеры надежно предохраняли квартиру от возможных облав. Всякий раз, когда в городе было тревожно, Гнедюк шел к Лидии и спокойно пережидал опасность.

Вскоре он приобрел еще одного ценного помощника. Это была двоюродная сестра Лидии — Майя Микатова. Правда, у той не было знакомств среди немецких офицеров, не было и удобной квартиры, но зато было горячее желание помочь Гнедюку во всем, с чем бы тот ни обратился. Гнедюк поручил Майе обзавестись нужными знакомствами, посоветовал чаще бывать у Лидии, присматриваться к ее гостям, стараться, чтобы те в свою очередь познакомили ее со своими друзьями и таким образом расширить круг нужных знакомств.

Случилось так, что в числе знакомых Лидии оказался молодой офицер Пауль Зиберт, сын прусского помещика, человек богатый, веселый, общительный — широкая натура. То ли сама Лидия приглянулась Зиберту, то ли компания, собиравшаяся у нее, пришлась ему по душе, но Зиберт зачастил к Лидии Лисовской.

Визиты эти причиняли Лидии нешуточное беспокойство. Зиберт имел привычку являться без всякого предупреждения, в любое время и поэтому мог застать в квартире Гнедюка. Нередко так и случалось. Лидия во-время спроваживала партизана в другую комнату, чаще всего в спальню.

Однажды получилось наоборот: первым пришел Зиберт, вторым — Гнедюк. Открыв Коле, Лидия не пустила его в комнату.

— Тебе надо немедленно уходить. У меня Зиберт.

— Да пусть их тут будет батальон,— невозмутимо заявил Гнедюк и вошел в переднюю.— К моим документам сам Гиммлер не придерется.

— Тише! — взмолилась Лидия.— Разбудишь его.

— Он спит?

— Был, говорит, ночью на операции... Пришел, повалился на диван... Уходи, ради бога, не искушай судьбу!

Но Гнедюк отнюдь не собирался уходить.

— Где он у тебя — в спальне?

— Еще что! — возмутилась Лида.— Буду я всякую дрянь в спальню пускать! В столовой он. Развалился на диване.

— На диване? — удивился Гнедюк.— Но ведь там же оружие!

— Он на нем и спит.

— А ну, дай взгляну! — предложил Гнедюк.

Лида схватила его за рукав.

— Куда ты? И себя, и меня подведешь... Вот если б можно было его убить!

— Ну, это нетрудно. Только стоит ли об него руки марать?

Тут Лида рассказала Гнедюку, что этот немец ей почему-то особенно противен — то ли потому, что он с фашистским значком, то ли оттого, что всегда у него полно денег — не иначе, как большой грабитель.

— А в каком он звании? — деловито осведомился Гнедюк.

— Лейтенант. Типичный пруссак по внешности. Говорит, что отец у него какой-то крупный помещик в Пруссии. Ну, а сам он, по-моему, работает в гестапо.

— Ну, тогда стоит,— согласился Гнедюк.— Только как его прикончишь? Стрелять-то нельзя!

— А у меня яд есть. Можно всыпать в кофе,— предложила Лида.

— И он надежный? — усомнился Гнедюк.— Может, от него только желудок испортится?

— Что ты! Да это же тот яд, которым они пленных в лагерях травят.

— Тогда действуй! Ставь кофе и буди!

Так и решили.

Через несколько минут лейтенант уже садился за стол. Тут Гнедюку пришло в голову взглянуть на немца через замочную скважину. Он посмотрел и не поверил своим глазам, снова посмотрел — уже приоткрыв дверь — и обмер.

— Николай Иванович?!

— Гнедюк! Ты как сюда попал?

Но Гнедюк уже несся на кухню с чашкой, выхваченной из рук Кузнецова, и только тогда, когда кофе был выплеснут, а чашка разбита, рассказал изумленному Кузнецову и совершенно сбитой с толку Лиде, в чем дело. Пришлось их знакомить друг с другом.

Это «недоразумение» было, разумеется, неслучайным. Разведчики работали разобщенно. Именно поэтому Коля — гарны очи не пошел в свое время на вечеринку к «Янкевичу». Поэтому же не знали разведчики и квартир друг друга.

Такая разобщенность диктовалась условиями конспирации. Работа разведчиков в Ровно проходила под носом у «всеукраинского гестапо», на глазах жандармерии и тайной гестаповской агентуры. Приходилось поэтому осо-

бенно серьезно оберегать людей от провала. Иногда разведчики связывались между собой, но это бывало лишь в случаях, вроде того, что произошел на квартире Лисовской, или когда разведчикам нужно было согласовать свои действия и требовалась взаимная помощь. В последних случаях соблюдались самые строгие меры предосторожности.

Местные патриоты из подпольных групп, сотрудничавшие с нами, тоже не знали друг друга. Каждый из них имел дело с одним или с двумя товарищами. Нашим же разведчикам даже не было известно, кто из отряда находится в Ровно. Это облегчалось тем, что новички не знали в лицо «стариков», а те в свою очередь не имели представления о новичках.

Я уже рассказывал о случае, когда двое наших разведчиков прибыли в отряд на лошадях, якобы угнанных ими у немецкого офицера. Те же разведчики — Мажура и Бушнин, вернувшись однажды из Ровно, доложили, что им удалось нащупать агента гестапо, поляка по национальности.

— Разрешите, мы его уничтожим! — просили они.

Оказалось, что они даже разработали план этой операции. Они условились, что одна их ровенская знакомая, по имени Ганна, к которой ходит этот гестаповец, уговорит его поехать погулять с ней в лес. Там Бушнин и Мажура встретят их — гестаповец бесследно исчезнет.

— А что, он вам мешает? — спросил, выслушав этот план, Лукин.— Может, он не стоит того, чтобы поднимать шум?

— В том-то и дело, что мешает, товарищ подполковник. Из-за него мы без квартиры остаемся.

— Каким образом?

— Он, подлец, начал ухаживать за этой Ганной, а у нее наша явка.

— А каков он из себя? — продолжал расспрашивать Лукин.— Что вы вообще о нем знаете?

— Этакий старый чорт! Ходит в очках, цветочки в руках... Даже дворник знает, что он агент.

— Позвольте, позвольте, — остановил их Лукин. — Спекуляцией он занимается?

— А как же! Да это всем известно. Такая сволочь...

— А все-таки вам надо оставить его в покое! — догадавшись, о каком «агенте гестапо» идет речь, категорически

заявил Лукин.— Ни в коем случае не мешайте ему ходить к вашей Ганне. Понятно? — И, чтобы окончательно убедить разведчиков, добавил: — Это нужный нам человек.

Вскоре после этого и произошла «помолвка» Шевчука с Ганной Радзевич.

Особое задание возлагалось на работавшего в Ровно Николая Струтинского.

Существование ровенского большевистского подполья было для нас фактом неоспоримым. Обособленность наших разведчиков от работников подполья, незнание ими друг друга были в порядке вещей, и можно было только радоваться тому, что и у них и у нас хорошо налажена конспирация. Но с руководством подполья, с его основным ядром можно и нужно было установить контакт.

Николай Струтинский только что вернулся из Луцка, где организовал несколько разведывательных групп. Труды Марфы Ильиничны не пропали даром. Николай восстановил все налаженные ею связи. Ему удалось сблизиться с местным подпольем, которое отныне получало нашу помощь.

Пришел Николай из Луцка в отряд не один, а с товарищем, которого местная подпольная группа выделила для связи с нами. Это был светловолосый юноша, судя по виду — из бывших военнопленных: в пожелтевшей гимнастерке, в обмотках и стоптанных, покривившихся солдатских башмаках. Звали его Борис Зюков. До войны он учился в институте. В армии прослужил месяца два. Попал в плен. Бежал из лагеря, был схвачен гестапо. Луцким подпольщикам удалось его освободить.

У партизанского костра люди сближаются быстро. В первый же вечер Зюков читал нашим партизанам стихи собственного сочинения. Стихи были довоенные, в них открывался перед слушателями далекий, чистый и светлый мир студенческих аудиторий, пылких споров, долгожданных встреч, волнений первой любви... Ни о чем другом Зюков написать не успел.

— Поэта привел! — с гордостью сказал Николай, входя ко мне в шалаш. Он только что присутствовал при чтении стихов и, вероятно, не ушел бы от костра, если бы не срочный вызов.

— Вот что, Коля,— сказал я, усадив его рядом на бревно.— В Ровно тебе надо ехать завтра же. Задача прежняя:

разведка. Но это не все. Пока ты был в Луцке, ровенские подпольщики снова дали о себе знать. Весь город говорит о листовках, которые нет-нет да и появятся то тут, то там. Мы должны найти этих людей во что бы то ни стало. Через знакомых, через того же Домбровского — всеми путями. Чем скорее, тем лучше.

— Есть! Постараюсь, товарищ полковник! — четко, по-военному ответил Николай.

С этого дня поиски ровенского подполья стали одной из главных забот Николая Струтинского.

Глава вторая

Яркий весенний день. Центральная площадь в Ровно оцеплена фельджандармерией. На площади выстроились немецкие войска. Вокруг трибуны, увешанной фашистскими флагами, собрались «почетные гости»: офицеры, чиновники рейхскомиссариата, «фольксдойчи». Над трибуной огромный портрет Гитлера. Рачьи глаза, фатовские усики и спускающийся на низкий лоб чуб не вяжутся с его наполеоновской позой. В центре трибуны, подавшись телом вперед и вытянув руку, застыл высокий упитанный немец в парадном генеральском мундире. Одутловатое лицо, такой же, как на портрете, чуб, нависший над заплывшими, бегающими глазами.

Неподвижно стоят солдаты. В пространстве между ними и тротуаром — жидкая толпа горожан.

Что за люди? Что привело их на площадь, на фашистский праздник по случаю дня рождения Гитлера?

Рослый детина с трезубом на шапке. Расфранченная «фрейлейн» с рыжим ефрейтором, ковыряющим во рту зубочисткой. Дядя в котелке и старомодном пальто, словно вытащенный из нафталина,— маклер или содержатель чего-то...

Недалеко в толпе горожан промелькнула конфедератка Жоржа Струтинского, за ней — черная шляпа Шевчука...

А в группе гостей, обступивших трибуну, можно заметить знакомые фигуры щеголеватого лейтенанта и худенькой девушки, опирающейся на его руку.

Генерал на трибуне хрипло выкрикивает слова в микрофон. Девушка тесней прижимается к своему спутнику, тихонько спрашивает:

— Кто это?

— Правительственный президент Пауль Даргель,— также тихо отвечает тот.

— Первый заместитель Коха?

— Да.

Генерал продолжает речь. Радиорупоры разносят хриплый, лающий голос во все концы площади.

— Мы пришли сюда повелевать, и те, кому это не нравится, пусть знают: мы будем беспощадны! — разносится над площадью.

— Хох! — кричат немцы.

— Хох! — громче других звучит голос Кузнецова.

— А тот, справа? — продолжает расспрашивать Валя, не отрывая глаз от трибуны.

— Который?

— Справа от Даргеля...

Худой, долговязый генерал, тоже затянутый в парадный мундир, весь в знаках отличия, выпученными, точно оскаленными глазами осматривает площадь. Вот его взгляд скользнул по группе «гостей», Вале кажется, что долговязый генерал посмотрел на нее.

— Тоже заместитель гаулейтера, — шепчет Кузнецов.— Главный судья Украины.

— Функ?

— Да. Тише.

— Тот самый? — уже шопотом продолжает Валя.— Главный палач?

— Да...

Даргель надрывается:

— Прочь жалость! Жалость — это позор для сильных! Я призываю к беспощадности!

На трибуну поднимается только что прибывший на площадь рослый, с красным лицом генерал.

— Кох? — шепчет Валя, и в голосе ее слышится надежда.

— Нет,— отвечает Кузнецов.— Это фон Ильген, командующий особыми войсками. Каратель.

— Эта плодородная земля — будущность немецкого народа,— надрывается генерал на трибуне.— Нас теперь сто миллионов, а когда мы завладеем Украиной, будем иметь ее благодатные земли, тогда — не пройдет сотни лет — нас будет четыреста миллионов. Мы заселим всю Европу. Вся Европа станет родиной немцев! Я призываю вас понять, что блага этой земли, ее хлеб, скот, все богат-

ства, — все это наше, все это принадлежит нам. Пусть знают все: отныне эта земля — часть великой Германии. Фюрер создал непобедимую германскую армию, и она пройдет обширные пространства до Урала. Так сказал фюрер.

— Хох! — восторженно орут фашисты.

Эриха Коха нет и, очевидно, уже не будет на параде. То, к чему так стремился Кузнецов, к чему он внутренне подготовился, чего так мучительно напряженно ждал, не сбудется. Напрасно ждут сигнала Шевчук и Жорж Струтинский, Крутиков, Гнедюк и другие замешавшиеся в толпе разведчики, которых Кузнецов не знает и которые не знают его. Все они ждут его сигнала, ждут с таким же мучительным и жадным нетерпением, с каким сам Кузнецов ждет появления Коха, чтобы начать «командовать парадом». Но торжество близится к концу, а гаулейтера все нет и нет на трибуне.

— Все,— шепчет Валя, и Кузнецов слышит ее тяжелый вздох.

На трибуне — движение. Генерал Даргель покинул свое место и направился к выходу. Тотчас же движение на трибуне передалось группе «гостей»: заговорили, начали расходиться. Кузнецова кто-то окликнул. Он обернулся и увидел маленькое бульдожье лицо одного из своих новых знакомых.

— А! Макс Ясковец!

— Рад видеть вас, лейтенант! Рад видеть вас, фрейлейн.

На Ясковце сегодня вместо черной шинели гестаповца светлое хорошо сшитое штатское пальто. Сегодня больше, чем когда-либо, все в нем вызывало отвращение — и это пальто, и желтые краги, и эта голова с бульдожьим лицом и оттопыренными вишнево-красными ушами, и певучий елейный голос. Кузнецов глядел на Ясковца и, кажется, только теперь с разительной ясностью понял все, что произошло. Он не стрелял, не «командовал» парадом, как хотел, и неизвестно, когда еще представится такой случай. Сейчас он будет слушать болтовню Ясковца и болтать вместе с ним и ему подобными; и так — до позднего вечера. А там на несколько часов он станет, наконец, самим собой. Но это только на несколько часов. А с утра опять — Ясковец, опять какие-то чужие, до исступления ненавистные лица...

— Пойдемте, Валя,— говорит он.— Пора.

Площадь пустеет.

Выходя с площади, он заметил — неподалеку понуро бредут братья Струтинские. Вот покидает площадь Шевчук, вот еще знакомое лицо — тоже, кажется, кто-то из отряда... Сколько их здесь!.. Хочется подойти, сказать несколько слов, поделиться неудачей... Но нет. Он незнаком с ними, он — немец, отпрыск старого прусского рода. Он идет с высоко поднятой головой и только крепче прижимает к себе руку своей спутницы.

А у Ясковца здесь много знакомых. То с одним, то с другим он раскланивается. Сплошь офицеры. Это хорошо.

Знакомые — разные. Одних Ясковец приветствует легким поклоном или почтительным приподниманием шляпы или же, наконец, глубоким поклоном — кого как. С другими он находит нужным остановиться. Вот, завидев издали какого-то майора, идущего об руку с разодетой девицей, он издает приветственный возглас, разводит руками и устремляется к ним навстречу. Минуту спустя майор, девица и осклабившийся Ясковец предстают перед Валей и Кузнецовым.

— Вы не знакомы?

Девица непринужденно и обворожительно улыбается всем четверым и весело произносит:

— Будем знакомы... Майя.

— Фон Ортель,— произносит майор.

— Зиберт.

— Где-то я вас видел... — майор смотрит в лицо нового знакомого.

— Возможно,— соглашается Кузнецов. Легкая улыбка трогает его губы.— В каждом городе есть места, где нетрудно встретить офицера...

— Вот и начался мужской разговор,— с притворно обиженной миной вмешивается Майя.— Мы, фрейлейн, не будем их слушать,— обращается она к Вале, беря ее под руку.— Мы пойдем вперед.

Был поздний вечер, когда Кузнецов, расставшись со своими новыми «друзьями» и проводив Валю, возвращался к себе на квартиру. Он жил на окраине города у брата Приходько — Ивана. Теперь, шагая по ночным замершим улицам и в тишине, которую нарушал лишь шорох моросящего дождя, Кузнецов мог обдумать и подвести итог всему, что принес ему этот день — 20 апреля. Что, в сущности, произошло? Он готовился стрелять в Коха — того не ока-

залось на параде. Его выстрел должен был послужить сигналом к началу решительного массового выступления к акту возмездия над фашистскими главарями. Этого не произошло. Он готов был к самопожертвованию, написал даже письмо в отряд на случай своей гибели. Но самопожертвования не понадобилось. И гнетущее ощущение бессилия и одиночества овладело Кузнецовым.

Вдруг он резко замедлил шаг и остановился. Неподалеку едва различимо что-то белело на стене дома.

Он огляделся, достал из кармана фонарь. Сноп света упал на листовку, прилепленную к стене.

«Даргель врет,— прочитал Кузнецов.— Никогда наша земля не станет немецкой! Победа будет за нами!.. Сталин о нас не забыл!»

Погас фонарь. Кузнецов все еще стоит перед листовкой.

Неожиданно он замечает фигуру, мелькнувшую в темноте на противоположной стороне улицы. Он перешел туда, осмотрелся. Никого. А рядом на стене белеет листовка. Снова включил фонарь. Те же слова!

— Товарищ! — приглушая голос, позвал Кузнецов.— Товарищ!..

Кругом ни души. Улица пустынна.

Бодрым, уверенным шагом пошел по улице Кузнецов. Могучая сила вернулась к нему, толкает в спину, несет по улицам ночного замершего города. Где-то здесь, близко товарищи. И о том, что он не один, что Украина живет, не склоняет своей головы перед наглым врагом, хотелось кричать громко, так, чтобы слышали улицы, темные дома с закрытыми ставнями — слышали те, кто с опасностью для жизни ответил Даргелю.

...Утром, встретившись с Валей, Кузнецов первым делом рассказал ей о делах подполья,— рассказал горячо, восхищенно, с ноткой зависти к людям, ведущим открытую борьбу.

— На днях я встретила одного знакомого,— сказала Валя.— Он местный житель. Давно знает всю нашу семью. Он признался, что был связан с польским подпольем, но ушел. Хочу, говорит, заниматься делом, а там — ни взад, ни вперед. Спрашивал меня, не знаю ли я в Ровно советских подпольщиков.

— А каков он человек? Толк от него будет?

— Надо присмотреться. Семья у них была хорошая. Он мне дал свой адрес.

— Познакомь меня с ним!

На следующий день состоялось свидание.

Новый знакомый оказался коренастым молодым поляком. По-русски он говорил плохо и немного робел. Должно быть, его смущал мундир Кузнецова.

Звали его Ян Каминский.

— Есть у вас знакомые в Ровно? — сразу спросил Кузнецов.

— Много.

— Немцы?

— Есть и немцы. Есть один, по фамилии Шмидт.

— Где он служит?

— Где-то при рейхскомиссариате. Он дрессирует собак для охраны Коха.

— Как называется польская подпольная организация, в которой вы состояли?

— «Звензик валки сбройной», по-русски — «Союз вооруженной борьбы». Она связана с Варшавским центром и с Лондоном. Собираются, разговаривают, а нет ни одного выступления. Так, вроде легальной толкотни. Я так не могу, я хочу бороться! Я вижу, что в Польше и здесь, на Украине, гитлеровцы набили подвалы людьми, на каждой площади виселицы! Я должен бороться! — упрямо, точно ему очень понравились эти слова, повторил Каминский.

Глядя на его раскрасневшееся лицо, на сверкающие вдохновенные глаза, Кузнецов подумал:

«Вот и этот говорит о борьбе, хочет выступать открыто... Жаль, а придется разочаровать!»

И сказал Каминскому:

— Очень хорошо, что вы рветесь к настоящему делу. Только ведь куда вы ни придете, опять будет не совсем то, чего хочется вам. Стрелять скоро не придется. И, по совести говоря, я не знаю, придется ли вообще. Могли бы вы давать нам некоторые сведения, помогать?.. Если вы действительно патриот и желаете освобождения Польши, вы будете делать все, что от вас потребуется.

Каминский опустил глаза, подумал и, наконец, твердо произнес:

— Добже.

— Хорошо. Пишите присягу!

Каминский послушно кивнул и взял в руку карандаш.

— Клянусь,— начал диктовать Кузнецов и услышал в собственном голосе торжественные ноты.— Клянусь

всегда, всюду, всеми способами уничтожать фашистов, немецких и всяких, до тех пор, пока они живут на земле, пока сам я жив и в состоянии бороться. И если для этого понадобится моя жизнь, клянусь, что не пожалею и жизни.— Он задумался. Почувствовал, как эти слова, которых он никогда прежде не произносил вслух, как эти слова становятся его собственными, лично к нему относящимися, лично ему принадлежащими словами.— Самые страшные лишения и муки, любые пытки, какие они могут для меня изобрести, не заставят меня отступиться от моей клятвы. Если же я ее нарушу, пусть мои товарищи расстреляют меня, а имя мое забудут.

Каминский медленно прочитал слова клятвы и старательно вывел внизу свою фамилию.

— Помните, — предупредил Кузнецов, — никакого шума. Ваше дело собирать сведения о гитлеровской армии и о деятельности фашистов на Украине; выполнять поручения, которые будут передаваться вам через Валю. Вы поняли меня?

— Добже, понял,— согласился Каминский.

— Задание получите завтра. Валя сама назначит вам место и время встречи. И еще одно — не забывайте — со мной вы не знакомы. Нигде, ни при каких обстоятельствах не показывайте даже виду, что знаете меня, если не будет на то моего приказания.

На прощание Кузнецов крепко пожал руку Каминскому.

Вечером в комнате Вали собрались «друзья». За столом, уставленным снедью и бутылками, расселась веселая компания: фон Ортель, Майя, Зиберт, сотрудник рейхскомиссариата Герхард, прибывший вместе с гаулейтером из Кенигсберга, Петер — гестаповец, голландец по национальности, фамилии которого никто не знал, и Макс Ясковец.

Пауль Зиберт, как всегда, весел и неутомим.

— Фрейлейн Майя! — обернулся он к девушке. — Вы должны спеть. Просим!..

— Я не могу...— Майя кокетливо отказывается.—Я не умею петь, Пауль.

— Просим! — подхватывают офицеры.

Один только человек из всей компании не принимает участия в общем шуме — Валя. Откинувшись на спинку дивана, она молча наблюдает за тем, что происходит в комнате. Глаза ее, чуть прищуренные то ли от яркого света,

то ли от табачного дыма, скользят по лицам гостей. Майя, наконец, согласилась петь, становится в позу, ждет тишины. Валя обратила к ней лицо; глаза их встретились. Что с Майей? Почему она не начинает петь? Что она увидела в глазах худенькой молчаливой девушки? Упрек? Презрение? Но ведь та тоже спуталась с немцем! И Майя, — Кузнецов это ясно видит,— Майя отвечает Вале ненавидящим взглядом. И, ответив, начинает петь. Начинает резко и зло, словно в отместку Вале. И теперь уже смотрит на нее с откровенной злобой. Она поет немецкую шантанную песенку, столь же чувствительную, сколь и вульгарную.

— Браво! — первым воскликнул Зиберт, когда Майя, заканчивая петь, послала воздушный поцелуй слушателям.— Я пью за женщин!

— За женщин! — поддержал фон Ортель и поднял бокал.— За женщин, господа!

— За тех,— продолжал Зиберт,— кто скрашивает нашу походную жизнь!

Толстый, непрестанно жующий Герхард произносит торжественно:

— Прошу встать, господа!..

— Послушайте, Зиберт, — говорит фон Ортель, отставляя пустой бокал.— Я знаю,что вы противник служебных разговоров в компании, но иногда...

— Категорически возражаю, майор,— настаивает Зиберт.— Мы собрались веселиться.

— Согласен, согласен,— засмеялся фон Ортель.— Вы, Зиберт, все-таки чертовски приятный парень. Жаль, если мы расстанемся.

— Вы уезжаете, майор? — поднял на Ортеля глаза Петер.

— Возможно.

— И далеко?

— Маршрут узнаю, когда получу приказ.

— Господа,— настойчиво требует Зиберт,— никаких разговоров о службе!

Но разговор идет уже вокруг отъезда фон Ортеля.

— Завидую вам,— обращается к фон Ортелю Герхард.— Отдал бы все на свете, чтобы уехать из этой проклятой страны.

— Опять что-нибудь случилось? — спрашивает Валя.

— Сегодня ночью на улице убит подполковник Мюльбах.

— Это какой же Мюльбах? — припоминает Зиберт.
Герхард называет номер дивизии.

— Впервые слышу!

— Дивизия стоит под Ковелем и готовится к отправке на фронт, а Мюльбах приехал сюда по каким-то личным делам — и вот извольте...

— Да,— поддерживает Макс Ясковец.— Партизаны обнаглели. Ночью опасно выйти на улицу. Это здесь, в столице, а что сказать о деревнях!

— Милый,— обращается Майя к захмелевшему фон Ортелю.— Вы когда-нибудь видели живого партизана?

— Я? — фон Ортель хохочет.— Я?.. А кто тогда их видел? Только сегодня я имел удовольствие беседовать с одним из этих молодцов. Вот, полюбуйтесь.— Он достал из кармана смятую листовку и передал ее жующему Герхарду. Тот взял ее двумя пальцами, словно боясь уколоться. Таким же движением передал Кузнецову.

Кузнецов взглянул на листовку. Это та самая, которую он видел ночью после парада.

Фон Ортель продолжает:

— Кто бы, вы думали, был этот молодец? Пожилой человек, отец четверых детей.

— Он их сам печатал? — осторожно осведомляется Валя.

— Его задержали ночью на улице. Он клеил эти бумажки. Разумеется, он только один из шайки, которая этим занимается. Остальных он отказывается назвать.

— Как же вы с ним беседовали? — интересуется Майя.

— Очень просто,— спокойно отвечает фон Ортель.— Берется маленький гвоздь. Вот такой.— Он вынимает гвоздь из кармана.— Накаляется на огне..

— Не надо!— неожиданно вскрикивает Майя, вскрикивает голосом, в котором дрожат слезы.

— Не надо,— просит Зиберт.— Женщины этого не выносят. И потом — мы же условились не говорить о делах службы. Давайте-ка лучше выпьем!

Каждый раз, посылая очередное сообщение о перегруппировках немецких войск, о деятельности немецких учреждений в Ровно, о ближайших планах имперского комиссара Коха, Николай Иванович заканчивал письмо просьбой разрешить ему активные действия.

«Не могу,— писал он в одном из таких писем,— не могу сидеть рядом, улыбаться и поддакивать. Я должен их убивать! Почему не дают их убивать? Разве не к этому обязывает нас задача, поставленная товарищем Сталиным? Разве я не такой же солдат, как все?»

На его просьбы следовал неизменный ответ:

«Продолжайте вести разведку. С активными действиями надо подождать».

То, чем так тяготился Кузнецов, было делом первостепенной важности и необходимости. Добытые им сведения мы немедленно передавали в Москву, и, надо полагать, в той или иной степени они учитывались командованием. Знакомства, которые он завел, обещали сослужить хорошую службу. Именно они, эти связи Кузнецова, и были залогом того, что рано или поздно, обосновавшись в Ровно по-настоящему, мы сможем приступить к тому, на чем так упорно настаивал Кузнецов,— к активным действиям.

Из своих новых знакомых Николай Иванович особенно дорожил фон Ортелем. Они часто бывали вместе. Обстановка казино, где они обычно встречались, располагала к откровенности. Вскоре лейтенант Зиберт очень близко узнал майора гестапо Ортеля, а майор гестапо в свою очередь коротко познакомился с лейтенантом Зибертом. В их беседах не содержалось никаких служебных тайн, равно как не было и нескромных вопросов — ничего такого, что могло бы насторожить опытного, видавшего виды майора гестапо. Это были невинные разговоры о жизни, о женщинах, даже об искусстве, в котором оба они, как оказалось, понимали толк. Это были воспоминания о днях прошлого и планы на будущее; мечты о том, как кто из них проведет отпуск, где обоснуется после войны. Но именно эти невинные разговоры привлекали Кузнецова больше, чем если бы речь шла о вопросах, интересовавших его как разведчика. С фон Ортелем он этих тем избегал. И не только потому, что чувствовал в нем опытного разведчика, с которым приходилось быть настороже, но и потому главным образом, что в фон Ортеле Кузнецова интересовало другое: то, что не могло попасть ни в какие донесения, ни в какие радиосводки, передаваемые в Москву. И это другое Кузнецов ловил жадно и упорно.

Как-то, разговорившись о России, фон Ортель бросил фразу о «загадочной русской душе». Эту затрепанную фразу Кузнецов слыхал много раз. Ее любили повторять

многие немцы, особенно из тех, кто, подобно фон Ортелю, сменил университетский сюртук на военный мундир. Все они одинаково глупо и тошнотворно разглагольствовали об этой «загадке». Ортель, хотя и знал русский язык не хуже, чем Кузнецов — немецкий, не составлял в данном случае исключения. И, вероятно, Кузнецов пропустил бы эту фразу мимо ушей, если бы его не интересовала душа самого фон Ортеля. Эта душа была для Кузнецова действительно загадкой, и он задался целью ее постичь.

Компания, между тем, расширялась. Остроумный, общительный, а главное — щедрый лейтенант Зиберт был поистине ее душой. Среди немецких офицеров нашлось немало любителей погулять и повеселиться на чужой счет. В немецких оккупационных марках, которые мы целыми транспортами забирали у противника, у Кузнецова недостатка не было, и Николай Иванович действовал согласно русской пословице: «было бы корыто, а свиньи найдутся».

«Общество», в котором они вращались, доставляло Кузнецову и Вале новые и новые муки. Нестерпимо было слышать циничные признания фон Ортеля, рассказы Герхарда, Петера, Ясковца о пытках, которым подвергаются мирные люди, наши люди. Каждый раз после таких «дружеских» вечеров хотелось стонать от ненависти и бессилия. Кузнецов становился еще более замкнутым, сумрачным, целыми днями мог сидеть, не проронив ни слова.

...Валя и Майя продолжали ненавидеть одна другую. Майя не знала, что Валя — разведчица партизанского отряда, а Вале в свою очередь не могло быть известно, что Майя уже второй месяц работает по заданию Коли Гнедюка.

Вскоре случилось событие, едва не заставившее нас отозвать в отряд Валю Довгер. Николай Иванович, зайдя к ней однажды поутру, застал ее в тревоге.

— Случилось что-нибудь?

— Да. Я получила повестку...

— Какую?

— Мобилизуют в Германию.

Голос ее дрогнул.

— Надо возвращаться в отряд,— сказал Кузнецов.

— Спасибо,— вспыхнула Валя.— Вернуться в отряд и потерять квартиру!

— А что поделаешь! — задумчиво произнес Кузнецов.

И тут же предложил: — А что, если попробовать освободиться от мобилизации.

— Да, но как?

— Надо подумать...

— А если ты попросишь своего друга фон Ортеля?

— Можно и Ортеля. Но постой!..

Неожиданная мысль осенила Кузнецова. Он поднялся и зашагал по комнате.— Есть другой человек. Попробую с ним встретиться. Во всяком случае в Германию мы тебя не отпустим. При встрече с Ортелем или с кем-либо еще из «наших» офицеров на всякий случай намекни об этой повестке, как о недоразумении, о смешном анекдоте.

— Обидно, если придется вернуться в отряд. С таким трудом все устроилось... Да и что я буду делать в отряде?

— Подожди. Отчаиваться рано. И потом, не забывайте, фрейлейн, что вы невеста офицера немецкой армии. Грош цена этому офицеру, если он не сумеет оградить свою невесту от неприятностей.

С этого дня Кузнецов стал завсегдатаем казино на «Фридрихштрассе», где, по словам Яна Каминского, постоянно бывал некто Шмидт, дрессировщик служебных собак при рейхскомиссариате. Шмидт приходился земляком адъютанту Коха гауптману Бабаху и хвалился Каминскому, что они с гауптманом на короткой ноге. Каминский настоятельно советовал Николаю Ивановичу поговорить по душам с этим Шмидтом.

...Шмидт, рыжий, веснушчатый обер-ефрейтор, подобострастно смотрел на лейтенанта, удостоившего его чести обедать вместе в казино, и жалобным голосом рассказывал о своей невеселой работе.

— Собаки любят меня, но они плохо меня кормят, герр лейтенант Зиберт. Я ничего не имел, так и вернусь домой. Другой откроет лавчонку, женится, глядишь, у него и уют, и хозяйство, и дети.

— Положитесь на меня, я возьму вас в имение к отцу!— с готовностью обещал лейтенант.

— Какое благородство души! — твердил Шмидт.— Какое благородство души!

Шмидт рассказал Кузнецову, что за время своей работы на псарне гаулейтера он успел сдать семь дрессированных овчарок. Сейчас он готовил восьмую. Эта восьмая лежала у ног «имперского дрессировщика», вызывая его восхище-

ние. Впрочем, лейтенант тоже весьма благосклонно отнесся к овчарке.

— Эта лучшая из всех восьми, — захлебывался от восторга Шмидт.— Она нюхом чувствует неарийца, клянусь вам!

— Что вы говорите. А партизана?

— О!.. партизана — за километр!

Но и это не доставляло облегчения обер-ефрейтору. Он продолжал жаловаться на свою горькую судьбину.

— Есть у меня в Ровно девочка, ну просто объядение. Полька. Хищная девочка. Я, герр лейтенант, с детства люблю все хищное... Но она причиняет мне жестокие страдания. Верите ли, ходит к ней гестаповец, рябой, подарки носит. То отрез на платье, то часики, то еще что-нибудь золотое. Ему дешево достается. Сделал обыск — и готово! Вот моя полечка и липнет к гестаповцу.

— У каждого, дорогой мой, свое несчастье, — сказал Кузнецов со вздохом.— Вот у меня и денег достаточно,— он сделал многозначительную паузу,— и вещички кое-какие найдутся...

— Да?

— А вы заходите ко мне. Я вам кое-что дам для вашей красавицы. Серьезно...

— Зачем же?!

— По-дружески, Шмидт. Вы мне нравитесь. Выпьем за здоровье вашей необыкновенной овчарки!

— У каждого, Шмидт, свое несчастье,— продолжал Кузнецов с тяжелым вздохом.— Моя невеста никак не может оформиться как «фольксдойче». Ее отца убили бандиты, все документы попали к ним в руки. Попробуй докажи свое арийское происхождение...

— Да, да,— сочувственно закачал головой Шмидт.

— Но я вам еще не все рассказал,— Кузнецов наклонился к самому уху обер-ефрейтора.— Мою невесту мобилизуют в Германию!

— Ах, какая неприятность!

— Видите, у каждого свое!

— Да, да,— сокрушенно бормотал Шмидт.— Вот если бы фрейлейн работала в рейхскомиссариате!

— Разве найдется добрая душа, которая бы мне это устроила!

— Это так трудно сделать. Если бы фрейлейн имела документы...

— Не правда ли,— осведомился Кузнецов,— это может решить один человек, гаулейтер Кох?

— Да, он один,— подтвердил «имперский дрессировщик». И тут же вспомнил о своем земляке.

— Адъютант Бабах — мой личный друг. Мы с ним в таких отношениях... Пусть фрейлейн напишет заявление — мы его и подсунем...

— Спасибо вам, Шмидт,— отвечал лейтенант.— Я о вас позабочусь, можете быть спокойны.— Я возьму вас к себе в имение. Может быть, вам нужны деньги? —И Кузнецов достал довольно внушительную пачку, ту самую, что накануне привез из отряда Коля Маленький.

— Но позвольте...— Шмидт изобразил на лице страшное смущение.

— Ах, к чему эти церемонии. Наш святой долг помогать ближнему. Разве вы не христианин?

— Я понимаю эти высокие чувства! — в волнении произнес дрессировщик и поспешно спрятал пачку в карман.

Они условились о следующей встрече. Она состоялась на другой же день, в том же казино, где «имперского дрессировщика» снова ждало обильное угощение. Шмидт сообщил, что гаулейтер находится в отъезде и прибудет в Ровно в первых числах мая.

— Он сейчас в Берлине, на похоронах Лютце, начальника штаба СА. Когда он вернется, мы и подсунем ему заявление фрейлейн Валентины. А пока я поговорю о ней с Бабахом. О, это мой ближайший друг!

Десятого мая Шмидт зашел к Вале и с торжественным видом сообщил ей о приезде Коха и о благоприятных результатах своего разговора с адъютантом.

— Адъютант Бабах передал, чтобы вместе с вами явился и лейтенант Зиберт. Возможно, господин гаулейтер захочет лично убедиться, что за вас ходатайствует немецкий офицер.

Валя с трудом дождалась прихода Николая Ивановича. Едва он появился в дверях, она бросилась к нему и выпалила все, что узнала от Шмидта.

— Та-ак,— протянул Кузнецов.— Ну, что ж, приглашают — значит, надо итти.

— Если ты настоящий патриот и действительно мечтаешь о подвиге, ты должен убить Коха! — горячо воскликнула Валя.

— А разрешение командира?

— Тебе обязательно нужно разрешение? Но ведь на параде... на параде-то мы собирались его убить!

— Это публично, при всем народе. Нас должны были поддержать. И речь шла не об одном Кохе, а о всей верхушке! Совсем другое дело!

— Как же быть? — удрученно проговорила Валя.

— Надо написать командиру.

К счастью, в этот вечер появился Коля Маленький. Он торопливо вошел в комнату, опустился на стул и, ни слова не говоря, принялся распарывать потайной карман штанишек. На мальчике не было лица. За два дня он прошел шестьдесят с лишним километров от «маяка» до города. Он принес Кузнецову пачку денег и письмо с указанием, какие из стоящих в районе Ровно немецких соединений особенно интересуют командование.

Валя усадила мальчика за еду, но тот, едва прикоснувшись к ней, уснул за столом.

Кузнецов перенес его на диван.

— Жалко будить,— сказал он.— А надо.

— Надо,— согласилась Валя.— Пока садись, пиши письмо командиру.

Время было дорого. Коля должен успеть в лагерь и обратно в самый короткий срок. К тому времени, когда их вызовут к Коху,— а это может случиться очень скоро,— Коля должен быть уже здесь с ответом. И все же они долго не решались будить мальчугана.

Наконец, Валя негромко окликнула Колю.

Мальчик не просыпался.

— Коля! — повторила она, трогая его за плечо. — Вставай!

Коля, как по команде, вскочил, протер глаза.

Кузнецов протянул ему письмо.

— Сховай!

Коля отвернулся, пряча письмо. Затем он потянулся за фуражкой, достал из подкладки иглу и принялся деловито зашивать карман.

Когда он ушел, Кузнецов проговорил задумчиво:

— Вот вам и Маленький...

Непонятно было, что хочет он этим сказать. То ли он восхищался мальчуганом, то ли скорбел о том, что нынче и «маленьким» достаются на долю большие, недетские испытания.

— Да...— неопределенно проговорила Валя.

Мысли ее в эту минуту были далеко.

Воображение рисовало ей мрачную, полутемную залу, низкие, грозовыми тучами нависшие своды, массивный стол в глубине и за столом тучного человека с чубом, свисающим к переносице, с зеленоватыми, еле видными в темноте глазами. Но вот в это подземелье входит светлый, как день, Кузнецов, в его вытянутой руке грозно сверкает сталь пистолета. По мере того как Кузнецов приближается к тучному человеку, тот отходит все дальше и дальше к стене, пятится и дрожит, ежась от резкого, слепящего света...

Вдруг простая, трезвая, четкая мысль заслонила собой видение:

— А если он примет меня одну?

— Если он примет тебя одну...— повторил Кузнецов.— Что же, попробуй,— он достал пистолет, вынул патроны, щелкнул затвором и протянул.— Попробуй.

Валя долго силилась нажать спусковой крючок и, не осилив, в отчаянии бросила пистолет.

— Не могу. Достань мне другой револьвер! Есть же такие, что мне под силу. Достань, слышишь,— твердила она Кузнецову.— Ты подумай, вдруг он примет меня одну!..

Кузнецов дал Вале другой пистолет. Это был «вальтер», второй номер.

Валя сжала рукоять, напрягла указательный палец, силясь нажать крючок... Тот не поддавался. Тогда она взялась за пистолет обеими руками. Все лицо ее — губы, брови, глаза — выражало напряжение. Наконец, раздался желанный щелчок.

— Есть!

— Ты хочешь стрелять двумя руками? — улыбнулся Кузнецов, забирая у нее пистолет.— Лучше садись сейчас и пиши заявление.

Валя послушно села.

«Будучи немкой,— диктовал Кузнецов,— происходящей от родителей чистой арийской крови, дочерью человека, убитого советскими партизанами, я прошу господина имперского комиссара...»

Валя подняла глаза:

— Ты выстрелишь в ту минуту, когда он будет это читать!

— Хорошо,— сказал Кузнецов.— Пиши дальше: «..я прошу господина имперского комиссара освободить меня от мобилизации...»

Валя остановилась, не дописав строки.

— А ты обязательно будешь стрелять? — спросила она.

— Да. Я думаю, командир даст согласие. Я обязательно буду стрелять...— Он помедлил и добавил: — если буду уверен, что убью.

Ни он, ни она не подумали в ту минуту, что скрывается за этим «убью» для них самих, для их собственной судьбы, не подумали, что «убью» — это значит непременно: «сам буду наверняка убит». А может быть, и подумали, но не сказали друг другу. К этому разговору в тот вечер они больше не возвращались.

Путь Коли Маленького на этот раз был не из удачных. Его задержали националисты. Коля бойко рассказал им свою «историю»: «Тато и маму бильшовики замордували, я милостыню збираю...» Бандиты сначала не поверили: рассказ мальчика не вязался с его городским видом. Но на вопрос, где он живет, Коля ответил, что живет в Ровно и даже назвал улицу и дом.

Очевидно, у бандитов мелькнуло какое-то подозрение. Они оставили мальчика у себя до приезда какого-то «начальства». Его поместили в «освобожденной» от хозяев хате вместе с несколькими головорезами.

На вторые сутки Коля бежал.

Он появился в отряде 15 мая. Отвечать Кузнецову на его запрос было уже поздно.

Глава третья

В один из тихих солнечных дней середины мая, около четырех часов дня, на главной улице Ровно — «Немецкой» — появился нарядный экипаж, запряженный парой лошадей. Пассажиры его не могли не обратить на себя внимания прохожих: щеголь-офицер, рядом с ним девушка, напротив — рыжий обер-ефрейтор. У ног их в экипаже лежала овчарка. Экипаж свернул с «Немецкой» на «Фридрихштрассе» и направился в самый конец ее. «Фридрихштрассе» была средоточием немецких учреждений. В конце улицы помещался рейхскомиссариат. Здесь же, в тупике, за высоким забором с колючей проволокой поверху, находилась резиденция имперского комиссара Эриха Коха. По тротуару взад и вперед прохаживались вооруженные автоматами эсэсовцы.

На Кузнецове был новый китель, сшитый в генеральской мастерской, на плечах сверкали серебром погоны.

К карману кителя был приколот значок члена национал-социалистской партии и рядом — два железных креста. Тут же красовались ленточки, указывавшие, что лейтенант дважды ранен в боях. Парадный китель, начищенные до блеска сапоги выдавали в нем одного из тех блестящих офицеров, которые давно уже не были на фронте и предпочитали «воевать», не выходя из казино, что на «Немецкой» улице.

На козлах, натягивая вожжи, на месте кучера сидел Коля Гнедюк. В кармане у «кучера» лежал пистолет, под сиденьем было спрятано несколько противотанковых гранат.

Овчарка, та самая, что чуяла партизан за километр, мирно дремала у ног «имперского дрессировщика». Он вез ее в резиденцию гаулейтера, чтобы сдать начальнику псарни.

Когда экипаж подъехал к воротам резиденции, дрессировщик первым соскочил на тротуар.

— Пройдемте в вахтциммер,— предложил он Кузнецову.— Фрейлейн подождет нас здесь.

В комнате охраны он спросил через окошко:

— Пропуска для лейтенанта Зиберта и фрейлейн Довгер готовы?

Эсэсовец, лично знавший дрессировщика, подал оба заранее заготовленные пропуска, даже не спросив документов.

Дворец Коха находился в глубине огромного парка. Дубы, липы, клены бросали большие тени на аллеи и газоны, покрытые мягкой зеленью. Несколько садовников возились над клумбами. В стороне от главной аллеи возвышался холм, где среди зелени и кустов сирени стояли удобные скамейки. Здесь, очевидно, наместник отдыхал в знойные дни. Справа на солнцепеке находился большой бассейн,— здесь, очевидно, наместник купался.

Ни одна мелочь не ускользнула от внимательных глаз Кузнецова.

Кроме двухэтажного особняка, в котором жил Кох, внутри ограды было еще несколько строений: псарня для овчарок, охранявших персону гаулейтера, особняк адъютанта, дом для прислуги и дом для личной охраны.

Он жил, как за бронированной стеной, этот наместник

«фюрера». В животном страхе перед украинским народом он окружил себя вооруженной до зубов охраной.

Сколько раз разрабатывали мы планы налета на дворец наместника и не выполняли их, потому что были уверены: все до одного погибнем, а до Коха все же не доберемся.

— Прошу вас пройти к адъютанту, а я пойду сдавать собаку,— сказал Шмидт, указав Кузнецову на парадный подъезд.

На минуту Кузнецов с Валей остались вдвоем.

— Пауль,— тихо позвала Валя, не решаясь назвать его настоящим именем.

— Что ты хочешь сказать, моя дорогая?— весело улыбнулся Кузнецов. Непонятно было, всерьез он назвал ее так или продолжает игру. Вдруг он склонился к ней и шепнул в самое ухо: — Как только ты выйдешь от Коха, ни минуты не жди: скорее на улицу, садись в экипаж, в городе встретишь Струтинского и с ним — в отряд. Немедленно.

Валя отшатнулась.

— Нет!

— Тут хватит одного человека. Валя,— все так же тихо, но настойчиво сказал Кузнецов. — Подумай сама, ведь мне-то легче не будет, если они и тебя...

Он толкнул дверь.

Адъютант Бабах, щеголеватый офицер, в форме гауптмана, сразу узнал в вошедших протеже своего земляка Шмидта, которым он, Бабах, сам заранее заготовил пропуска. Он проводил их на второй этаж, в приемную. Здесь сидело уже несколько офицеров. В кресле у окна, ожидая вызова, скучал тучный генерал.

— Я доложу о вашем приходе,— сказал Бабах и скрылся за дверью. Маленький юркий армейский офицерик конфиденциально спросил у Кузнецова, кивнув на Валю:

— Ваша?

— Моя,— сказал Зиберт, смерив взглядом армейца.

— Говорят, гаулейтер сегодня в хорошем расположении духа,— как бы извиняясь за свой неуместный вопрос, сказал офицер.— Мы ждем его уже больше часа.

Приоткрылась тяжелая дверь. В приемной появился адъютант.

— Вас готовы принять,— произнес он, глядя на Валю. Остановил поднявшегося с места Кузнецова:

— Только фрейлейн.

Кузнецов смешался. Он не ожидал, что вызовут не его, а Валю. Овладев собой, он сел в кресло и обратился к офицерику с первой же пришедшей на ум, ничего не значащей фразой.

...Валя сделала лишь шаг вперед в кабинет Коха, как к ней в два прыжка подскочила огромная овчарка. Валя вздрогнула.

Раздался громкий окрик:

— На место! — и собака отошла прочь.

В глубине, под портретом Гитлера, за массивным столом, развалившись в кресле, восседал упитанный, холеный немец с усиками под Гитлера, с длинными рыжими ресницами. Поодаль от него стояло трое гестаповцев в черной униформе.

Кох молча показал ей на стул в середине комнаты. Едва Валя подошла к стулу, один из гестаповцев встал между ней и Кохом, другой занял место за спинкой стула. Третий находился у стены, позади Коха, немного правее гаулейтера. На фоне черного драпри, скрадывавшего одежду гестаповца, весь в блестящих пуговицах, пряжках и значках, он казался зловещим. Валя заметила, как шевельнулось драпри, и в ту же секунду увидела высунувшуюся из складок тяжелой ткани оскаленную морду овчарки.

— Почему вы не хотите ехать в Германию? — услышала Валя голос Коха. Он сидел, уставясь в листок бумаги, в котором она узнала свое заявление. Валя немного замялась и замедлила с ответом.

— Почему вы не хотите ехать в Германию? — повторил Кох, поднимая на девушку глаза.— Вы, девушка немецкой крови, были бы полезны в фатерланде.

— Моя мама серьезно больна,— тихо произнесла Валя, стараясь говорить как можно убедительнее.— Мама больна, а кроме нее, у меня сестры... После гибели отца я зарабатываю и содержу всю семью. Прошу вас, господин гаулейтер, разрешить мне остаться здесь. Я знаю немецкий, русский, украинский и польский, я могу и здесь принести пользу Германии.

— Где вы познакомились с офицером Зибертом? — спросил Кох, смотря на нее в упор.

— Познакомилась случайно, в поезде... Потом он заезжал к нам по дороге с фронта...

— А есть у вас документы, что ваши предки — выходцы из Германии?

— Документы были у отца. Они пропали, когда он был убит.

Кох стал любезнее. Разговаривая то на немецком, то на польском языке, которым он владел в совершенстве, он расспрашивал девушку о настроениях в городе, интересовался, с кем еще из немецких офицеров она знакома. Когда в числе знакомых она назвала не только сотрудников рейхскомиссариата, но и гестаповцев, в том числе фон Ортеля, Кох был удовлетворен.

— Хорошо, ступайте. Пусть зайдет ко мне лейтенант Зиберт.

Вместе с адъютантом Валя вышла в приемную.

Под взглядами сидевших там офицеров она не могла ни словом обмолвиться с Кузнецовым, чтобы не выдать себя. А Вале так хотелось сказать обо всем, что она видела в кабинете. Кузнецов заметил что-то похожее на сомнение в ее взгляде. Он поднял голову, как бы говоря: «Ничего, все будет так, как надо», а во взгляде его была просьба «Уходи...» Валя подождала, пока он скрылся за массивной дверью, и, приняв скучающую позу, села в кресло, недалеко от дремавшего генерала. Она чувствовала себя в эту минуту так, точно вошла на костер.

— Хайль Гитлер! — переступив порог кабинета и выбрасывая руку вперед, возгласил Кузнецов.

— Хайль! — лениво раздалось за столом.— Можете сесть. Я не одобряю вашего выбора, лейтенант! Если все наши офицеры будут брать под защиту девушек из побежденных народов, кто же тогда будет работать в нашей промышленности?

— Фрейлейн — арийской крови,— почтительно возразил Кузнецов.

— Вы уверены?

— Я знал ее отца. Бедняга пал жертвой бандитов.

Пристальный, ощупывающий взгляд гаулейтера упал на железные кресты офицера, на круглый значок со свастикой.

— Вы член национал-социалистской партии?

— Так точно, герр гаулейтер.

— Где получили кресты?

— Первый во Франции, второй на Остфронте.

— Что делаете сейчас?

— После ранения временно работаю по снабжению своего участка фронта.

— Где ваша часть?

— Под Курском.

— Под Курском?..

Ощупывающий взгляд Коха встретился со взглядом Кузнецова.

— И вы — лейтенант, фронтовик, национал-социалист — собираетесь жениться на девушке сомнительного происхождения?!

— Мы помолвлены,— изображая смущение, признался Кузнецов.— И я должен получить отпуск и собираюсь с невестой к моим родителям, просить их благословения.

— Где вы родились?

— В Кенигсберге. У отца родовое поместье... Я единственный сын.

— После войны намерены вернуться к себе?

— Нет, я намерен остаться в России.

— Вам нравится эта страна? — в словах Коха послышалось что-то похожее на иронию.

— Мой долг — делать все, чтобы она нравилась нам всем, герр гаулейтер! — твердо и четко, выражая крайнее убеждение в справедливости того, о чем он говорит, сказал Кузнецов.

— Достойный ответ! — одобрительно заметил гаулейтер и подвинул к себе лежавшее перед ним заявление Вали.

В это мгновение Кузнецов впервые с такой остротой физически ощутил лежащий в правом кармане брюк взведенный «вальтер». Рука медленно соскользнула вниз. Он поднял глаза и увидел оскаленную пасть овчарки, увидел настороженных гестаповцев. Казалось, все взгляды скрестились на этой руке, поползшей к карману и здесь застывшей.

Нет, стрелять — никакой возможности. Не дадут даже опустить руку в карман, не то что выдернуть ее с пистолетом. При малейшем движении гестаповцы готовы броситься вперед, а тот, что стоит за спинкой стула, наклоняется всем корпусом, так, что где-то у самого уха слышно его дыхание,— наклоняется, готовый в любое мгновение перехватить руку...

Между тем гаулейтер, откинувшись в кресле и слушая собственный голос, продолжает:

— Человеку, который, подобно вам, собирается посвятить жизнь освоению восточных земель, полезно кое-что запомнить. Как вы думаете, лейтенант, кто для нас здесь опаснее: украинцы или поляки?

У лейтенанта есть на этот счет свое мнение.

— И те и другие, герр гаулейтер! — отвечает он.

— Мне, лейтенант, нужно совсем немного,— продолжает Кох.— Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно. Вы меня понимаете?

— Тонкая мысль, герр гаулейтер!

— Ничего тонкого. Все весьма просто. Некоторые весьма наивно представляют себе германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы и поляки, которых мы заставили бы говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли.— Голос его берет все более и более высокие ноты.— Мы будем германизировать землю, а не людей! — изрекает Кох.— Здесь будут жить немцы!

Он переводит дух, внимательно смотрит на лейтенанта.

— Однако, я вижу, вы не сильны в политике.

— Я солдат и в политике не разбираюсь,— скромно ответил Кузнецов.

— В таком случае бросьте путаться с девушками и возвращайтесь поскорее к себе в часть. Имейте в виду, что именно на вашем курском участке фюрер готовит сюрприз большевикам. Разумеется, об этом не следует болтать.

— Можете быть спокойны, герр гаулейтер!

— Как настроены ваши товарищи на фронте?

— О, все полны решимости! — бойко отвечает лейтенант, глядя в глаза гаулейтеру.

— Многих испугали недавние события?

— Сталинград? — Лейтенант умолкает, то ли собираясь с мыслями, то ли затем, чтобы набрать дыхание и одним духом выпалить то, что он думает: — Он укрепил наш дух!

Гаулейтер явно удовлетворен столь оптимистическим ответом. Он еще раз любопытным взглядом окидывает офицера и, наконец, принимается за заявление его подруги. Он пишет резолюцию.

...А Валя в это время, казавшееся ей бесконечным, продолжала сидеть в приемной, не отрывая глаз от тяже-

лой двери, напряженно вслушиваясь в каждый звук, каждую секунду ожидая выстрела. «Вот сейчас...— думалось ей.— Вот сейчас... Нет, она не могла, не хотела покинуть приемную гаулейтера, как на этом настаивал Кузнецов. Пусть она здесь не нужна, пусть это — безрассудство, за которое она поплатится жизнью,— она не могла оставить его одного. Но почему он не стреляет? Чего он медлит?

Она отчетливо представила себе, что произойдет тотчас после этого выстрела. Вот этот юркий офицерик, который пристает к ней с игривыми разговорами,— он, конечно, первый схватит ее — он сидит к ней ближе всех. Адъютант — тот бросится в кабинет. А что, если Кузнецов перебьет и охрану?.. Овчарка! — вспомнила Валя.— Овчарка не даст!..

Офицерик что-то говорит и говорит, не унимаясь. Она должна отвечать. «Да, есть подруги,— как в бреду, произносит она, механически повторяя его же слова и механически улыбаясь.— Да, хорошенькие. Да, она познакомит. Да, она организует...»

Этот самый офицерик скрутит ей руки, швырнет ее гестаповцу, черному, с блестящими пуговицами. Ее будут пытать. Гвоздь! — вспомнила она. «Берется обыкновенный гвоздь». Ледяные глаза фон Ортеля кольнули ее. Она зажмурилась от боли. Теперь ей казалось, что это офицерик смотрит на нее ледяными колючими глазами. Она обратила взгляд на дверь. Почему он не стреляет? Чего он медлит?

— Да он, однако, задерживается, ваш друг,— проговорил офицерик.

Тучный генерал, продолжающий скучать в кресле, взглянул на часы.

Вале показалось, что он, этот генерал, чем-то похож на Коха. Она ясно представила себе холеное, с аккуратными усиками лицо гаулейтера. Она вспомнила: «Я выжму из этой страны все, чтобы обеспечить вас и ваши семьи». «Почему он медлит?» — снова подумала Валя.

Она ждала этого выстрела так, словно он обещал ей и Кузнецову не пытки, не смерть, а радость и облегчение. «Скорей! — мысленно торопила она Кузнецова.— Скорей!»

Открылась тяжелая дверь, и Кузнецов вышел из кабинета. Он был до обидного спокоен и улыбался.

— Ну? — промолвил он, подойдя к ней и беря ее за локоть.

В руке он держал листок бумаги — ее заявление.

Их уже окружали вскочившие с мест офицеры.

— Что вам написал гаулейтер?

— «Оставить в Ровно,— прочитал Бабах,— предоставить работу в рейхскомиссариате».— О, поздравляю вас, фрейлейн, поздравляю вас, лейтенант!

Офицеры зашумели.

— Да, дружище, тебе повезло!

— Говорят, вы его земляк?

В эту минуту Валя почувствовала, что падает.

Кузнецов бережно поддержал ее, взял под руку.

— Что с тобой, милая?

— Это у фрейлейн от волнения, — сказал Бабах.— Фрейлейн боялась, что ее пошлют на работы. О, нет, фрейлейн, гаулейтер не мог отказать фронтовику! Прошу вас! — и он протянул Зиберту несколько пачек сигарет.

— Благодарю, спасибо! — ответил тот.

Это были отличные сигареты. Вероятно, такие же курил сам гаулейтер.

— Почему не стреляли? — спросила Валя, как только они оказались на улице.

— Это было невозможно, Валюша. Ты же сама видела, что там делалось. Они не дали бы даже вытащить пистолет.

— Такого случая больше не будет!

— Что поделаешь!

— Что поделаешь? Надо было рисковать! — Она помолчала и добавила:— Вы, наверно, слишком дорожите своей жизнью.

— Но, Валя...— попробовал возразить Кузнецов, и вдруг все происшедшее, доставившее ему одно разочарование, обернулось другой стороной: он вспомнил о Курске! Ведь Кох только что из Берлина — значит, сведения самые свежие!.. Вспомнил он и рассуждения Коха по поводу фашистской политики на Украине и, наконец, его резолюцию, благодаря которой Валя становится отныне сотрудницей рейхскомиссариата. Неожиданные, но ценные результаты дала эта встреча. И Кузнецов не замедлил поделиться с Валей этой радостной мыслью.

— Ну и что? — ответила она с досадой.— «Сотрудница рейхскомиссариата»! Да ведь поймите же вы, такого случая больше не будет!

Голос ее дрогнул. Все, что было в ней наболевшего, выстраданного, вся ее тоска, весь ужас ожидания в приемной — все это сейчас обратилось в одно чувство — в горький и страстный упрек ему, Кузнецову.

Она выдернула руку и ушла.

Несостоявшееся покушение вызвало в штабе отряда целую бурю споров. Разговоры шли вокруг одного вопроса: была ли в конце концов у Кузнецова возможность убить Коха? То, что это было делом невероятной трудности, ни у кого не вызывало сомнений. В кабинете гаулейтера все было рассчитано на невозможность покушения. И овчарки, и телохранители прошли, надо думать, немалую тренировку, прежде чем попали в этот кабинет. Был какой-то математически точный расчет в том, как были расставлены люди и собаки, как стоял стул, предназначенный для посетителей,— математически точный расчет, не допускавший никаких случайностей.

И все же какая-то доля возможности успеха могла быть. И нашлись товарищи, которые прямо ставили в упрек Николаю Ивановичу его благоразумие, осторожность, нежелание рисковать при незначительных шансах на удачу.

Разделяли эту точку зрения не только горячие головы, вроде Вали (она сразу же после приема у Коха написала и отправила мне взволнованное письмо, в котором осуждала Кузнецова, называя его трусом), но и люди более зрелые и уравновешенные. Разумеется, никому не приходило в голову сомневаться в храбрости Николая Ивановича; речь шла не о храбрости, а о чем-то несравненно более высоком — о способности человека к самопожертвованию, к обдуманной, сознательной гибели во имя патриотического долга. Сотни тысяч, миллионы советских людей в час, когда отечество оказалось в опасности, схватились с ненавистным врагом и в этой схватке явили миру невиданные образцы воинской доблести, презрения к смерти. Но одно дело презирать, итти на рискованную операцию без мыслей о своей возможной гибели, другое дело — сознательно и добровольно пойти на смерть ради победы.

В ту пору мы еще не знали о подвиге Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота, но на памяти были другие примеры высокого, беззаветного героизма советских воинов, и именно к ним

как бы примеривали мы то, что должен был совершить Кузнецов. Он находился к тому же в исключительно сложных условиях, требовавших для совершения акта самопожертвования гораздо больших душевных сил, чем обычная боевая обстановка. В бою человек, идущий на подвиг, чувствует локоть товарища, слышит вдохновенное, захватывающее «ура», он охвачен тем общим воодушевлением, подобием азарта, что неизменно возникает в атаке. «На миру и смерть красна»,— говорит русская пословица. Но за линией фронта, в оккупированном городе человек идет на подвиг один в стане врагов. Здесь ничто не стимулирует этот подвиг, кроме мыслей и чувств самого человека. Каков же должен быть строй этих мыслей и чувств, чтобы в этих условиях совершенно сознательно, преднамеренно, по заранее разработанному плану, совершить акт возмездия — и не на площади, где тебя непременно поддержат, а в тиши кабинетов, где во всех случаях ждет одно: мучительная смерть.

— Такой подвиг,— говорил Лукин, когда мы обсуждали письмо Вали и в связи с этим поведение Кузнецова,— требует особого рода героизма. Мы должны воспитывать в наших людях готовность пойти в любой момент на это святое дело.

— Именно святое, — поддержал Стехов.— Но не всякому это дано. В каждом из наших людей живет высокое чувство патриотизма, и вот это чувство, это сознание своего долга перед Родиной, мы должны возвести в такую степень, чтобы любой из нас мог, не задумываясь, отдать, когда нужно, свою жизнь.

— Готовить к самопожертвованию! Справедливы ли эти слова по отношению к Кузнецову? Да и не только к нему, а к сотням наших партизан, день за днем совершавших свой скромный подвиг?

Мне вспомнился случай из жизни отряда, когда мы имели возможность убедиться в том, что наши люди действительно способны на самопожертвование. Дело было перед отправкой группы Лукина на переговоры к «Бульбе». Кто-то в отряде пустил слух, якобы мы собираемся послать небольшую группу автоматчиков с заданием напасть на многочисленный вражеский гарнизон, большинство которого составляют к тому же хорошо вооруженные эсэсовцы. Это задание расценивалось, как посылка на верную гибель.

Эту версию слышали от Саргсяна. Я был так озадачен, что тут же решил подвергнуть группу Лукина своеобразному испытанию. Лукин и Стехов поддержали меня в этом решении.

В тот же вечер, в стороне от лагеря группа была собрана, и я обратился к бойцам:

— Товарищи, готовится серьезная и рискованная операция. Речь идет о таком деле, из которого едва ли кому придется выйти живым...

И повторил версию о «крупном гарнизоне», который якобы предстоит разгромить.

— Само собой разумеется,— продолжал я, — на такое дело мы можем посылать только в порядке добровольном. Пусть те, кто почему-либо не хочет итти в составе группы, откровенно заявят об этом.

Ни один человек из группы не воспользовался возможностью уклониться от рискованной операции. Наоборот: все, как один, высказали страстное желание пойти на это благородное дело.

Тогда в виде наказания за лишние разговоры был отстранен от участия в походе Саргсян. Никакие уговоры не помогли. Мы были непреклонны, хотя и видели, какой это для него удар, какое большое потрясение.

Напомнив товарищам об этом случае, я предложил организовать проверку — на этот раз всего личного состава отряда.

В тот же день было объявлено, что готовится целая серия весьма серьезных операций, требующих от их исполнителей неизбежного самопожертвования во имя Родины, что на выполнение заданий пойдут одиночки и что желающие принять в них участие могут записаться у замполита.

Спустя пять минут Валя Семенов, Базанов, Шмуйловский, Селескериди и многие другие товарищи уже обступили Стехова, настаивая, чтобы он записал их тут же, на месте. А Цесарский подошел ко мне, недоумевая:

— Обязательно нужно записываться? По-моему, все и так ясно. Я, например, летел сюда добровольно, отсюда и вытекает, что в этом вашем списке я давно уже состою. Располагайте всеми нами, как требуется для дела.

Спустя час в списке числилось уже семьдесят человек.

— Способны ли вы выполнить задание прежде чем погибнуть?— спрашивал я у них.— Хватит ли у вас воли думать не о гибели, а только о выполнении задания?

Все заверяли, что способны на это.

Этот пример еще раз убедил меня в том, что готовность и воля к подвигу во имя Родины живут в каждом советском человеке, в каждом большевике, партийном и непартийном. Недаром сам Сталин назвал коммунистов людьми особого склада. Нужно ли нам специально готовить людей к самопожертвованию, когда в небольшом отряде на первый зов является семьдесят патриотов, готовых в любой момент отдать самое дорогое — жизнь — за счастье своей Родины.

Эта проверка явилась деловым, практическим ответом на споры и рассуждения товарищей, обсуждавших письмо Вали Довгер.

К числу таких людей, людей особого склада, принадлежал и Николай Иванович Кузнецов. И я не сомневался, что не совершил он акта возмездия над Кохом потому лишь, что не хотел итти на бессмысленный риск. Я был уверен, что если в его судьбе еще наступят минуты, когда нужно будет во имя победы жертвовать жизнью — он сделает это не задумываясь.

Глава четвертая

Всякий, кто бывал в те годы в Ровно и проходил по Хмельной улице, мог приметить невзрачный, с облупившейся штукатуркой, двухэтажный дом, на воротах которого чернела старая жестяная вывеска: «Фабрика валенок та щиток». Вероятно, теперь этот старый дом выглядит иначе и только городские старожилы, хранящие в памяти историю каждого здания, помнят черную жестяную вывеску, старые скрипучие ворота да немца-солдата, стоявшего возле них. Те, кто жил по соседству с фабрикой, помнят этого часового, но, может быть, запомнился им человек в коричневом, большой давности пиджаке, в желтых крагах, в темной кепке с большим козырьком, которую он имел обыкновение поминутно снимать, обнажая лысеющую голову. Человека этого трудно было не приметить: он часто стоял у ворот, встречая или провожая грузовые машины; сам он приезжал на велосипеде. Солдат-часовой приветствовал его, вытянувшись всем телом и выбрасывая руку вперед. Человек в коричневом пиджаке отвечал небрежным взмахом руки, как если бы собирался хлопнуть часового по плечу.

Можно было заключить, что немецкое начальство весьма почтительно относится к этому человеку, иначе не стал бы солдат-часовой с таким рвением делать ему «хайль!». И в самом деле, если бы кто мог видеть,как пожилой подслеповатый офицер из виртшафтскоманды, придя на фабрику, долго и тщательно здоровался с ним за руку, называя его «пан директор» или просто по имени-отчеству — Терентий Федорович,— если бы кто мог наблюдать эту сцену, как наблюдали ее служащие фабрики,— он сделал бы заключение, что человек в коричневом пиджаке и желтого цвета крагах пользуется доверием и даже симпатией господ-«завоевателей». Ибо что означало почтение подслеповатого интенданта, как не признак того, что и более высокое начальство весьма благосклонно относится к «пану директору».

Однажды служащие фабрики своими ушами слышали, как подслеповатый интендант, коверкая русские слова, но зато громко и торжественно заявил их шефу:

— Мне поручено передать вам благодарность за увеличение поставок для фронта. Германия не забудет ваших заслуг, господин Новак!

На что директор отвечал, скромно потупив глаза:

— Рад стараться, герр Ляйпсле, рад стараться.

Но едва ли кто-нибудь из посторонних мог предположить, что спустя полчаса, спустившись в кладовую, где он обычно дольше всего бывал, директор скажет двум молодым рабочим, занятым укладыванием валенок:

— Не жалейте, хлопцы, серной кислоты. Лейте — не скупитесь, есть еще. Для великой германской армии не жалко. Хай вся померзнет.

И кто мог знать, что солдаты далекого Восточного фронта (который, впрочем, к началу зимы стал близким), той самой бригады, что имела несчастье получить продукцию ровенской фабрики,— что солдаты эти как раз к началу холодов оказались разутыми, ибо валенки ровенской фабрики, как правило, после недельной носки разваливались.

Двое молодых рабочих, которым их директор столь необычным образом выразил свои верноподданнические чувства к великой Германии, занимались весьма своеобразной работой: обрызгивали валенки серной кислотой из специально приспособленной для этого полулитровой бутылки. Все это производилось с отменной быстротой и

автоматизмом, выработанными, очевидно, длительным опытом.

Директор покинул кладовую и прошел цехом к себе в кабинет. Здесь его ждал калькулятор, маленький, невзрачный человек, вечно прячущий ухмылку в углах своих тонких губ,— словно он что-то знает о людях, в чем они сами не признаются. С тем же загадочным выражением он взглянул и на директора, когда тот появился на пороге комнаты.

— Что тебе, Иван Иванович? — спросил директор.

— Ничего, Терентий Федорович,— отвечал калькулятор.— Любовался я на тебя сегодня, когда ты с шефом разговаривал.

— А что? Плохо?

— Да нет, прилично. Не надо было только глаза опускать.

— Боялся, Иван Иванович,— садясь к столу, развел руками директор. — Еще минута — и засмеюсь.

— Я и заметил.

— Ну, дело прошлое. Как у тебя? Скалькулировал? Показывай, что получилось.

Иван Иванович протянул папку с бумагами.

— Вот.

— Сколько? — спросил директор, не открывая папки.

— На каждой паре по шесть марок.

— Мало, Иван Иванович, Имей в виду, больше нам взять неоткуда. А гроши нужны, сам понимаешь.

— Попробую натянуть еще.

— Попробуй, будь ласков,— сказал директор, проведя рукой по папке и обращая к Ивану Ивановичу свои добрые и тоже чуть лукавые голубые глаза.— Пожалуйста!

— Посмотрю, в чем еще можно навести экономию,— сказал тот.

— Вот-вот! — подхватил директор.— Строжайший режим экономии. Снижение себестоимости! Нам надо на каждой паре иметь десять-двенадцать марок чистого дохода. Тогда мы продержимся и людям сумеем помочь.

— Значит, с моторами пока ничего не делать?

— Наоборот! Никаких простоев. Фабрика должна работать на полную мощность! Перевыполнять план!

— Есть! — сказал Иван Иванович, немного наклоняя голову.— Ну, а за качеством продукции — это уже ты проследи. Ты сейчас был на складе?

— Да. Там все в порядке. Сдадим первым сортом.

Проводив Ивана Ивановича, директор посидел немного у себя, потом встал и направился вдоль по коридору. Он миновал одну за другой три двери, спустился по лесенке вниз, в подвал. Там, повозившись с ключом, отпер железную дверь. За ней кирпичные ступени вели еще ниже. Спустившись, он открыл еще дверь и оказался в небольшом помещении, освещенном сильной лампой, висевшей под низким сводом. В этом помещении шла напряженная работа,— работа, не имеющая ничего общего с производством валенок. Стучали две пишущие машинки. Директор подошел к столику, поднял к глазам только что напечатанную страницу и стал читать, вполголоса выговаривая слова:

«Началось массовое изгнание врага из Советской Страны.

Что изменилось за эти три месяца? Откуда такие серьезные неуспехи у немцев? Где причины этих неуспехов?

Изменилось соотношение сил на советско-германском фронте. Дело в том, что фашистская Германия все более и более истощается и становится слабее, а Советский Союз все более и более развертывает свои резервы и становится сильнее. Время работает против фашистской Германии».

— На каждой странице пиши, чьи это слова,— сказал Новак машинистке, молоденькой девушке с темными стрижеными по плечи волосами.

На другой машинке, тыча в клавиши указательным пальцем, стучал мужчина лет тридцати с шапкой русых волос, спадавших на широкий квадратный лоб.

— И ты печатаешь, товарищ Поплавский? — обратился к нему Новак.— Сколько страниц у тебя занимает приказ?

— Четыре. Я пишу через два интервала.

— Так вот, на каждой из четырех страниц пиши сверху. Приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина от такого-то числа, номер такой-то. И в скобках— «продолжение» или «окончание». Как в газетах делается. Чтобы, если листы окажутся разрозненными, люди знали, откуда это, чьи это слова.

— Понятно,— ответил Поплавский, стараясь ударить пальцем по клавишу нужной буквы.

Новак просмотрел все, что было напечатано, исправил несколько бросившихся ему в глаза ошибок, попросил,

чтобы товарищи внимательнее считывали с оригиналом напечатанные на машинках экземпляры приказа, и поднялся к себе.

Вечером предстояло важное совещание, и Новак готовился к нему. Надо было все удержать в голове. Он невольно тосковал по карандашу, которым мог бы в пятнадцать минут набросать все свои мысли. Но записывать ничего нельзя. В том, что он делал, требовалась хорошо организованная, строгая конспирация.

Это подполье было вторым в жизни Терентия Федоровича Новака. Семнадцати лет начал он свой путь революционера, борца против жестокого социального и национального гнета, которому подвергали польские паны его родной край — Западную Украину. Из рядового комсомольца Новак вырос в зрелого работника партийного подполья, члена Волынского обкома коммунистической партии Западной Украины. В 1938 году он был арестован польской охранкой и приговорен к тридцати одному году тюрьмы. Приход Красной Армии дал ему избавление и счастье новой, свободной жизни. Он получил то, за что боролся сам, за что боролся его друг Иван Иванович Луць, боролись и терпели лишения в тюремных застенках лучшие сыны и дочери народа.

Иван Иванович Луць — тот самый «калькулятор» фабрики, с которым Новак говорил о строгом режиме экономии,— пробыл в заключении пять лет — половину того срока, к которому присудил его военный суд за коммунистическую деятельность в армии. Он и Новак сидели в одной тюрьме. В сентябрьский день тридцать девятого года заключенные разбили ворота тюрьмы. Новак был организатором выступления. Люди вышли в распахнутые ворота — вышли, пошатываясь, вдыхая пьянящий воздух свободы и жмурясь от солнца.

Полтора года, прожитые при советском строе, были для Новака и Луця порой свершения надежд, радостным временем, когда на глазах сбывалось все то, о чем они мечтали в застенках панской охранки.

Каково же им было теперь увидеть на своей земле самых злейших врагов советского народа — немецких фашистов, увидеть их на той самой земле, что веками стонала под игом императорской Австрии, а затем панской Польши и только что стала свободной, только начала расцветать.

В июле сорок первого года Ровенский обком с согласия Центрального Комитета коммунистической партии (большевиков) Украины направил Терентия Новака в тыл врага для подпольной борьбы.

Василий Андреевич Бегма, секретарь обкома, сказал ему, пожимая руку на прощанье:

— Партия знает вас, как старого подпольщика и хорошего организатора. Мы верим в ваши силы, товарищ Новак, в вашу стойкость, в вашу способность к самопожертвованию. Но партия посылает вас не на геройскую смерть, а на ответственную партийную работу. Конспирация нужна строжайшая — не вас этому учить. У себя в Гоще не показывайтесь. В Ровно вас не знают — там и сидите. Через некоторое время свяжитесь с подпольным обкомом,— я дам о себе знать сам. Все ясно?

— Все ясно,— отвечал Новак.

Этот разговор происходил в Киеве.

Через несколько дней Новак перешел линию фронта.

Первым человеком, которого Новак встретил в Ровно и привлек к своей работе, был Иван Иванович Луць. Им не пришлось «прощупывать» друг друга. В первую же минуту встречи Луць понял, что делает в Ровно при немцах Терентий Новак, а Новак понял, что делают или собираются делать Иван Луць и его жена Анастасия Кудеша. Анастасия тоже была членом партии, тоже работала в старом подполье.

К концу сорок первого года у них была уже небольшая, но крепко сколоченная организация с ячейками в Гоще, где поселился знакомый Новаку комсомолец Иван Кутковец, в Синеве, где работала учительницей Оля Солимчук, в Грушвицах и Рясниках, где работали товарищи Кравчук и Кульбенко.

Ивана Кутковца Новак знал еще со старых времен: он был близко знаком с его семьей, когда Иван был подростком.

Это по его, Новака, рекомендации Иван был избран секретарем временного управления в Корецком районе. Он проработал здесь год, а затем уехал во Львов на учебу. Давней мечтой Кутковца было учиться на агронома, при советской власти эта мечта его сбылась. Иван поступил на агрономический факультет.

В октябре 1941 года Новак встретил его в Ровно. Они не виделись полтора года.

Перед Новаком стоял высокий представительный мужчина, отлично одетый, с достоинством держащийся. Черные усики, которых у Ивана прежде не было, его осанка, костюм — все это было для Новака новостью. Новак вспомнил скромную трудовую семью почтового служащего Тихона Кутковца, мальчика Ваню, который хорошо играл на скрипке, что являлось особой гордостью родителей. Неужели перед ним тот самый Ваня?

— Здравствуй,— сказал Новак в ответ на приветствие Кутковца и оглядел его строгим, придирчивым взглядом.

Кутковец улыбнулся. На его щеках показались знакомые ямочки, темные брови поднялись вверх, а в черных больших глазах засверкали задорные огоньки.

— Как живешь? — спросил Новак.

— Как живу? — лицо Кутковца стало серьезным.— Сидел в тюрьме. Вырвался.

— Так, ну и что же дальше?

Иван промолчал.

— Комсомолец? — спросил Новак.

— Комсомолец,— сказал Кутковец, серьезным и полным доверия взглядом отвечая Новаку. И вдруг он заговорил взволнованно:

— Надо искать подполье, Терентий Федорович.

Новак помолчал, достал папиросу, неторопливо закурил, взглянул еще раз в лицо Кутковца и спокойно сказал:

— Будем считать, что ты его нашел.

— Как? — вспыхнул Кутковец.

— Да вот так. Я коммунист, ты комсомолец, — прежним тоном продолжал Новак.— Вот и будем работать.

— Мы... Двое? — в глазах Кутковца отразилось разочарование.— А я думал, вы знаете организацию.

— Организация будет,— убежденно проговорил Новак.— Вот мы с тобой-то и будем вдвоем ее создавать.

Спустя два дня Кутковец с заданием Новака выехал на постоянное жительство в Гощу.

Олю Солимчук Терентий Федорович Новак знал тоже с прежних времен. Они вместе выходили из тюремных ворот навстречу пришедшему с Востока солнцу. Оле было тогда двадцать лет, три года из них она отдала коммунистическому союзу молодежи и его борьбе, из которых два сидела в тюрьме.



Оля Солимчук

Уже через неделю после освобождения Оля стала студенткой педагогического училища. Тогда же, одновременно с ней — один в вечерней школе, другой в институте — начали учиться Луць и Новак. Они радовались, что перед ними, не смевшими до прихода Красной Армии и мечтать об образовании, широко распахнулись двери школ и институтов.

В педагогическом училище местечка Острог, где училась Оля Солимчук, шли испытания, когда весть о войне вторглась в мирную жизнь, сразу же перевернув, нарушив все планы, отдалив все мечты. Первая в училище, увлекая за собой остальных, Оля подала заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Враг приближался к Острогу. Началась эвакуация. В армию Олю не взяли. Ей, как и всем остальным девушкам-студенткам, предложили эвакуироваться.

— Я не поеду! — заявила Оля.— Как вы можете мне это предлагать?

В то время Оле казалось зазорным эвакуироваться; вся ее горячая натура протестовала против того, чтобы бежать.

— Хорошо, оставайся,— сказал, наконец, старик, директор училища, видя, что уговоры не помогают.— Но что ты будешь здесь делать? Бороться? Одна? Я тебе советую: поезжай с нами, поступишь в школу медсестер — обучишься и поедешь на фронт.

— Нет, я останусь! — упрямо твердила Оля, сама еще не зная, что она будет делать, оказавшись в тылу врага, как будет бороться. Она была убеждена в одном — она не имеет права уезжать.

Если бы кто-нибудь за неделю до этого сказал Оле, что ей придется бросить учебу, она бы не поверила. Ни за что, ни за какие блага она не покинула бы своего училища, с которым были связаны самые счастливые дни ее жизни.

Теперь она покидала местечко Острог, прощалась с друзьями, с родным училищем, не зная, вернется ли туда вновь, чтобы окончить учение. Только теперь, шагая по проселочной дороге, по которой уже прошли фашистские танки, она начала понимать, что произошло нечто страшное в ее жизни.

Ее разлучили со счастьем.

Началась мрачная жизнь в селе, где хозяйничали оккупанты. Аресты, расстрелы и грабежи мирных людей стали явлением обыденным.

Была арестована и Оля Солимчук. Кто-то из предателей сообщил гитлеровцам о ее прошлом подпольщицы. Олю и ее отца, в числе тридцати жителей села, поставили у старой каменной стены. Они стояли в ожидании расстрела. Многое успела передумать Оля за эти минуты, казавшиеся ей вечностью. Она укоряла себя за то, что отказалась эвакуироваться вместе с училищем. «И пользы никакой не принесла, и отец из-за меня гибнет,— думала она.— Сколько хлопот я доставляла ему еще при панской власти, а теперь из-за меня...» Из глаз девушки катились слезы и мешали ей в последний раз всмотреться в милое, родное лицо отца. Старик стоял, опустив голову, сурово насупив брови, будто силясь припомнить что-то очень важное, от чего зависела их судьба. Седые волосы его шевелились от ветра. Оля прижала свою голову к плечу отца и, не выдержав, наклонилась к его руке и припала к ней губами.

— Не плачь, доченька,— прошептал отец.— Этих зверей слезами не проймешь.

Но их не расстреляли. Фашистский офицер, на рукаве у которого был нашит череп со скрещенными костями, грозя пистолетом, на ломаном русском языке объявил, что на этот раз он их милует, но если население села и дальше будет сопротивляться отправке на работы в Германию, их расстреляют всех до единого.

— Кто-то из нас с тобой, дочка, счастлив,— сказал отец, когда они вернулись в хату.— Не было еще такого случая, чтобы они отпускали... А тебе-то надо скорей уйти отсюда, подальше куда-нибудь. Не будет тебе жизни здесь. Я старый человек, свое прожил, а у тебя все впереди. Ночь-то пришла не навсегда. Поживешь в новом месте, где никто не знает тебя, и дождешься, когда к нам снова вернется солнце...

Шел январь сорок второго года, когда Оля ушла в Ровно. Она поступила учительницей в школу, оказавшуюся еще не закрытой оккупантами. Но не для этой работы пришла она в город. Здесь, в Ровно, Оля рассчитывала найти подпольную большевистскую организацию.

Как трудно, однако, не имея ни единого адреса, никого знакомых, найти здесь своих,— найти их в большом городе, где кишмя кишат фашисты, где люди идут по улицам, понурив головы и не поднимая глаз на встречных.

Прошел месяц, другой, но Оле не удалось ни с кем связаться. Временами она впадала в отчаяние. Что делать? Как жить дальше? Как бороться?

Однажды Оля шла по главной улице города, прежде называвшейся улицей имени Сталина, переименованной оккупантами в «Немецкую». На противоположном тротуаре она вдруг заметила человека, который показался ей знакомым. Человек шел с портфелем и, видимо, чувствовал себя в городе своим. Оля остановилась. Она узнала — это Новак. Тот самый товарищ Новак, который в тридцать девятом году вместе с нею выходил из панской тюрьмы. Оля хотела броситься к нему, окликнуть, но ее остановила неожиданная мысль: «Почему он с портфелем? Почему он так свободно и независимо шагает по главной улице города, занятого оккупантами!»

Не зная, как ей поступить, ничего не решив, Оля пошла за ним следом. Так она шла до тех пор, пока Новак не перешел на ее сторону улицы. Тут она все же решилась было его окликнуть, но он свернул в переулок. Оля шла, стараясь не потерять его из виду. В переулке, на углу следующей улицы, Новак обернулся, с еле заметной улыбкой кивнул Оле и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Теперь Оля не сомневалась, что он ее узнал.

Когда они встретились, Новак, тогда еще нигде не работавший, расспросил Олю обо всем до мелочей, выслушал ее взволнованные слова о том, как ей хочется сейчас же, немедленно начать борьбу, выспросил у нее все, ухитрившись при этом ничего не сообщить о себе. Прощаясь, он сказал ей адрес Луця.

Иван Иванович Луць, казалось, нисколько не удивился ее приходу. Он внимательно посмотрел на нее своими маленькими живыми глазами и, ни о чем не спрашивая, будто ему все уже известно, протянул руку:

— Ну, добре. Выходит, опять нам вместе работать. Только на этот раз давай не попадаться в лапы врагам. Согласна?

С этими словами он подвел Олю к высокой смуглолицей девушке с тяжелой косой вокруг головы, молча сидевшей за столом.

— Знакомься, Настка. Это Оля, Ольга, наш новый помощник.

Так Оля Солимчук оказалась в числе пятерки подпольщиков.

Пробыла она в Ровно недолго. Товарищи направили ее с заданием в село Синев. Село это в панской Польше слыло «красным». Из Синева сидело в тюрьмах сорок два человека. Оле предстояло организовать здесь подпольную группу. В Синев она приехала учительницей. Это открыло ей возможности общения с людьми.

Тем временем ровенские товарищи испытали большую тревогу. Был схвачен Терентий Новак. Его арестовали на улице и увезли в гестапо. При допросе Новак узнал, что арестован он по доносу украинского националиста, учившегося вместе с Новаком в институте, и знавшего его, как председателя студенческого профкома. Новаку предъявлялось обвинение в том, что он до войны, в 1939—1940 годах, агитировал против немцев.

Опыт старого подпольщика, знавшего, что такое следствие, подсказал Терентию Федоровичу, как ему правильно действовать в этом случае. Он признался, что действительно был председателем профкома, но как раз поэтому-то, уверял он гестаповцев, он и не мог агитировать против Германии.

— Ведь у нас был с вами пакт о ненападении! Как же я, общественный работник, мог позволить себе агитировать против Германии! Тем более, что сам всегда хорошо к вам относился!

— А чем вы докажете свое лойяльное отношение?— спросил его следователь-гестаповец.

— Чем? Хотя бы тем, что сейчас, живя в Ровно, не веду никакой антигерманской деятельности, а разве мало людей, которые такую деятельность ведут!

— Вы знаете кого-нибудь, кто участвует в подобной деятельности?

— Увы, никого.

— Откуда же вам известно, что она ведется?

— Из ваших газет. В них часто сообщается о репрессиях по отношению к большевистским диверсантам и другим врагам фюрера. Надо полагать, что поскольку есть репрессии, то, видимо, есть и подрывная работа. Ведь даром у вас людей не берут?

— Где вы работаете?

— Представьте себе, пока нигде не могу устроиться.

Следователь еще раз прочитал донос и, должно быть, не зная, как быть, приказал увести арестованного.

Новака увезли в тюрьму, где и держали его три месяца. Несколько раз допрос повторялся. Новак упорно уверял немцев в своей «лойяльности». В душе он больше всего боялся погибнуть теперь, когда организация только начинала создаваться, не успела еще развернуть работу, когда его участие и его опыт подпольщика были бы так полезны. Он вспоминал слова секретаря обкома, которые тот сказал ему на прощанье: «Партия посылает вас не на геройскую смерть, а на ответственную партийную работу». Значит, он должен выполнять партийное дело, а не умирать. На допросах Новак пункт за пунктом отводил от себя обвинения, опровергал показания предателя, пока, наконец, его не освободили за недостатком «материала».

Тогда Новак еще с большей энергией принялся за дело. Организация росла, разветвлялась. Появилась явка в селе Городок, у колхозника Ивана Чиберака; появлялись новые и новые подпольные группы в районах, расширялась и городская ячейка. Простые советские люди — рабочие, колхозники, служащие, бойцы и командиры Красной Армии, бежавшие из фашистского плена, — с радостью вступали в члены подпольных ячеек, получали задания и выполняли их, гордые сознанием того, что нашли свое место в великой борьбе советского народа против немецких захватчиков.

На фабрике валенок Терентий Федорович оказался случайно. Если бы не приказ имперского комиссара Эриха Коха, по которому начали брать людей на принудительные работы, он, пожалуй, так и не стал бы подыскивать себе службу, предпочитая свободный образ жизни, позволявший ему распоряжаться своим временем так, как он хотел. Когда же возникла реальная угроза немецкой «мобилизации», пришлось срочно подумать о том, как получше устроиться самому и устроить товарищей. Дело это оказалось не таким уж сложным. В организации, которая про-

должала непрерывно расти, появились люди, уже занимавшие у гитлеровцев довольно видные посты. Один из них, инженер Дзига, устроил Новака сначала техническим секретарем на кофейную фабрику, а вскоре с помощью того же Дзиги Терентий Федорович перешел на фабрику валенок, где занял директорский пост.

Вначале он тяготился своей службой. Во-первых, она отнимала у него дорогое время, а во-вторых, мало было приятного руководить предприятием, работающим на фашистов.

Кое-кто из старых знакомых перестал здороваться с Новаком на улице. От одной мысли, что его, Новака, люди считают предателем, становилось нестерпимо больно, хотелось сжечь к чертям эту проклятую фабрику и бежать, куда глаза глядят.

Наконец, он не выдержал. Он сообщил Луцю о своем решении уйти в подполье.

— Зачем? — удивился Луць.

— Когда-нибудь надо же покончить с этой фабрикой! Хватит! И так говорят про меня: немецкий директор.

— Ну и пусть говорят! А ты и оставайся немецким директором!

— Оставаться?

— Конечно! В подполье уйти никогда не поздно!

Новак задумался. До сих пор ему не приходило в голову, что эта служба может хоть как-нибудь пригодиться. Он смотрел на нее только как на помеху. «А что если обратить ее на пользу делу?» — подумал Новак.

Вскоре Новак пришел к выводу, что Дзига оказал ему ценнейшую услугу, устроив на эту фабрику, где он, по существу, был хозяином и мог делать все, что хотел.

Он начал с того, что стал брать к себе на работу одного за другим членов организации. Так оказался на фабрике Иван Иванович Луць, ставший калькулятором и правой рукой директора; так поступили сюда рабочими, кладовщиками, шоферами и другие подпольщики — не больше, не меньше как сорок пять человек!

При таком «штате» фабрика скоро переключилась с производства валенок для немецкой армии на другую, более целесообразную деятельность. Так, в самый разгар работы на фабрике вышли из строя электромоторы. Результатом явился продолжительный простой. Ремонт оборудования обошелся немцам в 40 тысяч марок. История с электро-

моторами повторилась. Фабрика снова простояла неделю... Установить причину аварии не удалось.

Но после вторичной аварии Новак и Луць пришли к выводу, что простои и саботаж—не лучший способ борьбы. Зачем портить оборудование фабрики, навлекать на себя подозрения гитлеровцев, когда можно портить продукцию! Дело это более полезное и безопасное.

И вот фабрика начала отличаться перевыполнением планов, образцовым техническим состоянием цехов, словом, стала «передовым» предприятием, вызывая одобрение «хозяев». Герр Ляйпсле потирал руки от удовольствия глядя на работу пана Новака, а пан Новак, не успокаиваясь на достигнутом, продолжал расширять и совершенствовать свое производство, не забывая, конечно, о кладовой, где двое неутомимых хлопцев день за днем подвергали своей «обработке» как плановую, так и сверхплановую продукцию фабрики валенок.

Он был рачительным хозяином, Терентий Новак. Он заботился о фабрике так, словно она принадлежала лично ему. Кто заставлял его превращать фабричный двор в фруктовый сад? На удивление всем он посадил здесь сорок яблонь!

— Зачем мы это делаем? — недоумевали подпольщики.— Не слишком ли много усердия?

Они относились к этой затее явно неодобрительно.

Господин Ляйпсле, наоборот, был в восторге.

Мог ли он думать, что вечером, наедине с друзьями, директор фабрики валенок скажет с улыбкой:

— А я не для фашистов стараюсь. Они могут думать, что хотят. Наши яблони дадут плоды через четыре-пять лет. Фашистов тогда и след простынет, а яблони останутся и будут плодоносить для нас!..

Не менее старательно трудился на своем скромном посту и калькулятор Иван Иванович Луць. Он скоро отыскал свой собственный способ вести подсчеты, что не замедлило отразиться на финансовых делах подпольной организации. Каждая пара валенок обходилась немцам в полтора раза дороже своей фактической стоимости.

...Вечером, в тот самый день, когда господин Ляйпсле сообщил директору фабрики об одобрении начальства, в квартире Луця состоялось очередное совещание подпольного центра.

На совещание собралась только часть товарищей — те,

кто был знаком друг с другом; остальные руководители знали либо Новака, либо Луця, либо только начальника того отдела, кому непосредственно были подчинены. Приехала из Синева Оля Солимчук, пришла Маруся Жарская — начальник хозяйственного отдела организации, явился инженер Поплавский, из Гощи прибыл «агроном» Иван Кутковец. Собравшиеся расселись за столом, на который заботливая Настка собрала все свои припасы, присовокупив к ним и пустые бутылки из-под шнапса. Бутылки эти появлялись на столе каждый раз при подобных случаях и служили для «декорации», как говорил столяр Федор Шкурко, непременный участник всех совещаний.

На этот раз Шкурко делал сообщение о работе отдела разведки.

— Отдел разведки,— докладывал он,— свое дело выполняет, товарищи. Сведения у нас есть всякие, было бы только куда использовать. Есть у нас материалы и по железной дороге, и по аэродромам, и кое-что еще. Чтобы дело развернуть еще шире — мне что нужно? Печати нужны, бланки нужны. Об этом надо всем подумать: как мы это дело организуем?..

— Все? — спросил Новак.

— Все,— ответил Шкурко.— Думаю, подробно объяснять не надо.

Он был скуп на слова — то ли от природы, то ли после жестоких мучений, которым подвергся в лагере для военнопленных и которые до сих пор давали о себе знать. При взгляде на него трудно было поверить, что этому человеку едва исполнилось тридцать лет. Тяжелый недуг, которым страдал Шкурко после лагеря, отражался на его худом, неестественно бледном лице.

Член партии, по профессии столяр, один из тех умельцев, которых много у нас в народе и которых народ называет мастерами на все руки, он был и тут, в подполье, на месте; неистощимая изобретательность, природный талант организатора делали его незаменимым человеком.

— Можно мне сказать? — спросил Кутковец, и лицо его покрылось краской.

— Пожалуйста, Ваня! — повернулся к нему Новак.

— Мы со своими хлопцами попробуем достать бланки.

— Как у них, в Гоще, поставлена разведка? — кивнув в сторону Кутковца, спросил Новак Шкурко.

— Налаживают,— ответил тот.— Ваша сестрица,— он обратился к Кутковцу, принесла мне давеча последний материал о шоссе Ровно — Киев. Материал хороший, — пусть продолжают дальше.

— Есть,— сказал Кутковец.

— Кто у вас этим делом занимается? — спросила Настка.— Все тот же сторож при кладбище?

— Он,— ответил Кутковец,— живет у самого шоссе: окна выходят прямо туда.

Но Настку интересовало другое:

— Этот ваш сторож может спрятать кое-какие документы?

— Похоронить? — ухмыльнулся Луць.

— Спрятать так, чтобы потом можно было извлечь,— не удостоив ответом мужа, продолжала Настка.— Вроде архива.

— Я думаю, можно. Вернусь вот и поговорю об этом с Самойловым,— обещал Кутковец.

— А он, Самойлов этот, надежный человек? — спросила Настка.

— Николай Иванович? Он себя показал с очень хорошей стороны. И потом должность у него подходящая. Кто может в чем-либо заподозрить сторожа при кладбище, и сторожка у него окнами на ровенское шоссе.

— Ну добре, Самойлова мы знаем, ему можешь доверить — глядя куда-то поверх тяжелой косы Настки сказал Новак. — Иван Иванович, докладывай: как дела на сахарном заводе?

— Да всем известно об этом Терентий Федорович, — протянул Луць.

— Мы ничего не знаем, — поддерживая Новака, сказал Кутковец.

Луць посмотрел на Кутковца, затем перевел глаза на Олю Солимчук, словно желал удостовериться в том, действительно ли они не знают о работе на сахарном заводе, и, как бы решив, что уже все равно, сказал:

— Шпановский сахарный завод все знают? Ну вот. Сегодня взорвали там котел. Говорят — перегрелся. Дело очень простое. В котле было восемь тонн сахарного сиропа.

— Молодцы! — воскликнула Оля. — Восемь тонн! Кто же это у них?

— Немцы это почуют. Организации надо почаще давать о себе знать,— вслед за Олей заметил Кутковец.

— Диверсии готовить надо. Надо подобрать группу товарищей, обучить их.

— Это мы и стараемся делать,— снова взял слово Луць.— Если мне разрешат, я скажу коротко о наших планах.

— Говори, Иван Иванович,— разрешил Новак.— Я тоже думаю, что на эту сторону работы организации время нам обратить внимание. Из организационного периода мы вышли, пора шире развертываться.

Луць сообщил о готовящихся его отделом двух новых диверсиях. Одна из них, придуманная им самим, очень заинтересовала товарищей. Луць наметил отправку почтовых посылок в адрес немцев, находящихся в Германии. В посылке можно уложить, что угодно, но одна вещь должна быть там обязательно: эта вещь — мина с часовым механизмом.

— Жаль, что таких мин у нас всего две штуки,— заключил он.

— Для начала две и пошлем,— предложил Новак.— Так сказать, в виде опыта.

— Это хорошо ты придумал, Иван Иванович,— одобрил Кутковец.— Я предлагаю первую посылку послать нашему гощанскому крайсляндсвирту, господину Кригеру.

— Так она же не дойдет до него,— сказала Оля, с улыбкой взглянув на Кутковца.— Взорвется где-нибудь в дороге.

— Это жаль,— искренне пожалел Кутковец.— Наш Кригер для такого подарка — адресат самый подходящий. Вы, Иван Иванович, на всякий случай, возьмите его адресок на заметку. Если вдруг в дороге не взорвется — пускай в Гощу придет, на его имя!

— Лучше уж пусть в вагоне взорвется. Или на складе. На это мы и рассчитываем,— пояснил Луць.

И все же Кутковец заставил Луця записать адрес гощанского крайсляндсвирта.

После совещания, когда в квартире остались только Новак, Луць и Настка, Новак потушил свет и сказал:

— Все это хорошо, друзья мои. Разведкой мы занимаемся, Самойлов сидит у своего окошка и отмечает на бумажке, куда и откуда сколько прошло машин, узнаем и другие интересные новости, но как мы все это можем использовать, куда эти цифры передадим?

Луць и Настка тоже думали об этом и думали давно. Не первый раз говорили они об этом и с Новаком. Найти какой-нибудь партизанский отряд, хотя бы небольшой, но имеющий связь с Москвой,— это было и оставалось задачей организации и, пожалуй, самой насущной из всех ее задач.

— Плохо у нас и с подрывными средствами,— посетовал Луць.— Мы заполучили три мины с часовыми механизмами. Одну использовал Федоткевич для диверсии на сахарном заводе, остальные две... Взрывчатки тоже мало.

— И литературы не получаем,— перебила мужа Настка.— И приемник один на всю организацию!..

— Ладно,— сказал Новак.— Будет нам с вами хныкать. Услышим что-нибудь из лесу — пошлем людей на связь.— Он поднялся уходить.— А что до денег, то тут наша с тобой задача, Иван Иванович.

— Снижение себестоимости? — спросил Луць, уже не пряча улыбки.

— Вот, вот. Строгий режим экономии,— заключил Новак.

В эту минуту он снова был похож на того самого директора фабрики валенок, пана Новака, которого не далее как сегодня столь дружески приветствовал господин Ляйпсле из виртшафтскоманды.

Глава пятая

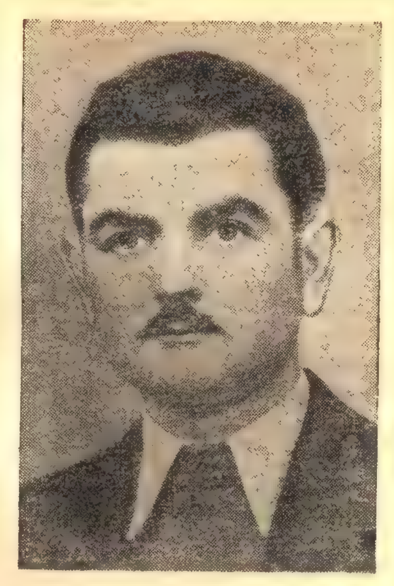
Иван Кутковец работал в Гоще в качестве агронома. На самом деле он никогда агрономом не был. До войны он только учился на первом курсе агрономического факультета.

Теперь он разъезжает на велосипеде по селам, следит, чтобы во-время был убран хлеб, дает советы и уже перестал удивляться своему новому званию «пан агроном», которым его кличут в селах и которое сперва, с непривычки, резало слух. Теперь он уже привык и, пожалуй, не променял бы должность агронома при гощанском крайсляндсвирте ни на какие другие должности.

В самом деле, это была самая удобная работа, какую можно было придумать. И как только пришла ему в голову такая счастливая мысль! Впрочем, что же тут удивительного — Иван всегда был парнем смекалистым, и, когда после встречи с Новаком еще в октябре сорок первого стало

ясно, что ему, Ивану, придется осесть в Гоще, он быстро сообразил, что первый курс в студенческом билете легко переделать на пятый. С исправленным документом он и прибыл в Гощу.

Закрепить свое положение в Гоще Кутковцу помогло одно неожиданное обстоятельство. Застав во главе так называемой районной управы в Гоще матерого националиста, старого контрреволюционера Павлюка, Кутковец нашел простой способ с ним поладить. В июле в Ровно, сразу же после оккупации города немцами, бандеровцы, явившиеся вместе с ними, засадили Кутковца в тюрьму. Оказалось, кто-то из них знал, что он комсомолец. В октябре Кутковцу удалось выбраться из тюрьмы. Теперь, познакомившись с Павлюком, Кутковец перечислил ему одного за другим бандеровских заправил, дела которых узнал, так сказать, на собственной шкуре. Перечислил и заявил, что прибыл в Гощу по их поручению. Павлюк на всякий случай предложил ему описать по внешности каждого из них. За этим, разумеется, дело не стало: память у Кутковца хорошая.



Иван Тихонович Кутковец

Так он стал агрономом в Гоще.

Почему именно в Гоще? А потому, что это — родина Новака, Оли Солимчук, Карпа Белоуса и других старых подпольщиков, у которых остались здесь родственники и товарищи — надежные люди. Ну, и потому конечно, что Кутковца не знала здесь ни одна душа.

К началу сорок второго года он наладил прочные связи. Была у него связь с Филиппом Далюком, с Белоусом, с Олей Солимчук, с родными Новака. Брат Новака Иван и сестра Устя первыми стали помогать Кутковцу.

Вскоре у него появился и другой весьма влиятельный «помощник» и покровитель в лице господина Эриха Кри-

гера — нового крайсляндсвирта местечка Гоща. Герр Кригер сразу оценил таланты Кутковца, в особенности же знание немецкого языка, пусть не очень хорошее, но вполне достаточное для районного агронома. Иван Кутковец стал главным агрономом Гощанского района и заодно личным переводчиком самого господина Кригера.

Неизвестно, что сказал бы по этому поводу старый Тихон Кутковец, как отнесся бы он к этой стремительной карьере сына под покровительством крайсляндсвирта, если бы Иван заранее не предупредил отца, равно как и мать и обеих сестер, для чего он приехал в Гощу. Он не услышал от родных ни слова о том, что это опасно, что это может плохо кончиться для всей семьи... Нет, Тихон Кутковец, человек, всегда смотревший с надеждой на Восток, депутат Народного собрания Западной Украины 1939 года, сам благословил сына на подвиг.

Оказавшись районным агрономом, Иван стал подумывать о том, как бы набрать себе подходящий штат. Ему долго не везло. Повезло лишь тогда, когда, забыв на время о штате, он занялся подбором людей для организации из бывших военнопленных, бежавших из лагерей. Тогда-то появились у него такие люди, как младший лейтенант Василий Савченко, как лейтенант-танкист Дмитрий Колесов. Они и стали участковыми агрономами.

А Кутковец продолжал ездить по деревням, присматривался к людям в самой Гоще... И, вероятно, все-таки правильно сказано в песне, что тот, кто упорно ищет, — всегда найдет. В данном случае это особенно справедливо. Ибо чем же еще объяснить, что в оккупированном местечке, на виду у немцев и полицейских, в толпе, среди которой наверняка были провокаторы,— безошибочно нашли один другого, нашли по глазам — Иван Кутковец и Владимир Соловьев.

До войны Соловьев учился в аспирантуре Нефтяного института в Москве. Начало войны застало его на Военно-Грузинской дороге. Он направлялся с группой студентов на учебную практику. А 24 июня Соловьев ехал уже на фронт офицером артиллерийского полка, предварительно отправив в Москву находившуюся с ним на Кавказе группу студентов.

В 1941 году Соловьев участвовал в тяжелых боях за Киев, попал в окружение и был взят в плен. Вместе с другими военнопленными фашисты пригнали Соловьева в Ровно.

Эти страшные дни остались навсегда в его памяти. Была поздняя осень, на улице сыпал мокрый снег. С пленных сняли шинели. У кого была сносная обувь, ее тоже содрали. Голодные, замерзшие, они делали по тридцать километров в день. Тех, кто не мог итти, охрана пристреливала на месте. Соловьеву навсегда запомнился пожилой красноармеец, упавший на дороге от истощения и холода. С трудом, дрожащими руками он достал спрятанную на груди фотографию жены и двоих детей, показал ее конвоиру-эсэсовцу. Тот вырвал фотографию из рук несчастного, умирающего солдата, бросил ее на дороге, в черную грязь, смеясь, придавил ее сапогом, потом вскинул винтовку и пристрелил упавшего.

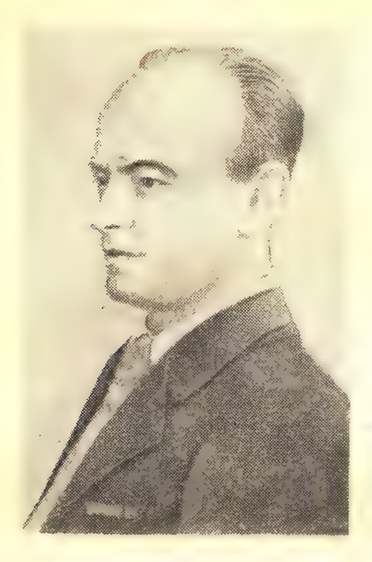
Тех, кто выдержал этот страшный путь, загнали в лагерь под Ровно. Это был один из многочисленных лагерей смерти. Расположенный на окраине города, он был обнесен несколькими рядами колючей проволоки и усиленно охранялся. Помещением для военнопленных служил холодный гараж. Здесь, прямо на цементном полу, вплотную друг к другу, лежали обессиленные люди. Но гараж не вмещал всех, кого пригнали в лагерь. Больше половины находилось на дворе, располагаясь под мокрым снегом, на пронизывающем до костей ветру. Кормили военнопленных «жомом» — отходами сахарной свеклы. Ежесуточно в лагере погибало до двухсот человек. Их хоронила так называемая бригада могильщиков, состоявшая из самих же пленных. Бригада эта вначале охранялась эсэсовцами, а затем фашисты выбрали старшего, пришили ему на рукав белую повязку и поручили следить за остальными.

Пленные из бригады могильщиков как-то рассказали Соловьеву о стороже русского кладбища, спасшем якобы уже многих из лагеря. Николай Иванович Самойлов, так звали сторожа,— помогал пленным бежать, и затем пристраивал их в селах, где у него были свои люди.

Могильщики по его просьбе вывезли Соловьева из лагеря на повозке вместе с трупами и доставили к Николаю Ивановичу.

Тот послал его до села Мятин, где уже скрывался один из военнопленных, тоже бежавший из лагеря.

Добравшись в село, Соловьев нашел этого товарища и узнал от него, что в селе к пленным относятся, как к родным людям и что староста села может выдать ему временный документ, разрешающий проживание и передвижение



В. Ф. Соловьев

в пределах Гощанского района. Староста выписал ему документ, и он отправился в путь.

Он ходил из села в село, связывался с военнопленными (а они были в каждом селе), знакомился с крестьянами. Этот большелобый человек в выгоревшей гимнастерке вскоре стал известен во многих деревнях. В село Колесники, где он, наконец, поселился, стали приходить военнопленные и крестьяне со всей округи. Приходили поделиться своими горестями, посоветоваться, узнать новости. Новости на селе узнать было трудно, но Соловьев читал газетку, которую распространяли украинские националисты, умел прочесть между строк то, что его интересовало, и передавал это людям.

Он стал довольно заметным человеком и обратил на себя внимание Кутковца, когда вместе с другими военнопленными появился в Гоще.

Гитлеровцы ввели правило, согласно которому все пришлые, недавно появившиеся в селах люди, так называемые «восточники», должны были каждый месяц отмечаться в ортскомендатуре по месту жительства. Это была своего рода проверка. Таким путем гитлеровцы выясняли, что «восточники» живут на месте, никуда не сбежали. По обыкновению около Соловьева собралась группа людей. Кутковец, издали наблюдавший за ними, сообразил, что раз к этому большелобому парню льнут «восточники», то происходит это неспроста. Выбрав удобный момент, когда Соловьев был один, Кутковец подъехал к нему на велосипеде и, внезапно остановив машину, сказал:

— Здравствуйте! Вы из какого села?

— Я не здешний, я с восточной стороны,— ответил Соловьев, недоумевая.

— Где вы работаете?

— У крестьянина.

— На кулака, значит, батрачите? А какое у вас образование?

— Высшее,— как-то невольно вырвалось у Соловьева.

— Так зачем же вам копаться в навозе! — невозмутимо сказал Кутковец.— Я могу вас устроить на хорошую работу.

— Очень вам благодарен. Я не знаю, чем обязан такому вниманию...

Если бы Кутковец мог ответить на этот вопрос откровенно, он рассказал бы, что накануне Новак поручил ему подыскать для ровенской организации надежного человека, который мог бы работать среди военнопленных. Именно такого работника Кутковец и почувствовал в Соловьеве.

— Я могу устроить вас агрономом,— предложил он.

— Но я по специальности геолог,— сказал Соловьев.

— Это неважно. Вы человек грамотный, а теперь не до агрономии. Мы дадим вам хорошие документы, в Германию вас не увезут. Одним словом, жалеть не будете, ну и меня выручите. У меня нехватает специалистов. Если вы поможете мне их подыскать, я их оформлю.

Соловьев подумал и согласился.

Кутковец устроил его на участок в селе Симонов, где было особенно много бывших военнопленных. Два-три раза в неделю Кутковец стал приезжать туда сам. Он пристально наблюдал за тем, как работает новый «агроном».

Так прошло около месяца. Они присматривались друг к другу, не решаясь заговорить начистоту.

Наконец, Соловьев проговорился, что в Красной Армии он был офицером, вслед за этим признался, что он коммунист, и тогда только был отвезен на «смотрины» к директору фабрики валенок.

Новак долго и подробно расспрашивал Соловьева, касаясь самых, казалось бы, незначительных сторон его жизни. Между прочим, он осведомился и о том, в каких городах Советского Союза Соловьеву приходилось бывать.

— Вы геолог, а известно, что геолога, как волка, ноги кормят,— сказал Терентий Федорович.— На Дальнем Востоке бывали?

— Жил семь лет,— ответил Соловьев.

— На Урале?

— Бывал.

— В Средней Азии?

— Тоже.

— Это хорошо, что вы поколесили по советской земле. Про Кавказ, про Центральную Россию я уже не спрашиваю.

— Приходилось и там работать,— сказал Соловьев, все еще не понимая, какое это может иметь значение.

Как бы в ответ на мысли Соловьева Новак сказал:

— Это ваше большое преимущество как подпольного работника. Среди военнопленных вы нет-нет да встретите «земляка», и это поможет вам быстрее найти общий язык. На чужбине земляки быстро сходятся. В нашем деле самое трудное — подбирать людей. Всегда есть опасность напороться на предателя. Приходится быть осторожными, а из-за этого и происходят такие вещи, как у вас с Кутковцем: целый месяц не могли договориться!..

Новак хотел еще что-то добавить, но тут его вызвали из кабинета. Слышно было, как он поднялся вверх по лестнице, как долго о чем-то громко говорил. Вернувшись, он продолжал свою мысль так, как если бы его не прерывали. Повидимому, все то время, что он отсутствовал, он продолжал думать о своем разговоре с Соловьевым.

— Это правильно. Нельзя открываться людям при первом знакомстве. Нужна проверка, и самая тщательная. В Гоще организацию надо укреплять. Делать это надо быстро, но осторожно. Принцип: выбрать двух-трех преданных людей и иметь дело только с ними, а они — каждый пусть подбирает людей себе. Члены группы должны знать только своего руководителя. Есть еще вопросы?

— Я полагаю, что руководителем гощинской организации надо назначить товарища Соловьева,— сказал Кутковец, поднимаясь.

— Над этим мы подумаем, а пока прошу продолжать работу.

Через несколько дней подпольный центр утвердил предложение Кутковца о назначении руководителя в Гощу. Руководителем был назначен Соловьев, а заместителем его — Кутковец. Кутковец настоял на этом решении потому, что сам он, по своему служебному положению, не имел возможности надолго отлучаться от своего крайсляндсвирта.

Первыми членами организации в Гоще стали сестры Ивана Кутковца — Анна и Екатерина. Вскоре к ним присоединились Василий Марыщенко и Казимир Горский, работавшие на Бабинском сахарном заводе — один агро-

номом, другой механиком, затем пришли ветеринарный врач Куцин, счетовод «районной управы» Раиса Столяр. Организация росла, разветвлялась, пустила корни в села, в крестьянские массы и в среду «восточников».

Работа началась с листовок. Чаще всего текст набрасывал Соловьев. Потом они с Кутковцем обсуждали содержание и размножали, привлекая к переписке других членов группы. Листовки обращались к бежавшим из плена бойцам Красной Армии, указывая, что их солдатский долг— уходить в леса, искать партизанские отряды и примыкать к ним; обращались к населению с призывом не сдавать захватчикам продукты, оказывать сопротивление; разъяснялось в листовках и о том, кто такие украинские националисты, кто им платит за их предательство.

Значение листовок было не только в тексте. По всей вероятности, в других условиях и Соловьев, и Кутковец писали бы их лучше, полнее и злободневнее. Огромную роль играл сам по себе клочок бумаги, доносивший к людям правдивые слова. Важно было то, что самый факт выпуска листовок наглядно, с непередаваемой убедительностью показывал измученным и исстрадавшимся под гнетом оккупантов людям то, что, несмотря на временный уход Красной Армии, с Западной Украины не ушла советская власть, что она есть, она живет и проявляется в делах подпольной организации советских патриотов.

И советские люди стали упорнее искать эту организацию. И, как правило, ищущие — обретали. Организация росла.

Как-то, в первых числах января, Иван Кутковец навестил своего отца в городе Корец, где тот работал на почте. Иван сказал, что он пробудет дома с неделю. Причиной приезда явилось, между прочим, и то, что с некоторых пор Кутковца очень заинтересовала почтовая работа. «Если вскрыть письмо,— думал он,— вписать туда несколько слов и потом отправить адресату,— это будет очень действенный и очень верный способ донести к людям правдивые слова». Кутковец открыл этот свой план отцу.

— Что ты! Бог с тобой! — взмолился старик, выслушав предложение сына.— Как мы можем вскрывать чужие письма? Кто тебя надоумил?

— Отец,— почтительно, но твердо настаивал Иван,— ничего зазорного в этом нет. Письма идут из Германии, с каторги. Их читают целыми селами. Представь только,

если будет хоть по одной строчке приписано в каждом письме, какое это произведет действие на народ. Надо, не боясь, открывать людям глаза.

— Нет! — отрезал старик.— Не могу!

— Боишься, значит,— со вздохом констатировал Иван.

Старик вспылил, что с ним редко случалось. Он наговорил сыну кучу самых обидных слов, не давая себя перебить.

Кутковец понял причину отказа. Прослужив всю жизнь на почте, старик усвоил известные правила и обязанности человека, которому доверяются тысячи чужих тайн, он боялся нарушить почтовую неприкосновенность. Он, благословивший сына на опасную борьбу с врагами, готовый сам лечь костьми за жизнь и счастье своей Родины, теперь отступал перед формальностью, перед традицией, которую привык считать священной и не в силах был преступить.

С большим трудом Ивану все же удалось добиться своего. На глазах у отца он распечатал письмо и вписал в него несколько строчек своих, а заодно восстановил и то, что было зачеркнуто немецкой военной цензурой. О смысле зачеркнутых строк догадаться было нетрудно.

Второе письмо они обрабатывали уже вместе с отцом.

Так росли горы этих разящих писем. Старик теперь не просто распечатывал и заклеивал их, но и вписывал от себя то, что было у него на сердце. Так он работал изо дня в день, но ворчать не переставал: не мог забыть о «почтовой неприкосновенности».

На отлете от Гощи, близ асфальтового шоссе Ровно — Киев, находилась ветеринарная больница. Здесь, в просторном особняке, жил, почти никуда не отлучаясь, районный ветеринарный врач Матвей Павлович Куцин. Человек он был уже пожилой, с солидным брюшком, туго обтянутым жилеткой. Он принадлежал к типу тех людей, при первом взгляде на которых можно догадаться об их профессии. Нельзя было и представить того, что этот человек, с лица которого, кажется, никогда не сходила добродушная улыбка, мог отважиться на грозное дело подпольной борьбы. А Матвей Павлович Куцин был одним из первых и самых активных членов гощанской группы.

Он сам предложил план уничтожения скота в немецких животноводческих хозяйствах и сам же в очень широких

размерах осуществил его. Проделал он это чрезвычайно просто и скромно, как самое будничное дело. Докладывая о результатах, он смотрел при этом на Соловьева и Кутковца такими добрыми, смеющимися глазами, как будто говорил не о серьезной операции, проведенной им, а о чем-то веселом, не имеющем отношения к диверсии. Он выполнил задуманный план, но, рассказывая об этом, не открыл того, каких нечеловеческих усилий воли стоила ему каждая отравленная лошадь. Он страстно любил животных, охране которых посвятил свою жизнь, и лишь ненависть к врагу смогла побудить его нарушить то, что он считал своим долгом врача.

Начали работу Василий Марыщенко и Казимир Горский. Они поставили задачей лишить оккупантов посадок сахарной свеклы. Фольварки и экономии немецких помещиков, захвативших земли на Украине, готовились к посеву свеклы. Семена перед посадкой предварительно просушивались на сахарном заводе, где работали Марыщенко и Горский. Там они сумели по-своему организовать просушку. Сушили семена свеклы до тех пор, пока они не перегревались, становясь негодными.

Оккупанты провели «посевную» и не подозревали о том, какие она даст результаты.

А агрономы ездили по селам, выполняя свои обязанности с такой педантичной точностью, что крайсляндсвирту решительно не к чему было придраться. Шеф был доволен. Но не менее удовлетворен был работой своих помощников и районный агроном Кутковец. Он аккуратно подшивал в пачку многочисленные акты на вымокшие и выгоревшие участки земли, так что Кригеру оставалось только «подмахнуть» резолюцию об освобождении этих участков от поставок.

Крестьяне, владельцы пострадавших участков, не знали, как им благодарить агрономов за освобождение от непосильных налогов. Довольны были и сами агрономы: во-первых, они помогали крестьянам, во-вторых, по мере сил срывали оккупантам заготовки.

Агрономы оказались самыми популярными, самыми уважаемыми людьми в районе. Кроме того, что крестьяне часто видели их у себя в селах, к агрономам ходили за советами; приходилось решать самые неожиданные дела.

Однажды пришел к Кутковцу старый крестьянин Прищепа из села Чудница.

— Как быть, агроном,— сказал он,— бандеровцы житья не дают. Велел станичный отвезти его к невесте в Липки, а я не отвез.

— Что ж так? — поинтересовался Кутковец.

— Хай его бис на своих дрожках возит, а я ему не слуга.

— Что ж он вам на это сказал? — усмехнулся Кутковец.

— Та что сказал — присудил, гадюка, двадцать пять шомполов. А я сбежал. Неделю сидел в хате у кума, а как вернулся, слышу — мне уже сто сорок пять шомполов следует. Говорит: «Это за то, что сбежал». И еще провинность вспомнил, кровопийца: сухарей когда-то моя баба не насушила ему.

— Сухарей? — удивился Кутковец.— Запасы, что ли, он делает? Удирать, наверно, собрался.

— Та я уж не знаю,— простодушно ответил старик,— удирать чи шо...— помолчал и добавил со вздохом:— Дай совет, агроном! Знаем тебя, как своего человека, а то б я и не прийшов. Скажи, ради господа бога, что делать?

— Ну, а сам как считаешь?

— Мы дома рассудили своей семьей и так считаем: сам я один сто сорок пять не выдержу, а если эти шомпола разделить на семью, то на каждого немного придется. Семья у меня большая. Три хлопца, дочка взрослая, зять...

— Как же это вам в голову взбрело! — возмутился Кутковец. — Пороть всю семью...

— То не мне,— сказал старик.— Сыны так думают.

— А ты скажи своим сынам: если они люди, то пусть не дают ни тебя, ни себя в обиду! Понял? Не можете сопротивляться — так ступай опять до кума и там у него сиди, пока не забудет про тебя негодяй станичный. Что хочешь делай, но в руки ему не давайся! И сынам передай: агроном, мол, так советует.

— Добре,— согласился Прищепа.— Спасибо тебе, агроном, за совет. Так и передам.

Через несколько дней Кутковец приехал в Чудницу. Старика Прищепы там уже не было. Разыскав станичного, человека лет под сорок, из кулаков, Кутковец поговорил с ним с полчаса, вспомнил общих знакомых из бандеровского «начальства» и, наконец, запросто хлопнув станичного по плечу,— он с этой публикой не церемонился,— попросил за Прищепу. Станичный пообещал, что из уважения к «пану агроному» перестанет преследовать старика.

Это было пока все, что мог сделать для Прищепы Кутковец.

Конечно, ни он, ни Соловьев, ни другие подпольщики, оказывая помощь крестьянам, не открывались никому из них. Про агрономов шла в деревнях слава, что они хорошие люди, всегда идут крестьянам навстречу и, видимо, фашистов не любят, хотя и работают у них.

Впрочем, вскоре люди начали кое о чем догадываться. Произошло это после того, как Кутковец, приехав в село с крайсляндсвиртом Кригером, стал переводить его речь, обращенную к крестьянам.

Перевод стоило послушать.

— Палач Эрих Кох заявил, что вытянет из Украины последнее, чтобы обеспечить немецких солдат и их семьи,— переводил Кутковец.— Для этого и приехал к вам герр крайсляндсвирт Кригер. Он хочет, чтобы вы сдавали ему сало, яйца, масло. Они нужны для спасения подыхающей империи Гитлера. Но сало, яйца и масло лучше есть самим...

Кригеру решительно не к чему было придраться. Все знакомые ему слова стояли на месте: «крайсляндсвирт», «гебитскомиссар», «герр Кригер», «герр Кох», «Адольф Гитлер», «ноэс Эуропа». Если бы Кригер понимал по-украински или по-русски, он услышал бы отборную ругань по адресу этих имен, с торжественным пафосом и внушительной жестикуляцией передаваемую его личным переводчиком. Кригеру нравилась манера, с какой говорил Кутковец. Он сиял, удовлетворенно кивая головой всякий раз, когда переводчик упоминал его имя или называл Гитлера. А Кутковец, чувствуя себя хозяином положения, честил почем зря, не стесняясь в выражениях, и «новую Европу», и самого Кригера, и Гитлера, и наместника Украины. В заключение он заявил крестьянам, чтобы те поступали «як сами знают».

Иногда слушатели не выдерживали, слышался смех. Переводчик этого не терпел. Он сердился, требовал внимания и, успокоив слушателей, продолжал свой «перевод».

Людей Кутковец знал хорошо и знал, где можно давать «вольный перевод». Попутно он давал и «агрономические советы» крестьянам. Сводились они опять-таки к тому, чтобы не сдавать продуктов оккупантам,— указывал на возможность получения «акта на выгоревший участок». Кутковец и агрономы — его помощники — в разговорах с крестьянами советовали задерживать молотьбу, держать

хлеб в снопах, чтобы оккупанты не могли его вывезти. Агрономы, рассказывая об ужасах германской каторги, призывали крестьян всеми силами саботировать немецкую «мобилизацию». В беседах с агрономами крестьяне узнавали правду о событиях на фронте, о Сталинграде. Публично, при Кригере, говорить об этом Кутковец не рисковал. «Сталинград» — это было единственное слово, которое он не мог включить в свой «вольный перевод».

Все было бы хорошо, если бы ко всему у Кутковца было еще и оружие. Рано или поздно оно могло пригодиться.

Он долго ломал голову над тем, как бы достать пистолет. Просить у Новака не хотелось — ровенские товарищи сами с трудом добывали себе оружие. Обезоружить какого-нибудь гитлеровца? Но этого тоже голыми руками не сделаешь. Наконец, случай пришел Кутковцу на помощь.

Как-то он был в гостях у своего шефа. Кригер — человек умеренный, он не расточал своих доходов на кутежи, а находил им более удачное применение: менял продукты на барахло (специальный денщик ездил по этим делам в Ровно) и отсылал своей Эльзе бесчисленные посылки, содержимое которых со временем должно было составить кругленький капитал. Но на этот раз Кригер расщедрился и позвал гостей,— был его «гебуртстаг» — день рождения. На столе были расставлены бутылки, украшенные елочной зеленью, румянился пирог с сорока пятью свечами. Гости произносили прочувствованные тосты с упоминанием господа бога и Адольфа Гитлера, славившие хозяина дома как примерного христианина и преданного слугу фюрера,— в общем все было так, как желал Кригер.

Весь вечер он был в прекрасном расположении духа. Проводив гостей, Кригер даже мурлыкал что-то себе под нос, довольный неограниченной «властью над русскими мужиками», которыми он «управлял» по милости фюрера, и тем, что благодаря этой власти увеличивалось содержимое сундучка с инкрустациями в спальне у Эльзы. Он уже разделся, когда вдруг вспомнил о том, что не положил под подушку свой «вальтер». Мало ли какие неожиданности могут ждать его в этой дикой стране! Кригер поднялся, вышел в переднюю и принялся обшаривать карманы своей шинели. Пистолета там не было. Кригер перетряхнул всю одежду, осмотрел мундир, заглянул в ящики стола, даже посветил карманным фонарем под вешалкой. «Вальтер» исчез. Он стал вспоминать лица гостей, все, что было в тот

вечер. Вспомнил, что Дуль, его заместитель, уроженец Баварии, не раз уже завистливо любовался этим исчезнувшим теперь «вальтером» своего шефа.— «Неблагодарная тварь!» — выругался про себя Кригер.

Утром первой его мыслью было вызвать и допросить Дуля. Но, подумав, Кригер решил, что допрос бесполезен. «Эта свинья все равно не признается,— подумал он.— Не знаю, где есть воры хитрее баварцев». Кригер сделал то, что подсказала «возмущенная совесть». Он сел и написал приказ о смещении своего заместителя.

Неприятности Дуля на этом не кончились. В Ровно после знакомства с его характеристикой, написанной Кригером, Дуля понизили в чине и отправили на фронт.

Иван Кутковец был вне подозрений. Больше того, Кригер сам поведал ему историю с «вальтером», высказав при этом свою уверенность в том, что кража — дело рук Дуля.

Кутковец выразил шефу глубокое сочувствие и возмущение поступком неблагодарного баварца.

Соловьев и Кутковец задались целью добыть бланки документов. «Хорошие» паспорта, мельдкарты, аусвайсы были делом первой необходимости для успешной работы организации. До тех пор, пока не налажено снабжение всеми этими документами, рискованно было посылать людей на важные объекты, можно было провалиться.

Соловьев занялся «районной управой». В этом учреждении можно было заполучить все необходимые бланки. Он стал выслеживать, как и где они хранятся.

Соловьев стал часто бывать в управе. Он познакомился с сотрудником — Георгием Якимовичем Сыть, ведавшим выдачей документов. Однажды, улучив момент, когда Сыть вышел из комнаты, оставив его одного, Соловьев взял со стола несколько мельдкарт с печатями, прихватил бланки паспортов и спрятал в карман. Когда Сыть вошел, агроном, весело насвистывая, ходил по комнате.

Так повторилось несколько раз. Однако Соловьев отдавал себе отчет в том, насколько ненадежен этот способ и какими опасностями он чреват. Документы могли быть заранее подсчитаны, исчезновение замечено, и тогда ничто не спасло бы его — ни знакомство в управе, ни дружба с самим крайсляндсвиртом.

— Не нарвитесь! — предупредил его Новак при очередной встрече.— Вы лучше подберите человека, который мог бы все это делать более безопасно.

Соловьев вспомнил о своем новом знакомом в управе. Он назвал его Новаку.

— Георгий Якимович Сыть,— повторил Новак, припоминая.— Так, так. Сын учителя?

Он знал в Гоще чуть ли не всех поименно.

— Как будто так,— подтвердил Соловьев. — Такой, среднего роста, шатен, серые глаза... У него приятный взгляд — прямой и открытый.

— Помню, хорошо помню, — сказал Новак.— Хлопец как будто должен быть надежный, только вот почему он у гитлеровцев стал работать, да еще в отделе труда, при документах?

— В отдел труда он попал случайно, а почему вообще стал работать — это попытаюсь проверить. Все-таки мне кажется, что он неплохой человек!

— Что же, проверьте,—сказал Новак.—Это не помешает.

После нескольких бесед с Георгием Сыть Соловьев пришел к мнению, что тому можно довериться. Однажды, зайдя в управу, он предложил Сытю пойти вместе купаться. Тот охотно согласился. Они переплыли Горынь и улеглись на лугу, скрытые густой травой.

— Люди на фронте воюют, бьют фашистов, а мы с тобой здесь отсиживаемся! — повернувшись к приятелю, вдруг сказал Соловьев.— Совесть мучит, — добавил он с досадой.

— Да,— задумчиво протянул Сыть и замолк.

— Если бы хоть чем-нибудь помочь, сделать бы что-нибудь такое... Как ты думаешь, Георгий?

— Я бы с удовольствием, — доверчивее взглянул тот на Соловьева,— но как поможешь?

— А что бы ты сказал, если бы понадобилось достать некоторые документы?

— Немецкие? В отделе труда?

— Да.

— Любые,— сказал Георгий.— Кстати, их у меня уже кто-то таскает...

Так у Соловьева появился новый помощник.

Георгий Сыть оказался славным, умным юношей, человеком преданным и скромным. Никто и никогда не знал, каких трудностей стоит ему добыть тот или иной документ, он об этом не рассказывал. Свое дело выполнял он с большим старанием.

Организация получила множество разных немецких документов. У всех ровенских и гощанских товарищей теперь оказались запасные паспорта на случай, если бы пришлось скрываться, менять место жительства.

Соловьев с Кутковцем завели себе даже по три паспорта со своими фотокарточками, но выписанными на разные фамилии.

В это время Соловьев жил в новом месте, на хуторе, у богатого крестьянина, к которому устроил его Кутковец. На хуторе было спокойнее. В Гоще Соловьев бывал, однако, каждый вечер — ездил туда на своем велосипеде. Временами он отлучался в Ровно, но и тогда никто не замечал его отсутствия.

Иногда, впрочем, на хутор наведывался сам крайсляндсвирт Кригер.

Случалось, что Соловьева он не заставал. Тот в это время сидел в Ровно и разрабатывал с Новаком планы подпольной работы или участвовал в очередной диверсии,— такой возможности он старался не упускать. Кригеру в этом случае говорили, что Соловьев уехал по своим «агрономическим делам».

Адресованной ему посылки Кригер так и не получил. Очевидно, она действительно взорвалась где-то в дороге.

Глава шестая

Худой, обросший человек, весь в пыли, ступил на крыльцо сельской школы и на вопрос сторожа ответил, что ему нужна Ольга Петровна Солимчук.

Учительницу вызвали. Она взглянула на пришедшего и всплеснула руками; потом увела его с собой в школу.

— Это мой двоюродный брат,— сказала она сторожу.

На самом деле человек, вид которого ее так удивил и с которым ей хотелось поговорить наедине, вовсе не приходился ей родственником. Это был старый товарищ Оли Солимчук по подполью — Александр Гуц.

Как он изменился! Исхудалое лицо, морщины, седые виски. А глаза... Ясные, веселые глаза Александра Гуц, светившиеся надеждой и бодростью даже в тюрьме, к которой он был приговорен на двенадцать лет,— теперь эти глаза выражали неуемное горе.

Да, большое горе, великую беду пережил Гуц. Его семью и еще несколько семей села Деревян расстреляли фашисты.

Сам он был в числе пленников и ожидал смерти, но палачи, прежде чем расстрелять Гуца, решили сделать его свидетелем смерти жены и ребенка. Жену раздели, нагую, с ребенком на руках, вывели на сельскую улицу, поставили над ямой и... расстреляли.

В ту минуту Гуц, уже готовившийся принять смерть, вдруг понял, что он должен жить, жить во что бы то ни стало, жить ради того, чтобы отомстить за жену, за своего ребенка, за кровь невинных людей.

Он бежал. Бежал, преследуемый пулями, готовый каждую минуту упасть. Но, видимо, ему сопутствовала счастливая звезда — он ушел из-под пуль.

Он добрался в Ровно, здесь с трудом, рискуя каждую минуту быть схваченным, разыскал Новака, получил помощь, получил задание и теперь идет его выполнять. К Оле Солимчук он зашел по дороге. Адрес дал ему Новак.

Страшный рассказ Гуца о том, что произошло в Деревянах, глубоко взволновал Олю. Гуц говорил прерывисто на глазах его, против воли, то и дело навертывались слезы. Было видно, что до сих пор он не переставал горевать о жене и ребенке. Оля даже не пыталась его утешать. Чем могла она утешить! Она думала о великих страданиях людей, ее соплеменников, ее братьев и сестер, замученных фашистами. За эти муки ей нужно мстить. Оля не могла даже представить предела неоплатного счета человеческих бедствий, слез и крови, что должен быть предъявлен фашистским палачам.

Гуц пробыл в селе день. Он направлялся в Володимерецкие леса, где, по всем данным, стоял со своим отрядом подпольный обком. Новак не сомневался, что Бегма посылает к нему связных, но те гибнут в пути или, добравшись до Ровно, не могут найти подполье.

Новак решил сам послать людей на связь с подпольным обкомом. С таким заданием и шел Александр Гуц.

Вскоре Олю вызвали в Ровно.

К школе подъехала бричка. Вошел человек, незнакомый Оле и, извинившись, спросил у нее имя, отчество и фамилию. Получив ответ, сказал:

— Вам записка.

Оля узнала почерк Новака. «Приезжай ко мне погостить»,— писал Терентий Федорович.

— В выходной день я приеду,— сказала Оля.— Раньше никак невозможно.

— Хорошо, я передам. Давайте кстати уж познакомимся. Захарьев, инженер.

Они пожали друг другу руки и расстались.

Оля ушла в Ровно, как и обещала Захарьеву, под выходной день, в субботу. Итти пришлось пешком, так как по шоссе курсировали лишь военные машины и мотоциклы.

У ворот фабрики валенок, когда подошла Оля, стояла легковая машина. Двое грузчиков, открыв дверцу кабины, вытаскивали какой-то тяжелый ящик с окантовкой из жести. Из щелей торчали стружки. Плотный человек во всем кожаном, судя по виду шофер, распоряжался разгрузкой.

Уже в кабинете Новака, когда Терентий Федорович познакомил Олю с шофером, она узнала, в чем дело.

Шофера звали Григорий Ломакин. До войны он заведывал гаражом в Баку. В Гощу попал как военнопленный. Здесь познакомился он с Кутковцем и Соловьевым. Стал работать шофером у крайсляндсвирта Кригера. Сейчас приехал на фабрику валенок с грузом от Кутковца. В ящике были противотанковые гранаты. Где и как они ему достались,— Кутковец не сообщал.

То, ради чего Новак вызвал ее в Ровно, Оля узнала, когда в кабинете директора собрались товарищи, приехавшие из других мест. Приехал из Гощи Соловьев, пришли Луць, Настка и Федор Шкурко, пришла Раиса Митиченко, красивая смуглолицая девушка с большими черными глазами. Раиса работала в немецком Красном кресте и была связана с организацией недавно. Прибыли и другие подпольщики.

Соловьев прибыл не один, а в сопровождении Николая Ивановича Самойлова, того самого Самойлова, который в свое время вызволил его из немецкого плена и пристроил в деревню. Самойлов попрежнему работал сторожем на кладбище, но теперь к его добровольно взятой на себя обязанности устраивать бегство военнопленных прибавились и другие задачи, возложенные на него подпольным центром. С организацией связал его Соловьев. Русское кладбище у стратегического асфальтового шоссе Ровно — Киев стало и местом встреч подпольщиков, и местом архива, и важным разведывательным пунктом.

Место было очень удобно. Кладбище напоминало собой зеленую рощу, в которой легко было укрыться, а главное—

сюда постоянно заходили люди. Доступность кладбища служила превосходной и надежной маскировкой.

На первых порах, будучи связан с одним Соловьевым, Самойлов выполнял отдельные его поручения: прятал документы организации, устраивал встречи; когда же подпольный центр прикрепил его к группе Шкурко, Самойлов серьезно занялся и разведывательной работой: дежурил у своего окна, выходившего на стратегическое шоссе, и аккуратно отмечал, сколько и куда проследовало машин.

Поздоровавшись с товарищами и коротко расспросив каждого о положении на местах, Новак приступил к делу.

— У меня будет не очень веселое сообщение, товарищи,— сказал он.— Судьба Гуца, который пошел на задание во Володимерецкие леса для связи с секретарем подпольного обкома, сложилась так же трагически, как и судьба его семьи. Александр Гуц задержан врагами в местечке Деражно, опознан ими и зверски убит...

— Жаль его,— сказала Оля.— Погиб, не отомстив за близких...

— Почтим его память, товарищи,—предложил Новак.

Все встали.

Наступила минута скорбного молчания. Но вот Новак поднял голову, постучал по столу тупым кончиком карандаша и сказал:

— Установлена связь с партизанским отрядом, товарищи!

Если бы дело происходило не в кабинете директора фабрики валенок и не связанная с этим предосторожность, то, вероятно, в этот момент загремели бы аплодисменты. Лица людей посветлели. Всем хотелось говорить, хотелось смеяться... Когда волнение несколько улеглось, Новак смог сообщить подробности.

— Отряд находится в Цуманских лесах,— сказал он.— Надежно связан с Москвой и имеет полномочия связаться с нашей организацией. Вчера у меня был товарищ Спокойный, который по заданию командования работает в Ровно... Этот товарищ нас и нашел. Мы договорились о следующем. Отряд посылает нам оружие, взрывчатку, литературу. Мы им — медикаменты, бланки немецких документов, образцы печатей, разведывательные данные.

— Вот это новость! — воскликнула Оля. — Ведь это значит, что мы тоже будем связаны с Москвой. Как это хорошо!

— Оля права — это замечательно, но нам, товарищи, придется перестроить нашу работу,— сказал Новак.— Перестроить таким образом, чтобы приносить максимум пользы. Задачи наши становятся шире. И, первое дело,— всех наших товарищей, которые не могут принести существенной пользы на месте, надо отправить в отряд, там нужны люди. Человек сто придется еще подобрать дополнительно. В нашем подполье останется небольшая, хорошо замаскированная группа из крепких работников, связанных с немецкими властями. Остальные уйдут к партизанам.

— Направьте меня в отряд, Терентий Федорович!— попросил Соловьев.

Вступить в партизанский отряд было его давнишней мечтой.

— Хорошо, после поговорим,— неопределенно ответил Новак и, не задерживаясь, начал давать задания. Они у него были подготовлены для каждого.

Оле он сказал:

— У вас в Тучине нет ячейки. Нужно создать. Организуйте сначала тройку — ты, инженер Захарьев, третьего подыщите. Возьмешь у Настки литературу, газеты. Захарьев работает на текстильной фабрике. Будь готова при надобности отправиться в отряд, поведешь туда врачей, которых тоже нужно подыскать. Пока все. Да...— Новак внимательно поглядел на Олю.— Ты как сюда добралась? На шоссе только немецкие машины. Пешком, что ли? — и, по взгляду Оли поняв, что она прибыла пешком, добавил решительно: — Обратно возьмешь у меня велосипед...

Раисе Митиченко он поручил:

— Передайте Дубровскому и сами имейте в виду: отряду нужны медикаменты, нужны в неограниченном количестве.

— Понятно,— коротко ответила Раиса.

Николаю Ивановичу Самойлову поручалось, во-первых, усилить разведку на шоссе Ровно — Киев, во-вторых, организовать у себя сборный пункт для тех, кто отправляется в отряд.

В конце совещания Новак задержал Соловьева.

— Выкинь из головы мысль о том, чтобы бросить тебе работу здесь и итти в отряд. Из отряда направляют людей сюда, устроить каждого человека стоит огромных

трудов, а ты сидишь здесь крепко, имеешь хорошие документы, хорошо знаком с местными условиями... Как ты можешь все это бросить? Я думаю, командир отряда тоже не похвалил бы и тебя и нас за такое легкомыслие! Твое дело — руководить группой. Если уж так хочешь связаться с партизанами, возьми на себя подбор и отправку людей в отряд. Кстати, подыщи и надежного проводника.

...Наутро, перед тем как итти на фабрику, Новак встретился с Николаем Струтинским — товарищем Спокойным. Тот выслушал его сообщение о мероприятиях, проводимых подпольной организацией, и обещал обо всем точно сообщить командиру отряда.

Работа подполья оживилась. Не прошло и недели после собрания в кабинете Новака, как Раиса Митиченко доложила Ивану Ивановичу Луць, что медикаменты для отряда заготовлены.

Еще более отрадные вести пришли из Тучина. Виталий Захарьев, работавший инженером на ткацкой фабрике окружного комиссара Вейера, собрал боеспособную группу из таких же бывших военнопленных, каким являлся он сам. Группа эта развернула большую агитационную работу среди населения. Активнейшим работником в группе Захарьева стала Оля Солимчук.

Не удовлетворяясь этим, тучинские товарищи начали планомерно вредить гитлеровцам на фабрике, где работали, и в конце концов окончательно вывели ее из строя.

Установление связи с партизанским отрядом дало то, что подпольщики острее почувствовали полезность своей работы: работа их стала напряженнее и, пожалуй, осмысленнее, так как люди видели практические результаты своего дела. Подбирались товарищи для отправки в отряд, добывались медикаменты, разведывались новые и новые данные в немецких учреждениях, данные о движении на шоссейных дорогах.

Новак готовил к отправке в отряд автомашину. Первый рейс должен был сделать бакинский шофер, член партии Григорий Ломакин. На предложение Новака он ответил, как отвечал всегда:

— Сделаем. Подбросим.

Терентий Федорович Новак прибыл на «зеленый маяк» первой же машиной, за рулем которой сидел Григорий Ломакин. На «маяке» дежурил Валя Семенов с группой бойцов. Машина была быстро разгружена и тут же отправлена обратно в город. Новак и приехавшие с ним освобожденные из лагеря военнопленные двинулись в отряд пешком. Группа Семенова сопровождала их.

Невысокий лысоватый человек со спокойным, вдумчивым взглядом голубых глаз, с медлительной, тихой, почти вкрадчивой речью, в которой причудливо смешивались украинские, русские и польские слова, менее всего походил на того мужественного и многоопытного руководителя подполья, какой рисовался воображению многих из нас. Во всем облике Новака не было решительно ничего, что отличало бы его от людей, прибывших вместе с ним в отряд. Та же скромная, как будто неуверенная манера держаться на людях, то же выражение радости на посветлевшем лице, тот же молчаливо-почтительный и в то же время ненасытный интерес ко всему, что происходит в отряде... Но если все остальные новички сразу же, как только ближе познакомились с партизанами, засыпали их, как водится, множеством вопросов, то Новак на вопросы был неизменно скуп; он осведомлялся лишь о том, что имело непосредственное отношение к подпольной работе. В нем говорил старый подпольщик, человек, прошедший суровую школу революционной борьбы.

С полуслова понял он обращенную к нему просьбу — никому в отряде не называть своей настоящей фамилии и не говорить, откуда он прибыл. «Прибыл из Житомира» — тут же предложил он сам.

Вопросы Терентия Федоровича были точны и поэтому немногословны. Как отряд связан с «Большой землей»? Где Василий Андреевич Бегма — секретарь подпольного обкома партии и как с ним связаться? Какую работу ведет отряд в Ровно; в частности, распространяет ли по городу листовки?

Шаг за шагом Новак выяснял для себя все то, чем так жадно интересовался. У Стехова он сразу же набросился на московские газеты — их у него была целая кипа. Это служило лучшим ответом на вопрос — тесно ли связан отряд с Москвой. От радистов он узнал, что у отряда с Москвой — ежедневная радиосвязь. О секретаре обкома Новак получил исчерпывающие данные: Василий Андреевич —

в тылу врага. Он формирует и вооружает отряд, с которым должен притти сюда, в леса под Ровно. До его прихода осведомлять ровенскую подпольную организацию поручено отряду. О деятельности отряда в городе Терентий Федорович получил хотя и краткую, но достаточно ясную информацию. Одна деталь при этом не на шутку его озадачила: разведчики отряда никаких листовок в городе не распространяют.

— Как же так? — недоуменно проговорил Новак. — Чьи же это листовки? Под Первое мая вышли наши товарищи клеить, а листовки тут как тут — кто-то уже постарался... Да вот совсем на днях у себя на воротах фабрики обнаружил... Значит, кто-то, помимо нас, работает в городе...

— Вполне возможно,— последовал уклончивый ответ Лукина.

— Значит, надо искать связей с этими людьми,— решил Новак.

— Нет, Терентий Федорович, никаких связей с ними искать не надо. Действуйте обособленно. Так вернее будет.

— Да вы, правы,— согласился тот.

Новак пробыл в отряде трое суток. На четвертые он собрался в обратный путь: его могли хватиться на фабрике. Как назло дорога между лагерем и «маяком» оказалась перекрытой: у единственного брода через речушку, которую нужно было переходить, в засаде сидел целый батальон «шуцманшафт».

— Как быть? — обратился к Терентию Федоровичу Валя Семенов, шедший во главе двух взводов партизан, сопровождавших Новака.

— Надо прорываться. Я обязательно сегодня должен быть в городе.

На следующий день, к вечеру, оба взвода вернулись в лагерь и Семенов доложил, что Новак благополучно доставлен на «маяк». Смысл этих слов — «благополучно доставлен» расшифровывался таким образом: Семенову, который очень хорошо изучил эту местность, удалось обойти вражескую засаду и ударить одновременно с двух сторон. Умелые действия партизан, их смелый и дружный натиск быстро решили исход дела: засада, готовившаяся уничтожить партизан, сама почти полностью была уничтожена. Терентий Федорович принимал в операции самое

активное участие. Необыкновенный подъем и возбуждение вызвал в нем этот бой. Всю вторую половину пути он не мог успокоиться, весело обсуждая с партизанами подробности боя.

Очевидно, пребывание в отряде, участие в партизанском бою послужили для Новака хорошей зарядкой. В свою очередь и нас глубоко обрадовало и ободрило это знакомство. Стало окончательно ясно, что во главе подпольной организации — умный, опытный и закаленный руководитель, человек высокой коммунистической идейности, всего себя посвятивший делу народа.

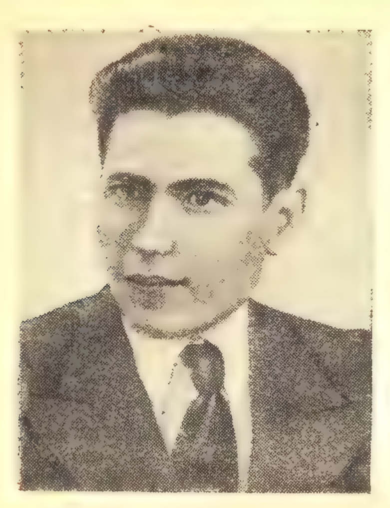
И чем ближе знакомился я в дальнейшем с Терентием Федоровичем Новаком, тем глубже убеждался, что не ошиблась партия, послав его на этот трудный, ответственный и опасный участок.

Подпольная организация Новака была не единственной в Ровно. Бок о бок с ней,но не зная ничего друг о друге, существовали и боролись еще два многочисленных отряда советских патриотов — подпольные организации Могутного и Остафова. Нашим городским разведчикам удалось напасть на их след.

Установив с ними связь, мы хотя и сообщили их руководителям о наличии в Ровно других подпольных организаций, но категорически запретили им связываться друг с другом. Больше того: если мы получали сведения, что в тех или иных звеньях подпольные организации вошли в соприкосновение, эти звенья мы немедленно забирали к себе в отряд. Нельзя было допустить их слияния, в результате которого мог произойти одновременный провал всего подполья.

Руководитель второй по численности организации после организации Новака стал нам известен под кличкой «Могутный» и вначале внушал некоторые сомнения. Эти сомнения сразу же рассеялись, когда во время моей беседы с Могутным он бросился в объятия проходившей мимо нас радистке Марине Ких. Они знали друг друга по работе во Львове.

Под псевдонимом Могутный скрывался Павел Михайлович Мирющенко, секретарь Ленинского райкома комсомола города Львова. Здесь, в Ровно, он оказался не случайно; накануне оккупации Ровно Мирющенко был переброшен сюда по заданию Центрального Комитета КП(б) Украины. Мирющенко удалось хорошо устроиться при



Павел Михайлович Мирющенко («Могутный»)

оккупантах — он стал директором техникума. Так было обеспечено и легальное положение, и прочная, устойчивая к тому же на редкость удобная база для подпольной организации. Активными участниками подполья стали многие преподаватели и учащиеся техникума. К тому времени, когда наши разведчики установили связь с организацией Могутного, она насчитывала в своем составе около двухсот человек.

В лице Павла Михайловича Мирющенко мы встретились с незаурядным организатором, человеком неистощимой энергии и предприимчивости, застрельщиком и руководителем ряда замечательных патриотических дел, которые были известны всему городу. Мирющенко был душой своей организации, любимцем всех ее участников — и тех, кто работал с ним непосредственно, и тех, кто знал его лишь по рассказам товарищей да по кличке Могутный. Кличка эта, выбранная, надо полагать, неслучайно, ко многому обязывала, и Павел Мирющенко оправдывал ее всеми своими делами.

Было что-то подлинно творческое во всей его многогранной деятельности подпольщика. Он буквально горел на этой работе. В его душе, во всем его облике жил беспокойный комсомольский огонек, и этот огонек сказывался в каждом деле, за которое брался Мирющенко; и тем более это поражало, что на вид он казался старше своих двадцати девяти лет.

Мирющенко принадлежал к тому поколению советской молодежи, которое мужало и зрело вместе со всей страной, закалялось в борьбе за социалистическое переустройство жизни, в героических делах сталинских пятилеток. Сын крестьянина-батрака, погибшего от рук белобандитов, Мирющенко рано узнал нужду; его мать и старшие сестры продолжали работать на местных сельских богатеев до той поры, пока не пришел конец их хозяйничанью

на селе. В год великого перелома Павел Мирющенко принял горячее и непосредственное участие в организации колхоза. К тому времени он был уже комсомольцем, одним из первых активистов в родном селе Павловка, Свердловского района, Ворошиловградской области. Семья Мирющенко одной из первых вступила в колхоз и здесь впервые обрела счастье и жизненное благополучие. Павел Мирющенко, учась в семилетке, работал в колхозе. Он был организатором первого в районе комсомольско-молодежного красного обоза.

Следующая осень застала его уже в Днепропетровске, в железнодорожном техникуме. Здесь он также вел большую общественную работу; он был выбран секретарем комсомольской организации техникума. После успешного окончания техникума комсомол выдвинул Мирющенко директором вечерней школы рабочей молодежи в городе Енакиево. Там он вступил в партию. В последующие годы Мирющенко работал в органах народного образования. Тогда и определилось его подлинное призвание — он полюбил профессию педагога и решил посвятить себя благородному делу воспитания юношества. Еще в период своей работы в школе рабочей молодежи Мирющенко поступил на заочное отделение Ворошиловградского педагогического института. Он не оставлял учебы и после переезда во Львов, где возглавлял районную комсомольскую организацию.

Оказавшись по заданию партии в оккупированном фашистами Ровно, Мирющенко взялся за дело с присущими ему энергией и инициативой. Прежний опыт директора школы помог ему наладить в техникуме «отменный порядок». Гитлеровцы были им довольны, считали его полезным человеком. Кому могло притти в голову, что этот «полезный человек» устраивал оккупантам нешуточные неприятности: поджигал склады с обмундированием и продовольствием, писал и распространял листовки, в том числе и на немецком языке, обращенные к солдатам гитлеровской армии.

Подпольная организация Могутного просуществовала два года. Много славных дел совершили подпольщики под руководством своего неутомимого вожака. Они совершили бы их еще больше, если бы не неожиданное происшествие, которое не только оборвало работу, но имело трагические последствия для всей организации во главе с Мирющенко,

Нельзя было предвидеть, что Павел Мирющенко встретится в Ровно со своим односельчанином Николаем Страшковым. Слишком давно разошлись их жизненные дороги. Павел и Николай были ровесниками, они знали друг друга с раннего детства и с раннего детства ненавидели друг друга. Отец Страшкова, кулак, белобандит, был виновником гибели крестьянина-бедняка Михайлы Мирющенко, отца Павла; это он, Страшков, с помощью других головорезов из кулацкой шайки приволок связанного Михайлу Мирющенко к себе в хату, где подверг его жесточайшим побоям и пыткам, после которых тот скончался. Пятилетний Павел и семеро его братьев и сестер остались сиротами.

Но не это не мог простить Павел Николаю Страшкову. Если бы тот рос честным тружеником, настоящим советским человеком, Павел Мирющенко никогда не стал бы в своих мыслях связывать Николая с его отцом. Но «яблочко от яблони недалеко падает»,— говорит пословица; к сожалению, так случилось и с Николаем. Пышущий здоровьем, атлетически сложенный, Николай Страшков уже в мальчишеские годы оказался черствым эгоистом, способным на антиобщественные поступки, кулаком по натуре, выучеником и последователем своего отца; впоследствии, когда подрос, Николай Страшков стал скрытым, но отъявленным врагом советского строя. В годы их совместной учебы в школе Павел не допустил, чтобы Николая Страшкова приняли в пионерский отряд; несколько лет спустя, когда Страшков попытался вступить в комсомол, Павел разоблачил его и перед комсомольской организацией.

Прошло много лет. Павел давно не жил в селе, и Страшков как-то исчез из его поля зрения, забылся. И должно же было случиться так, что они встретились на улице в гитлеровской «столице Украины» — встретились и разошлись, не сказав друг другу ни слова.

На Страшкове была штатская одежда, не было даже обычной белой повязки с надписью «щуцполицай», но Мирющенко был твердо убежден, что это не меняет дела. И он не ошибся: Страшков действительно состоял на службе в немецкой полиции. Одного недооценил Мирющенко: хитрости и коварства врага. Он полагал, что Страшков начнет его разыскивать по фамилии Мирющенко, и не боялся этого, так как числился у немцев под фамилией

Дубчак. Страшков, однако, не стал предпринимать таких розысков, а, должно быть, пошел следом за Павлом и сделал это достаточно ловко и незаметно.

Почти одновременно с этой встречей произошел провал одного из членов организации. Трудно сказать, как вел себя арестованный товарищ при допросе в гестапо; во всяком случае, дня через три Мирющенко установил, что за техникумом ведется наблюдение. Он помнил инструкцию: в случае опасности — уходить в отряд. Но для него это значило прежде всего то, что нужно отправить в отряд всех членов организации, находившихся под угрозой ареста, отправить вместе с их семьями, а самому уходить последним. Этот трудный, требовавший времени и поэтому наверняка гибельный для него самого план был единственным планом, который мог принять честный, верный своему долгу человек, каким был Могутный.

До последнего дыхания он остался достойным этого гордого имени, которое дала ему партия. Ничего, кроме слов, выражавших бесконечное презрение к фашистам, не услышали от Могутного палачи. Его казнили в тюремной камере, но весь город узнал о его казни и заговорил об этом. История гибели Могутного передавалась из уст в уста, обрастая все новыми и новыми подробностями; передавалась сначала как слух, затем как легенда, как волнующая повесть о силе и непобедимости советского человека.

Если Новак и Мирющенко были переброшены в Ровно с определенными заданиями, по заранее намеченному плану, то во главе третьей подпольной организации стоял человек, оказавшийся за линией фронта не по своей воле. Это был Николай Максимович Остафов, второй секретарь Сталинского районного комитета партии города Киева. В дни обороны Киева он возглавил один из участков строительства оборонительных сооружений; был тяжело ранен, захвачен немцами в плен и вывезен в Ровно.

Еще в конце 1942 года наши городские разведчики узнали о подпольной большевистской организации, созданной в лагере советских военнопленных. Руководитель этой организации был нами освобожден из лагеря и доставлен в отряд. Так состоялось наше знакомство с Никслаем Максимовичем Остафовым.

Человек всесторонне образованный, Остафов обладал большим жизненным опытом.



Николай Максимович Остафов

Сын бедного крестьянина, свою трудовую жизнь он начал с десяти лет, когда, потеряв родителей, нанялся в подпаски. Это было в 1917 году. Советская власть открыла перед ним, как и перед всеми детьми трудового народа, широкий простор, дала ему возможность получить образование, к чему Остафов еще с детских лет жадно тянулся. Он окончил Киевский университет, стал научным работником обсерватории, сочетая деятельность ученого с большой общественной работой коммуниста. Упорный творческий труд позволил Остафову защитить диссертацию; ему была присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук. В 1940 году партийная организация Сталинского района Киева избрала его вторым секретарем районного комитета КП(б)У.

С первой же встречи с ним в отряде нам было ясно, что это человек широкого кругозора, подлинный советский ученый, общественник, партийный деятель. Подкупала необычайная скромность Николая Максимовича, его нежелание и неумение говорить о себе.

Остаться в отряде он наотрез отказался. «Мое место в городе»,— просто и решительно заявил он.

Он вернулся в Ровно, поступил там грузчиком на почту, возобновил старые лагерные связи и наладил новые. Так создалась третья по счету боеспособная организация советских патриотов в Ровно. Остафов и его товарищи добыли у оккупантов много оружия. Они писали и размножали листовки, распространяя их через почтальонов. Остафов нацеливал свою организацию на совершение акта возмездия над палачом Украины Эрихом Кохом. Он считал это главным своим делом. На этом пути организацию постигла неудача. Случился провал, результатом которого был арест самого Остафова. После долгих пыток в застенках гестапо Николай Максимович Остафов был по-

вешен. Случайно уцелевшие свидетели, наблюдавшие последние минуты жизни Остафова, рассказали нам подробности его гибели. Остафов умирал, как победитель. Палачей бросало в дрожь от презрительной улыбки, которой он отвечал на пытки, от гордой осанки, которая не покидала его ни на минуту, от всего его облика, исполненного сознания неизмеримого превосходства над палачами.

Дела подпольной организации Остафова заслуживают отдельной книги. Целое повествование можно было бы написать и о группе патриотов, боровшихся во главе с Могутным — Мирющенко. Здесь же мне хочется лишь подчеркнуть, что в Ровно только в составе подпольных организаций активно действовало до тысячи советских патриотов. Это и были подлинные хозяева города.

Первое, что мы послали Терентию Федоровичу Новаку, были номера «Правды» и «Красной звезды», сброшенные нам накануне с самолета, а также пачка московских брошюр, которые бережно хранил у себя Стехов.

Открывалась широкая перспектива для ведения политической работы среди населения Ровно и области. Кузнецов, Шевчук, Гнедюк, Николай Струтинский в силу своего «легального» положения не могли заниматься в городе ни агитацией, ни распространением листовок. Зато организация Новака, снабженная всеми необходимыми материалами, могла теперь еще шире развернуть агитационную работу. Полным ходом заработали также обе машинки в подвале фабрики валенок.

Вскоре последовала и диверсия, совершенная подпольщиками с нашей помощью. Организация получила из отряда мины замедленного действия. Новак, Луць и Настка долго обсуждали, как бы их получше употребить. Во время этого спора пришел Федор Шкурко.

— Что ж тут думать! — произнес он удивленно. — Тащите на вокзал. Там фашисты азотную кислоту получили... до сотни бутылей. Каждая в два ведра!

— Увезли в город? — спросил Луць.

— Да нет, только разгружают.

Сообщение Шкурко явилось как нельзя кстати. В тот же день мины были благополучно установлены среди бутылей, на товарном складе станции. После первого взрыва кислота потекла по деревянному настилу перрона. Доски

загорелись. Загорелись также плетеные корзины, в которых стояли бутыли. Немцы бросились тушить пожар, но тут взорвалась вторая мина. От огня бутыли начали рваться одна за другой. Брызги кислоты и осколки стекла не позволяли приблизиться к месту пожара. Спустя короткое время пламя охватило весь склад. Ликвидировать огонь было уже невозможно. В течение нескольких часов немецкие полицейские и солдаты из вызванной воинской части были безучастными зрителями пожара.

В свою очередь и подпольщики оказали нам большую помощь. Первая же машина, пришедшая от них в отряд, привезла нам пятьдесят шесть пар валенок, бумагу, коечто из одежды. Кроме груза, Григорий Ломакин «подбросил» нам также шестнадцать человек из Тучина. Это были те самые товарищи, которые вывели из строя ткацкую фабрику окружного комиссара Вейера. У себя в Тучине они больше оставаться не могли, а мы нуждались в пополнении.

Среди новичков было двое врачей. Они представляли для нас особую ценность. Отряд испытывал острую нужду в медицинском персонале. Схватки с немцами и бандами националистов участились; число раненых увеличивалось. Приезд врачей порадовал нас еще и тем, что они приехали не с пустыми руками, а с грузом медикаментов и хирургических инструментов. Они забрали с собой в тучинской больнице, где работали, все, что только можно было унести, в том числе шарфы, чулки, халаты. Выгружая доставленный им груз, Ломакин неожиданно остановился, полез за пазуху и вытащил оттуда небольшой пакет. В нем Новак посылал нам образцы печатей, бланки немецких учреждений — все, в чем так нуждалась «мастерская» Николая Струтинского.

Но самым ценным из всего, что мы получили от Новака, были, конечно, разведывательные данные: сводки о размещении частей и штабов, карта с указанием мест, где дислоцированы аэродромы, и, наконец, полный, скрупулезно составленный отчет о движении немецких автоколонн и пехоты по стратегическому шоссе Ровно — Киев.

В дальнейшем сводки стали прибывать почти ежедневно.

На фабрике валенок тем временем кипела работа. Подпольная организация разрослась. В ней состояло теперь 173 патриота, из них половина — члены и кандидаты пар-

тии. Число валенок, обработанных в кладовой по способу Новака, достигало уже четырех тысяч.

Прочная связь между отрядом и подпольем открыла новые, заманчивые перспективы, вдохнула в нас свежие силы, ободрила и воодушевила подпольщиков. Теперь у нас и у них имелись все возможности для осуществления того, что вчера еще казалось делом далекого будущего или вообще не представлялось возможным. Самые далекие планы становились на повестку дня.

Одним из таких планов было осуществление возмездия над Эрихом Кохом, план, от которого мы не только не отказались после неудачи Кузнецова, а наоборот, как никогда стремились к его осуществлению.

Теперь к этому делу приобщились подпольщики. То, что было не под силу нам, располагавшим в городе ограниченным числом людей, смогли организовать они: отныне на «Фридрихштрассе», близ особняка гаулейтера, установилось ежедневное постоянное дежурство.

Все чаще и чаще покидал свое село «агроном» Владимир Соловьев. Он ходил по «Фридрихштрассе», ощупывая в кармане пистолет и не отрывая взгляда от ворот, из которых мог появиться гаулейтер. После нескольких часов дежурства Соловьева сменял Луць, Луця — Николай Поцелуев.

Это дежурство, или, как называли его подпольщики, «охота за Кохом», и в самом деле чем-то напоминало охоту. Терпение, с которым ждали «дежурные», их напряженная сосредоточенность, а главное — рвение и страстность, с какими, затаив дыхание, выжидали они появления гаулейтера, главного фашистского палача Украины, напоминали поведение охотников, окруживших берлогу зверя.

Пожалуй, ни у кого из подпольщиков это рвение и страстность не проявлялись с такой силой, как у Поцелуева. Этот молодой, пылкий и напористый человек оказывался всюду, где предстояли активные действия. Такие случаи он просто не мог пропустить. Едва кончался рабочий день на фабрике валенок, как Поцелуев спешил в «рейс», как он называл свои прогулки по улицам города. Цель этих прогулок была всегда одна и та же: убивать гитлеровцев. Нельзя сказать, чтобы Николай Поцелуев был особенно разборчив. Ему в одинаковой степени были ненавистны и гауптман, и обыкновенный солдат; и тот, и другой, стоило им попасться, что называется, под руку

Поцелуева, платились жизнью. Ненависть, которую испытывал к врагу этот молодой, но уже много претерпевший человек, не знала преград. Ничто, никакие препятствия не останавливали его.

Однажды он ехал на велосипеде в очередной «рейс». Город дремал в мягких вечерних сумерках. На одном из поворотов Поцелуев увидел немецкого офицера; тот возился около мотоцикла. Поцелуев осмотрелся — вблизи никого не видно. В нескольких шагах от офицера он сошел с велосипеда и повел машину руками. Поравнявшись с мотоциклом, Поцелуев вынул пистолет и, недолго думая, убил фашиста наповал. Потом забрал его оружие, сел на велосипед и помчался дальше — по своему маршруту.

Новак не очень одобрительно относился к этой деятельности Поцелуева, в шутку называл его анархистом, а иногда и всерьез сердился, когда действия Поцелуева бывали уж слишком неосторожны. Поэтому Поцелуев предпочитал не рассказывать о своих приключениях. Но все знали, что он изо дня в день, спокойно и просто, как бы между делом, истребляет оккупантов.

Охота на Коха стала одним из любимых занятий Николая Поцелуева. Каждый раз, становясь на дежурство близ резиденции имперского комиссара, Поцелуев питал уверенность, что сегодня гаулейтер непременно появится и он, Поцелуев, совершит акт возмездия.

Но Кох не появлялся. Даже в те немногие дни, когда он приезжал в «столицу», его невозможно было увидеть. Из своей резиденции на «Фридрихштрассе» гаулейтер не выходил.

На случай, если бы Кох приехал в Ровно бронепоездом, Луць заложил мину с электровзрывателем на железнодорожном полотне, неподалеку от фабрики валенок. День и ночь продолжалось дежурство подпольщиков у рубильника, установленного на фабрике. Если бы Кох прилетел самолетом, то его ждала такая же мина на шоссе близ аэродрома.

Глава седьмая

Но гаулейтер не появлялся. По одним слухам, он безвыездно сидел в Берлине, по другим — находился вместе с Гитлером в его ставке под Винницей, по третьим — проводил все свое время в Кенигсберге, «управляя» Восточной Пруссией и одновременно занимаясь делами много-

численных предприятий в Восточной Европе, собственником которых он стал. Эта третья версия казалась наиболее достоверной: все знали, что коммерческий азарт является самой сильной страстью гаулейтера. Кузнецов с ужасом думал, что промышленные и торговые дела, связанные с огромными прибылями, могут долго еще продержать Эриха Коха вдали от Ровно. А здесь его так ждали!

Фон Ортель, с которым Кузнецов иногда заговаривал на эту тему, тоже склонялся к версии о коммерческих делах гаулейтера, но добавлял к этому еще одно обстоятельство, задерживающее приезд Коха в Ровно: его неприязнь к этому городу. Фон Ортель говорил об этом с нескрываемой иронией. Можно было понять, что у него есть основания считать гаулейтера если не трусом, то все же человеком недостаточной храбрости.

Иронию, проскальзывавшую в словах фон Ортеля, когда он говорил о Кохе, Кузнецов замечал и тогда, когда речь шла о персонах еще более важных. Это обстоятельство долгое время сбивало Кузнецова с толку. С одной стороны, перед ним был типичный фашист, правоверный гитлеровец, исповедующий религию «жизненного пространства», культ виселицы и работорговли. Но, с другой стороны, тот же фашистский ортодокс и фанатик время от времени бросал такие убийственные иронические реплики в адрес своих хозяев, каких сам Кузнецов никогда не мог бы себе позволить без риска быть тут же заподозренным и разоблаченным. Так, о заместителях гаулейтера фон Ортель отзывался в самых непочтительных выражениях, считая их всех трусами и чуть ли не проходимцами, о самом гаулейтере заметил как-то, что тот труслив, как все торгаши; Геббельса и его пропагандистов он откровенно считал дармоедами и безмозглыми идиотами, о которых даже не стоит говорить всерьез; наконец, о гитлеровской идее «блицкрига» он отозвался однажды, как о бессмысленной авантюре, придуманной людьми, которые никогда не знали России... Все это настораживало Кузнецова. Временами его одолевало подозрение — уж не провокация ли это со стороны фон Ортеля. Слишком уж непримиримыми казались эти крайности в натуре майора гестапо.

В разговорах с Ортелем Кузнецов был попрежнему сдержан, ни о чем не спрашивал, старался казаться как можно проще. Пусть Ортель чувствует свое превосходство над богатым, красивым, но наивным, далеким от понима-

ния действительности лейтенантом. И Ортель действительно наслаждался этим превосходством, этим покровительственным тоном, когда ему все время приходилось как бы поучать неопытного лейтенанта, внушать ему мысли, до которых тот сам, своим умом едва ли мог бы дойти. Так в лице лейтенанта Зиберта фон Ортель обрел и благодарного слушателя, и восприимчивого ученика, и главное — преданного друга, неизменно готового выручить деньгами, щедро угостить, оказать услугу, видящего в этом прежде всего честь для себя самого.

Постепенно Кузнецову открывалось в фон Ортеле то, что еще так недавно казалось непонятным и загадочным, и чем дальше, тем меньше таких загадок таили в себе потемки этой души.

Если одну черту в характере фон Ортеля — его непомерное тщеславие — Кузнецов уловил с самого начала их знакомства и, уловив, начал искусно играть на этой струнке, то теперь ему открылась другая черта, более важная, объясняющая всего фон Ортеля, со всеми кажущимися противоречиями. Этой чертой в характере Ортеля был цинизм.

Это был цинизм страшный, не оставивший в человеке ни единого чувства, ничего святого, ничего, что отличало бы его от животного. Фон Ортель служил своим хозяевам, не веря им. Он считал их такими же законченными мерзавцами, каким был сам. Он не признавал никаких идей, ничего, кроме корысти, которая, по его убеждению, и движет человеком во всех его поступках, будь то в политике или в частной жизни. Он служит в гестапо. Почему? Да потому, что это ему выгодно, это позволяет удовлетворять часть своих желаний и надеяться на то, что со временем он удовлетворит и другую часть. Власть над людьми у него есть уже теперь. Ему нужно богатство — что же, он его добудет! Если для этого придется переменить веру — он переменит веру, он станет служить кому-нибудь другому, лишь бы это давало больше выгоды. А разве любой другой человек поступит на его месте иначе?

— Ну, ты подумай сам,— убеждал он Зиберта в откровенном разговоре,— кто в наше время пожертвует хоть чем-нибудь из своих благ или из своих возможностей получить блага ради каких-то отвлеченных понятий вроде долга или, скажем, родины? Ты? Я? Конечно, на словах мы все готовы в огонь и воду за фюрера, но, скажи по со-

вести, разве тебе не дороже твое собственное имение, твой маленький капитал? Если бы ты мог умножить его с помощью, скажем, тех же англичан,— разве ты отказался бы от этого из каких-нибудь «высоких соображений»? Но значит ли это, что мы с тобой готовы изменить фюреру? Упаси бог! А почему? А потому, дорогой мой, что наш фюрер как раз и заботится о приумножении моего и твоего капитала, не забывая при этом, конечно, и себя.— Огонек иронии блеснул в холодных глазах фон Ортеля. — Я считаю, что с нашим фюрером мы заработаем как ни с кем другим, и я предан фюреру, я действительно пойду за ним в огонь и воду. Это только подтверждает мою мысль. Ты согласен?.. Ну, а как большевики? — спросишь ты.— Вот ведь они не гонятся за выгодой, они и капитал презирают, для них, как ты знаешь, эти самые отвлеченные понятия — вроде совести, или, скажем, родины, или же коммунистической доктрины — важнее всякой личной практической выгоды. Да. Но не это ли признак расовой неполноценности? Ты посмотри, как легко они умирают, как переносят пытки! Ты был когда-нибудь при допросе? — Я в свое время много думал: откуда такое презрительное равнодушие к смерти? И я понял: все от той же неполноценности. Цивилизованный человек ценит жизнь, он скорее расстанется с чем угодно — с чувством долга, с религией, чем с собственной жизнью. И это тоже, согласись, подтверждает мою мысль...

Из этого памятного разговора Кузнецов вынес нечто необычайно важное для себя, как для разведчика. Отныне он до конца знал нутро своего противника, и это знание служило ему залогом его победы. Отныне он мог проще и решительнее обходиться с фон Ортелем, смелее давать ему деньги, поить его в казино, предпринимать все возможное для получения разведывательных данных, постоянно чувствуя свое превосходство перед матерым разведчиком-профессионалом и заранее предвкушая свою победу в этом поединке.

Случилось так, что уже при следующей встрече фон Ортель, разоткровенничавшись, сообщил о своем возможном отъезде в Западную Германию и заодно о цели этого отъезда: если ему суждено состояться, фон Ортель попадет на один из заводов, производящих новое секретное оружие.

В свой очередной приезд Николай Иванович передал нам сведения серьезного военного и политического зна-

чения. Речь шла о самолетах-снарядах, готовящихся на немецких секретных заводах и предназначенных для бомбардировки городов Англии.

Одновременно со сведениями, которые мы получали от Кузнецова, от Гнедюка и братьев Струтинских, от Шевчука и других наших разведчиков, широким потоком полились сводки от подпольной организации Новака. В них находила свое отражение терпеливая и вдохновенная работа десятков людей. За этими сводками мы видели и сторожа русского кладбища, сидящего с карандашом у окна в своем домике перед стратегическим шоссе, и ветеринарного врача, записывающего данные о немецких военных грузах, видели бессменное дежурство многих и многих патриотов.

Теперь между Ровно и Гощей существовала постоянная ежедневная связь. Нынешний этап работы требовал наличия именно такой связи.

Для этой цели Соловьеву удалось найти подходящего работника.

Еще в первые дни пребывания у себя на селе он познакомился с Люсей Милашевской, кареглазой веселой девушкой, которая жила здесь с родителями. Отец Люси был в прошлом управляющим большого помещичьего имения. Это наложило отпечаток на взгляды девушки, на ее отношение к жизни. Первая же беседа Соловьева с Люсей окончилась горячим спором. Молодой советский ученый москвич Соловьев с удивлением слушал рассуждения Люси о том, как она мыслит себе свое будущее. И в то же время он и оправдывал ее. Что могла знать иное девушка ее возраста, жившая и воспитанная в условиях капитализма? Соловьев дал себе слово, что постарается перевоспитать Люсю.

Желанию Соловьева помогло то, что в одном они сходились безоговорочно с Люсей: оба всеми силами души ненавидели немецких захватчиков.

Люся согласилась на предложение Соловьева вступить в подпольную организацию, хотя Соловьев, верный своему обыкновению, рисовал ей ее будущее в самых мрачных красках.

Новак отнесся неодобрительно к предложению Соловьева сделать Люсю связной между Ровно и Гощей: «Стоит ли?.. Сам говоришь: с человеком еще нужно работать!..»

Но «агроном» настоял на своем, и Люся отправилась в свой первый рейс.

С тех пор эти рейсы стали систематическими. Люся доставляла из Гощи Новаку документы и оружие, добытые Соловьевым и Кутковцем, а из Ровно в Гощу — задания отряда, советскую литературу, сводки Совинформбюро. В Ровно у нее были знакомые, и эти поездки никого в селе не удивляли.

Ездила Люся обычно на легковых машинах немецких офицеров. Ей удивительно везло. Стоило ей выйти на шоссе, улыбнуться и кокетливо помахать платочком пассажирам проходящей машины, как машина останавливалась. Ехавшие офицеры теснились, уступая ей место. Люся неплохо говорила по-немецки и всю дорогу весело болтала, забавляя спутников. Иногда итогом этих разговоров бывали интересные сведения, которые Люся незамедлительно передавала Новаку или Соловьеву, сообразно тому, в какую сторону был рейс.

Работа развивалась более чем успешно. Мы свыклись с мыслью, что неизбежны срывы, провалы, аресты товарищей; мы ждали неудач, а их не было. Это казалось невероятным. При усиленной охране, при условии, когда немецкая разведка, щедро финансируемая, состоящая из отборных агентов многих национальностей, прослывшая одной из лучших в мире, сосредоточила во «всеукраинском гестапо» в Ровно крупные силы, наши разведчики — не один и не два, а свыше двух десятков человек — работали в Ровно так дерзко и так свободно, как будто им не грозила опасность, работали, не неся никаких потерь!

Мы тщательно изучали обстановку. А что, если это ловушка? — все чаще и чаще думалось нам. А что, если гестапо прекрасно осведомлено о нашей деятельности и если не препятствует нашим разведчикам, то лишь потому, что умело снабжает их заведомо ложными сведениями?! Что если наши донесения в Москву пишутся под диктовку гестапо?!

Эта страшная, глубоко волновавшая мысль с особенной остротой овладела нами, когда в лагерь приехал Николай Струтинский — приехал на... легковой машине ровенского гебитскомиссара доктора Бера. Оказалось, что в гараже гебитскомиссара у Струтинского нашлись свои люди, и он вот уже третью неделю распоряжался здесь с такой свободой, как если бы это был его собственный га-

раж. Машинами этого гаража не раз пользовались Кузнецов и Гнедюк; любому из разведчиков, связанных со Струтинским, могла быть отныне предоставлена легковая, а если нужно, то и грузовая машина из гаража гебитскомиссариата. Струтинский заявил нам при встрече, что имеет полную возможность убить Бера или увезти его живым на его же личной машине. Ни то, ни другое не входило в наши расчеты.

Мы долго во всех подробностях расспрашивали Струтинского о его работе — расспрашивали так детально и придирчиво, что его самого одолело, наконец, сомнение и беспокойство. Он робко, неуверенным голосом, не переставая вопросительно глядеть то на меня, то на Лукина, доложил еще об одном из своих ровенских дел. Несколько дней назад он познакомился с девушкой, которую зовут Лариса. Она работала в гестапо в качестве уборщицы. Лариса охотно приняла на себя обязанности разведчицы. По совету Струтинского теперь она с особым усердием стала «убирать» помещение гестапо. Начальство ею было довольно, доволен и Николай.

— Вот результат ее работы,— закончил он свое сообщение и развернул аккуратно сложенные, использованные листы копировальной бумаги. Многие из них были почти целыми и на глянцевой поверхности их четко выступали светлые дорожки строчек. Лукин взял зеркало, приложил к бумаге и начал читать...

Первое, что ему попалось, было одно из секретных донесений в Берлин; особой ценности оно не представляло; но следующий лист заставил Лукина насторожиться. «Список лиц, содержащихся в ровенской городской тюрьме»,— прочел он в зеркале заголовок.

Разобравшись в бумагах, мы поняли, что уборщица из гестапо, найденная и привлеченная к работе Струтинским, представляет для нас клад. Если только...

Вот это «если» и не давало покоя.

— Кто тебя с ней познакомил? — допытывались мы с Лукиным у Николая.— Кем она была до войны? Почему оказалась в гестапо? Кто надоумил ее собирать использованную копирку?..

Николай сосредоточенно, стараясь быть очень точным, подробно рассказывал, как и при каких обстоятельствах он познакомился с Ларисой. Познакомил их Афанасий Степочкин, бывший военнопленный, человек проверенный,

известный в отряде. Он, в свою очередь, знает Ларису давно, не раз говорил с нею по душам и ручается за нее головой. До оккупации Лариса училась в техникуме. Уборщицей в гестапо она оказалась случайно — пошла на эту работу для того, чтобы избежать мобилизации на немецкую каторгу. Собирать использованную копирку предложил ей сам Николай. Лариса уверяет, что это не стоит ей большого труда, она предложила вещь более значительную: подобрать ключи к письменным столам сотрудников гестапо и извлекать из ящиков все, что там может быть интересного. Поскольку это дело особо серьезное, Николай и приехал просить нашей санкции...

Все шло очень гладко, подозрительно гладко... Неужели — ловушка?..

Это было бы чудовищно — в такой момент дезинформировать наше командование под диктовку гестапо!

И когда вскоре нас постигла первая неудача, мы испытали чувство сложное и безотчетное. Это трудно передать, но как ни тяжко переживалась первая неудача, как ни болело сердце за товарища, попавшего в руки врага, мы не могли не испытывать облегчения. Мы убеждались в том, что наши удачи — это действительно наши удачи, что наши разведывательные данные достоверны, что не гестаповцы водят нас, а мы водим их вокруг пальца.

Это утешительное, бесконечно радостное сознание досталось нам дорогой ценой.

Несколько раз в Ровно ходил разведчик Карапетян. Он был из бывших военнопленных и в отряд вступил в начале 1943 года. Задания Карапетян выполнял хорошо, и не было оснований не посылать его в Ровно. В городе он обычно останавливался на явочной квартире, где жила жена лейтенанта Красной Армии с двумя детьми. Однажды Карапетян пришел на эту квартиру пьяный. Там оказалось двое незнакомых людей. Не смущаясь их присутствием, забыв обо всем на свете, Карапетян начал хвастать:

— Вы знаете, кто я? Я опасный для немцев человек!

Хозяйка, став за спинами незнакомцев, делала Карапетяну знаки: молчи, мол!

— Я знаю, ты помалкивай! — отвечал Карапетян. — Меня голыми руками не возьмешь. Вот, видали! — и он показал бывшие при нем револьвер и гранаты.

Незнакомцы послушали и, поспешно попрощавшись, ушли.

— Что ты наделал? — всплеснула руками хозяйка.— Это же агенты! Беги скорей!

Карапетян, сразу протрезвев, кинулся во двор и скрылся.

В лагере он нам ничего не сказал о случившемся и через день был снова послан в Ровно. Но тут Николай Струтинский, который тоже пользовался этой квартирой, приехал из города с вестью, что хозяйку и ее детей забрали в гестапо.

Карапетян был немедленно отозван из Ровно и допрошен в штабе отряда. Он во всем признался. Преступление это нельзя было простить. По решению командования отряда Карапетян был расстрелян.

Последствия этого, по сути дела предательского поступка были самые тяжелые. Мало того, что была провалена одна из надежных явок, что хозяйку квартиры, честную и преданную советскую женщину, вместе с ее детьми забрали в гестапо, где их ждала неминуемая гибель,— украинским националистам удалось выследить Жоржа Струтинского. Это произошло именно тогда, когда он шел на явку, проваленную Карапетяном, ничего не зная о случившемся. Выследив Жоржа, предатели пустились на провокацию.

— Послушай, хлопец,— сказал молодчик, одетый в полувоенную форму, остановив его на улице и взяв за локоть.— Есть дело к тебе.

— Какое у тебя ко мне дело? — спросил Жорж.

— Мы знаем, кто ты есть. Не отказывайся! Мы хотим перейти к партизанам. Мы хотим бить швабов. Атаман нас обманул.

Такие случаи бывали часто. Жорж знал о них и не удивился. Он сказал однако:

— Если хотите, чтоб вам верили, вы должны связать своих офицеров и притащить с собой.

Молодчик согласился. Они условились с Жоржем о встрече на берегу речушки, в километре от города. Через три дня перебежчики должны были быть там со связанными офицерами. Жорж разыскал брата и посоветовался с ним. Тот дал свое согласие. Место встречи оба брата хорошо знали: в детстве им часто приходилось кататься на велосипедах на берегу этой речушки.

— Встретишь их там, и оттуда с ними прямо на «маяк»,— сказал Николай.— Осторожней! Помни, с кем имеешь дело.

В назначенный час Жорж был на месте. Сначала ему показалось, что здесь никого нет, но затем из-за куста поднялись двое. Жорж обратился к ним с условленным паролем:

— Вода холодная, хлопцы?

— Мы еще не купались,— услышал он в ответ. Отзыв был правильный.

Но в то же мгновение из-за других кустов, из-за камышей, из-за бугров — отовсюду стали выскакивать гестаповцы. Жорж узнал их по черной одежде.

Он выхватил свой ТТ и начал в упор расстреливать предателей и гестаповцев.

— Взять живьем! — услышал он откуда-то сзади.

Первая пуля попала Жоржу в грудь. Патронов в пистолете не оставалось. Жорж бросился в реку. Здесь его настигла вторая пуля, попавшая в ногу.

Его схватили, связали и истекающего кровью потащили в гестапо.

Глава восьмая

С утра до вечера на русском кладбище Грабник было людно. Люди навещали могилы своих близких. Этими близкими были не только мать, отец, братья и сестры, но и безвестные военнопленные, замученные в лагерях и похороненные здесь. Горожане подолгу стояли у братских могил. Может быть, это кладбище было единственным местом, где можно было, не таясь, не озираясь по сторонам, забыв о смертельной угрозе, выказывать свою благодарность, свою любовь и преданность Красной Армии. Эти могилы напоминали не только о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Родины, но и о тех, живых, что продолжали сражаться, о тех, кого с таким нетерпением ждали и в чей приход так верили.

Жители заботливо убирали могилы цветами, подолгу простаивали здесь в скорбном молчании.

Иногда в толпе людей, окружавших свежую могилу, появлялась фигура худощавого человека с чуть приподнятым правым плечом. Люди знали, что это — сторож русского кладбища. Лицо его, несколько вытянутое, хранило всегда одно и то же выражение суровости и безучастия, серые глаза с холодным вниманием присматривались ко всему; почти ни с кем сторож не говорил, и трудно было понять, зачем он здесь, в толпе — по велению ли сердца,

по долгу ли своей мрачной службы или просто по привычке...

Никто не знал, чем занимается Николай Иванович Самойлов. А дни его были наполнены самыми неотложными и разнообразными делами.

Одним из таких дел была отправка военнопленных в партизанский отряд. Русское кладбище Грабник, куда почти не заглядывали немцы, было местом сбора этих людей.

Работой по отправке руководил Владимир Соловьев. К этому времени он был знаком с большинством военнопленных, находившихся в селах Гощанского района, многих знал по имени и в лицо, со многими случалось ему говорить по душам.

Предварительную беседу с отправляемыми обычно вели Кутковец и его агрономы. Затем с каждым из тех, кто шел в партизаны, с глазу на глаз беседовал Соловьев. Он нес ответственность за каждого отправляемого в лес.

Разговаривая с военнопленными, Соловьев изо всех сил старался преувеличить трудности, которые ждали их в партизанском отряде, нарочно сгущал краски, рисовал все возможные и невозможные опасности, чтобы люди знали, на что идут. Но случаев отказа почти не бывало.

Когда вопрос об отправке того или иного товарища был решен, следовала главная часть беседы: Соловьев давал ему прочесть советскую листовку или газету.

И каждый раз он наблюдал одно и то же волнующее зрелище. Взрослый мужчина, прошедший тяжелые испытания, многое на своем веку повидавший, брал этот измятый, замусоленный, прошедший через сотни рук газетный листок и плакал, как ребенок, целовал, смеялся, не зная, как выразить свою радость.

На кладбище Грабник будущих партизан уже ждал присланный Новаком проводник. Его знакомили только с одним человеком из группы — старшим. Затем проводник уходил, за ним на некотором расстоянии шел старший, а за старшим — вся группа цепочкой, сохраняя расстояние, на котором каждый последующий виден предыдущему. За чертой города цепочка растягивалась на большое расстояние: люди шли примерно в полкилометре друг от друга.

До сих пор мы сдерживали количественный рост отряда, так как считали, что чем меньше нас, тем меньше мы

привлекаем к себе внимания и тем легче, стало быть, заниматься разведкой. Если бы не это, мы, при наших возможностях в Ровно, Луцке, Здолбунове, при наших связях на селе, могли бы в самый короткий срок увеличить отряд на несколько тысяч человек. Но мы набирали только тех людей, которые хорошо знали города, имели в них родственников или близких знакомых,— только тех, кто мог быть полезен в деле разведки.

Но обстановка вокруг становилась все сложнее, и люди, приходившие к нам с кладбища Грабник, принимались как желательное пополнение. Отряд наливался новыми силами.

Враги сосредоточили свое внимание на нашем отряде. Теперь они уже во всеуслышание объявили о войне против партизан. Не проходило дня без стычки.

И вопрос стоял теперь по-другому. Обеспечить нормальную работу — значило прежде всего укрепить самый отряд, умножить число его бойцов, превратить небольшую, легко маневрирующую группу в крупное боевое соединение. Нам нужны были люди.

И люди шли.

Шли из Ровно, шли из Здолбунова, шли из районных центров, из ближних и дальних сел, из лесов. Шли горожане и жители сел, бывшие военнопленные и люди, бежавшие из банд националистов. Последние появлялись у нас все чаще и чаще.

Так еще полгода назад в отряд пришли первые перебежчики. В их числе был Борис Крутиков, лейтенант Красной Армии, бежавший из плена, насильственно забранный националистами в их «курень», где его сделали военным инструктором. Воспользовавшись первым же удобным случаем, Борис Крутиков бежал из лагеря «Бульбы», захватив и доставив нам оружие, а также ценные разведывательные данные.

К нам пришли Василий Дроздов и его жена Женя, Валентин Шевченко, Корень и десятки других честных людей.

Пришла и Наташа Богуславская, молодая советская активистка, в прошлом секретарь райкома комсомола, которую националисты держали у себя под строгой охраной. Наташа ухитрилась не только обмануть охрану, но и разоружить целую сотню бандеровцев, и привезла к нам на фурманке их автоматы, патроны, винтовки. Разоружение

оказалось делом довольно несложным. Атаманы не доверяли своей «рати». Они прятали оружие в склад и раздавали его только перед боем, а после боя отнимали. Наташе пришлось, таким образом, иметь дело не со всеми головорезами, а лишь с одним часовым у склада, которого она быстро уговорила; тот помог ей погрузить оружие на повозку и вместе с нею прибыл в партизанский отряд.

...Стычки учащались, нужда в людях ощущалась в отряде как никогда остро, когда командование поручало нам очередное задание — задание, которое должно было сократить численность отряда.

Как всегда, Москва не приказывала, а запросила:

— Можете ли вы выделить группу подрывников для посылки в район Ковеля с заданиями диверсионного характера?

Мы ответили без колебания:

— Можем.

29 мая из Цуманских лесов в Ковельские лесные массивы вышла саперная рота в составе шестидесяти пяти человек.

Путь им предстоял нелегкий: шесть-семь суток итти ощупью, неся на себе весь тол, какой был в отряде к моменту их ухода и который мы полностью им передали; количество, достаточное для взрыва двенадцати эшелонов.

Чтобы рота смогла добраться в район Ковеля незамеченной, без стычек с врагами и, следовательно, без раненых, мы на всю дорогу заготовили ей продукты — дали сухарей, копченой колбасы,— все это также легло тяжелым грузом на плечи саперов.

Во главе роты пошел майор Фролов.

Перед уходом, выстроив роту, он пришел за мной, чтобы я сказал бойцам напутственное слово.

Я начал с предупреждения о том, что итти надо осторожно.

— Вам хорошо известно,— говорил я,— что против небольших групп разведчиков немцы и предатели устраивают засады из двух-трех сотен людей с пулеметами. Вам известно также, что стоит нам дать о себе знать, как против нас высылаются крупные части карателей. Не любят и боятся нас гитлеровцы. Но и нам сейчас невыгодно с ними драться. Значит, надо, чтобы враги не знали, что вы — часть нашего отряда. Нигде ни одному человеку не говорите об этом. Не говорите об этом даже между собой. За-

будьте мою фамилию, забудьте фамилию Фролова. Он также достаточно хорошо известен вражеской агентуре. С сегодняшнего дня зовите Фролова «дядя Володя» или просто «товарищ командир»...

Так инструктировал я выстроенную перед уходом саперную роту.

«Дядя Володя» — это не случайный и не надуманный псевдоним майора Фролова. Так называл его молодой партизан Пронин, геройски погибший в первый же день своего пребывания в тылу врага. Он был подстрелен еще в воздухе. когда летел с парашютом, схвачен врагами и зверски замучен. С тех пор и осталось за Фроловым это имя — дядя Володя; произнося его, партизаны каждый раз вспоминали Пронина.

Рота выступила. По обе стороны лесной просеки, по которой шел путь из лагеря, стояли все подразделения отряда, выстроенные в почетный караул. Многие друзья, успевшие за время партизанской жизни привязаться друг к другу, встречаясь каждый день, деля все радости и невзгоды, теперь расставались надолго. У некоторых в уходившей роте были родные — брат, отец, муж. «Может быть, прощаемся навсегда»,— невольно думалось каждому.

Командиром роты пошел лейтенант Константин Григорьевич Маликов.

Инженер по образованию, он, так же как и все наши москвичи, в армию вступил добровольно, в первые же дни войны, участвовал в обороне Москвы, особенно отличился при разминировании вражеских минных полей перед тем, как советские танки должны были начать свое знаменитое контрнаступление.

В отряд он тоже пошел добровольцем.

Помню, он зашел ко мне дня за три до вылета,

— Разрешите обратиться по личному вопросу!

— Слушаю вас, товарищ Маликов.

— Я люблю одну девушку и хочу сходить с нею в загс. На это может потребоваться три-четыре часа. Могу ли я отлучиться на это время?

— Отлучиться-то можете, но зачем вам торопиться с женитьбой? Вернетесь после войны, тогда и женитесь.

— Она военврач и уезжает на фронт сегодня вечером,— сдержанно ответил Маликов.

Человек он был бесстрашный. Его диверсии на желез-

ных дорогах дорого обошлись оккупантам. Как и Хозе Гросс, инженер Маликов стал незаменимым мастером подрывного дела. На его минах, как правило, вражеские паровозы взлетали в воздух, а вагоны разбивались в щепки.

Но никто не мог разгадать, почему он был всегда задумчив. Часто можно было видеть, как Маликов, удалившись от товарищей, долго сидит где-нибудь один, занятый своими думами.

О чем он думал? О своей молодой жене, сражающейся где-то на другом фронте? О будущем? Придумывал ли новые механизмы для взрыва мин?

Когда в бою с немцами разрывная пуля раздробила Маликову два пальца правой руки — указательный и средний, он продолжал стрелять из автомата левой рукой. Только по окончании боя Маликов обратился к Цесарскому и попросил, чтобы тот ампутировал ему раздробленные пальцы.

Не прошло недели после ампутации, не дожидаясь, пока затянутся раны, Маликов ушел на новую операцию.

Мы все знали его как страстного шахматиста. Карт в отряде не признавали. Они сжигались немедленно, как только попадали к нам в виде трофеев или заносились кем-нибудь из новичков. Но шашки, домино и особенно шахматы были общим увлечением. Нашлись специалисты, которые перочинным ножом вырезывали шахматные фигуры из сосновой коры, лепили их из теста и воска. Шахматные турниры проводились в отряде непрерывно: заканчивался один — начинался другой. В шахматы Маликов играл превосходно. Он оказывался неизменным победителем всех турниров, в которых участвовал.

Он давал сеансы одновременной игры на десяти — пятнадцати досках и на всех выигрывал или, в крайнем случае, сводил партию вничью. Наконец, когда легкие победы ему наскучили, он придумал способ играть «втемную»: отвернувшись от противников и не глядя на доски, а только называя фигуры и поля. И тоже выигрывал.

С саперной ротой пошел также Макс Селескериди, пошел Григорий Сарапулов и другие лучшие подрывники отряда.

Досадно было Коле Фадееву и Хозе Гроссу, что не могут они принять участие в походе. С завистью смотрели они на своего друга Маликова, на деловитого Сарапулова, который всю ночь перед выходом готовил в путь свое отде-

ление. Да и те, прощаясь, чувствовали себя неловко перед ранеными товарищами. Маликов проговорил что-то в том смысле, что постарается поработать за всех троих — за себя, за Гросса и за Колю.

Фадеева это, однако, мало утешило. Весь день, молчаливый и злой, лежал он на своей повозке, служившей ему постелью.

Те, кто уходил, и те, кому пришлось остаться, хорошо сознавали, насколько важно и ответственно дело, порученное нам командованием. Враг подбрасывал к линии фронта новые войска и технику. Уничтожение эшелонов с вражескими пушками, которые могли завтра направить свои дула против наших солдат, которые, может быть, завтра же пошли бы в контратаку, было делом почетным.

В радиограмме командования обращалось внимание на то, чтобы по возможности сильнее нарушить работу железных дорог Ковель — Сарны — Киев и Ковель — Ровно — Киев.

Еще в январе нам удалось связаться с одним поляком, жителем села Ямного, Клесовского района. Он сам отыскал наших разведчиков и представился: «Горбовский Антон, бывший драгун польской армии...» Одет он был странно в калошах на босу ногу и с зонтиком в руке. Однажды он приехал к нам верхом на какой-то тощей кляче, но со шпорами на босых ногах. Говорил Горбовский быстро, фальцетом. Наши разведчики почему-то прозвали его «хранцузом». Он рассказал о предателях, живших в его селе, просил нас с ними расправиться. Потом просил уполномочить его на организацию партизанского отряда из поляков. «Хранцузу» сначала не верили, но потом убедились, что он действительно всеми силами души ненавидит гитлеровцев и готов с ними бороться не на жизнь, а на смерть.

О себе «хранцуз» рассказал, что осенью 1939 года, будучи в польской армии, он во время боя с частями Красной Армии, сдался в плен.

— Я не хотел воевать против Советов,—оправдывался Горбовский.— Я хотел воевать против гитлеровцев, напавших на нашу страну, но был направлен против Красной Армии...

— Так вы уже давно симпатизируете Советскому Союзу? — не дав ему договорить, спросил Лукин, возглавлявший группу разведчиков.

— Нет! — откровенно признался поляк.— О Советах я знал очень мало и только плохое... Ведь в наших газетах о России писали, как о дикой стране. Да и теперь я почти еще ничего не знаю о вас. Но я был против Гитлера. Я всегда ненавидел фашистов. Вы знаете, что они сделали с нами, с военнопленными в 1941 году? Всех расстреляли! — почти провизжал он.

— Значит, перед нами сейчас уже не драгун польской армии, а его дух, что ли? — с улыбкой спросил Александр Александрович.

Разведчики, с нескрываемым интересом смотревшие на «француза», громко рассмеялись.

— Я сказал не о себе, а о тех, кто был со мною в лагере военнопленных под Смоленском. Мне-то удалось сбежать...

И Горбовский подробно рассказал, как гитлеровцы захватили военнопленных поляков в лагере под Смоленском, как многие из них радовались в надежде, что их отпустят по домам, как им предложили сначала добровольно, а затем под угрозой расстрела пойти в гитлеровскую армию и как, наконец, отказавшихся — а их было свыше девяноста процентов — ежедневно группами по сто-двести человек уводили из лагеря неизвестно куда.

— Когда очередь дошла до меня, я, как и большинство сидевших в лагере, уже догадывался, что гитлеровцы ведут нас на расстрел. Я решил бежать... Нас погрузили на машины и повезли. Ночь теплая. Как только машины остановились и мы сошли на землю, я понял, что бежать невозможно: эсэсовцы с автоматами и пулеметами, с овчарками оцепили нас со всех сторон. Огромная яма освещалась фарами привезших нас автомобилей. Недолго думая, я разулся и стал карабкаться на дерево... На моих глазах гитлеровцы расстреляли человек восемьдесят... всех, кого привезли туда вместе со мною... — Горбовский говорил это уже совсем другим голосом, так тихо, что его трудно было расслышать. На его глазах навернулись слезы.

Наступила пауза. Разведчики больше уже не улыбались. Их лица были серьезными, и они крепко сжимали в руках свои автоматы.

— А как же вам удалось уйти оттуда? Разве гитлеровцы не вызывали всех по списку? — спросил один из разведчиков.

— Нет, не вызывали... И не пересчитывали... Я и сам

боялся, что начнут проверять... А ушел я оттуда почти под утро, когда яма была закопана и гитлеровцы уехали из леса... Разве можно простить им это, — спросил Горбовский, оглядывая слушателей. И сам же ответил:

— Никогда!

Этот внешне странный человек сумел организовать отряд, в котором было до ста бойцов, поляков из окрестных сел.

Ему-то мы и поручили операции на железной дороге на участке Клесово — Коростень.

Кроме того, стремясь как можно лучше выполнить задание командования, мы послали связных к Фидарову в Сарны и к Красноголовцу в Здолбунов. Обеим подпольным группам поручалось усилить диверсионную работу на железных дорогах.

Спустя десять дней мы уже могли доложить командованию о первых результатах.

Эти результаты почувствовали на себе оккупанты. Один за другим уничтожались эшелоны и мосты во всей округе— в радиусе трехсот километров от нашей базы.

Тем временем разведчики и подпольщики из Ровно, Здолбунова и Луцка продолжали отправлять к нам в отряд через «маяки» проверенных людей. Отряд продолжал расти.

Глава девятая

У моего чума появился встревоженный связной.

— Товарищ командир, вдоль дороги со стороны села Журавичи движется немецкая колонна. Впереди конные, за ними солдаты на фурманках. Есть и пушки, —доложил он.

Связной был послан ко мне секретным постом, выдвинутым на одну из дорог в двух километрах от лагеря.

Не успел я разобраться в этом движении, как одновременно, запыхавшись, подбежали еще двое: боец с одного из постов, охранявших лагерь, и партизан, пасший скот на лесной полянке близ лагеря. Оба подтвердили, что видели немецких конников.

Сомнений быть не могло: немцы подходили к лагерю с трех сторон.

Я поручил Стехову выдвинуться с поддежурным взводом в сторону противника и организовать там командный

пункт. Сам остался на месте, чтобы подготовить все подразделения к бою и держать связь с другими постами.

Не успел Сергей Трофимович пройти и двухсот метров, как длинная пулеметная очередь прорезала лесную тишину. За ней послышался плотный автоматный и винтовочный огонь.

Я решил, что стреляют наши, и, опасаясь, что они зря пожгут патроны, которых у нас и без того мало, послал связного к Стехову с приказом: стрелять прицельно, беречь боеприпасы.

Не успел я отдать приказание связному, как мне вновь докладывают:

— Товарищ командир! С поста сообщают: противник на дороге разворачивает пушки.

Приказываю Базанову:

— Взять тридцать пять автоматчиков, захватить пушки!

Базанов мигом скрылся в лесу.

Бой разгорался. Издали доносилось грозное партизанское «ура».

«Неужели Стехов повел людей в атаку? — подумал я, прислушиваясь к стрельбе.— Не предупредил меня!» Но связной вернулся и доложил:

— Ваше приказание передано. Товарищ Стехов сообщает, что стрельба идет со стороны немцев, а наши стреляют мало. Он удивляется, что со стороны противника беспрерывно слышится русское «ура».

— Передать Стехову: людей в атаку не пускать. Справа от него — пушки, туда выслан Базанов. Пусть с ним свяжется.

Обстановка была неясной. Почему со стороны противника кричат «ура»? Откуда появились в лесу пушки? Неужели фашисты послали вперед предателей? Ни я, ни оставшийся со мной Лукин ничего понять не могли.

Наконец, все прояснилось.

Командиром поддежурного взвода, который пошел со Стеховым, был Борис Крутиков. Применяясь к местности, прячась за деревьями и пнями, он и его бойцы близко подобрались к противнику. Вдруг совершенно отчетливо Крутиков услышал:

— Ты что же, Борис, своих стреляешь? — кричал ему женский голос со стороны наступавших.

Крутиков присмотрелся и чуть не обмер. В «противнице» он узнал свою соученицу, с которой когда-то в киев-

ской школе сидел за одной партой. Они бросились друг другу в объятия.

А рядом события развертывались так.

Приблизившись к дороге, где противник готовил к бою артиллерию, Базанов, чтобы нагнать на врага панику, громко скомандовал:

— Батальон! Первая рота — вправо, третья — влево, вторая — за мной!

Тут к нему подбегает незнакомый человек:

— Да наш батальон уже развернулся!

— Какой батальон?

— Второй батальон Ковпака!

Стрельба прекратилась, началось «братание». На нас «наступали» ковпаковцы!

С Сергеем Трофимовичем Стеховым мы пошли к Ковпаку.

Это была наша вторая встреча с легендарным партизанским командиром.

Еще в феврале, в Сарненских лесах, услышали мы о Ковпаке. Из Ровно, Сарн, Клесова и Ракитного нам сообщали о крупном партизанском соединении, действующем где-то на севере от нас.

— Какой-то Ковпак ведет тысяч сто партизан. Они бьют фрицев почем зря,— говорили местные люди.

«Фельджандармерия и каратели сильно обеспокоены каким-то крупным партизанским отрядом под командованием Ковпака,— писал из Ровно Кузнецов. — Немцы и немки с ужасом рассказывают, что Ковпак везде появляется неожиданно, истребляет немецкие гарнизоны, взрывает мосты и поезда. Боятся, как бы он не нагрянул в Ровно...» Что это за отряд и кто такой Ковпак, мы тогда еще не знали.

Вскоре Валя Семенов, вернувшись с разведки, доложил, что в Князь-село прибыли батальоны Ковпака. Они расквартировались по соседним с нами селам.

— Ты их видел?

— Самого Ковпака не видел, но к нам едут его представители.

И действительно, через час я познакомился с представителем Ковпака. Я увидел невысокого коренастого человека с большой бородой. Он слез с седла и представился:

— Вершигора, начальник разведки отряда Ковпака.

На петлицах его гимнастерки — три шпалы подполковника. На левой стороне груди— орден Красного Знамени.

На наши расспросы Вершигора отвечал скупо. Зато сам очень подробно расспрашивал обо всем, выяснял обстановку: как расположены немецкие гарнизоны, много ли войск в Ровно и области, какие села контролируются партизанами? Особенно интересовали нашего гостя украинские националисты. Ковпаковцам впервые приходилось с ними здесь сталкиваться.

— Сидор Артемович Ковпак и Семен Васильевич Руднев решили отпраздновать юбилей Красной Армии,— сообщил Петр Петрович Вершигора.— Они просили меня передать вам приглашение прибыть к нам в Князь-село на праздник.

На рассвете 23 февраля, в сопровождении Пашуна и небольшой охраны, я выехал в Князь-село.

Много раз за время жизни в тылу врага мне приходилось встречаться с партизанскими отрядами, группами разведчиков, с отдельными партизанами. «Мы не одни здесь. Нас много. Мы везде»,— думалось всякий раз при таких встречах. Каждая из них надолго западала в душу.

Но в тот февральский день, направляясь в отряд Ковпака, я испытывал особенное волнение. Мне казалось, что это будет одна из тех встреч, которые запоминаются на всю жизнь.

Проезжая через села Ленчин и Рудню-Ленчинскую, где расположились подразделения Ковпака, я забыл, что нахожусь во вражеском тылу. По улицам ходили бойцы, вооруженные автоматами и ручными пулеметами. На шапках ярко горели красные ленты, красноармейские звезды. У многих ковпаковцев на гимнастерках красовались новенькие ордена и медали. Кое-где у хат стояли станковые пулеметы и даже орудия. Партизаны распевали песни и, когда наша фурманка проезжала мимо них, лихо здоровались.

Ковпака я почему-то представлял себе человеком огромного роста, богатырской силы, с громким, далеко слышным голосом. Поэтому я искренне изумился, когда увидел перед собой очень пожилого, худощавого человека, которому на вид нельзя было дать меньше лет шестидесяти. Говорил он живым, даже немного вкрадчивым голосом. На груди его сверкали Золотая звезда и орден Ленина.

— Здравствуйте, товарищ Медведев! — сказал Сидор Артемович.— Я слышал о вас еще в Брянских лесах, и вот встретились здесь, на Украине.

Ковпак стал забрасывать меня вопросами. Давно ли мы в этих местах, как ведем работу и долго ли еще будем сидеть под Ровно? Я подробно рассказал ему обо всем.

— А сидеть будем здесь до тех пор, пока сюда не придет Красная Армия,— закончил я.

В это время в комнату вошел высокий красивый человек тоже с орденами на гимнастерке. Лицо у него было очень утомленное.

— Знакомьтесь, это мой комиссар — Семен Васильевич Руднев,— показывая на вошедшего, сказал Ковпак.

Мы тепло поздоровались. Семен Васильевич включился в разговор.

— Правда, что вы имеете в Ровно своих партизан?— спросил он.

Услышав утвердительный ответ, он принялся расспрашивать меня обо всех тонкостях дела: как мы добились этого, по каким документам наши люди туда ходят; как удалось установить связь с местной большевистской подпольной организацией; кто такой Новак, как мы совместно организуем операции?

— Вот и нам бы организовать такую работу, Сидор Артемович,— проговорил Руднев, обращаясь к Ковпаку.

Сидор Артемович попросил меня снабдить начальника разведки подходящими документами и добавил:

— Хлопцы для города у нас найдутся, только вот немца у меня нет.

— Какого немца? — спросил Руднев.

— Да у них один партизан в Ровно под немца работает.

— Что же он?.. На самом деле из немцев, или?..— обратился ко мне Руднев.

— Нет, наш советский инженер, но прекрасно владеет немецким языком и усвоил все манеры немецкого офицерства.

— Это интересно... А можно его повидать?

— К сожалению, нет. Он сейчас в Ровно,— ответил я.

— А нельзя нам через вашего «немца» узнать о результатах диверсий, которые мы провели в Ровенской области?

Я обещал, что поручу это Кузнецову.

Близился вечер. В трех комнатах были накрыты праздничные столы. За ними расселись штабные работники, командиры батальонов и рот — всего человек семьдесят.

Первый тост — за товарища Сталина — предложил Сидор Артемович Ковпак. За ним выступил Семен Ва-

сильевич Руднев. Нужно было видеть, с какой преданностью и с каким восхищением смотрели на командира и комиссара собравшиеся за столом ковпаковцы!

Затем слово предоставили мне.

Я говорил о своем отряде; о том, какой переполох у фашистов вызвало появление под Ровно Ковпака; не случайно каратели, заходя в села и хутора, прежде всего спрашивают: «Ковпака нет?» Рассказал и о том, что фашистские «правители» в Ровно и их жены смертельно боятся, что Ковпак нападет на их «столицу».

А через три дня, когда соединения Ковпака покидали наши места, мы передали комиссару Рудневу подробные сведения о том, что его интересовало.

...Со времени этой встречи прошло четыре месяца. Мы успели перебраться дальше на запад, за реки Случь и Горынь, обосновались в Цуманских лесах, закрепились в Ровно, в Луцке и в Здолбунове. И вот теперь нам снова предстоит волнующая встреча с Ковпаком.

Да и ковпаковцы изменились, выросли за эти четыре месяца. Теперь они шли на Карпаты, шли крепко вооруженные, хорошо одетые и обутые.

Неожиданность их появления в наших новых краях объяснялась тем, что двигались они быстро; в последний переход они сделали в сутки свыше 60 километров. Ясно, что ни наша разведка, ни тем более местные жители не могли предупредить нас об их приближении. А за немцев их приняли потому, что конники-ковпаковцы почти все были одеты в трофейное немецкое обмундирование.

Несколько дней простояли ковпаковцы неподалеку от нашего лагеря, и каждый день то Ковпак с Рудневым приходили к нам в гости, то мы ходили к ним.

— Покажите же нам вашего «немца»,— при каждой встрече напоминал Сидор Артемович.

Однажды, когда Ковпак и Руднев пришли к нам, я представил им только что возвратившегося из Ровно Николая Ивановича.

— О, це дило, то дило,— говорил Ковпак, слушая рассказы Кузнецова о его работе.

За столом Сидора Артемовича удивила колбаса, которой мы потчевали гостей. Была и «московская», и «краковская», и «чайная», и сосиски, и окорока.

— Откуда така добра ковбаса? — спросил он.

— Сами делаем, Сидор Артемович.

У нас к тому времени действительно наладилось производство колбасы. Но не ради роскоши или прихоти занялись мы этим делом. Разведчики уходили из отряда на неделю, на две. По нескольку человек постоянно дежурили на «маяках». Им надо было питаться, а заходить в села за продуктами не разрешалось. Что можно было им дать с собой, кроме хлеба? Вареное мясо быстро портилось, и люди жили впроголодь. Производство колбасы явилось блестящим выходом из положения. Специалисты-колбасники нашлись у нас заправские. Все это я и рассказал Сидору Артемовичу.

Часа через два, когда мы еще сидели за столом, появилась целая группа ковпаковцев.

— Товарищ командир Герой Советского Союза! — обратился один из них к Ковпаку.— Разрешите обратиться к полковнику Медведеву.

— Разрешаю,— ответил Ковпак.

— Товарищ полковник, мы к вам с просьбой обучить нас делать колбасу.

Оказывается, пока мы сидели и закусывали, Сидор Артемович послал связного с запиской к своему начальнику хозяйства, чтобы тот выделил людей для обучения их колбасному делу.

...Соединение Ковпака ушло дальше по своему маршруту.

Расставаясь, мы выработали специальный код и условились о расписании для радиосвязи и позывных, чтобы взаимно информировать друг друга обо всем, что может помочь обоим отрядам.

Примерно через неделю прибыло сообщение от Кузнецова, что в ближайшие дни из Берлина в свою главную квартиру будет проезжать Гитлер. Его специальный поезд должен был следовать по железной дороге Львов — Здолбунов.

Зная, что соединение Ковпака должно будет пересекать эту дорогу, мы написали Сидору Артемовичу радиограмму. Но как назло наши радисты в течение трех суток не могли установить связь с радистами Ковпака. Когда, наконец, радиограмма была передана, ковпаковцы были уже далеко западнее железной дороги.

Впоследствии Петр Петрович Вершигора рассказал мне, как помогли ковпаковцам при следовании через Западную Украину наши данные о селах, в которых обосновались

националисты. Соединение Ковпака благополучно, не тратя лишнего времени и сил, миновало эти села. Однако о маршруте ковпаковцев предатели все же кое-что проведали и сообщили своим хозяевам. Об этом я в свою очередь рассказал Петру Петровичу. Не помогли предателям их старания! Карпатский рейд был совершен, соединение Ковпака прошло этот легендарный путь на горе врагам, покрыв себя неувядаемой славой.

Глава десятая

Эрих Кох... Пауль Даргель... Альфред Функ... Герман Кнут... Эти имена были хорошо известны на захваченной гитлеровцами территории Украины. Главари гитлеровской шайки со своими подручными грабили, душили, уничтожали все живое на украинской земле. Одно упоминание этих имен вызывало у людей содрогание и ненависть. За ними вставали застенки и виселицы, рвы с заживо погребенными, грабежи и убийства, тысячи и тысячи погибших, ни в чем не повинных людей.

«Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не избежать карающей руки замученных народов».

Эти слова нашего вождя мы знали наизусть. Они напоминали нам о нашем патриотическом долге, о долге перед теми, чья кровь вопиет о возмездии. Они служили нам программой нашей боевой работы. Настала пора переходить к активным действиям.

И когда Николай Иванович Кузнецов, снова по собственной воле, без вызова, явился в лагерь и стал просить нашей санкции на совершение акта возмездия над заместителем гаулейтера Паулем Даргелем, мы не стали его дольше удерживать.

Если Эрих Кох, являясь одновременно имперским комиссаром Украины и гаулейтером Восточной Пруссии, в Ровно бывал только наездами, то Пауль Даргель, правительственный президент, заместитель Коха по политическим делам, находился в «столице» почти безвыездно. Лишь время от времени он вылетал в Киев, Николаев, Днепропетровск или другие города, чтобы на месте направлять «деятельность» своры гитлеровских комендантов и губернаторов. Руководство бандами националистов исходило тоже от Даргеля.

В отряде Кузнецов пробыл несколько дней. Он подробно обсуждал с нами план ликвидации Даргеля. К этому времени Валя Довгер, работавшая в экспедиции рейхскомиссариата, успела хорошо изучить распорядок дня правительственного президента. Ни Валя, ни Кузнецов еще не знали, разрешим ли мы операцию, но уже готовились к ней. Валя сообщила Николаю Ивановичу о маршруте, которым обычно шел Даргель, она рассказала, что ежедневно, в четырнадцать часов тридцать минут, Даргель выходит из рейхскомиссариата и направляется к себе в особняк обедать. При этом его сопровождает адъютант в чине майора, который обычно носит подмышкой кожаную папку красного цвета. Самого Даргеля Николай Иванович видел только однажды на параде, когда тот выступал с речью. Но Кузнецов был твердо уверен, что узнает его.

— Память у меня хорошая,— сказал он, прощаясь с нами.— Никогда не забуду это звериное лицо, этот истерический голос — до сих пор он у меня в ушах...

Даргель занимал особняк на одной из главных улиц Ровно, которую немцы назвали «Шлосштрассе». На этой улице жили только высшие немецкие чиновники. Никто из местных жителей не имел права там появляться.

Двадцатого сентября шофер ровенского гебитскомиссариата, военнопленный Калинин, предоставил Николаю Ивановичу личную машину гебитскомиссара — новенький стального цвета «оппель-капитан».

На машину за шофера сел Николай Струтинский, одетый в форму немецкого солдата. Рядом с ним —Кузнецов в форме лейтенанта, с накинутой поверх кителя резиновой офицерской пелериной. Они поехали по маршруту, указанному Валей. Время приближалось к тому моменту, когда Даргель должен был показаться из рейхскомиссариата и итти в свой особняк. И Кузнецов, и Струтинский были уверены, что операция им удастся.

Стоять на улице с машиной и ждать было рискованно. На улице дежурили фельджандармы, один из них постоянно находился у особняка Даргеля.

Кузнецов и Струтинский остановили машину в переулке так, чтобы из-за угла им был виден подъезд рейхскомиссариата.

Стрелка часов приближалась к половине третьего, когда из подъезда рейхскомиссариата появился жандармский



Николай Струтинский

фельдфебель, а следом за ним человек в штатском,— очевидно, агент гестапо. Об этих охранниках Валя предупреждала Кузнецова. И жандарм, и гестаповец выходили обычно на одну-две минуты раньше Даргеля, чтобы осмотреть дорогу, по которой должен пройти правительственный президент.

Точно в 14.30 из того же подъезда вышел генерал, которого сопровождал майор. Последний нес подмышкой красный портфель.

— Они,— сказал Кузнецов.— Коля, газ!

Машина быстро настигла гитлеровцев. Кузнецов выскочил из кабины с пистолетом в руке и в упор расстрелял и генерала и адъютанта.

Он ни о чем не успел подумать. Он заметил только, что лицо генерала сегодня как будто выглядело смуглее, чем тогда, на параде.

От первой же пули Даргель покачнулся и упал навзничь.

Кузнецов выстрелил еще по разу в обоих фашистов, прыгнул в машину и уже на ходу захлопнул дверцу. В тот момент, когда он подбежал к машине, из кармана его выпал на мостовую бумажник.

Было время обеденного перерыва. На улице находилось много прохожих. Услышав выстрелы, люди бросились врассыпную. Захлопнулись окна. Недавно еще шумная улица притихла. Когда к убитым бросились жандармы, машины и след простыл.

Несколько дней мы не имели никаких сведений о последствиях совершенного Кузнецовым акта возмездия. Обычно не проходило дня, чтобы в лагере не появлялись два-три связных из Ровно. Теперь же, когда так хотелось знать обстановку в городе, как назло никто из связных не приходил. Было ясно, что эсэсовцы и жандармы оцепили город, и оттуда невозможно выбраться.

Больше всех мучился неизвестностью Кузнецов. Когда,

наконец, двое разведчиков — Куликов и Галузо — пришли в лагерь, Николай Иванович первым набросился на них, схватил принесенные ими немецкие и украинские газеты, начал читать и... обомлел.

«Убийство имперского советника финансов д-ра Геля и его адъютанта» — прочел он на первой странице. Тут же, в траурной рамке, был портрет Геля. Одутловатое лицо, чуб по-гитлеровски.

Гель совсем недавно, всего за несколько дней до того как был убит, приехал в Ровно выкачивать налоги с населения. Правительственный президент Даргель гостеприимно приютил его в своем особняке.

— Ай, Николай Иванович, как же это вы опростоволосились? — сказал я Кузнецову.

— Не знаю. Это навождение какое-то! Я хорошо запомнил лицо Даргеля. Оно только показалось мне смуглее, чем на параде. И адъютант шел с красным портфелем! Ничего не понимаю, что это значит? — удивлялся Кузнецов, обескураженный ошибкой.

В то время мы не знали, что Гель был очень похож на Даргеля.

Вслед за Куликовым и Галузо пришел в лагерь Коля Маленький. Он принес письмо от Вали. Валя тоже писала об ошибке Кузнецова.

— Мне ничего не передавала? — спросил Кузнецов.

— Ни,— отвечал Коля, отрицательно качнув головой.

— Чорт бы взял этого Геля! — и сокрушался, и сердился Кузнецов. — В следующий раз, перед тем как стрелять, придется фамилию спрашивать!..

Он никак не мог простить себе этой ошибки. Особенно он мучился тем, что и Валя — он это знал — тоже не простит ему. Ведь она сделала все возможное, «разжевала» операцию так, что ему оставалось только проглотить, а он...

— Разрешите мне вторично стрелять в Даргеля! — настаивал он передо мной.

— Успокойтесь, Николай Иванович! Ошибка не так уж значительна. Вы знаете, кто такой Гель и зачем он сюда приехал!

Мы принялись читать все газеты, какие принесли Куликов и Галузо. Все они выражали глубочайшую «скорбь» по поводу смерти имперского советника финансов. В сообщении об этой смерти, между прочим, говорилось, что

хотя убийца и был в форме немецкого офицера, но властям доподлинно известно, кто он.

Мы поняли, что немцы «напали на след». Поняли — и обрадовались. Мы боялись, как бы не остался незамеченным оброненный Кузнецовым бумажник.

Бумажник этот имел свою небольшую историю.

В одной из стычек с бандой националистов к нам в плен попал один из эмиссаров Степана Бандеры, прибывший из Берлина. Он рассказал, что в гестапо недовольны украинскими националистами, которые перепуганы разросшимся партизанским движением и не только не ведут с ним борьбы, но попрятались под крылышко крупных немецких гарнизонов.

— Гестапо приказало немедленно бросить все наши силы на борьбу с партизанами, — показал пленный.— Я прибыл сюда по личному приказанию атамана Бандеры.

У него-то, у этого эмиссара, и был нами взят бумажник — новенький, хорошей кожи, с клеймом берлинской фирмы. Содержимое бумажника полностью подтверждало показания пленного: паспорт с визой на право въезда на территорию Западной Украины; членский билет берлинской организации украинских националистов и директива за подписью «руководства», требовавшая немедленно обратить все силы на поголовное истребление советских партизан...

Мы начали с того, что пополнили бумажник. Мы положили в него примерно то, что обыкновенно находили у каждого взятого в плен или убитого в бою националиста: десятка полтора рейхсмарок, столько же американских долларов, купюру в пять фунтов стерлингов, советские деньги. Положили также несколько золотых коронок от зубов. Расстреливая мирных людей, националисты вырывали у своих жертв эти «ценности» и прятали по бумажникам и карманам; одними золотыми коронками мы набрали у бандеровцев, мельниковцев и бульбашей несколько килограммов золота.

Бумажник был наполнен. В последний момент, стараясь предусмотреть все, чтобы гитлеровцы этот фокус приняли за чистую монету, мы прибавили к содержимому бумажника три золотые десятки царской чеканки.

Что же касается директивы, то ее мы заменили новой, написанной тем же почерком и гласившей:

«Дорогой друже! Мы очень удивлены, что ты до сих пор не выполнил нашего поручения. Немцы войну проиграли, это ясно теперь всем. Нам надо срочно переориентироваться, а мы скомпрометированы связью с гитлеровцами. Батько не сомневается, что задание будет тобой выполнено в самое ближайшее время. Эта акция послужит сигналом для дальнейших действий против швабов». Следовала неразборчивая подпись.

Просматривая газеты, мы убедились, что бумажник свою роль сыграл.

На похоронах Геля, в своей надгробной речи, правительственный президент Даргель гневно обрушился на «господ атаманов», упрекая их в неблагодарности по отношению к Германии, которая их кормит, одевает и дает средства на борьбу с большевиками.

Стало известно также, что в Ровно по подозрению в убийстве Геля арестовано и расстреляно 38 виднейших украинско-немецких националистов, в том числе 13 работников так называемого «всеукраинского гестапо»; был арестован редактор газеты «Волынь», издававшейся на украинском языке под диктовку гитлеровцев и некоторые другие «деятели». Аресты не ограничились только Ровно.

Подобные вести не могли не вызывать в нас чувства удовлетворения. Но и они не приносили облегчения Кузнецову.

— Как это со мной случилось?! — продолжал он возмущаться.— Неужели надо и впрямь фамилию спрашивать?

— Какая, в сущности, разница — Даргель или Гель? — успокаивали мы Николая Ивановича.

К тому времени мы знали из газет, что Гель — видный фашист, что в национал-социалистской партии он состоял с 1926 года, что сам «фюрер» прислал ему на могилу свою высшую награду — «рыцарский крест».

Было, однако, серьезное обстоятельство, в равной степени тревожившее всех нас. Об убийстве Даргеля в тот же день, по докладу Кузнецова, было сообщено в Москву. Хорошо, что у товарищей в Москве оказались не такие горячие головы, как у нас в лесу, и они до проверки не стали информировать Главное командование. Но так или иначе мы оказались в смешном положении, да и в большом долгу перед командованием.

И Кузнецову было разрешено совершить покушение вторично.



Н. И. Кузнецов в Ровно

Всю ночь шла работа над серым «оппелем» ровенского гебитскомиссара. Машину перекрашивали в черный цвет; поставили другой номер, снабдили новыми документами.

И 30 сентября, на том же месте, где и прежде, Кузнецов метнул противотанковую гранату в Даргеля и его адъютанта. Оба фашиста упали. Небольшой осколок гранаты попал в левую руку Николая Ивановича. Это не помешало ему быстро сесть в машину.

На этот раз опасность была большая. Недалеко от места взрыва стояла немецкая дежурная машина типа пикап. Струтинскому пришлось проехать мимо нее. Гестаповцы метнулись к пикапу, но замешкался шофер. Насмерть перепуганный, он никак не мог завести мотор. Когда же, наконец, пикап тронулся с места, черный «оппель» был уже далеко.

Началась погоня.

На окраине города Кузнецов увидел гнавшийся за ними пикап с гестаповцами. Впереди, метрах в ста, был виден такой же черного цвета «оппель», как у Кузнецова, идущий в том же направлении.

— Сворачивай влево! — крикнул Кузнецов Струтинскому.

Струтинский так круто повернул машину, что она чуть не опрокинулась. Переулком они вылетели на параллельную улицу и помчались уже в обратном направлении — прямо к лесу.

Гестаповцы продолжали гнаться за «оппелем». За городом, на шоссе, они открыли по нему огонь. Пуля попала в покрышку, и «оппель» на полном ходу занесло в кювет. Из машины гестаповцы вытащили полуживого от страха немецкого майора, избили его, связали и увезли в гестапо. Кузнецов и Струтинский благополучно прибыли на «зеленый маяк», а оттуда — в лагерь.

Весь вечер в штабном чуме не прекращался оживлен-

ный разговор. Кузнецов и Струтинский возбужденно рассказывали о том, как они убили Даргеля и его адъютанта, как оказавшийся впереди похожий на их машину «оппель» помог им улизнуть из-под носа карателей. Их возбуждение передалось и нам, штабным работникам. Мы переспрашивали, стараясь вникнуть во все подробности совершенного акта возмездия. Так и не ложились спать,— проговорили до утра. А наутро пришел Коля Маленький, усталый, измученный, весь в пыли. Он принес письмо от Вали. Оказывается, вопреки всем инструкциям, Валя не усидела у себя в экспедиции и из подъезда рейхскомиссариата наблюдала картину покушения. На этот раз Кузнецов не ошибся: перед ним был действительно Даргель.

Но и на этот раз Даргель не был убит. Противотанковая граната разорвалась на мостовой, у самой бровки тротуара, и взрывная волна ударила в противоположную сторону. На другой стороне улицы ручкой от гранаты был убит какой-то немецкий подполковник.

Даргель упал на тротуар тяжело раненный и оглушенный. Подоспевшие охранники унесли его в особняк.

Вот все, что сообщала в своем письме Валя. По письму чувствовалось, что и на этот раз она невысоко оценивает действия Кузнецова. Да и сам Кузнецов был вновь глубоко разочарован исходом операции.

Вероятно, он потребовал бы, чтобы ему разрешили в третий раз стрелять в Даргеля, если бы на следующий день не пришло сообщение о том, что Даргель вылетел в Берлин.

Карьера правительственного президента окончилась.

Вскоре из Берлина прибыли крупные «деятели» гестапо и фельджандармерии. Они заменили прежних руководителей этих учреждений в Ровно,— те были разжалованы и отправлены на фронт. Очевидно, произведя эту замену, гитлеровцы надеялись, что им удастся установить в городе ту тишину, о которой мечтали они, организуя в Ровно свою «столицу».

Шум, поднявшийся в связи с этими актами возмездия, радовал советских людей. Не только на фронте, но и здесь, в глубоком тылу врага, в «немецкой столице» Украины, гитлеровские захватчики получали расплату за свои злодеяния.

А на «зеленом маяке» вновь началась подготовка. Здесь только что перекрасили машину «мерседес», уведенную из

гаража рейхскомиссариата. Краска еще не просохла, когда Кузнецов и Струтинский усаживались в машину, чтобы ехать в Ровно.

— Смотрите, краска свежая, попадетесь,— предупреждал Коля Маленький, наблюдавший за приготовлениями.

— Ничего,— весело отвечал Струтинский,— мы ее против ветра погоним, просохнет!

У заставы их остановили:

— Хальт! Ваши документы!

Кузнецов предъявил документы на себя, на Струтинского и на автомашину. Их пропустили.

Проехали квартал, снова застава:

— Хальт! Ваши документы!

Кузнецов возмутился:

— Позвольте, у нас только что проверяли!

— Извините, но сегодня на каждом шагу будет проверка, господин лейтенант,— доверительно пояснил жандарм.— Мы ловим бандитов, одетых в немецкую форму.— И, просмотрев документы Кузнецова, откозырял: — Пожалуйста, проезжайте.

— Коля, сворачивай в переулок, а нето можем нарваться,— сказал Кузнецов Струтинскому.

— Не беспокойтесь, Николай Иванович, — ответил тот.— Документы у нас крепкие.

— Документы хорошие, знаю, но мы все же не имеем права ехать к Вале. А вдруг за нами следят? Лучше переждем.

Струтинский свернул в переулок.

На углу Николай Иванович остановил «мерседес» и вышел на мостовую.

— Коля, ты наблюдай за главной улицей, а я буду помогать немцам.

Через несколько минут Кузнецов остановил проезжавшую машину:

— Хальт! Ваши документы!

— Господин лейтенант, у нас три раза проверяли.

— Извините, но сегодня на каждом шагу будут проверять.

Не успела отъехать эта машина, показалась вторая.

— Хальт! Ваши документы! — приказал Кузнецов.

— Не беспокойтесь, лейтенант,— сказал один из пассажиров, показывая гестаповский жетон.— Мы ловим того же бандита...

Два часа проверял Кузнецов документы, пока Коля Струтинский не сказал ему, что на других улицах заставы уже сняты. Тогда они сели в машину и спокойно поехали.

В свое время, на параде, Кузнецов и Валя видели на трибуне человека необыкновенной полноты. Это был генерал Герман Кнут, заместитель имперского комиссара Украины по общим вопросам и глава конторы «Пакетаукцион».

Основной специальностью Германа Кнута был грабеж. Все достояние конторы «Пакетаукцион» состояло из имущества советских граждан, приобретенного с помощью автомата и резиновой дубинки. Сам Кнут нередко наведывался на склады своей конторы. Осматривал свезенные туда вещи, каждую, которая ему приглянулась, он молча трогал пальцем. Помощники Кнута по грабежу знали этот жест заместителя гаулейтера. Кнут указывал, что вещь, к которой он прикоснулся, принадлежит ему и что ее нужно отправить на его личный склад. Зная это, нетрудно было понять, с чего так разжирел заместитель имперского комиссара по общим вопросам.

Контора «Пакетаукцион» помещалась на улице Легиона близ железной дороги. Здесь и остановили свою машину Кузнецов, Николай Струтинский и Ян Каминский, за которым они заехали, уезжая от Вали. Ждать им пришлось недолго. С немецкой точностью, ровно в шесть часов, Кнут выехал из конторы.

Каминский приоткрыл дверцу машины, привстал и в тот момент, когда машина Кнута поравнялась с ними, бросил в нее противотанковую гранату.

Переднюю часть машины разнесло; потеряв управление, она ударилась в противоположный забор.

Кузнецов и Струтинский открыли огонь из автоматов. И когда увидели, что стрелять больше не в кого, так же спокойно умчались, как и приехали.

У конторы «Пакетаукцион» под обломками автомобиля валялась туша Германа Кнута. Рядом лежал труп его личного шофера.

Геля немцы хоронили пышно, с венками, с ораторами: с некрологами в газетах; о покушении на Даргеля тоже много шумели, а вот о Кнуте не было сказано и не написано ни единого слова. Как будто его и не существовало на свете.

Кнут был убит, но гитлеровцы решили об этом молчать. В самом деле: они «хозяева», они установили «новый порядок», они «непобедимы», а их главарей средь бела дня на улицах Ровно, в их «столице», убивают неизвестные лица. Поиски виновников ни к чему не приводят. В самом деле, лучше уж молчать, не позорить себя.

Вскоре после убийства Кнута до нас стали доходить слухи о каком-то необыкновенном, богатырской силы человеке, который разъезжает по городам и селам и открыто убивает гитлеровцев. Говорилось, что вот, наконец, явился мститель, карающий оккупантов за все их злодеяния, за горе и слезы людей. Из уст в уста передавались подробности покушения на Даргеля и убийства Кнута. Эти «подробности», правда, имели мало общего с истиной, но они рисовали мстителя, как человека необыкновенной силы и бесстрашия. Именно такие сведения услышал от крестьян и передал нам Казимир Домбровский, а вслед за ним и многие другие хозяева явочных квартир, городские разведчики. Наш новый партизан Константин Сергеевич Владимирский, бывший секретарь Алтайского обкома комсомола по школам, тяжело раненный в боях, взятый в плен, бежавший из лагеря и вот, наконец, нашедший нас, первое, о чем рассказал по приходе в отряд,— это о народном мстителе, рассказы о котором он слышал в деревнях, повсюду на своем долгом пути. Владимирский перечислил с десяток наших диверсий, и все эти патриотические дела народной молвой приписывались одному и тому же лицу, стрелявшему в Геля, Даргеля и Кнута. Тому же народному мстителю приписывались и другие дела, которых он еще не совершал, например, убийство главного судьи Альфреда Функа, мучителя советских людей, палача Украины. Рассказывали, что мститель ворвался ночью в квартиру к Функу, вытащил его на улицу и повесил на той же самой виселице, где накануне висели тела советских патриотов.

И многое еще в этих из уст в уста передававшихся рассказах было так же мало достоверно, как и убийство главного судьи, который, к сожалению, пока здравствовал и подписывал приказы о расстрелах заложников. Нередко желаемое выдавалось за действительное.

То была легенда. И она вызывала слезы радости, она звала на борьбу, укрепляла веру в победу, поднимала на подвиги.

Глава одиннадцатая

На окраинной, тихой уличке Ровно в маленькой конурке помещалась часовая мастерская. Вывеска на мастерской — «Починка часов с гарантией» — была больше окошка, около которого работал мастер, носивший фамилию Дикий. В этой мастерской была наша явка. Пользовались ею Шевчук и три других наших товарища.

Однажды Дикий заметил, что мимо его окна, внимательно приглядываясь, несколько раз прошел мальчик лет одиннадцати-двенадцати.

На другой день к Дикому зашел Шевчук. Он подал свои часы и, пока мастер осматривал их, тихонько сказал то, что надо передать Мите Лисейкину, если тот появится, и потом, взяв обратно часы, ушел. В это время Дикий опять заметил вчерашнего мальчугана. Тот стоял на противоположной стороне улицы.

«Тут что-то неладно»,— подумал часовщик.

Прошел час, другой. Мальчик вдруг появился около окна часовщика и, просунув голову, спросил:

— Дяденька! Вы не знаете, где мне найти партизан?

— Да что ты, угорел, что ли? Каких тебе партизан?

В голубых глазах мальчика появился испуг. Мальчик изменился в лице. Но от часовщика он все же не отставал:

— Может, вы кого-нибудь знаете, кто знает партизан?

— Да откуда же мне знать! — махнул на него часовщик, ничего не понимая.

— Ну, ладно,— сказал мальчуган и отошел.

Дикий подумал немного и решил все же вернуть мальчика. Выбежав из мастерской, он крикнул:

— Хлопчик, а хлопчик, вернись-ка!

Тот снова подбежал к окошку.

— Зайди-ка сюда.

Мальчик вошел в мастерскую.

— Тебе зачем партизаны?

— Этого я не имею права вам говорить, а могу сказать только командиру партизанского отряда Медведеву.

— Вон ты какой! Ну, посиди немного.

Дикий ждал разведчика Митю Лисейкина. Вскоре тот действительно появился у окошка часовщика.

— Тут вот хлопец у меня,— сообщил Дикий.— Возьми-ка его с собой и разберись, только поосторожнее.

На вопрос Лисейкина мальчик ответил, что его послали в отряд Медведева из партизанского соединения имени Ленина, которое находится под Винницей.

— Только больше я вам ничего не скажу,— заявил он с решительным видом.— Скажу командиру.

— Как же тебя зовут?

— Володя.

Только что Лисейкин получил через Дикого адрес, откуда должна пойти машина прямо в отряд, и распоряжение Шевчука явиться по этому адресу. Вместе с Кузнецовым и Шевчуком он должен был прибыть в лагерь для инструктажа. Лисейкин решил взять мальчугана с собой.

К условленному месту им подали полуторку. Машина была из гаража гебитскомиссариата. Шофер Зубенко устроил себе командировку в Луцк, получил пропуск и груз— фашистские газеты и листовки для Луцка — и подъехал за партизанами, с которыми был тесно связан.

Лисейкин пришел с Володей к месту отправки. Кузнецов, который уже стоял около машины, высоко поднял брови от удивления:

— Откуда у тебя этот хлопчик?

— Да вот ищет отряд Медведева, говорит, что послан от другого отряда.

— Сажай его в машину, после разберемся.

Но тут Володя вырвал свою руку из руки Лисейкина и бросился бежать.

Лисейкин в два прыжка догнал его:

— Ты куда, дьяволенок?

— Дяденька, отпусти, я нарочно сказал про партизан.

— Ах ты, гаденыш! Значит, тебя жандармы подослали?

— Сами вы жандармы! — всхлипывая, проговорил Володя и злобно посмотрел на Кузнецова.

— Ах, чтоб тебя! — рассмеялся Лисейкин.— Ты его испугался?

Он и не подумал о том, какое впечатление произведет на мальчугана Кузнецов в форме немецкого офицера.

Тогда, нагнувшись к Володе, он сказал ему на ухо, кто такой этот офицер. Мальчик уселся в машину.

В кузове сидели шестеро разведчиков. Оружие свое они прикрыли фашистскими газетами. Кузнецов сел рядом с шофером.

При выезде из Ровно, на заставе, висел огромный плакат:

«Выезд машин в одиночку не разрешается».

Немцы боялись партизан и выпускали машины лишь колоннами.

На заставе Кузнецов объяснил, что ждать, пока соберется колонна, он не может, так как имеет срочное поручение. Машину пропустили.

Но впереди, километрах в десяти от Ровно, оказалось большое препятствие.

Подъезжая к деревянному мосту через небольшую речушку, разведчики еще издали увидели, что около моста копошатся немецкие саперы.

К машине, как только она остановилась, подошел офицер:

— Видите, мост сожжен,— объяснил он Кузнецову. К тому же, господин лейтенант, здесь в одиночку ехать опасно: партизаны.

Кузнецов повысил голос:

— Что значит партизаны! Если партизаны, так, по-вашему, надо в квартирах отсиживаться? Сейчас война! У меня срочное поручение!

— Прошу обратиться к командиру полка,— пожав плечами, сказал офицер.— Вот он идет сюда.

Кузнецов вышел из кабины и направился навстречу немецкому майору.

— Хайль Гитлер!

— Хайль!

В кузове машины разведчики держали наготове револьверы. Володя, который только что было уверовал, что он у партизан, при новой опасности зажался в угол кузова.

Немного спустя, после переговоров с Кузнецовым, командир полка громко подал команду, и солдаты, строившие мост, бросая топоры и лопаты, направились к машине.

«Ну, начинается!» — думали разведчики, сжимая оружие.

В это время Кузнецов спокойно вернулся к грузовику.

— Все в порядке. Саперы перетащат нашу машину,— шепнул он своим.

— Сойти с машины? — спросил Лисейкин.

— Сидите!

Человек пятьдесят немецких сапер начали перетаскивать машину — по грязи в объезд сгоревшего моста.

— Нажми! Честь-то какая нам,—посмеивались между собой разведчики.

Эта процедура длилась минут пятнадцать. Как только саперы перетащили машину на другую сторону овражка и поставили на шоссе, Зубенко дал газ, и грузовик спокойно помчался дальше.

В лагерь разведчики прибыли поздно вечером. Услышав о Володе, я велел уложить его спать с тем, что утром мы с ним побеседуем. Но мальчуган запротестовал — он хотел говорить сейчас же. Он сам подошел ко мне:

— Вы командир Медведев?

— Да.

— У меня есть к вам секретное дело.

— Ну говори.

— Я только вам одному могу сказать.

Со мной рядом стояли Стехов, Лукин, Кузнецов и Цесарский.

— Что ж,— подмигнул я им,— вам, товарищи, мы своих секретов не доверяем. Пойдем, Володя, в чум!

Мальчик снял кепку, распорол подкладку и протянул мне письмо.

Я разорвал конверт и стал читать. Письмо было напечатано на машинке.

«Податель сего, сын секретаря парторганизации партизанского отряда имени Ленина Володя Саморуха, послан с заданием разыскать отряд Медведева...»

Командир партизанского отряда имени Ленина просил сообщить в Москву о том, что такой отряд существует, действует, но не имеет радиостанции и поэтому не связан с Москвой. Далее командир давал свои координаты, назначал дни и условные сигналы для того, чтобы из Москвы послали самолет и сбросили им груз с радиостанцией. В заключение письма следовала еще одна просьба — отправить Володю в Москву.

Володя Саморуха был не первым связным от винницких подпольщиков. Еще месяц назад разведчики нашего отряда встретились на станции Казатин с некоей Полиной Ивановной Козачинской. В разговоре с ней они выяснили, что по заданию винницких подпольщиков Козачинская едет из Винницы в Ровно специально для того, чтобы установить связь с нашим отрядом.

Разведчики понимали, как важно доставить Козачинскую в лагерь, и сделали это немедленно.

Винницкие товарищи претерпели большие трудности. Нелегко было работать под боком у ставки Гитлера,

в городе, кишащем гестаповцами. Подполье дважды подвергалось разгрому. Но винницкие коммунисты не упали духом, не потеряли волю к борьбе. Наперекор всем трудностям они продолжали свою патриотическую деятельность. Связи с Москвой у них не было, а им, как и всем советским патриотам, ведущим подрывную работу в тылу врага, хотелось получать указания из Москвы. Узнав, что под Ровно действует отряд, связанный с «Большой землей», они послали Козачинскую на розыски этого отряда. Винницкие товарищи просили нас связать их с Москвой и, во всяком случае, оказать им помощь и руководство.

Появление Володи Саморухи, лишний раз подтверждавшее эти данные, свидетельствовало о том, как настойчиво ищут связи с нами товарищи из Винницы.

Я посмотрел на мальчика. Он выпарывал из подкладки своих штанишек еще одно письмо.

— Еще письмо? — спросил я.

— Это такое же. Если бы я кепку потерял, у меня здесь второе.

И он подал мне второй, точно такой же конверт.

— Как же ты добрался к нам?

Оказывается, Володя шел пешком пятнадцать дней. Прошел он около пятисот километров. Ночевал то в лесу, то в поле, а то в каком-нибудь сарае. Питался тем, что подавали люди. Когда его спрашивали, откуда он, Володя говорил, что родители его убиты и он идет к своей тетке. Эта «тетка» каждый раз меняла свой адрес. В районе Проскурова мальчик рассказывал, что тетка живет в Шепетовке, в Шепетовском районе утверждал, что тетка его в Ровно.

В Ровно мальчик бродил несколько дней, пока не присмотрелся к часовому мастеру.

— Почему же ты решил, что этот мастер знает партизан?

— Так, показалось, что знает. Да если бы он гадом оказался, все равно я убежал бы.

— На твое счастье тебе повезло! — усмехнулся я. — Что же, побудешь пока у нас, прилетит самолет — отправим тебя в Москву.

— Нет, товарищ командир,— возразил Володя решительно.— Я с вами останусь.

— Товарищ командир, не отправляйте Володю,— поддержал подошедший к нам Лисейкин.— Пускай останется. Хлопчик хороший!



Связной отряда Митя Лисейкин

Лисейкин — опытный бывалый разведчик, он не раз участвовал в серьезных операциях. Теперь в его словах звучала такая искренняя просьба, и такая нежность к мальчику теплилась при этом в его глазах, что невозможно было ему отказать.

— Хорошо, посмотрим,— сказал я.

Нужно было срочно помочь винницким товарищам. В тот же день к ним ушел от нас связной.

Вскоре мы узнали, что по координатам, которые были доставлены нам Володей и переданы нами по радио в Москву, винницким подпольщикам сброшена рация и другие ценные грузы...

Не успел я окончить разговор с Лисейкиным, как ко мне подошел Владимир Степанович Струтинский.

Я знал о цели его прихода: его беспокоило молчание Жоржа. Но что я мог ему ответить!

— Владимир Степанович,— сказал я ему.— Вы сами понимаете, работа у нас секретная. Хоть я вам и верю, а сказать, где Жорж и что он делает, не могу. Но вы будьте спокойны, он вернется!

Так утешал я старика, а сам чувствовал нестерпимую боль и горечь. И от того, что старик уходил от меня успокоенный, становилось еще горше и больнее.

Весь ужас был в том, что никто, даже всеведущий Николай Иванович, решительно ничего не знали о судьбе Жоржа. Если бы хоть знать, где он находится, установить связь,— тогда, быть может,— и можно было бы думать об организации побега.

И вот однажды, получив от Ларисы очередную пачку использованной копировальной бумаги и вчитываясь во все, что там содержалось, Николай Струтинский увидел длинные ряды фамилий. Фамилии были русские и украин-

ские. Не оставалось сомнений, что это — списки заключенных.

Николай читал фамилию за фамилией, пока одна из них не заставила его вздрогнуть и остановиться.

«Василевич, Грегор»,— прочел он.

Это был Жорж. Под этим именем жил он в Ровно. Сам Николай выдумал его брату, сам же мастерил документ и давал на подпись Лукину.

Стало ясно главное: Жорж жив и, конечно, не назвал своего подлинного имени.

Лариса была знакома с некоторыми работниками гестаповской тюрьмы. Через нее Николай связался с ними. Подход был простой — деньги. За взятки делали всяческие «одолжения». Получив незначительную мзду, тюремщики подтвердили, что Грегор Василевич находится в тюрьме. Еще взятка — и они разрешили передачу арестованному. Николай послал Жоржу обувь, белье и продукты.

Постепенно становились известными и подробности. Рана у Жоржа начала было затягиваться, но на допросах его так избивали, что она вновь открывалась. Затем Николай узнал, что допрашивают брата почти ежедневно. Нетрудно было понять, что Жоржу грозит расстрел или смерть от пыток при допросах.

В отряде был еще один родственник Струтинских — Петр Мамонец, бывший капрал польской армии. Он приходился родным братом Ядзе.

Высокий, сухощавый, по-военному подтянутый, сохранивший армейскую выправку, он легко приноровился к партизанской жизни; наши порядки ему нравились, в особенности нравилась строгая, в духе строевого устава, дисциплина; сам Мамонец отвечал на вопросы четко, по-военному, стоя руки по швам. В работе проявлял такое усердие, которое иногда даже казалось излишним. К каждому, даже к самому мелкому поручению, он относился, как к серьезной боевой задаче.

Его-то Николай и решил привлечь к делу, которое он задумал.

— Дайте мне в Ровно Мамонца,— попросил он, явившись в лагерь.— С ним я попробую освободить Жоржа.

И он подробно изложил свой план.

— Хорошо,— сказал я,— поезжайте! План не из лег-



Петр Мамонец (слева) и Жорж Струтинский

ких, но что поделаешь — надо выполнять. Другого выхода нет. Только вот что, Коля, перед тем, как ехать, зайди к отцу, поговори с ним, успокой.

— Нет, сейчас не могу,— отвечал Николай.— Трудно. Вы ему скажите, что я очень торопился и что скоро опять здесь буду.

Я знал, что Николай Струтинский сделает все возможное и невозможное, чтобы вызволить брата. Но когда через каких-нибудь пять-шесть дней прибыло сообщение, что Мамонец устроен в охранную полицию, я не только обрадовался, но и удивился. Слишком уж быстро как-то это произошло.

Мамонец оказался на редкость старательным «полицаем». Он все время вертелся на глазах начальства, а главное, он задабривал начальство маслом, салом и нашей партизанской колбасой. Скоро его назначили старшим полицейским. К тому времени Мамонец уже повидал Жоржа.

— Его нельзя узнать,— рассказывал он Николаю.— Что сделали с хлопцем! Кожа да кости!

Передачи теперь Жорж получал часто и, что важно, в собственные руки. Но могли ли наши передачи поддержать человека, которого чуть ли не ежедневно избивали!

Мамонец завел дружбу со старшим надзирателем тюрьмы и предложил ему выгодную сделку. Он сказал, что в одной частной строительной конторе можно здорово заработать на арестованных.

— Давайте мне десятка два арестованных и три-четыре охранника. Я буду гнать их на работу. Что заработаем — пополам.

Тот долго не соглашался. Но продукты и деньги, будто бы полученные авансом от строительной конторы, возымели действие. Надзиратель согласился.

Но тут Мамонец узнал, что Жорж внесен уже в списки приговоренных к расстрелу. Самому Жоржу это еще не было известно. Ждать было больше невозможно.

И когда Мамонец погнал первую партию арестованных на работу, в эту партию удалось включить и Жоржа. Конечно, опять-таки за соответствующую мзду.

В тот момент, когда арестованных выводили из камер, Мамонец успел шепнуть Жоржу несколько слов.

Заключенные прошли два квартала, и Жоржу вдруг стало дурно.

Мамонец, как старший полицейский, распорядился, чтобы охранники вели арестованных дальше.

— А с этой сволочью я разделаюсь сам, — сказал он, оттаскивая «бесчувственного» Жоржа в подворотню.

Охранники были уверены, что там он его прикончит. Это было в их правилах.

Но как только Мамонец втянул Жоржа во двор, тот вскочил; вместе они перепрыгнули через забор и соседним двором вышли в переулочек. Здесь уже второй день дежурила машина Кузнецова и Коли Струтинского.

Радости нашей не было предела. Для старика Струтинского возвращение сына было и счастьем и горем. Только теперь, когда Жорж прибыл в лагерь, Владимир Степанович узнал, какая опасность грозила сыну. Краснощекого, вечно улыбающегося Жоржа нельзя было узнать. Он был истощен до последней степени. На все вопросы отвечал односложно.

— Били?

— Били.

— Ну, а ты как?

— Да как же! Ничего.

— Терпел?

— Сначала терпел, молчал, а потом ругаться стал.

— Ну, а они?

— Да что же они, еще сильнее били.

Мы постарались сделать все возможное в лагерной, лесной обстановке, чтобы здоровье Жоржа поправилось. Молодость взяла свое, и вскоре он вернулся к своей работе разведчика.

Глава двенадцатая

«За Гнедюком следят агенты криминальной полиции. Он у них на подозрении. Я сам видел, как за ним однажды гнался на велосипеде агент»,— писал нам Шевчук.

Дальнейшее пребывание Гнедюка в Ровно грозило ему арестом. Тем более, что и сам Николай с некоторых пор стал вести себя не так, как полагалось разведчику. Причиной послужил один казус, случившийся с ним на главной улице Ровно.

Проезжая на велосипеде, Гнедюк свернул на другую сторону улицы, нарушив правила движения. Жандарм, стоявший здесь в качестве регулировщика, дал свисток. Это, однако, не произвело на Гнедюка никакого впечатления. Он продолжал ехать как ни в чем не бывало. Тогда его остановил другой жандарм. Этот, ни слова не говоря, несколько раз огрел Гнедюка резиновой дубинкой. Жандарм был до того здоров, что Коля не решился дать ему сдачи. Схватив велосипед, он быстро умчался на другую улицу. Ярость кипела в нем, желание мстить бросало в дрожь, туманило мозг. Еще бы: на центральной улице Ровно, на глазах у множества людей, его, Колю — гарны очи, избил немецкий жандарм!

С той поры Гнедюк лишился покоя. Он начал следить за обидчиком, ходил за ним по пятам, надеясь где-нибудь его укокошить. Он даже на время забыл о деле, о том, ради чего находится в городе.

Пришлось Гнедюка из Ровно отозвать.

В августе он был переброшен нами в Здолбунов с заданием: перестроить здолбуновскую группу на более конспиративных началах, сделать ее еще действеннее, углубить разведывательную работу и, наконец, подыскать нового, вместо Лени Клименко, курьера связи. Клименко со своей автомашиной полностью переходил в распоряжение ровенских разведчиков.

Одновременно был вызван в отряд Дмитрий Красноголовец.

Это была его первая встреча с нами. Он присматривался к нашей жизни, подолгу беседовал со мной, со Стеховым, Лукиным, знакомился с рядовыми партизанами, принимал участие в наших лагерных делах, слушал песни у костров и снова приходил в штабной чум рассказывать о новой, только что пришедшей в голову мысли.

Казалось, он жадно вбирает в себя все, что здесь видит и слышит.

Красноголовец пробыл в лагере четверо суток и уехал к себе в Здолбунов.

Мы вообще старались почаще вызывать товарищей с мест, зная, что, помимо указаний, они получат у нас и нечто другое, не менее важное, то, что так метко выразил Красноголовец словами, сказанными на прощание:

— У меня, товарищи, такое чувство, будто я побывал на «Большой земле», в каком-то городе, где нет никаких немцев и люди живут по-советски.

И мы знали, что это пребывание в «городе», где действительно течет советская жизнь, служит нашим товарищам, в том числе и Красноголовцу, лучшей зарядкой. Люди уезжали на места окрыленные.

Уже спустя неделю после отъезда Красноголовца мы начали получать из Здолбунова то, чего так долго добивались. Сводки давали исчерпывающее представление о работе железнодорожного узла. Указывалось не только число прошедших за сутки поездов и вагонов, но и маршруты — откуда и куда следуют эшелоны, что в них перевозится: если техника, то какая и в каком количестве, если войска, то род и количество, а иногда и наименование.

Отрадно было передавать такие сводки в Москву. За каждой цифрой угадывалось новое мероприятие фашистского командования, представлялась картина стремительного наступления советских войск, которое успешно развивалось и в котором — так думалось нам в те минуты — есть доля и нашего труда, труда наших товарищей.

«Спасибо,— отвечала Москва.— Продолжайте интенсивную разведку».

И мы продолжали.

В Ровно, Здолбунове, Луцке и Сарнах наши товарищи кропотливо собирали все сведения, которые могли представить интерес. Люди дежурили на стратегических шоссе, дни и ночи просиживали на железнодорожных станциях, искали аэродромы, выкрадывали карты и документы из немецких учреждений.

Это был скромный патриотический подвиг десятков и сотен людей.

Но большей частью совершавшие его не только не сознавали все величие своей работы, но и прямо ею тяготились, гордясь лишь теми своими делами, результатом



Разведчик Н. Гнедюк

которых был взорванный склад или пущенный под откос эшелон.

Мы знали, что Гнедюк и Красноголовец долго не продержатся на одной разведке, что им, как и другим разведчикам, захочется активных действий, результаты которых они смогут увидеть своими глазами, ощутить немедленно. И действительно, не прошло и двух недель, как они через нового курьера связи прислали нам письмо, в котором просили санкции на взрыв водокачки, депо, поворотного круга и ряда других уязвимых мест станции.

Согласиться с этим мы не могли: какой бы объект они ни взорвали, немцы быстро сумеют его восстановить, а группа будет вынуждена покинуть станцию и уйти в отряд или, во всяком случае, прекратить свою разведывательную работу.

И мы ответили Красноголовцу и Гнедюку отказом.

Не прошло и двух недель, как прибыло их новое письмо с аналогичной просьбой. На этот раз указывался большой двухколейный железнодорожный мост через реку Горынь, на магистрали Здолбунов — Киев. По этому мосту, сообщалось в письме, каждые десять-пятнадцать минут проходят эшелоны на восток, к линии фронта, и на запад, в Германию, Польшу, Чехословакию. Если к станции Здолбунов поезда подходят с четырех сторон, то от Здолбунова на восток они идут по этому двухколейному мосту.

«Многие партизанские отряды и диверсионные группы пытались взорвать этот мост, но только теряли людей, а задачи выполнить не могли. Мы беремся произвести эту диверсию так, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений и не понести никаких жертв»,— писали в отряд Гнедюк и Красноголовец.

Мы дали свое согласие.

Гнедюк и Красноголовец строили план за планом, но ни на одном из них не могли остановиться. Охрана моста была исключительно сильной. На подходах с обеих сторон стояли немецкие часовые, по углам моста были установлены пулеметные гнезда. Все пространство далеко вокруг хорошо просматривалось. С обеих сторон моста стояли бараки охранников. Было ясно, что к мосту не подступишься. Но Красноголовец с Гнедюком решили, что взрыв должен произойти во что бы то ни стало, и продолжали ломать голову, пока, наконец, не нашли способ, причем довольно простой.

Одной девушке — члену здолбуновской подпольной организации — был знаком тормозной кондуктор, ездивший на воинских эшелонах. Этот кондуктор пользовался у немцев доверием: он был «фольксдойче». Был кондуктор к тому же горьким пьяницей, человеком без всяких устоев, готовым продаться кому угодно.

Подпольщица позвала в гости этого кондуктора, подпоила его и предложила помочь взорвать мост.

— Три тысячи марок — и будет сделано, — отвечал кондуктор.

— Каким образом?

— Как скажете, так и сделаю!

— Хорошо, три тысячи марок вы получите.

— Нет, вы мне дайте полторы сейчас, а полторы потом, когда сделаю,— потребовал кондуктор.— Я люблю, чтобы по совести! Но — уговор: сделайте так, чтобы я жив остался. Рисковать собой не согласен.

— За это можете не беспокоиться!

Тормозные кондукторы, имеют обыкновение ездить со своими сундучками. В них они возят продукты и необходимые вещи.

В таком сундучке и была смонтирована большая мина для взрыва моста. В нее заложили взрыватель с обыкновенной гранаты Ф-1.

При следующей встрече девушка объяснила кондуктору, что от него требуется, и вручила ему полторы тысячи марок.

— Сделаете все правильно, получите еще три!

В очередную поездку кондуктор отправился с приготовленным для него сундучком.

Когда состав проезжал по мосту, он выдернул чеку из мины и столкнул сундучок между вагонами. Через три-че-

тыре секунды раздался взрыв. Фермы рвануло. От взрыва и под тяжестью вагонов пролет рухнул. Восемь задних вагонов состава полетели вниз.

Взрыв наблюдали разведчики Красноголовца из засады, устроенной за километр от моста.

Три недели немцы восстанавливали мост. На дороге образовалась большая пробка, так как пользоваться приходилось только одной колеей.

Что же касается кондуктора с «совестью», то он так и не получил обещанных трех тысяч марок. То ли был он ранен сам, то ли его гитлеровцы заподозрили, но в Здолбунове он больше не появлялся. Но если бы и появился, то не нашел бы той, с кем договаривался. Мы этого товарища предусмотрительно забрали к себе в лагерь.

Весть о взрыве пришла к нам сразу с нескольких сторон — настолько широко и гулко раздался его грохот.

Вскоре сообщение подтвердил новый связной здолбуновской группы Иванов.

Все мы быстро привыкли к этому молодому застенчивому человеку. В своем истертом пиджачке, обтрепанных брюках, он тихонько усаживался у костра, слушая рассказы и шутки партизан и почти никогда не вступая в беседу. По профессии Авраам Владимирович Иванов был учителем. Ныне он служил чернорабочим на станции Здолбунов.

С помощью Красноголовца он сумел достать себе так называемую «провизионку», которая давала ему право беспрепятственно разъезжать по железной дороге. С этой «провизионкой» новый курьер связи и ездил регулярно из Здолбунова до станции Клевань. Оттуда он пешком добирался на «зеленый маяк», а если позволяло время, то и до лагеря.

Он привозил нам медикаменты, а увозил мины, гранаты, взрывчатку, в которых так нуждались здолбуновские товарищи.

Но самым ценным, с чем приезжал к нам Иванов, были, конечно, сведения со здолбуновского узла.

Все больше и больше работы становилось у наших радистов. Сводки из Здолбунова приходили теперь каждые три дня. Почти ежедневно являлись курьеры из Ровно с ценными донесениями от Кузнецова и Шевчука, от Николая Струтинского, от других разведчиков. И, наконец, не проходило дня, чтобы не давал о себе знать Терентий

Федорович Новак. Члены ровенской подпольной организации вели интенсивную разведку. На стратегическом шоссе Ровно — Киев в две смены дежурили ветеринарный врач Матвей Павлович Куцин и сторож русского кладбища Николай Иванович Самойлов.

Раньше на связи с Москвой работал у нас один радист и то лишь раз в день. Передаст одну-две радиограммы, столько же примет. Теперь же к нам поступало столько сообщений из Ровно, Сарн, Здолбунова и от других наших групп, что приходилось заниматься одновременно двум и трем радистам.

Но работать на территории лагеря мог только один радист. Другие, чтобы не мешать, должны были уходить на расстояние не меньше пяти километров. Приходилось отправлять радистов, под охраной бойцов, далеко от лагеря и там разворачивать рацию для связи с Москвой.

Наши радисты составляли небольшой, но очень спаянный коллектив. У них были свои небольшие, но прочные традиции. Считалось законом держать аппаратуру в таком состоянии, чтобы в любую минуту ее можно было взять на спину и уходить. Радисты свято хранили шифры и другие секреты. В их обычаи входила также систематическая тренировка в работе на ключе, приеме на слух.

Однажды, в самый напряженный момент работы радистов, когда передавались сведения здолбуновской группы, Николай Иванович прислал из Ровно тревожное сообщение: гестаповцы направили в район наших лесов три автомашины с пеленгационными установками, а в Березное, Сарны и Ракитное послали карательные экспедиции.

Путем пеленгации можно точно установить местоположение радиостанции и, следовательно, отряда. Засечь расположение нашего отряда, затем окружить его и ликвидировать — такова была цель этого очередного мероприятия оккупантов.

Сведения Николая Ивановича подтвердились. На следующий день разведчики сообщили, что в село Михалин прибыла какая-то машина с большой охраной. С рассветом эта машина выезжала за село.

— Що вони там роблять — неведомо,— говорили разведчикам крестьяне,— за два километра никого не подпускають.

Передавали также, что гитлеровцы группами ходят по лесным дорогам с наушниками и какими-то ящичками за спиной.

Продолжать сейчас работу радиостанции — значит выдать местонахождение лагеря. Но и прекращать связь с Москвой нельзя.

Выход нашли сами радисты.

— Товарищ командир,— обратилась ко мне Лида Шерстнева,— мы с ребятами подумали и решили вот что. Мы разойдемся от лагеря на пятнадцать-двадцать километров. Поработаем, свернем рацию и вернемся в лагерь. Пусть немцы засекают те места и туда направляют карателей.

Несколько суток подряд радисты с небольшой охраной по очереди уходили в разных направлениях и не только продолжали работу с Москвой по расписанию, но и назначали другие дни и часы работы.

Немецкие пеленгаторы «засекали» нас, таким образом, в самых различных местах, затем каратели «окружали» эти места, обстреливая их, и всякий раз уходили несолоно хлебавши.

Так они бегали, высунув языки, с места на место до тех пор, пока это нам самим не надоело.

Я послал группу партизан с заданием захватить немецкие пеленгаторы. Засада была, правда, не совсем удачной. Пеленгационной машины захватить не удалось. Была лишь рассеяна группа охраны недалеко от села Михалин. Но немцы были напуганы и на время прекратили облавы.

...В этот день здолбуновский курьер связи Иванов, как всегда, пришел с новостями и с очередной посылкой от Гнедюка и Красноголовца. Посылка содержала медикаменты и умещалась в старой черной кошелке, с которой Иванов никогда не расставался.

— Ну, как ездилось? — спросил я его по обыкновению.

— Нормально,— как всегда, отвечал Иванов, но вдруг неожиданно заулыбался. Я впервые подумал, что ведь парню, наверно, немногим больше двадцати.

— Ну, уж выкладывайте, что с вами было по дороге!— сказал я.

— Да ничего особенного, товарищ командир.

— Ну, а все-таки?

— Все-таки? — Иванов снова улыбнулся.— Маленькое приключение.

Никогда и никому он не говорил о себе, не говорил, очевидно, из скромности, считая, что он — личность маленькая, не заслуживающая внимания. Я знаю, даже кушать в отряде Иванов стеснялся, хотя после дороги голод, надо думать, давал себя чувствовать. Стоило немалого труда заставить его поужинать с партизанами и положить ему в кошелку кусок колбасы на дорогу.

На этот раз, очевидно, потому, что я настоял, Иванов все-таки рассказал, что с ним приключилось в дороге. Вероятно, это было не первым его приключением.

Когда прошлый раз — не далее, как третьего дня — он направлялся с «маяка» в Здолбунов, его остановил по дороге немецкий часовой. Это было у переезда возле станции Клевань. Иванов почуял недоброе. В кошелке у него лежало несколько противотанковых гранат и кусок партизанской колбасы.

Часовой потребовал документы. Они оказались в порядке. Иванов уже собирался уходить, когда немец неожиданно заглянул в кошелку.

Гранаты, чтобы они не бросались в глаза,были обернуты тряпочками. Немец нащупал обернутую ручку гранаты, увидел колбасу и спросил:

— Вудка? Вудка?

— Нет,— отвечал Иванов с улыбкой.— Водка будет на обратном пути. Я иду за ней,— и, достав из кошелки кружок колбасы, подал его часовому.

— Принеси вудка! — крикнул солдат вслед уходящему Иванову.

— Обязательно! — отвечал Иванов, удаляясь...

Он рассказывал об этом спокойно, как о забавном происшествии, словно не придавал значения той опасности, которой оно было чревато.

Известия, которые на этот раз привез Иванов, оказались исключительно важными. Мимо Здолбунова проследовали немецкие эшелоны из-под Ленинграда. Шли они в сторону Винницы. Здолбуновские товарищи сообщали численность войск, номера частей.

В этом же донесении указывалось, что через Здолбунов ежедневно проходит по эшелону с пятнадцатью вагонами цемента, а также с платформами, на которых лежат готовые пулеметные гнезда — железобетонные колпаки с амбразурами. Указывалась и станция назначения — Белая Церковь.

«Вон где укрепления строят!» — подумал я, направляясь в радиовзвод. Сведения, присланные здолбуновцами, предвещали близкие сражения под Белой Церковью, близость освобождения Украины.

— Марина,— сказал я дежурной радистке,— прошу вас зашифровать и отправить эти данные в первую очередь, немедленно.

Ночью пришел ответ из Москвы.

«Сведения о поездах через Здолбунов весьма ценны. Спасибо товарищам. Продолжайте интенсивную разведку. Привет».

Хотелось сейчас же сказать об этой радиограмме Иванову, чтобы завтра же узнали о ней Красноголовец, Гнедюк и другие товарищи. Знают ли они настоящую цену своим сведениям? Как подействует на них, как окрылит их это короткое «спасибо» Москвы!

— Все чумы обошел, товарищ командир, всюду смотрел — нигде его нет,— доложил посланный за Ивановым партизан.

Мы вышли вместе. Я почему-то подумал, что найду Иванова сидящим у костра, беседующим с партизанами. И в самом деле, он был у костра, но не разговаривал, а спал, лежа так близко к огню, что одежда его могла загореться.

Я окликнул его. Он сразу вскочил, как на пружинах.

— Искры на вас, товарищ Иванов, сгорите! Что ж вы так близко к огню улеглись?

— А...— протянул Иванов спросонок и стал стряхивать с себя искры.

— Почему вы не пойдете в чум?

— Здесь теплее, товарищ командир.

Была холодная осенняя ночь. В чумах костров еще не разводили, и партизаны спали, прижавшись друг к другу, укрытые чем попало.

— А вы оденьтесь потеплее — сможете спать и в чуме!

Иванов промолчал.

Только тут, после настойчивых расспросов, мне удалось узнать, что на нем, кроме его ветхого пиджачка без подкладки да таких же ветхих брюк, ничего не было. Не было даже белья на теле.

— Что же вы молчали?

— Ничего, товарищ командир, не беспокойтесь, я обойдусь. Мне ж не всегда приходится в лесу ночевать, а они,—

он показал на партизан,— все время на холоде. Им нужнее...

Несмотря на протесты, Иванов был одет в белье, в новый костюм, более плотный и чистый, и в плащ, который был ему, правда, великоват.

Наутро он уже снова отправился в путь, в свой обычный рейс, незаметный и героический.

Глава тринадцатая

Командир взвода Михеев доложил о чрезвычайном происшествии в его подразделении: у него, Михеева, похищено две тысячи немецких марок.

— Вы уверены, что это произошло в отряде и что вы их не потеряли? — спросил я.

— Вчера они были, товарищ командир,— отвечал Михеев с досадой.

Для нас это был вопрос принципиальный.

— Собрать и построить подразделение,— сказал я Михееву.

Когда он вернулся и доложил, что взвод построен, Стехов, Лукин и я отправились туда втроем.

— Товарищи,— начал Стехов,— произошел позорный случай. У нас в отряде — кража! Вы сами понимаете: дело не в деньгах,— их мы всегда достанем,— дело в том, что среди нас оказался недостойный человек.

В строю раздались голоса:

— Обыскать!

— Поголовный обыск!

И уже спросив разрешения, молодой партизан-белорус сказал:

— Так дальше жить невозможно. Пятно на всем взводе. Надо его смыть. Поэтому предлагаем поголовный обыск.

Вызвали коменданта лагеря. Он стал в стороне от строя, и бойцы один за другим начали подходить к нему, поднимая обе руки для обыска и гордо глядя в лицо коменданту.

Были обысканы личные вещи и даже места, где спали партизаны.

Обыск не дал результатов. Денег не нашли. У всех было подавленное настроение. Взвод молча разошелся.

На следующий день подразделение Михеева было послано в сторону Луцка — разыскать оружие, оставленное военнопленными, бежавшими из немецкого лагеря, а также

связаться с людьми, которых нашла в свою бытность там Марфа Ильинична Струтинская.

Проводив глазами уходящий взвод, я направился к Лукину. Мне хотелось поделиться с ним одним подозрением. Еще вчера, при обыске, я обратил внимание на бойца Науменко — человека уже немолодого, лысого, в синей гимнастерке и коротких кирзовых сапогах. В отряде он был недавно — пришел с очередной группой бежавших из плена. Мне показалось, что этот Науменко побледнел, когда объявили об обыске, его отличал от всех других бойцов какой-то особый блуждающий, как мне показалось, взгляд, особая неуверенная манера держаться. Я спросил Лукина, что он думает о Науменко.

— Науменко несколько раз ходил по нашим заданиям в Ровно,— сказал Александр Александрович.— Обычно он сам просил его направить. В бою проявил себя неплохо. Но как разведчика едва ли целесообразно его дальше использовать. В городе ничего толком не сделал. Поручили ему достать бумагу — не сумел. Сведения принес какие-то путаные. Я думаю, впредь не стоит его посылать.

— Не стоит, — согласился я и рассказал Лукину о своих сомнениях.

Прошла неделя. Взвод Михеева вернулся. Доложив о том, что задание выполнено, Михеев добавил:

— История, товарищ командир! Науменко пропал!

— Как так пропал?

— Непонятно. На второй день после того, как вышли, смотрим — нет Науменко, исчез.

— Искали?

— Весь лес кругом обшарили, оставляли «маяки». Никакого толку...

Никто не знал, что стало с Науменко, пока вернувшийся из Ровно Борис Крутиков не сообщил о своей встрече с ним по дороге.

— Куда идешь? — спросил Крутиков.

— В Ровно,— спокойно отвечал Науменко.

— Зачем?

— За тем же, что и ты. Командир послал.

Крутиков не стал его задерживать и пошел своей дорогой.

Так мы поняли, что в наших рядах был предатель.

Городские разведчики получили указание всеми способами наводить справки о Науменко, сделать все возможное для того, чтобы предатель был найден и понес кару.

Уже через несколько дней после бегства Науменко Кузнецов, Струтинский и Шевчук сообщили, что обстановка в Ровно крайне осложнилась. По улицам ходят шпики, тайные и явные агенты гестапо, чуть ли не каждому прохожему заглядывают в лицо, проверяют документы...

В своем донесении Струтинский писал: «Науменко видели с гестаповцами в легковой машине».

Участились повальные обыски и облавы. В гестапо решили, очевидно, обыскать вдоль и поперек весь город. Квартал за кварталом планомерно оцеплялись, и гестаповцы с фельджандармами шли подряд по всем домам и квартирам.

Так попали они и на квартиру Лидии Лисовской. Никого из разведчиков здесь в тот момент не было. Но Лидия боялась другого: у нее в диване хранилось оружие. Две винтовки с патронами и шесть противотанковых гранат.

— Прошу! — сказала Лидия молодому лейтенанту, когда тот громко постучал в дверь. Лейтенант вошел в сопровождении двух солдат. Одного он оставил у парадного, второго — у черного хода.

— Впускать всех, не выпускать никого! — приказал он солдатам.

По тому, как тщательно этот лейтенант производил обыск, как педантично соблюдал при этом все правила, Лидия догадалась, что это гестаповец с небольшим стажем, из новичков. Он обыскал переднюю, кухню, спальню. Когда очередь дошла до столовой, Лидия с обворожительной улыбкой предложила ему позвать на помощь солдат.

— Вы так очень скоро устанете, господин лейтенант, если всюду будете возиться сами.

Она усадила лейтенанта на диван, сама села рядом, и, пока солдаты ворошили вещи, отодвигали мебель, они мило разговаривали.

Окончив обыск, лейтенант поднялся с дивана, галантно попрощался с Лидией, обещал вскоре наведаться снова и — уже не с таким неприятным делом, как сегодня.

В этот вечер, открыв на стук дверь и увидев на пороге Шевчука, Валя испытала двойственное чувство. С одной стороны, ей так приятно было видеть у себя Михаила Макаровича, с которым она успела сдружиться, с другой

же — Шевчук своим приходом нарушил все правила конспирации.

Вообще-то, сказать по правде, все они чем дальше, тем чаще собирались вместе, нарушая строжайший запрет командования. Как-то само собой сложилась дружная компания: Валя, Кузнецов, Шевчук, Струтинский и Коля Гнедюк до его отъезда в Здолбунов. Каждый из них всегда примерно знал, чем заняты остальные, где кто находится и как с кем связаться. Их встречи, сначала редкие и случайные, вошли в обычай. От командования это тщательно скрывалось. Правда, и мне, и замполиту и начальнику разведки время от времени доводилось узнавать об этих встречах, но никто из нас не подавал виду.

Так и длилось это обоюдное молчание.

Да и что можно сделать на месте командования? Что можно было предложить товарищам взамен этих дружеских свиданий? После утомительных дней, проведенных в самой гуще фашистов, в этой удушливой атмосфере, в страшном, подчас нечеловеческом напряжении, каждый из таких вечеров бывал как бы отдушиной, каждая встреча с друзьями успокаивающе согревала, ободряла, поддерживала. О чем они разговаривали между собой в такие вечера? Да, по сути дела, ни о чем. Кто-то рассказывал смешную историю, кто-то вспоминал довоенные счастливые времена, рисовали друг другу будущее; много шутили, подтрунивали над Гнедюком, пока тот искал своего обидчика-жандарма; отчитывали Валю за то, что она курит... Как-то, уже тогда, когда Гнедюка перевели в Здолбунов, Кузнецов поехал к нему, пробыл три дня, а вернувшись подолгу рассказывал свои впечатления. Ездил он на машине, которую Коля Струтинский, как всегда, «одолжил» у гебитскомиссара Бера. Машина пришла из Здолбунова доверху набитая яблоками. Это был подарок от здолбуновских товарищей. Братья Шмереги, Михаил Михайлович и Сергей Михайлович, уговорили Кузнецова заехать перед отъездом к ним домой и здесь же, в своем небольшом яблоневом саду, нагрузили машину... Кузнецов приехал из Здолбунова прямо к Вале и у нее же оставил весь груз. С тех пор долгое время, где бы ни состоялась встреча, Валя и Струтинский несли туда большую корзину яблок — угощать товарищей. К самой Вале заходить было не принято, больше того, всем, кроме Кузнецова и Николая Струтинского, бывать у нее категорически запрещалось.

И вот сегодня, в такое тревожное время, перед Валей предстал Шевчук.

Он пришел как ни в чем не бывало, словно так и полагалось, уселся за стол, попросил чаю и, если осталось, то яблок, а обедать наотрез отказался: «Нет аппетита». Видно было, что устал он дьявольски.

Валя долго допытывалась, в чем дело, почему Шевчук так утомлен и расстроен, не случилось ли чего-нибудь неприятного. «Чепуха! — отвечал Михаил Макарович. — Просто набегался за день». Валя поняла, что он не хочет говорить, и перестала расспрашивать.

Шевчук просидел до десяти вечера, а в десять, уже поднявшись уходить, неожиданно заявил, что опоздал всюду (туда уже поздно, а туда далеко — не успеешь) и что придется, хочешь не хочешь, остаться ночевать здесь. «Только никому ни слова».

Валя промолчала в ответ. Она просто не знала, как ей быть, и неизвестно, что ответила бы Шевчуку, если бы тут не вмешалась мать:

— Да побойся бога, Валюша, куда он пойдет так поздно!.. Не стесняйтесь, Михаил Макарович, вот тут на диване можете располагаться и спите себе сколько нужно, а если вставать вам, то скажите — я разбужу.

Шевчук вопросительно взглянул на Валю и, увидев доброе, лукавое и ободряющее выражение ее глаз, решил, наконец, остаться.

Евдокия Прокофьевна, мать Вали, должна была разбудить его в восемь утра, но уже в шестом часу протяжный свисток и вслед за ним выстрелы подняли всех на ноги. Валя выбежала из своей комнаты. Увидев Шевчука, она поняла, что тот все слышал.

— Сейчас узнаю,— проговорила она тревожно и, накинув пальто, выбежала наружу.

Она вернулась сразу же. Для того, чтобы понять, что происходит на улице, не требовалось много времени.

— На улице жандармы, проверяют документы...

В ее голосе Шевчук не услышал упрека, которого ждал и которого так заслуживал.

Квартира оказалась под угрозой провала.

Шевчук надел плащ, взял в руки портфель, но тут же был остановлен Валей.

— Что вы! Куда вы пойдете? Сидите уж. Документы-то у вас в порядке?

Шевчук открыл портфель, вытащил оттуда несколько разных бумажек, переложил в карман. На дне портфеля лежала граната.

Жандармы не заставили себя ждать. Офицер и двое солдат торопливо вошли в комнату, принеся с собой холод. Они застали мирную картину: девушка в сером будничном платье, пожилая женщина, очевидно, мать, и средних лет человек, очень прилично одетый, в очках, пили чай. Девушка сразу же заговорила по-немецки.

— Пожалуйста, пожалуйста, только закрывайте дверь поплотнее.

Офицер — высокий, стройный, с наглым взглядом бесцветных глаз — взял под козырек.

— Фрейлейн, проверка.

Солдаты уже устремились в другую комнату.

— Пожалуйста, — пригласила Валя. — Вот мои документы. Только прошу вас, поскорее — я опаздываю на службу.

— Не волнуйтесь, фрейлейн,— с холодной улыбкой отвечал офицер,—можете задержаться на несколько часов. Движения на улице нет. В рейхскомиссариате не будут на вас в претензии.

— Серьезно? — Валя весело засмеялась. — О, тогда нам, действительно, незачем торопиться. Мутерхен,— обратилась она к матери, — чаю господину обер-лейтенанту!

— Нет, нет,— вежливо, но настойчиво возразил тот.— У меня нет для этого времени.

— Но вы — с холода!

— Если фрейлейн не возражает, как-нибудь в другой раз.

Валя с готовностью пригласила офицера заходить, но добавила, что ведь и сейчас чашка чаю заняла бы очень немного времени...

— Кто с вами живет? — спросил офицер.

— Я живу с матерью, — бойко ответила Валя. — А это,—она показала на Шевчука,— мой двоюродный брат.

— Янкевич, — почтительно, слегка поклонившись, произнес Шевчук.

Офицер смерил его любопытным взглядом.

— Документы?

Шевчук протянул свои бумажки. Достать гестаповский жетон он не решился. Офицер внимательно прочел все и, не возвращая, снова вскинул глаза на Шевчука:

— Тут сказано, что вы живете совсем в другом месте...

— Да,— вмешалась Валя.— Он зашел к нам вчера вечером, задержался, и мы с мамой оставили его ночевать...

Портфель лежал на стуле, так что Шевчук мог в любой момент выхватить гранату. Было мгновение, когда взгляд офицера задержался на портфеле. Если бы офицер вздумал обыскивать комнату, он, конечно, начал бы с этого портфеля. Этого нельзя было допустить!

— Двоюродный брат? — переспросил офицер, взглянул на Валю, затем перевел глаза на Шевчука и, наконец, протянул им документы. Это значило, что с проверкой закончено.

Когда офицер ушел, Шевчук объяснил Вале, чем вызван его вчерашний, неожиданный визит, который мог так дорого обойтись им обоим. Причина была, как выразился сам Михаил Макарович, самая неуважительная: просто заскучал, захандрил, одиночество замучило — ну, и не выдержал... «И вот мне наказание,— усмехнулся он.— Именно сегодня и должны были притти немцы с проверкой! Видно, теперь придется быть особенно начеку. Кто знает, какие еще последствия вызовет подлое предательство Науменко».

Валя и Шевчук прождали до полудня, пока не убедились, что облава снята. Тогда они вышли на улицу, тут же распрощались и пошли каждый своей дорогой.

Это был первый и последний визит Шевчука к Вале. Мы, конечно, узнали о том, что произошло, но не стали выговаривать Михаилу Макаровичу — решили, что сам он извлечет хороший урок из этого случая, когда он нарушил правила конспирации.

К счастью, ни Кузнецова, ни Шевчука, ни Струтинского предатель не знал в лицо, не знал их фамилий, не знал он и наших явок в городе. Но на след одной из них ему каким-то образом удалось все же навести гестаповцев. Двух товарищей — Николая Куликова и Васю Галузо — мы так и не успели уберечь от беды.

Куликов и Галузо жили в небольшом двухэтажном доме в центре города, на Хмельной улице. Куликов до войны был сельским учителем. Галузо — агрономом. Оба они присоединились к отряду в начале 1943 года.

Галузо имел некоторое внешнее сходство с Кузнецовым, и гестаповцы, очевидно, были уверены, что выследили

именно его. Офицер Пауль Зиберт пока не вызывал никаких сомнений.

Однажды ночью гестаповцы окружили дом. Хозяйка квартиры первая это заметила и разбудила разведчиков.

Галузо посмотрел в окно.

— Антонина Васильевна, уходите отсюда сейчас же. Соврите там что-нибудь или скройтесь. А мы тут останемся.

Хозяйка ушла.

— Русь, партизан, выходи! — закричали с улицы.

Куликов и Галузо тем временем спешно баррикадировались, закрывая двери и окна мебелью.

Гестаповцы стали ломиться. Партизаны из окон открыли огонь. Начался неравный бой.

По окнам стреляли из винтовок, автоматов и пулеметов. Куликов и Галузо отвечали стрельбой из своих ТТ. Когда немцы увидели, что осада не приносит успеха и меткие выстрелы партизан разят то одного, то другого из них, они вызвали помощь.

Подъехала машина с крупнокалиберным пулеметом. Из окна дома бросили гранату. Машина и пулемет были разбиты. Гестаповцам пришлось вновь вызывать подкрепление.

Свыше шести часов длился этот бой в центре города между двумя советскими патриотами и доброй сотней фашистских карателей. На улице стало светло. Движение прекратилось. Были побиты все окна. Двое храбрецов продолжали стрелять и забрасывать врагов гранатами.

Когда все патроны были расстреляны, все гранаты израсходованы, Василий Галузо и Николай Куликов уничтожили свои документы.

После шестичасового боя, потеряв убитыми до двух десятков своих солдат, гестаповцы захватили «в плен» два трупа.

Не удалось спастись и Антонине Васильевне. Ее арестовали, подвергли жестоким допросам, выбили все зубы, вырвали волосы. При этих допросах присутствовал Науменко. Он принимал участие в пытках. Антонина Васильевна не проронила ни слова. Она была расстреляна при допросе.

Глава четырнадцатая

Начальник экспедиции рейхскомиссариата, доктор Круг имел обыкновение по крайней мере три-четыре раза в день отлучаться из кабинета. Нельзя сказать, чтобы этого

всегда требовали дела службы. Чаще всего доктор Круг уходил со своими коллегами в ближайшее казино пить пиво. Он называл это «освежиться». «Пойду, освежусь,— говорил он в таких случаях своей сотруднице фрейлейн Довгер.— Если будет звонить телефон, отвечайте: вышел, сейчас вернется». По лицу Круга, когда он возвращался, нельзя было сказать, что он освежился. Скорее наоборот: лицо его теряло обычное выражение довольства и благодушия, становилось заспанным и обрюзгшим. Он лениво садился за стол, просиживал час-два, а затем снова уходил. Пиво было не единственной страстью доктора Круга. С неменьшим рвением относился он и к своим обязанностям отца семейства. У доктора Круга была в Мюнхене семья — жена и две девочки. Он счел бы бесцельным свое пребывание на Украине, если бы не мог регулярно посылать им посылки. Это важное занятие складывалось из ряда других, мелких: нужно было приобрести необходимые вещи, соответствующим образом их уложить, обшить ящик, надписать адрес, наконец, сдать посылку на почту. Ни одного из этих занятий доктор Круг своим подчиненным не доверял, предпочитая делать все сам. Это и было основной причиной его отлучек.

Нельзя сказать, чтобы фрейлейн Валентина Довгер была особенно удручена частыми отлучками своего шефа. Она с готовностью отвечала на многочисленные телефонные звонки, принимала и отправляла почту рейхскомиссариата, рассылала курьеров. Доктор Круг был доволен своей помощницей, ценил ее усердие, а главное — скромность. У него не было от нее секретов — ни личных, ни служебных. И лучшим подтверждением тому являлась связка ключей, часто оставляемая Кругом на столе, когда он уходил.

Как-то оставшись одна и по обыкновению заглянув в сейф, Валя нашла в нем нечто новое для себя, нечто такое, что заставило ее побежать к двери и тихонько повернуть ключ. В сейфе лежал распечатанный пакет с экземплярами приказа, содержание которого было ей до сих пор неизвестно. Приказ был подписан заместителем рейхскомиссара доктором Функом, датирован вчерашним числом и, очевидно, только что размножен.

Валя пробежала глазами приказ и хотела было взять себе экземпляр, но раздумала: они были пронумерованы. Тогда с трудом сдерживая волнение, она внимательно про-

читала его от строчки до строчки, затем положила пакет на место, отперла дверь — и во-время: в коридоре уже слышны были неторопливые шаги шефа.

— Доктор,— обратилась к нему Валя, как только тот вошел в комнату,— разрешите мне отлучиться на часок. У меня неотложное дело.

Больше всего она боялась, что шеф ее не отпустит. Он не любил ее отлучек.

— Неотложное дело...— проворчал Круг. Сам он ходил за какими-то покупками и, видно, успел по дороге «освежиться».— А кто же будет сидеть здесь? Мне нужно итти упаковывать ящик.

— Я вам упакую,— робко предложила Валя.

Круг внимательно посмотрел на нее, как бы раздумывая, стоит ли ей поручать столь серьезное дело, и, видимо, решив, что поручать не стоит, а отпустить все-таки можно, сказал:

— Я даю вам пятьдесят минут.

Валя схватила пальто и выбежала на улицу.

Через пятьдесят минут она не вернулась, не вернулась и через час. Ее отлучка продолжалась ровно час и сорок минут. Доктор Круг, увидев ее, наконец, в комнате, в бешенстве выругался и выбежал, хлопнув дверью. Он спешил отправить посылку.

Во время короткого свидания на улице Валя сообщила Кузнецову ошеломляющую новость: в Ровно приезжает из Берлина Альфред Розенберг, один из ближайших подручных Гитлера, «теоретик» национал-социализма, имперский министр «восточных земель». Приказ Функа предусматривал организацию особой охраны на улицах города.

Кузнецов сказал Вале, что сегодня же вечером выедет в отряд просить санкции на убийство Розенберга.

...Рабочий день в рейхскомиссариате окончился, и Валя собиралась уже уходить, когда к ней подошел майор Гитель, которого она в последнее время все чаще и чаще заставала в рабочей комнате экспедиции.

— Не разрешит ли фрейлейн ее проводить?— спросил Гитель, наклоняясь к самому ее плечу и дыша перегаром.

— Сделайте одолжение, господин майор,— сказала Валя, отстраняясь.

Этот Гитель славился своей обходительностью и слащавой изысканностью речи. Был он еще довольно молод,

одевался весьма элегантно, ходил со стэком и вообще держал себя, как человек, знающий цену своей наружности.

Они вышли на улицу. Валя снова испытала то чувство неловкости, которое владело ею всегда, когда ей случалось итти под руку с лейтенантом Зибертом: она видела, как прохожие сторонились, уступая дорогу и отводя глаза.

— Как чувствует себя фрейлейн на службе? — спросил Гитель, правой рукой поддерживая локоть Вали, а левой помахивая стэком.

— Благодарю вас, господин майор! Я чувствую себя вполне хорошо и, право, не могу понять, чем вызван ваш вопрос.

Никто из валиных сослуживцев толком не знал, чем занимается в рейхскомиссариате майор Гитель. Кабинет его на втором этаже бывал обычно заперт, самого майора заставали то в одном месте, то в другом. Как будто деятельность его заключалась в хождении по коридорам.

Как-то, задержавшись у себя в экспедиции после положенного времени и идя к выходу, Валя заглянула в приоткрытую дверь и увидела Гителя за странным занятием: он копался в ящиках чужого стола. Уже тогда Валя поняла, чем занимается в рейхскомиссариате этот рыжий щеголь и где он на самом деле служит.

— Фрейлейн замужем? — спросил Гитель, и не дав ей ответить, продолжал сам: — О, я знаю, у фрейлейн есть жених.

— Совершенно верно,— сказала Валя.— Он офицер, имеет высокое понятие о чести и вряд ли был бы особенно доволен вами и мной, увидев нас вместе.

Она думала, что, может быть, этим отвадит назойливого майора.

Но того, повидимому, меньше всего интересовал на сей раз успех у женщин. После нескольких фраз Валя поняла, чему обязана этой беседой с Гителем.

— А где он служит ваш жених? — спросил майор, продолжая размахивать стэком. Валя обратила внимание на то, как украшен этот стэк: серебряная инкрустация в виде черепа со змеей...

— Он фронтовик.

— Разве фронтовики служат не на фронте? — шевельнул бровями Гитель.

— Он по снабжению армии.

— И как часто бывает в Ровно?

— Часто... Как этого требуют дела.

— Я спросил потому, что случайно видел вас вместе в приемной у рейхскомиссара,— сказал Гитель.— С тех пор вы и ваш жених... простите, я забыл его имя...

— Лейтенант Пауль Зиберт.

— ...Вы и ваш жених внушили мне самую искреннюю симпатию. Вы не окажете мне честь, не познакомите меня с лейтенантом Зибертом?

— Пожалуйста,— отвечала Валя.

Очевидно, это было все, что добивался от нее Гитель. Он проводил ее до дому и, любезно попрощавшись, ушел.

Валя не пробыла дома и десяти минут. Нужно было срочно разыскать Кузнецова.

Она знала адрес Ивана Приходько и, хотя посещать Кузнецова на этой квартире категорически запрещалось, устремилась туда, думая только о том, как бы застать Николая Ивановича, пока он еще не уехал в отряд, и сообщить о разговоре с Гителем.

Кузнецов встретил ее против обыкновения сухо. Он был уже в шинели. Очевидно, она перехватила его в последнюю минуту.

На рассказ Вали он реагировал самым неожиданным образом:

— Значит, этот Гитель узнал, где ты живешь?

Они подумали и решили, что Кузнецову в самом деле стоит встретиться с Гителем, но не Валя организует эту встречу, а Лидия Лисовская или Майя Микатова. Та и другая были уже давно «завербованы» в гестапо фон Ортелем.

С Гителем и Лидия и Майя были знакомы. При первой же встрече с ним Майя, как бы между прочим, сказала, что они с кузиной собирают небольшую компанию и пригласила Гителя принять участие в вечеринке. При этом, в числе прочих приглашенных, был назван Пауль Зиберт.

— Зиберт? — повторил Гитель.— Это интересно. Приду с удовольствием.

— Придете ради этого Зиберта? — обиженно проговорила Майя.— Не понимаю, чем он заслужил ваше внимание? Обыкновенный пруссак. Я бы его и не пригласила, но он встретил кузину и напросился.

— Я склонен думать, что это не «обыкновенный пруссак»,— таинственно усмехнулся Гитель,— а самый настоящий английский шпион.

— Что вы, майор! — изумилась Майя и тут же деловито спросила:— В чем же дело? Почему вы его не берете?

— Потому что никто, кроме меня, этого не подозревает,— не без гордости ответил Гитель.— Это моя находка и прошу о ней пока не болтать... впрочем, мне учить вас не надо. А потом, зачем же брать английского шпиона? Это не большевик. С ним можно подождать, посмотреть, что он за птица и чем может быть полезен...

Они условились, что вечеринка состоится в ближайшую субботу на квартире у Лиды. Гитель был обрадован этой затеей. Прощаясь, он напомнил, что Зиберта надо пригласить непременно.

Кузнецов вернулся из отряда не один, а с Валей Семеновым. Тот поехал под видом предателя, состоящего на службе у гитлеровцев, в соответствующей форме, с винтовкой за плечом.

Одновременно были переданы указания и подпольщикам. Все члены организации, во главе с Новаком и Луцем, мобилизовались на выполнение задуманной операции.

Когда Кузнецов и Семенов вернулись в город, они застали здесь в полном разгаре приготовления. Солдаты подметали улицы, щетками чистили тротуары, спешно красили заборы. Очевидно, приезд «высокого гостя» был делом ближайших дней.

Вечером у Лидии Лисовской Кузнецов встретился с Ортелем. Тот казался озабоченным, то и дело поглядывал на часы, даже Майя никак не могла его оживить. Наконец, он поднялся и сказал, что спешит.

— Куда вы, майор? — попыталась удержать его Майя.— Посидите! Вечно у вас дела.

— Увы, Майхен,— отвечал фон Ортель,— такова наша служба. Вот Зиберт — он человек свободный...

— Пока снова не отправился на фронт,— заметил Зиберт.

— В самом деле, поезжай-ка ты лучше на фронт, Зиберт,— фон Ортель дружески похлопал приятеля по плечу.— Поверь мне, там сейчас веселей, чем здесь!

— Насколько я знаю, не очень весело.

— Все же лучше, чем в этой тыловой дыре.

— Почему в таком случае ты сам не едешь?

— Я еду,— сказал фон Ортель.— Сорвалась одна поездка, но я о том не жалею. Теперь предстоит нечто бо-

лее значительное. Во всяком случае, более веселое,— добавил он.

Так Кузнецов узнал, что фон Ортель готовится к отъезду. После того вечера, когда Ортель говорил о своих сборах на секретный завод, он больше не возвращался к этой теме. Очевидно, поездка не удалась, и Ортель предпочитал не упоминать больше о ней в разговоре с Зибертом. В последние дни, однако, он все чаще намекал, что ему может представиться случай «сделать карьеру». А сегодня, наконец, прямо сказал, что едет.

Куда могут его послать? На фронт? Едва ли,— такой, как он, нужен немцам в тылу. В другой город на оккупированной территории? Тогда Ортель не сказал бы, что там будет «веселей», чем здесь, в этой «тыловой дыре».

Кузнецов терялся в догадках. Главное из его предположений было основано на том, что Ортель прекрасно говорит по-русски. Неужели он отправляется к нам, в наш тыл? Все эти мысли не давали Кузнецову покоя.

Спросить? Но Кузнецов взял себе за правило — самому никогда ни о чем не спрашивать.

Фон Ортель ушел.

Кузнецов посидел немного и тоже поднялся уходить. На прощание он напомнил Лиде и Майе, что очень интересуется маршрутом фон Ортеля.

Он решил зайти к Вале. Ей могло быть известно, когда приезжает Розенберг. Впрочем, он и сам знал, когда — завтра.

Все чаще и чаще, идя к Вале, он ловил себя на мысли о том, что нарочно выдумывает какой-либо предлог, который оправдал бы их встречу. Вот и сегодня он собирается спросить о том, что сам хорошо знает. Просто он хочет видеть Валю, видеть ее лицо, глаза, улыбку, слышать ее голос...

И признавшись себе в этом, он, может быть, впервые с такой остротой почувствовал, как тяжка и мучительна эта теперешняя его жизнь — закованная, как в броню, в немецкий военный мундир.

Валя подтвердила, что Альфред Розенберг приезжает завтра утром. Как и следовало ожидать, остановится он в особняке у Коха.

Весь вечер они с Кузнецовым проговорили.

Наутро Кузнецов вышел на свою очередную прогулку, но не успел сделать и нескольких шагов в направлении

«Немецкой улицы», как был остановлен. Фельджандарм-подполковник спросил у него документы, долго рассматривал их и, наконец, вернул.

— Мне придется просить вас, лейтенант, покинуть эту улицу. Итти можете по параллельной,— сказал он.

— Но мне нужно в рейхскомиссариат!

— Там сегодня нет приема. Нигде нет приема.

Кузнецов откозырял и свернул в переулок.

Спустя полчаса он снова был на «Немецкой улице». Здесь уже стояли войска. По обеим сторонам улицы, вытянувшись двумя длинными цепями, лицом к тротуару и спинами к мостовой, на расстоянии пяти метров один от другого застыли солдаты фельджандармерии. Когда раздался гул сирены, солдаты обратили к тротуару изготовленные к стрельбе автоматы. Кузнецов видел, как мимо с большой скоростью проскочило семь или восемь автомашин. Поняв, что выполнить операцию невозможно, он вернулся к себе.

Неудачными оказались и все попытки подпольщиков.

Валя Семенов пробыл в Ровно всего четыре дня. Когда он однажды сидел на лавочке у собора, два жандарма принялись его фотографировать. Семенов рассказал об этом Кузнецову и был немедленно отправлен в отряд.

— Не судьба! — часто говорил он потом с досадой.

Глава пятнадцатая

Зиберт и фон Ортель встретились в казино на «Немецкой улице». Уже успели смениться посетители, уже певица в третий или четвертый раз повторяла под аккомпанемент дребезжащего пианино свой коронный номер —«Я грезил о тебе», а они все сидели и не собирались уходить.

Впервые за долгое время они разговорились, что называется, по душам. То ли давнее знакомство привязало их друг к другу, то ли этот прокуренный зал, чужие лица вокруг и бесконечное «Я грезил о тебе» располагали к откровенной беседе, но они доверяли друг другу в этот вечер все, о чем в иное время предпочитали молчать.

Началось, как всегда в таких случаях, с какой-то пустяшной темы, потом разговор перекинулся на другую, и незаметно они подобрались к вопросу, который обоих волновал и по которому у каждого, оказывается, давно уже было свое суждение.

— Как ты относишься к этой «курской истории» и вообще к тому, что русские наступают? — спросил фон Ортель.

Сам вопрос уже заключал в себе доверие. Упоминать о Курске, как и о Сталинграде, можно было только в разговоре с человеком, которого хорошо знаешь.

— Как тебе сказать,— произнес Зиберт неопределенно.— Я смотрю на этот вопрос двояко. Мне кажется, что у нас и на этот раз есть довольно основательная причина носить траур... Но я не люблю траура. Я — не политик и мало понимаю в этом деле, но я бы сказал... Если тебе это будет смешно, то я не обижусь... Я думаю, что есть такие исторические моменты, когда поражения имеют некоторое преимущество перед победами. Ты улыбаешься? Подожди, я не кончил мысль. Что заставит задуматься над серьезностью положения в дни побед? Ничто. Победы кружат голову. А поражения? Они заставляют думать даже меня,— Зиберт усмехнулся. — Германии нужен трезвый ум и стойкий дух, то и другое приобретается не в победах, а в поражении.

— Браво! — воскликнул фон Ортель. — Из тебя, Зиберт, вышел бы превосходный теоретик. Пока не поздно, покажись Альфреду Розенбергу, а то — еще день, и он укатит в Берлин. Выскажи перед ним свои взгляды, и он возьмет тебя к себе в помощники!

— Кстати, батюшка мой был с ним когда-то довольно близок. Думаю, что и меня он вспомнил бы, если бы увидал.

— Ну да, вы ведь с ним земляки? Впрочем, говорят, что Розенберг — выходец из России. Так что не ты, а скорее я его земляк.

— Ты? Ну, ты меньше всего похож на уроженца Тюмени!

— Тюмени,— засмеялся Ортель. — Ты знаешь, где Тюмень?

— Кажется, где-то под Москвой.

— Нет, на Урале. Даже за Уралом. Вот видишь, все-таки я знаю Россию!

— Любознательность?

— Скорее уж долг профессии.

— Ты назвал себя уроженцем России. Это тоже — по долгу профессии?

— Ты довольно догадлив. Мы, однако, говорили о Курске... Видишь ли, Зиберт, я, правда, не теоретик, но в политике кое-что понимаю, и я тебе скажу: если бы фюрер нашел правильный подход к русским, эта страна давно была бы очищена, и мы жили бы здесь припеваючи.

Фон Ортель выцедил рюмку ликера, налил себе следующую и продолжал:

— Что значит найти правильный подход к русским? Это значит,— он поучающе ткнул пальцем в грудь собеседника,— постичь характер народа. Тебе приходилось допрашивать русских? Если да, то заметил ли ты в них одну особенность — они не просят пощады!

— Да, я обратил внимание,— сказал Зиберт.

— Так вот,— продолжал фон Ортель, распаляясь, — этот народ не таков, чтобы с ним можно было сладить. Помнишь, я рассказывал тебе про старика, который наклеивал листовки? Он так никого и не выдал, при пытках молчал, а, идя на виселицу, кричал большевистские лозунги. Что же делать с таким народом? У нас предпочитают повесить сто человек, а сто тысяч погнать на работы и дать им листовки Геббельса и Розенберга. Ты уж меня извини, но все эти теоретики и пропагандисты даром едят хлеб. Все они, вместе взятые, не стоят одного средней руки диверсанта. Нам не нужны ни листовки, ни эта рабочая сила.

— Но она — даровая! — вставил Зиберт.— Как же можно от нее отказаться!

— Вот ваша беда, господа прусские помещики! — воскликнул фон Ортель.— Вы меркантильны, вам нужна нажива, вам нужна дешевая рабочая сила — и это-то нас губит. Да, да, если бы не гнались за выгодой, а попросту перестреляли всю эту страну и освободили ее для себя — вот тогда был бы какой-нибудь толк!

— Ты, значит, предлагаешь уничтожить всех русских?

— Мне не важно, кто они — русские, или украинцы, или французы — мы должны освободить от них Европу... для себя.

— Ты не совсем оригинален. Так считает и гаулейтер Кох.

— Что ж, он совершенно прав.

В это время певица, дородная, не первой молодости женщина с лицом, в такой степени раскрашенным, что, казалось, оно загрунтовано пудрой, как холст белилами, а сверху нанесены черным — новые брови, красным— губы,

и только серые водянистые глаза остались на прежнем месте,— певица, обратившись через весь зал к фон Ортелю, объявила, что будет петь по требованию публики. Офицеры в зале зашумели, захлопали, посыпались реплики, и в конце концов певица начала «Сон гауптмана», песенку не менее излюбленную аудиторией, чем знаменитое «Я грезил о тебе».

Гауптману, о котором она пела, снились тонкие губы его подруги, их уютная комнатка на Бисмаркштрассе и поместье под Киевом, которое он, гауптман, завоевал для своей милой.

— Боюсь, что Киев — это уже прошлое, — заметил по этому поводу фон Ортель.— Бои развернулись под Белой Церковью, а завтра... впрочем, кто знает, что будет завтра!.. Послушай, Пауль, у тебя есть деньги?..

— Ты становишься пессимистом, Ортель! — сказал Зиберт, положив на стол пачку в пятьсот марок.

— Нет,— задумчиво произнес фон Ортель, считая деньги.— Мне нельзя думать, что мы можем проиграть войну. Русские меня повесят. А впрочем, я переметнулся бы к англичанам или американцам. С моей специальностью не пропадешь — знатоки России всегда понадобятся.

— А ты причисляешь себя к знатокам России?

— О да!

— Постигаешь душу народа при помощи резиновой дубинки?

— Зачем же. Мне приходилось бывать в Москве,— спокойно сказал фон Ортель, пряча деньги в карман.

— В Москве?

— Чему ты удивляешься? Я жил там два с лишним года.

— Как это интересно, должно быть!

— Вот не сказал бы. Я жил там, как в пустыне.

— Не было своих людей?

— Это, во-первых. Во-вторых, в пустыне ходишь по раскаленному песку.

— Ты хочешь сказать, что тебе там обожгло пятки?— спросил Зиберт, берясь за бокал.

— Да, ты недалек от истины. Странный народ. Стоит навлечь на себя подозрение, как любой встречный мальчуган отведет тебя в милицию.

— И, вероятно, ты не очень хорошо поработал в Москве?

— Да, там мне не повезло.

— Не обижайся, Ортель, но мне всегда как-то думалось о вашей деятельности без особого уважения. Кормят людей, как на убой, одевают, как на бал, платят, как министрам, и держат в тылу. А чем они, в сущности, заняты? Охотятся за сопливыми комсомольцами, порют и вешают крестьян и насилуют девок. А на фронте мы каждую минуту ставим свою жизнь на карту — и никакого почета.

— Ты ничего не знаешь о нас, Зиберт. Если перестают работать мозг и сердце — человек умирает, а мы — мозг и сердце Германии.

В этот момент к их столу подошел средних лет человек, лысоватый, в синей гимнастерке, в брюках навыпуск. Он приближался медленно, с опаской поглядывая на обоих офицеров и не решаясь подойти близко, но в то же время желая что-то сказать.

— Что, Наумов? — спросил фон Ортель по-русски.— Что тебе здесь надо?

— Ничего особенного. Просто увидел вас и подошел поприветствовать,— проговорил Наумов, осклабясь.

— Это очень мило с твоей стороны,— сказал фон Ортель.— Все? Ну хорошо, убирайся...

Наумов, как ни в чем не бывало, поклонился и отошел.

— Не представляешь, что за субъект? — спросил фон Ортель.— Это из наших, так сказать, местных союзников. Надо отдать справедливость русским: если среди них найдется предатель, это обязательно такая шваль, что руки не подашь. Потому я не люблю иметь дело с этими субъектами. Ты знаешь, зачем он подошел?

— Конечно. Ему нужны деньги.

— Мы платим за заслуги, Зиберт. Этот сделал слишком мало. Пошел к партизанам, побыл там месяц или два и сбежал. Вот и весь толк. Теперь напрашивается ехать со мной, а деньги просит вперед, подлец! Взять его, что ли?

— Ты сказал, что предпочитаешь с такими не связываться!

— Вообще да, но тут особый случай... В том деле, на которое я еду, эта шваль может пригодиться.

Зиберт оставался верен своему обыкновению ни о чем не спрашивать. И его собеседник ценил в нем эту скромность.

— Послушай, Пауль,— предложил он вдруг,— а что если тебе поехать со мной? О, это идея! Клянусь богом, мы там не будем скучать!

— Из меня плохой разведчик,— уклончиво сказал Кузнецов.

— Ха! Я сделаю из тебя хорошего!

— Но для этого нужно иметь какие-то данные, способности...

— Они у тебя есть. Ты любишь хорошо пожить, любишь удовольствия нашей короткой жизни. А что ты скажешь, если фюрер тебя озолотит? А? Представляешь — подарит тебе, скажем, Волынь или, того лучше, земли и сады где-нибудь на Средиземном море. Осыплет тебя всеми дарами! Что бы ты на это сказал?

— Я спросил бы: что я за это должен сделать?

— Немного. Совсем немного. Рискнуть жизнью.

— Только-то?! — Кузнецов засмеялся.— Ты шутишь, Ортель. Я не из трусов, жизнью рисковал не раз, однако ничего за это не получил, кроме ленточек на грудь.

— Вопрос идет о том, где и как рисковать. Сегодня фюрер нуждается в нашей помощи... Да, Пауль, сегодня такое время, когда надо помочь фюреру, не забывая при этом, конечно, и себя...

Пауль молча слушал.

И тогда фон Ортель сказал ему, наконец, куда он собирается направить свои стопы. Он едет на самый решающий участок фронта. Тут Пауль Зиберт впервые задал вопрос:

— Где же он, этот решающий участок? Не в Москве ли? Или, может быть, надо на парашютах выброситься в Тюмень? Чорт возьми, мне все равно, где он!

— За это дадут тебе, Зиберт, лишний железный крестик. Нет, мой дорогой лейтенант, решающий участок не там, где ты думаешь, и не на парашюте нужно туда спускаться, а приехать с комфортом, на хорошей машине и, что особенно запомни, нужно уметь носить штатское.

— Не понимаю. Ты загадываешь загадки, Ортель!— в голосе Кузнецова прозвучала ирония. — Где же тогда этот твой «решающий» участок?

— В Тегеране,— с улыбкой сказал фон Ортель.

— В Тегеране? Но ведь это же Иран, нейтральное государство!

— Так вот именно здесь и соберется в ноябре Большая Тройка: Сталин, Рузвельт и Черчилль...— И фон Ортель сказал, что он ездил недавно в Берлин, был принят генералом Мюллером и получил весьма заманчивое предложе-

ние, о смысле которого Зиберт, вероятно, догадывается. Впрочем, он может сказать ему прямо: предполагается ликвидация Большой Тройки. Готовятся специальные люди. Если Зиберт изъявит желание, он, фон Ортель, походатайствует за него. Школа — в Копенгагене. Специально готовятся террористы для Тегерана. Разумеется, об этом не следует болтать.

— Теперь-то, ты понимаешь, наконец, как щедро наградит нас фюрер?

— Понимаю,— кивнул Зиберт.— Но уверен ли ты, что мне удастся устроиться?

— Что за вопрос! Ты узнай сначала, кому отводится одна из главных ролей во всей операции.

Зиберт промолчал.

— Мне! — воскликнул фон Ортель и рассмеялся, сам довольный неожиданностью признания.

Он был уже порядком пьян...

В ту же ночь Кузнецов разыскал Николая Струтинского.

— Как у тебя с машиной?

Никогда еще он так не спешил в отряд, как сегодня. Будь у него возможность, он умчался бы тотчас же, немедленно. Но предстояло еще одно дело, которое нельзя было откладывать; дело неприятное, но необходимое — встреча с майором Гителем.

Прежде чем ехать на вечеринку к Лидии Лисовской, где будет Гитель, Кузнецов заглянул к Вале. Встреча с ней — это было единственное, что могло хоть как-то скрасить томительные часы пребывания в городе.

Он застал Валю в тревоге.

Она узнала, что генерал фон Ильген, командующий особыми войсками, похвастал в своем ближайшем окружении, что в скором времени в районе Ровно не останется ни одного партизана. Ильген сказал, что он вызвал специальную карательную экспедицию под командованием генерала Пиппера — знаменитого «мастера смерти», как его называли немцы. Ильген заявил, что он не успокоится до тех пор, пока не поговорит с командиром партизанского отряда у него в лагере.

...На вечеринке у Лидии Лисовской, к удивлению Гителя, не оказалось никого, кроме Лидии, Майи да Зиберта, который уже ждал майора и, судя по всему, был рад

возможности познакомиться. Был он не один, а с денщиком, которого почему-то прихватил с собой на вечеринку.

Вечеринка длилась недолго. Гителя связали, заткнули рот кляпом и черным ходом вынесли во двор, где стояла наготове машина. Денщик сел за руль, и машина, проехав несколько улиц и миновав заставу, оказалась на шоссе, а там, после нескольких километров пути, свернула в лес.

Первое, о чем сказал мне Николай Иванович, явившись в отряд, это о своем намерении убить фон Ортеля.

— Я едва сдержался и не убил его там — в казино.

— И прекрасно сделали, что сдержались,— сказал я.— Вообще надо подумать, нужно ли убивать Ортеля?

— Товарищ командир,— решительно, с дрожью в голосе промолвил Кузнецов.— Этот гестаповский выродок хочет посягнуть на жизнь нашего вождя! Как вы можете меня удерживать!

— Вы только что сказали, Николай Иванович, что Ортель возглавляет целую группу террористов, предназначенных для Тегерана. А вы знаете эту группу? Нет. Здесь, в Ровно, вы сможете убить одного только Ортеля, а в Тегеран поедут те, которых мы не знаем и знать не будем. Ортеля надо не убивать, а выкрасть его из города живым. Здесь мы от него постараемся узнать, что за молодчики готовятся к поездке в Тегеран, их приметы, возможно, и адреса в Тегеране... Понимаете?

— Понимаю.

— Садитесь и напишите пока подробные приметы самого Ортеля. Обо всем, что вы сказали, и эти приметы мы сегодня же сообщим в Москву.

Кузнецов взял бумагу и, тщательно обдумывая каждое слово, описал приметы своего «приятеля». Портрет был так полон, что Ортель, как живой, вставал перед глазами.

— Вы представьте,— закончив работу, сказал Кузнецов,— этот прожженный шпион еще до войны пытался работать в Москве!

— В Москве? На него похоже. Надо думать, ему там не очень сладко пришлось.

— Еще бы! Он говорит, что ходил, как по раскаленному песку. Они не понимают, что в Советском Союзе весь народ — разведчики!

Я подумал: какая глубокая правда заключена в этих словах. Весь народ — разведчики! Да, это именно так.

Взять вот хотя бы самого Кузнецова. Рядовой инженер, человек по существу сугубо гражданский, никогда не помышлял стать разведчиком, а между тем в поединке с ним, с мирным человеком, потерпел поражение крупный немецкий разведчик-профессионал, прошедший не одну школу... Я вспомнил о Гнедюке... До войны Гнедюк работал слесарем железнодорожного депо, а теперь Коля — гарны очи водит за нос опытных гестаповцев. А братья Струтинские, а дядя Костя... А Марфа Ильинична? Старая женщина, не получившая никакого образования,отдавшая всю жизнь заботам о своей большой семье... Каким мужеством, каким высоким сознанием своего долга перед Родиной надо было обладать, чтобы в ее годы вызваться в тяжелый, изнурительный и опасный путь; какое умение, сообразительность и даже — я не ошибусь, если скажу — какой огромный талант понадобились для того, чтобы сделать то, что сделала она в Луцке.

Много дорогих лиц прошло в ту минуту перед моим мысленным взором, много лиц и судеб, характеров и биографий. И всем им были свойственны одни и те же черты: горячий патриотизм и природная одаренность. Вот что делает наш народ непобедимым! Мне казалось, это и имел в виду Николай Иванович, объясняя поражение фон Ортеля.

Теперь нам уже не приходилось беспокоиться по поводу удивительных успехов наших разведчиков. Мы поняли, наконец, чем объясняются эти успехи, доставившие нам в свое время столько опасений и тревог.

Гитлеровцы, оккупировавшие огромную территорию, держались на ней при помощи жесточайшего, беспримерного в истории террора. Но все живое на этой земле сопротивлялось врагу, и не было такой силы, которая могла бы подавить это сопротивление, бесстрашие и непобедимую волю к жизни.

На чью же поддержку рассчитывали Гитлер и его банда на нашей земле? Люди, пошедшие к ним на службу, составляли жалкую кучку предателей и отщепенцев своего народа. Это были ничтожества, моральные уроды, жестоко ненавидимые в народе и презираемые даже самими немцами. Это были мертвецы, загнившие души. Всю эту мразь, конечно, можно было зачислить в свой «актив», но ее нельзя было сделать реальной силой.

Был какой-то органический порок и в самих фашистских разведчиках. Все они словно были рассчитаны на то,

что в странах, где они действуют, их встретит немая покорность, что они будут «работать» на побежденной земле. Но они попали в страну, которая не хотела, не могла быть побежденной. И самонадеянные, дефективные, самовлюбленные гитлеровские разведчики терпели одно поражение за другим.

Майор Гитель, которого Кузнецов и Струтинский привезли в отряд, являл собою прекрасный образец такого разведчика-гитлеровца. Куда девался весь лоск «рыжего майора»! Он ползал в ногах, заливался слезами, умолял о пощаде. При допросе он рассказал все, что знал, в частности, сообщил много важных для нас данных о главном судье Функе — единственном оставшемся в живых заместителе Коха. Сам Гитель, как выяснилось, был доверенным лицом этого палача Украины...

Да, успехи нашей работы были не случайны.

Мы опирались на могучее патриотическое движение народных масс. Наши люди, простые советские люди, превосходили хваленых немецких разведчиков во всем. Продажным агентам Гиммлера, людям без моральных устоев, без совести и чести, противостояли пламенные патриоты своей Родины, готовые на самопожертвование во имя ее освобождения, люди высокого человеческого подвига. Эти качества сочетались в наших партизанах-разведчиках с их замечательной находчивостью, неистощимой фантазией и изобретательностью, с той самой природной сметкой, которую так высоко оценил в нашем народе товарищ Сталин, причислив ее к лучшим качествам наших людей. Что же удивительного было в наших успехах?

Не прошло часа после приезда Кузнецова в отряд, как нами уже была передана в Москву радиограмма с подробным его отчетом и с описанием примет фон Ортеля.

По другому вопросу никаких разногласий у нас с Кузнецовым не возникло.

— Разрешите, товарищ командир,— сказал Николай Иванович, когда мы отправили радиограмму,— не заставлять генерала фон Ильгена ждать, пока явится в Ровно Пиппер — этот «мастер смерти» со своей экспедицией. Когда-то еще это будет! Я могу предоставить генералу Ильгену возможность побеседовать с вами в нашем лагере уже теперь, не откладывая.

И мы тут же приступили к разработке плана похищения генерала Ильгена. Важная роль в осуществлении этой

трудной и сложной операции отводилась, наряду с Кузнецовым и Колей Струтинским, Вале Довгер, Яну Каминскому и Коле Маленькому.

Глава шестнадцатая

В начале осени члены подпольного центра организации Новака узнали об аресте Виталия Поплавского. Поплавский руководил отделом по подбору и отправке военнопленных, помогая в этом ответственном деле Владимиру Соловьеву. Было даже непонятно, как этот преданный работник подполья, хороший организатор, мог допустить неосторожность: довериться незнакомому человеку! Провал Поплавского был тяжек для подпольщиков не только потому, что они лишились товарища, но и потому еще, что никто из них не знал, какие последствия повлечет за собой этот провал.

Все последующие дни прошли в тревоге. Одного ли Поплавского знают в гестапо или успели выследить и тех, с кем он связан? Как ведет себя в гестапо сам Поплавский? Эти вопросы мучительно тревожили Новака и Луця, Соловьева и Кутковца, Шкурко и Настку.

Подпольный центр постановил немедленно отправить в отряд всех членов организации, с которыми Поплавский был так или иначе связан. Исключение было сделано только для членов подпольного центра. Им нельзя было покидать город в такой ответственный момент.

— Рискнем,— сказал Новак.— Останемся. Я верю в Поплавского. Он никого не выдаст.

Все представляли, каким нечеловеческим пыткам подвергают Поплавского в гестапо. Немцы отлично знают о существовании подпольной организации, но до сих пор им не удавалось напасть на след хотя бы одного из ее членов.

Прошла неделя, другая — никаких арестов не последовало.

— Молодец инженер! — говорил Новак.— Держится!

— Держится! — подтвердил Луць.

Вскоре они узнали, что Виталий Поплавский зверски замучен в ровенской тюрьме.

И, может быть, именно потому, что этот скромный советский человек ни слова не проронил при допросах, может быть, именно потому, что гестапо столкнулось в его

лице с сильным, непобедимым противником, гитлеровцы утроили силы в поисках ровенского подполья, разведчиков и боевиков партизанского отряда.

После разгрома подпольных организаций Мирющенко и Остафова немцы, видимо, решили, что в их руках вся ровенская подпольная организация. Так, во всяком случае, однажды похвастался перед Кузнецовым фон Ортель. Некоторое время в городе было сравнительно спокойно. Попрежнему курсировали крытые автомашины между тюрьмой и улицей Белой; попрежнему у здания главного суда останавливались грузовики с карателями в ожидании очередной инструкции оберфюрера СС Функа; попрежнему готовился в поход на партизан фон Ильген; но по тому, как сравнительно редко стали устраиваться поголовные облавы, можно было судить, что немцы немного успокоились.

Это спокойствие длилось недолго. Сразу же после того, как подпольная организация вновь дала о себе знать, гитлеровцы насторожились.Последовали одна за другой несколько массовых облав. Все они прошли благополучно для подпольщиков.

И все же можно было ждать неожиданностей. Новак назначил Соловьева своим заместителем на случай, если сам он будет арестован или вынужден покинуть город.

Жену с двухмесячным ребенком он с очередной группой военнопленных отправил в отряд.

Группу эту вела Оля Солимчук. Вместе с ней шли двое новых связных, которым Оля должна была показать дорогу к условленным местам встречи с разведчиками отряда.

— Дальше я пойду одна,— сказала девушка своим попутчикам, когда они приблизились к реке, на другой стороне которой находилась небольшая деревня.— Вы ждите меня здесь. Если будет стрельба и я не вернусь — пройдете правее и постарайтесь переправиться там. Затем пойдете прямо на запад и встретите наших. Их там много.

Она сказала все это с улыбкой, как бы между прочим, так что никто из попутчиков и не подумал, что ей грозит большая опасность. Усадив товарищей под кусты в стороне от дороги, Оля направилась к переправе.

Лодка оказалась на другой стороне реки. Оля начала звать лодочника. Он был ей знаком. Но вместо лодочника к реке стали спускаться какие-то вооруженные люди. «Предатели»,— догадалась Оля. Опустив руку в карман и взяв-



Руководитель ровенского подполья Т. Ф. Новак, связная отряда П. И. Казачинская и радистка А. Веснянко

шись за пистолет, она уже готова была дорого продать свою жизнь, как вдруг произошло что-то неожиданное, что не сразу дошло до ее сознания: раздалось несколько автоматных очередей, и некоторые из шедших к реке предателей упали, остальные бросились бежать вдоль берега.

— Урра! Урра! — донеслось до Оли. «Свои, свои, свои!» — догадалась девушка и, выхватив пистолет, выпустила всю обойму по бегущим предателям.

Через десять минут Оля со своими попутчиками была уже на другом берегу и шла, окруженная товарищами, в лагерь.

С каждым днем связь между отрядом и городом затруднялась. Гитлеровцы так перекрыли подступы к городу, что пробраться туда незамеченным было просто немыслимо.

Двое связных, посланные в отряд, погибли в пути. Тогда Настка заявила Новаку, что пойдет на связь сама.

— А как же Иван Иванович? — осторожно осведомился Новак, зная, как не терпит Настка, чтобы ее удерживали по «семейным обстоятельствам», и ожидая грозы.

— А что Иван Иванович? — Настка вскинула на него свои темные глаза.— Как-нибудь и без меня проживет. Не ребенок!

На самом же деле ей стоило огромных внутренних усилий оставить Луця одного! Она постоянно беспокоилась о нем так, словно он не может ничего сделать для себя. Ей почему-то казалось, что стоит ей уехать, как с ним непременно случится неприятность, не говоря уже о том, что он позабудет про все свои нужды, будет ходить голодный, простудится или еще что-нибудь в этом роде. И, уступая настояниям Настки, отправляя ее в отряд, Новак осторожно, но дал ей понять, что заботы о Луце берет на себя.

Заботиться о Луце было, однако, почти невозможно, так как нигде больше получаса он не сидел. Даже фабрика валенок перестала увлекать неутомимого руководителя боевого отдела. Все свое время он теперь употреблял на то, чтобы найти применение взрывчатке, полученной из отряда.

Один Терентий Федорович знал, как беспокоится Луць о Настке. Сам Иван Иванович мало об этом говорил; как мог старался скрыть свою тревогу. Но все чаще и чаще говорил Луць о том, как ему нехватает сейчас мин и как было бы хорошо, если бы Настка не задерживалась у партизан, а поскорее принесла чемоданчик с толом и с взрывателем от гранаты Ф-1.

Прошло две недели. Луць осунулся, казался еще ниже ростом; в его вечной усмешке, которую он попрежнему прятал в уголках губ, таилось отчаяние.

Связь с отрядом не восстанавливалась. Новак ходил мрачный. Он повеселел только в ту минуту, когда на пороге его кабинета появился связной из отряда. Связной передал инструкции, приветы, в том числе привет Новаку от жены. Свидание длилось пятнадцать минут. Связной ушел и оставил Новака в глубоком горе.

Погибла Анастасия Кудеша, Настка. На «маяк» отряда она прибыла благополучно. Здесь ей передали на словах указания для подпольного центра и вручили мину в виде чемодана. С этим чемоданом Настка и отправилась в обратный путь.

Она успела пройти половину дороги, когда неожиданно была остановлена вражеской засадой. Ее обыскали, проверили чемодан. Обнаружив мину, враги схватили Настку, били ее, кололи ножами, требуя, чтобы она сказала, откуда и куда несет мину. Ответа от Настки они не добились.

Тогда ее привязали к пню, к тому же пню пристроили ее чемодан и взорвали Настку на мине.

Двое крестьян — случайные свидетели этой казни — рассказали о ней разведчикам партизанского отряда.

Несколько дней от Луця скрывали гибель Настки. Новак решил подготовить его и, вероятно, долго продолжал бы эту подготовку, если бы сам Луць после первой же такой попытки не сказал ему, морщась:

— Я все знаю... Оставь...

Больше они этой темы не касались.

Но вечером того же дня Луць пришел к Новаку, в его старую, покосившуюся от времени хату на окраине города.

— Терентий! — проговорил он тихо,— Терентий, неужели я ее больше не увижу?

Плечи его вздрогнули. Он заплакал. Потом было взял себя в руки, выпрямился и сказал:

— Надо работать, Терентий.

Но, должно быть, мысль эта вновь всколыхнула в нем воспоминания о Настке; он уронил голову и долго сидел так. Новак не решался его тревожить.

В дверь к Новаку постучали.

— Кто? — спросил он.

Чьи-то пальцы за дверью выбили условленную дробь.

Новак открыл.

— Поцелуев?

Коля Поцелуев вошел, увидел Луця, смутился и отвел Новака в сторону.

— Я вот по какому делу, Терентий Федорович...— Он помолчал, покосился на Луця и продолжал шопотом:— Разрешите заняться националистами.

— Что тебе надо, Поцелуев? — глухо спросил Луць.— Где ты целый день ходишь?

— Я? — Поцелуев посмотрел на Луця, потом на Новака, снова на Луця, пока, наконец, не решился сказать громко:

— Предлагается такой план... В отношении националистов. Тут списочек. На двадцать три человека.

Он достал портсигар, вынул оттуда обрывок немецкой газеты и протянул Новаку.

Терентий Федорович прочел записанные карандашом меж газетных строчек знакомые клички националистских главарей в Ровно.

— Что же, в одиночку собираешься?

— Зачем в одиночку? Тут Федя Кравчук приехал из Грушвицы.

В другое время они непременно стали бы обсуждать предложение Поцелуева, взвешивая все «за» и «против», вникая во все детали задуманного дела. Сейчас слова Поцелуева прозвучали ответом на их собственные мысли, итогом всего, что думали и чувствовали они сами.

И Новак сказал Поцелуеву:

— Иди, Коля.

Поцелуев кивнул и, очевидно, не желая задерживаться, быстро вышел.

Неподалеку от домика Новака, у полотна железной дороги Поцелуева ждал Федор Кравчук. Высокая, чуть сутулая фигура Кравчука маячила около насыпи. Издали его можно было принять за часового.

— Коля, ты? — спросил он, не поворачивая головы.

Поцелуев ответил ему тихим свистом.

Кравчук перешел насыпь и следом за Поцелуевым направился в город.

Сегодня первый день, как он приехал сюда из своей Грушвицы. Там у Кравчука была подпольная группа — двенадцать человек, все двенадцать — комсомольцы. Кравчук — член партии еще со времен панской Польши, старый подпольщик, он легко и умело наладил работу, добыл винтовки, гранаты, даже пулемет. Кравчук и его комсомольцы не только исправно выполняли поручения подпольного центра, но многое делали и по собственной инициативе. Так, они уничтожили маслобойные машины на немецком предприятии в Грушвице.

Кравчук не часто наезжал в Ровно, но каждый свой приезд стремился использовать так, чтобы выполнить какое-нибудь из здешних, ровенских дел. Новак и Луць не отказывали ему в этом.

Предложение Поцелуева Кравчук принял с радостью. Уничтожить два десятка бандеровских, бульбовских и прочих головорезов представлялось ему едва ли не самым заманчивым из всего, что он до сих пор делал. Он не знал,

однако, как отнесутся к его участию руководители; они могли потребовать, чтобы он поскорее возвращался к себе в Грушвицу. Когда Поцелуев сообщил о согласии Новака и Луця, Кравчук облегченно вздохнул. Сам он не решался зайти к Новаку — и не из соображений конспирации, а просто почему-то в последний момент застеснялся. «Иди, я тебя здесь подожду»,— сказал он Поцелуеву, когда они пришли к дому Новака. Поцелуев, хотя и был помоложе, не испытывал никакой робости. «Ну, ладно»,— сказал он и пошел один.

Теперь они возвращались с заданием и сами удивлялись тому, как изменилось их настроение в результате пятиминутного пребывания Поцелуева у Новака. Туда они шли, еще не зная, будет ли утвержден их план. Теперь он был утвержден, и они неслись, увлекаемые какой-то непонятной силой, неизвестно откуда появившейся и овладевшей ими целиком. Поцелуев непроизвольным движением опустил руку в карман, обхватил пальцами портсигар, сжал его, хотел было вытащить, еще разок пробежать глазами список, начерченный меж газетных строчек, но вспомнил, что знает этот список наизусть.

Первым из этого списка был убит националист по кличке «Хмара», один из руководителей бандеровской «эс-бэ»— «службы безпеки», шпион, провокатор и палач. Дом, где он жил под охраной своих головорезов, давно был на примете у Поцелуева. В тот же вечер, когда Поцелуев посетил Новака, а Кравчук ждал его у железной дороги, они вдвоем пришли к этому дому, забрались в подъезд напротив и, дождавшись появления Хмары, запустили в него двумя гранатами.

Первым побуждением Поцелуева было — бежать. Так он и делал до сих пор в подобных случаях — и ничего, сходило. Но Кравчук оказался хитрее. «Поднялись наверх!» — скомандовал он, схватив Поцелуева за руку, и тот подчинился. Бросились на лестницу.

Уже наверху, на чердаке, куда они с трудом проникли и где им предстояло провести ночь, Кравчук пожалел:

— Не много ли — две гранаты на одного? Будем поэкономнее....

На следующий день они пустили в ход пистолеты и не безуспешно: еще двое из списка Поцелуева были вычеркнуты.

Так, день за днем, Кравчук и Поцелуев планомерно, методически выслеживали и уничтожали националистских главарей. Девятнадцать из них понесли заслуженную

кару за свои злодейства. И это число увеличилось бы, если бы не строжайший приказ Новака, следуя которому Поцелуев остановился на девятнадцати, а Кравчук отправился к себе в Грушвицу. Приказ имел серьезное основание: за Поцелуевым начали следить.

Спустя несколько дней стало известно о жестокой расправе немцев с подпольной группой в Грушвице. Село подверглось налету фельджандармерии. Кравчук и его товарищи-комсомольцы были схвачены. Гитлеровцы вывели их на площадь, согнали крестьян и на глазах у всего села искололи комсомольцев ножами. Самому Кравчуку перед казнью выкололи глаза...

Новак сидел у себя в кабинете на фабрике, когда за ним пришли из гестапо. Трое гитлеровцев в черной униформе появились в дверях кабинета.

— Где можно видеть директора фабрики?

Новак застыл на месте. Рука потянулась к ящику стола. Здесь с давних пор лежали две противотанковые гранаты.

— Вам Новака? — спросил он, чувствуя, как пересохло в горле.

— Да, да, где он?

И вдруг Новак оторвал руку от ящика и, прежде чем успел подумать, сказал:

— Он сейчас... он сейчас на втором этаже... Пойдемте, я покажу.

Гестаповцы смерили его недоверчивым взглядом.

— Нет, оставайтесь здесь. Мы сами найдем.

И все трое устремились наверх.

Терентий Федорович достал из ящика гранаты, сложил их в портфель и, держа в кармане на боевом взводе пистолет, поспешно вышел из кабинета, прошел во двор, нашел там свой велосипед и уехал.

Он направился было домой, но вспомнил, что утром видел около своей хаты двух подозрительных молодчиков в штатском.

Он погнал машину вдоль полотна железной дороги, свернул на ближайшую улицу, затем в переулок и, наконец, увидел впереди бурое, кое-как закрашенное для маскировки здание вокзала. Тут только он вспомнил об одной квартире, которой в свое время пользовался Соловьев и адрес которой дал ему на случай, если им обоим пришлось бы уйти в подполье. Квартира находилась на Вокзальной улице и принадлежала семье Жук.

Новаку открыл мужчина среднего роста, немолодой, с темными волосами, гладко зачесанными над высоким лбом. Услышав свою фамилию, он насторожился.

— Чем могу служить?

Новак назвал ему свой псевдоним — Петро.

— Петро? — переспросил Жук. Нельзя было понять, знакомо ли ему это имя.

Новак решил назвать Соловьева.

— Я к вам от Владимира Филипповича,— сказал он, Жук смотрел непонимающе.

— Это какой же Владимир Филиппович?

— Агроном из Гощи.

— Что-то не помню такого.

«Молодец,— подумал Новак.— Хороший конспиратор!»

— Неужели не помните? А ведь он у вас частенько останавливался.

— Вы меня, очевидно, с кем-то путаете.

— Ваша фамилия Жук?

— Так точно.

— Бухгалтер?

— Совершенно верно.

— Вот что, товарищ Жук,— понизив голос, сказал Новак и посмотрел хозяину в глаза.— У меня внизу машина, велосипед. За мной следят. Нельзя, чтобы машина долго оставалась там. Я подниму ее сюда, к вам...

Бухгалтер смотрел недоумевающим взглядом.

— Хватит нам играть в жмурки,— продолжал Новак.— Я Петро, директор фабрики валенок. Полчаса назад за мной пришли. Надо уходить в подполье. Могу я на вас рассчитывать? Да или нет?

— Проходите в комнату,— сказал Жук.— Там жена. Сейчас я подниму сюда вашу машину... Или вот что — пойдемте за ней вместе. А то ведь, возможно вы мне не доверяете...

Весь день Терентий Федорович провел на этой квартире. Хозяева, бухгалтер и его жена Анна Лаврентьевна, показались ему милыми людьми. Однако чувство неловкости не покидало его до самого вечера. Хозяева были с ним подчеркнуто вежливы. Очевидно, они все еще ему не доверяли. Лишь вечером, когда на квартиру явился приехавший из Гощи Соловьев, это недоверие, а вслед за ним и неловкость рассеялись. Только теперь они и познакомились по-настоящему — Терентий Федорович Новак и Виктор

Александрович Жук. Когда встал вопрос о том, уходить ли Новаку в отряд или оставаться в городе и, если оставаться, то где именно,— Виктор Александрович и его жена без колебаний предложили свою квартиру. Новак счел своим долгом предупредить, что дело опасное, в городе массовые облавы, если его здесь найдут, хозяевам и их детям (у них было двое детей) грозит неминуемая гибель. Жук ответил на это:

— Если все будут думать и переживать — ах, как опасно! — вряд ли мы тогда скоро выиграем войну... Я надеюсь что вы здесь будете не просто скрываться, но и делать свое дело. Так?

— Так.

— Ну, вот и располагайтесь. А о нас не думайте. Мы уж сами как-нибудь о себе подумаем... Анна Лаврентьевна, ты угостишь нас чаем?— обратился он к жене, давая понять, что разговор окончен.

Когда Новак познакомился с хозяевами поближе, выяснилось, что они приходятся родственниками его жене.

— Вот тебе и на! — долго удивлялся Новак.— Поди вот, узнай, где найдешь родню. Сглупил я: надо было, когда женился, расспросить у жены обо всех ее родственниках, не пришлось бы тогда нам с вами так долго знакомиться!

Наутро Соловьев разыскал Луця и организовал ему встречу с Новаком. Предстояло перестраивать всю работу. Обстановка требовала этого. Легальные возможности уменьшались. Настала пора уходить в подполье. Это затрудняло работу, но и облегчало ее: теперь можно было во-всю развернуть активные действия, не боясь себя обнаружить, ничем не поступаясь ради разведки, которая порядком надоела всем подпольщикам. Отныне неспокойный, осторожный сторож-разведчик Самойлов, а горячая голова Коля Поцелуев должен был стать примером для организации. И Новак с Луцем почувствовали, какой запас этой горячности, безудержного отчаянного пыла таился под спудом в них самих. Отныне они могли дать себе волю. И первое, что предложил Иван Иванович — это взорвать фабрику валенок. Он сказал об этом с удовольствием. Только теперь он понял, как осточертела ему эта фабрика.

— Взорвать? — задумался Новак.— Нет, жалко. Вывести из строя — это да. Наши придут — восстановят.

— Добре,— согласился Луць.— Мы испортим электромоторы, но не так, как прошлый раз, а посерьезнее... Совсем остановим фабрику.

— Вот-вот,— одобрительно кивнул Новак.— А взрывать не надо. Действуй, Иван Иванович. Да сам поскорее уходи с фабрики. Не надо тебе там долго оставаться. Испортишь — и уходи.

Так и договорились.

Уже расставаясь с Новаком, ответив на его крепкое рукопожатие, Луць помедлил, посмотрел куда-то в сторону и, наконец, сообщил другу, что вчера же, после бесплодной охоты за самим Новаком, фашисты арестовали его отца.

Нелегальное положение позволяло действовать решительнее. Новак, Луць и Соловьев надумали прежде всего использовать мину, накануне доставленную из отряда. Объектом был выбран переезд железной дороги, находившийся в самом городе, в двух шагах от хаты Новака.

Было девять часов вечера, когда они пришли к намеченному месту. Кругом было пусто. Можно было беспрепятственно подойти к переезду и заложить мину.

В небольшом чемодане помещалось десять килограммов тола. Луць выдолбил дырочку, вставил в нее взрыватель от круглой гранаты — лимонки, за чеку взрывателя был зацеплен шнур и затем протянут метров на сто пятьдесят к забору. Это был провод, который они срезали с телефонного столба в городе, когда шли сюда.

Все было готово.

Они скрылись у изгороди и стали ждать поезда. Все трое были вооружены пистолетами и гранатами и могли отбить нападение.

Прошло минут двадцать, а поезд все не появлялся.

Вдруг, неожиданно, со стороны станции показался велосипедист. Он ехал по обочине насыпи, освещая дорогу фонарем. Путевой обходчик! — поняли они сразу.

Заметит или не заметит мину?

Он ехал медленно, очень медленно.

Подъехал к мине, остановился. Заметил!

— Дернуть шнур? — прошептал Луць и сам себе ответил:— Нет, не стоит. Жалко мину.

Велосипедист внимательно все осмотрел и повернул обратно. Теперь он ехал с большой скоростью, спешил.

Надо было спасать мину. Луць подполз к полотну, отвязал шнур и забрал чемодан. Все трое хорошо понимали, что эта история с обнаруженной миной не пройдет без последствий. Новак отправился на квартиру к супругам Жук, Луць — домой, Соловьев — к Люсе Милашевской.

— Может, следует мне перейти на другую квартиру?— спросил он у Люси, рассказав ей о случившемся.

— Нет, я вас не отпущу!— решительно сказала Люся.

— Мы вас не отпустим! — заявили родители девушки.

Утром мать Люси собралась за водой. Не успела она выйти, как тут же вернулась.

— На всех улицах — жандармы. Никого из домов не выпускают.

— Ну, а кому на работу?— поинтересовался Соловьев.

— Тоже не пускают.

«Вот хорошо! — подумал Соловьев.— Сорвали им рабочий день во всем городе!»

В соседнюю квартиру уже входили гестаповцы с автоматами.

Соловьев и Люся сидели за столом, когда гестаповцы, проверив документы у соседей, вошли к ним. Оба беспечно рассматривали немецкий иллюстрированный журнал. В зубах Соловьева торчала огромная сигара. В боковом кармане находились бумажник и пистолет.

— Документы! — потребовал офицер.

Соловьев спокойно достал бумажник. Немцы взглянули на документ и были удовлетворены.

Как только облава была снята, Соловьев помчался на квартиру к Жук. Терентий Федорович был здесь. Он встретил возбужденного Соловьева спокойной улыбкой. Облаву он пересидел на чердаке.

Но в дальнейшем это было рискованно. Не хотелось подвергать опасности людей, гостеприимно приютивших подпольщиков. И они решили переселиться.

Соловьев облюбовал киоск, давно пустующий и находившийся в глухом переулке. В этой холодной будке и поселились они с Новаком.

Несладко жилось им здесь, за фанерными стенками. По ночам они согревали друг друга. Спать не могли.

— Эх, одеяльце бы теперь! — мечтательно вздыхал Новак.

— Хотя бы пальто, какое ни на есть! — вторил ему Соловьев.

— Я не отказался бы и от подушки!

Они ловили себя на том, что эти мысли все больше и больше занимают места в их ночных беседах. Новак недовольно поморщился:

— Ну и подпольщики! Размечтались... О постельных принадлежностях!

Как-то в холодную ночь, дрожащим от холода голосом, он предложил Соловьеву:

— Слушай, Володя, давай все-таки спать под одеялом. У меня на квартире все это есть: и одеяло, и подушки, и даже гранаты... Попробуем забрать.

Так они решились на отчаянный шаг. Из дома, за которым безусловно установлена слежка, предстояло вынести вещи и оружие.

Вечером Новак в сопровождении Луця и Соловьева отправился домой. Соловьева оставили караулить под окнами. Новак и Луць вошли в дом. Минут через десять Соловьев, утомленный ожиданием, увидел, как из ворот выехала детская коляска, доотказа нагруженная и сверху покрытая простыней. За коляской следовала странная фигура в шляпе и длинном, до земли пальто, маленькая, почти вровень с коляской и настолько нелепая, что Соловьев поневоле рассмеялся. Вслед за коляской вышел на улицу Новак. Они с Соловьевым всю дорогу посмеивались, следя с тротуара за тем, как Луць везет коляску по булыжнику и как она у него подпрыгивает. Коляска подпрыгивала настолько резко, что прохожие с удивлением и жалостью глядели на бедного ребенка, а одна женщина даже сделала замечание бессердечной «няне», после чего Луць старался везти коляску спокойнее.

С этой ночи Новак и Соловьев спали лучше — на подушках, под теплым одеялом и были довольны «уютом» в их неприхотливой, но зато спокойной квартире.

Новак жил в Ровно на нелегальном положении до тех пор, пока не получил категорического приказа уходить в отряд.

Отправляясь в лес, он оставил своим заместителем Соловьева. Условились держать связь через Люсю Милашевскую.

На третий день пребывания в отряде Новак послал в город связного, шофера, дав ему адрес Люси. Связной должен был передать Люсе, а та в свою очередь Соловьеву

поручение командования отряда: во-первых, подготовить взрыв ровенского вокзала, во-вторых, вывезти в отряд семьи всех подпольщиков. Особый приказ был адресован Луцю: ему надлежало немедленно покинуть город и отправляться в отряд. Дальнейшее пребывание его в Ровно считалось нецелесообразным ввиду явной угрозы ареста.

Случилось так, что связной был арестован по дороге и у него нашли адрес Люси Милашевской.

Соловьева в это время в городе не было. Немцы ввели новое мероприятие — обмен паспортов, и ему пришлось выехать в Гощу за новым паспортом.

Ночью за Люсей пришли жандармы.

Она знала все об организации в Гоще, знала некоторые из ровенских явок, знала, наконец, где находится Соловьев. Но на все вопросы своих мучителей, на их посулы и на их пытки она отвечала одним и тем же «нет!»

Люсей Милашевской заинтересовался лично главный судья на Украине доктор Функ. По его приказу девушку подвергли так называемому усиленному допросу. Этот «допрос», состоявший из круглосуточных инквизиторских пыток, продолжался неделю. Он не дал никаких результатов. Люсю расстреляли.

Глава семнадцатая

На Мельничной улице, у особняка, который занимал командующий особыми войсками на Украине, генерал Ильген, всегда стоял часовой. Однажды с самого утра около этого особняка назойливо вертелся мальчуган в коротких штанах, с губной гармоникой. Несколько раз он попался на глаза часовому.

— Що ты тут шукаешь? — спрашивал часовой.

— Так, ничого.

— Геть! Це дом генеральский, тикай! Як спиймаю, плохо буде!

Мальчик исчезал, но вскоре вновь появлялся из-за угла.

К особняку подошла Валя с папкой в руках.

— Здравствуйте! Не приезжал господин генерал?— справилась она у часового.

— Нет.

— А кто там? — Валя показала на дом.

— Денщик.

— Я пройду и подожду генерала. Для него есть срочный пакет из рейхскомиссариата.

В последнее время Валя не раз носила генералу пакеты, и часовые ее знали.

В особняке ее встретил денщик из «казаков». Он всего лишь несколько дней как начал работать у Ильгена.

Валя знала об этом, но, сделав удивленное лицо, спросила:

— А где же старый денщик?

— Та вже у Берлини! — отвечал «казак».

— Зачем он туда поехал?

— Поволок трофеи. Прошу, фрейлейн, до хаты, там обождете.

— Нет, я дожидаться не стану. Мне тут надо отнести еще один срочный пакет. На обратном пути зайду. Генерал скоро будет?

— Должен быть скоро.

Валя вышла и, сказав часовому, что скоро зайдет опять, ушла. За углом она увидела мальчугана, который ее дожидался.

— Беги, Коля, скорее, скажи, что все в порядке. Пусть едут!

Все шло по плану.

Генерал фон Ильген с приближением линии фронта всерьез забеспокоился о ценностях, которые он «приобрел» на Украине. Опасаясь, как бы эти ценности не вернулись их законным хозяевам, генерал решил отправить их в Берлин.

Ценности занимали двадцать чемоданов, поэтому пришлось для отправки сформировать целую бригаду во главе с адъютантом генерала, гауптманом. Под его началом поехали немец-денщик и четверо солдат, которые постоянно жили при генеральском особняке и несли здесь охрану. Вместо этих «чистокровных арийцев» генерал временно приблизил к себе в качестве прислуги «казаков».

«Казаками» гитлеровцы называли советских военнопленных, которые соглашались им служить. Это были малодушные люди, поступившиеся честью и совестью ради того, чтобы спасти свою шкуру. Из подобных «казаков» гитлеровцы формировали специальные подразделения, которые на Украине подчинялись тому же фон Ильгену. Но во многих из этих людей все же говорила совесть. Им

было стыдно, что они продали врагу Родину; им страстно хотелось отплатить гитлеровцам и за позор плена и за бесчестие службы в «казаках». Они искали возможности искупить свою тяжкую вину перед Родиной. Многие из «казаков» с оружием, полученным от фашистов, целыми батальонами и в одиночку бежали в леса к партизанам.

Вот таких-то «казаков» временно и приблизил к себе фон Ильген. Одного из них он назначил своим денщиком и поселил при особняке, остальные приходили из казармы и по очереди несли охрану особняка снаружи.

Все это было учтено нами.

Коля Маленький стремглав побежал на квартиру, где его ждали Кузнецов, Струтинский, Каминский и Гнедюк. Все они были одеты в немецкую форму.

— Валя сказала, что можно ехать, все в порядке,— выпалил Коля.

— Хорошо. Беги сейчас же на «маяк». В городе сегодня опасно оставаться. Беги, мы тебя догоним,— сказал Кузнецов.

— Тикаю! Прощайте, Микола Иванович!

Через несколько минут Кузнецов с товарищами были уже у особняка Ильгена. Кузнецов в форме обер-лейтенанта (он был уже повышен в звании) первым вышел из машины и направился к особняку.

Часовой, увидев немецкого офицера, отсалютовал:

— Господин обер-лейтенант, генерал еще не прибыл.

— Знаю! — бросил ему по-немецки Кузнецов и прошел в особняк.

Вслед за ним вошел и Струтинский.

— Я — советский партизан, — отчетливо сказал денщику Кузнецов.— Хочешь остаться в живых, помогай. Нет — пеняй на себя.

Денщик опешил: немецкий офицер заявляет, что он партизан! Стуча от испуга зубами, он пробормотал:

— Да я зараз с вами. Мы мобилизованные, поневоле служим...

— Ну, смотри!

Обескураженный денщик, все еще не веря, что немецкий офицер оказался партизаном, застыл на месте.

— Как твоя фамилия? — спросил Кузнецов.

— Кузько.

— Садись и пиши.

Под диктовку Николая Ивановича денщик написал: «Спасибо за кашу. Ухожу до партизан. Беру с собой генерала. Казак Кузько».

Эту записку положили на видном месте на письменном столе в кабинете генерала Ильгена.

— Теперь займемся делом, пока хозяина нет дома,— сказал Кузнецов Струтинскому.

Николай Иванович и Струтинский произвели в особняке тщательный обыск, забрали документы, оружие, связали все это в узел.

Струтинский остался с денщиком, а Николай Иванович вернулся к часовому. Около того уже стоял Гнедюк. Кузнецов, подходя, услышал:

— Эх, ты! — говорил Гнедюк.— Був Грицем, а став фрицем!

— Тикай, пока живой,— неуверенно отвечал часовой. Какой я тебе фриц!

— А не фриц, так помогай партизанам!

— Ну как, договорились? — спросил подошедший сзади Кузнецов.

Часовой резко повернулся к нему, выпучил глаза.

— Иди за мной! — приказал Кузнецов часовому.

— Господин офицер, мне не положено ходить в дом.

— Положено или не положено, неважно. Ну-ка, дай твою винтовку.— И Кузнецов разоружил часового.

Тот поплелся за ним в особняк.

На посту за часового остался Коля Гнедюк. Из машины вышел Каминский и начал прохаживаться около дома.

Все это происходило в сумерки, когда еще было достаточно светло и по улице то и дело проходили люди.

Через пять минут из особняка вышел Струтинский, уже в форме часового, с винтовкой. Он занял пост, Гнедюк направился в особняк.

Все было готово, а Ильген не приезжал. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Генерала не было.

«Казак»-часовой, опомнившись от испуга, сказал вдруг Кузнецову:

— Может получиться неприятность. Скоро придет смена. Давайте я опять стану на пост. Уж коли решил быть с вами, так помогу.

— Не подведешь?

— Правду вам говорю! — отвечал «казак».



Особняк, из которого был похищен партизанами генерал фон Ильген

Гнедюк позвал Струтинского. Пришлось снова переодеваться. Часовой пошел на свой прежний пост и стал там под наблюдением Каминского.

В это время послышался шум приближающейся машины. Ехал Ильген.

— Здоров очень, трудно с ним справиться, пойду на помощь,— сказал Струтинский Каминскому, увидев выходящего из машины генерала.

Как только Ильген вошел и разделся, Кузнецов вышел из комнаты денщика.

— Я советский партизан. Если будете вести себя благоразумно, останетесь живы и через несколько часов сможете беседовать с нашим командиром у него в лагере, как вы хотели.

— Предатель! — заорал Ильген и схватился за кобуру револьвера.

Но тут Кузнецов и подоспевший Струтинский схватили генерала за руки.

— Вам ясно сказано, кто мы. Вы искали партизан, вот они, смотрите!

— Хильфе!..— вновь заорал Ильген и стал вырываться.

Генерал был здоровенным сорокадвухлетним детиной. Он крутился, бился, падал на пол, кусался. Разведчикам пришлось применить не только кулаки, но и каблуки. Они заткнули ему рот платком, связали и потащили к машине. Но когда стали туда вталкивать, платок изо рта выпал.

— Хильфе! — снова заорал Ильген.

Подбежал часовой:

— Кто-то идет!

Момент был критический. Нельзя было допускать лишних свидетелей — они могли заметить красные лампасы генерала. «Хорошо, если это гитлеровцы, — успел подумать Кузнецов,— этих можно перебить. А если это обыватели? Что с ними делать? Не убивать же! Но и оставить нельзя. Забрать с собой? Машина и без того перегружена».

И он решил пойти навстречу идущим.

Как он и думал, это была не смена. Шли четыре немецких офицера, они могли не захотеть с ним говорить.

Тут Кузнецов вспомнил о своем гестаповском жетоне, которым он до сих пор так ни разу и не пользовался.

Он решительно направился к немцам и, остановившись, резким жестом выдернул из кармана бляху.

— Мы поймали бандита, одетого в немецкую форму. Разрешите ваши документы! — обратился он к офицерам.

Бляха обладала поистине магической силой, и Кузнецов решил этим воспользоваться, чтобы протянуть время, пока погрузят генерала. Он сделал вид, что личности офицеров его крайне интересуют, и долго проверял документы у троих, пока вернул обратно, четвертого же попросил поехать с ним вместе в гестапо. Этот четвертый оказался личным шофером гаулейтера Коха.

— Прошу вас, господин Гранау,— сказал ему Кузнецов,— следовать со мной в качестве понятого. А вы, господа,— обратился он к остальным,— можете итти.

«Оппель», вмещавший пять пассажиров, повез семерых.

Оставив Ильгена и Гранау «на зеленом маяке», Кузнецов, Струтинский и Каминский тут же вернулись в город.

В тот же вечер Кузнецов случайно встретил Макса Ясковца. Тот сообщил ему о том, что есть слух, будто застрелился фон Ортель.

— О боже! — воскликнул Кузнецов.— Как это могло случиться! Такой здоровый, веселый... Мне его искренне жаль.

— Я тоже ничего не понимаю,— недоумевал Ясковец.— Говорят, случайно... Чистил оружие.

— Вот судьба! — продолжал сетовать Кузнецов.— Кстати, когда же похороны?

— Об этом пока не слышно,— ответил Ясковец, но тут же попросил у Зиберта полсотни марок на венок, который он, Ясковец, собирается возложить на гроб своего друга.

Самоубийство фон Ортеля Кузнецову показалось подозрительным. Он не хотел этому верить еще и потому, что смерть этой гадины окончательно расстраивала план, намеченный командованием отряда.

Все эти дни, после получения задания о похищении фон Ортеля, Николай Иванович его не видел. Но о том, что он находится в Ровно, Кузнецов знал от Вали: она несколько раз встречала его. И Кузнецов надеялся, что сегодня-завтра он выполнит задание.

«О предстоящей встрече «Большой Тройки» в Тегеране никому не известно,— думал он теперь.— Возможно, что это вообще фантазия, которую придумал этот гестаповец, чтобы получить от меня лишнюю сотню марок. А вдруг эта тегеранская встреча будет? Как теперь узнать, кто из террористов туда поедет!»

Кузнецов решил заглянуть к Вале, а от нее — к Лидии Лисовской. «Может быть, им известны какие-либо подробности»,— думал он.

Валя сказала, что слышала о самоубийстве фон Ортеля от того же Макса Ясковца, а в рейхскомиссариате об этом ничего не слышно. Эта неопределенность еще больше встревожила Кузнецова. Он отправился к Лидии. То, что он здесь услышал, подтверждало его собственные догадки.

— Три дня тому назад Ортель был у меня, — сказала Лидия.— Зашел проститься. Он собирался куда-то лететь из Ровно. Об отлете он просил меня не рассказывать никому, а если, говорит, скажут, что меня нет, что со мной что-нибудь случилось, то не опровергайте этого. Обещал привезти хороший подарок. Когда я услышала о самоубийстве, мне показалось, что тут что-то не так. Ортель уехал, а слух, что он покончил с собой, распустили гестаповцы. Я хотела вам сразу же обо всем сообщить, но вы как назло не показывались.

Ночью из Ровно в отряд был направлен Коля Маленький. Несмотря на темноту, он не шел, а буквально летел. Он нес срочное письмо Кузнецова. В этом письме, сообщая

о «таинственном» исчезновении фон Ортеля, Николай Иванович писал, что не может простить себе того, что не выкрал во-время Ортеля, дал возможность улизнуть из города.

Глава восемнадцатая

К началу ноября лагерь был уже целиком построен. Мы были теперь хотя и не вполне, но избавлены от тех неудобств и лишений, которые, казалось бы, неизбежны для людей, скрывающихся в лесу.

Не узнать было в нашем теперешнем отряде ту небольшую группу парашютистов, что четырнадцать месяцев назад пришла в Сарненские леса. Мы разбогатели, обзавелись солидным хозяйством. Альберт Вениаминович Цесарский с улыбкой вспоминал теперь о том еще недавнем времени, когда он оперировал Колю Фадеева с помощью поперечной пилы. Теперь у нашего партизанского врача была своя «амбулатория со стационаром», да и сам он был уже не просто врачом, а начальником санчасти, со штатом в тринадцать врачей, с большим числом лекпомов. Все это были люди, присланные нам ровенскими, гощанскими и тучинскими подпольщиками.

В лагере царило приподнятое, радостное настроение. Оно вызывалось не только успешным ходом нашей боевой работы, но и тем, главным образом, что каждый день приносил нам новые отрадные вести с фронтов Великой Отечественной войны.

Курский «сюрприз», о котором в мае говорил Кузнецову Эрих Кох, окончился для гитлеровцев весьма печально. Потеряв на этом «сюрпризе» стодвадцатитысячную армию, немцы отступали. В конце сентября войска Красной Армии подошли к берегу Днепра.

«Завоеватели», недавно еще самоуверенные, самодовольные, теряли веру в возможность победы.

— Я у них теперь, кажется, самый бодрый и самый уверенный офицер! — смеясь, говорил Николай Иванович.

Уже не надеясь удержать плодородную Украину в своих руках, гитлеровцы стремились выкачать из нее как можно больше продовольствия.

Особенно туго приходилось им в тех местах, где базировались партизанские отряды. Так, например, население огромной территории между рекой Горынь с востока, железной дорогой Ровно — Луцк с юга и Сарны — Ковель

с севера, почти до Луцка с запада не давало оккупантам ни хлеба, ни скота.

На этой территории оперировало несколько партизанских отрядов: отряд Прокопюка, батальон имени Сталина из соединения Федорова под командованием Балицкого, отряды Карасева, Магомета и наш отряд. День ото дня росло сопротивление народа немецким захватчикам. Тогда по приказу Эриха Коха, полученному из Кенигсберга, оккупанты применили чрезвычайные карательные меры. Для борьбы с партизанами и местным населением была выделена специальная авиация. Целые эскадрильи стали ежедневно летать над лесами, над мирными селениями, подвергая их беспощадной бомбежке.

С нашим приходом в Цуманские леса еще один район уходил из рук оккупантов. Немудрено, что они стали проявлять к нам усиленное «внимание». То в одной, то в другой деревне появлялись их крупные вооруженные отряды. Снабженные оружием и боеприпасами бандиты-предатели также не упускали случая выслужиться перед своими господами.

Дорого обходилось предателям это лакейское прислуживание немецким фашистам. Сколько оружия, боеприпасов захватывали мы у этого жалкого «войска» — не поддается никакому учету. И все же мы несли потери, правда, незначительные, но излишние, и они всегда острой болью отзывались в наших сердцах.

В стычках с украинскими националистами погиб Гриша Шмуйловский, наш поэт, наш запевала, любимец партизан.

Гриша не упускал случая участвовать в операциях; узнав о предстоящем серьезном деле, он приходил и просил, чтобы послали его. Он хотел наверстать то время, что пробыл в Москве в ожидании вылета. Он мечтал о том, что совершит подвиг.

Однажды он сказал Цесарскому и Базанову:

— Если мне придется умереть, хочу умереть лицом на запад!

Лицом на запад! Как хорошо выражали эти слова патриотическое стремление советского человека наступать, его благородный порыв, желание скорее освободить Родину от фашистских захватчиков.

Гриша был убит в стычке, когда, возвращаясь в лагерь с «зеленого маяка», где Коля Маленький вручил ему пакет

от Кузнецова, он наскочил на многочисленную вражескую засаду. Свыше часа он и его спутник Миша Зайцев отстреливались от врагов, не допуская их к себе. Они дрались до тех пор, пока в автоматах были патроны.

Когда патроны пришли к концу, они попытались выйти из кольца засады. Бросились в болото. И здесь, почти в упор, был застрелен Гриша Шмуйловский. Его товарищу чудом удалось спастись; он-то и рассказал о случившемся.



Гриша Шмуйловский (справа) и его друг Макс Селескериди перед вылетом из Москвы

Гриша писал стихи, хорошие, задушевные стихи. Он мечтал по окончании войны написать книгу о нашем отряде. Почти каждый день он исписывал все новые и новые страницы в своей заветной клетчатой тетради. И вот теперь все это — и тетрадь, и пакет от Кузнецова, и тело нашего товарища — в руках врага.

— Найти во что бы то ни стало! — приказал я Базанову, посылая его со взводом на поиски тела Гриши Шмуйловского.

Лишь на третий день удалось его найти. Фашисты раздели тело почти донага и бросили в кусты.

Мы похоронили Гришу со всеми партизанскими почестями. На холмике возле лагеря красовалась металлическая пластинка, гласившая, что наш товарищ пал смертью храбрых в неравном бою с врагами отечества.

Цесарский тяжело переживал гибель друга. Много раз, даже тогда, когда отряд изменил место стоянки, он ходил на его могилу, любовно убранную партизанами, и долго просиживал здесь один.

Как-то я застал его у могилы Шмуйловского.

— Он мечтал о большом подвиге, а погиб в простой стычке,— сказал мне Цесарский.



Иван Яковлевич Соколов

Я подумал: а что такое большой подвиг?

— Лицом на запад,— сказал я Цесарскому. — Разве это не подвиг?

— Верно,—сказал Цесарский после раздумья. Я не понял, обращается ли он ко мне или отвечает на свои мысли.

— Он ведь не славы хотел. Он хотел ценою своей жизни избавить от гибели других, вернуть людям мир и счастье. Не знаю, подвиг ли это, но это, по меньшей мере, честно — так выполнить свой долг,— сказал я.

В стычках с врагами погиб и Иван Яковлевич Соколов, заместитель командира по хозяйственной части,— прекрасный товарищ, храбрый партизан.

Шестого ноября радисты с утра не снимали наушников. Ваня Строков регулировал громкоговоритель, а партизаны стояли рядом, ожидая с минуты на минуту услышать передачу из Москвы.

Вечером Ваня, наконец, поймал волну — зачитывался приказ Верховного Главнокомандующего о взятии нашими войсками Киева. Это было огромной радостью для всей страны. Но можно представить, как радовались мы, услышав сообщение о взятии столицы Украины. Мы были еще в тылу врага, но скорая победа и освобождение всей украинской земли были уже близки.

Как и год назад, партизаны вновь услышали голос Сталина. По радио транслировался его доклад на торжественном заседании Московского Совета, посвященном двадцать шестой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Товарищ Сталин назвал истекший год — от двадцать пятой до двадцать шестой годовщины Октября — «переломным годом Отечественной войны». Наступление Крас-

ной Армии в течение этого года поставило Германию перед катастрофой.

Утром 7 ноября отряд выстроился в каре, и был зачитан записанный радистами приказ товарища Сталина. Дружное, громкое «ура» разнеслось по лесу.

С полудня к нам стали приезжать гости, командиры соседних отрядов — Балицкий, Карасев, Прокопюк и Магомет. Каждый явился в сопровождении небольшой группы партизан своего отряда.

— Ай да лагерь! Здесь после войны дом отдыха можно будет открыть! — говорили гости, осматривая наши строения.

— Хоть танцы устраивай,— отозвались они об одном из наших общежитий, когда увидели широкий проход между нарами, полы которого были вымощены досками из забора одного сожженного немцами дома. Пол был точно паркетный.

Но больше всего понравился гостям госпиталь. Цесарский сиял.

После праздничного обеда начался вечер самодеятельности. Посреди естественного «зеленого театра» были построены просторные подмостки. По углам загорелись костры. Когда кто-то (наверно все тот же Цесарский) запел «Вечер на рейде» и песню подхватили,— «сцена» и зрители превратились в один огромный хор; багровые отсветы костров, озарявшие лица, придавали этому зрелищу какую-то особую торжественность. Все сидели, как зачарованные.

Неожиданное для всех искусство показали Семенов и Базанов. Они выступили с акробатическими номерами — кувыркались и изгибались, как настоящие циркачи. Свет от костров скользил по их фигурам, точно лучи театральных прожекторов.

Среди новых партизан, прибывших к нам из Ровно, оказались актеры ровенского театра. Один из них очень хорошо имитировал Чарли Чаплина. Но не успел этот «Чаплин» сойти со сцены, как с тем же номером вышел испанец Ривас. Он был наружностью похож на Чаплина и, хотя не владел особым искусством, но произвел эффект не меньший, чем настоящий актер.

Особенный успех имела в русской народной пляске Алевтина Николаевна Щербинина, наш врач, одною из первых присланная нам подпольщиками. До войны Алевтина Николаевна лечила детей на Крайнем Севере, первый

год войны, работала военврачом в полевом госпитале, попав в плен, оказалась в Тучине и оттуда с помощью Оли Солимчук прибыла к нам. С тех пор прошло каких-нибудь два месяца, но Алевтину Николаевну уже знал и любил весь отряд. Никто, однако, не подозревал, что эта серьезная и строгая женщина такая мастерица в танце. Вызывали ее неоднократно.

В этот вечер мы пели не только старые, любимые песни, но и нашу новую, собственную песню, сложенную отрядным поэтом, связным луцкой подпольной группы Борисом Зюковым.

Запоем нашу песнь о болотах,
О лесах да колючей стерне,
Где когда-то свободный Голота,
С вихрем споря, гулял на коне...

Кто забудет бои, переправы,
Переходы, засады в мороз,
Кто забыл, как летели составы
У мостов под кремнистый откос.
И УПА нам пути уступает,
Без оглядки бандиты бегут —
Фельджандармы и бульбовцы знают,
Что «медведи» без промаха бьют.

Да, прошли мы, товарищи, вместе
Пусть нелегкий, но доблестный путь.
Жаль, что в песне короткой нет места,
Чтоб погибших друзей помянуть.
Пусть спокойно и мирно им спится,
Поклялись мы оружьем своим,
Что высоких отрядных традиций
Никогда и нигде не сдадим.

Запевайте же марш наш походный!
Помни, Гитлер кровавый, одно:
Званье славное — мститель народный —
Партизану недаром дано!..

Часов в одиннадцать вечера, когда наши гости уже разъехались по своим отрядам, а концерт все еще продолжался, ко мне подошел Стехов. Я сидел в первом ряду «партера», устроенного из бревен.

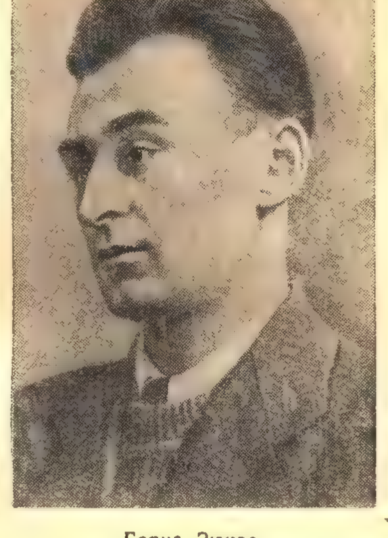
Стехов наклонился ко мне:

— Дмитрий Николаевич, на минуту!..

Я вышел.

— Только что прибежали разведчики из Берестян,— взволнованно заговорил Стехов.— Туда прибыла крупная карательная экспедиция, с минометами и пушками. Ищут

проводников, чтобы с утра итти на нас. Час назад я получил сообщение, что и на станции Киверцы разгружается большой эшелон немцев.



Борис Зюков

Это не было для нас неожиданностью. Кузнецов уже успел сообщить нам о готовящейся карательной экспедиции генерала Пиппера — «мастера смерти». Мы знали об этом и от ровенских товарищей.

История с предателем Науменко заставляла нас думать, что фашистам точно известно место нашего лагеря. Посоветовавшись со Стеховым, мы решили дать бой карателям.

Дождавшись конца очередного номера, я вышел на помост.

— Товарищи! — сказал я бойцам.— Получены сведения, что завтра с утра на нас пойдут каратели. Уходить не будем. Останемся верными своему принципу: сначала разбить врага, а потом уходить!

— Правильно! Ура! — подхватили партизаны.

Я поднял руку, призывая к вниманию:

— Праздник будет продолжаться!

Несколько человек запели «В бой за Родину, в бой за Сталина». Песню подхватили все.

Праздничный вечер продолжался еще целый час.

Спать улеглись в полной боевой готовности. Кругом лагеря выставили дополнительные посты. В направлении Берестян выслали пеших и конных разведчиков.

На рассвете прискакал из-под Берестян Валя Семенов.

— Из села к нашему лагерю движется большая колонна немцев! — запыхавшись, выпалил он.

Почти в тот же момент донеслась пулеметно-автоматная стрельба. Стрельба шла километрах в десяти от нас, приблизительно в районе лагеря Балицкого.

Я послал туда конных связных, чтобы узнать, в чем

дело, не нужна ли им помощь, и передать о том, что мы также ждем карателей.

В отряде было в этот момент около семисот пятидесяти человек. Делился отряд на четыре строевые роты и два отдельных взвода — взвод разведки и комендантский.

Первая рота под командованием Базанова вышла навстречу противнику, шедшему из Берестян. Вторую роту под командованием Семенова я направил в обход и приказал: незаметно нащупать, где находятся артиллерия, минометы и командный пункт карателей, чтобы ударить по ним с тыла.

Когда вторая рота вышла из лагеря, с постов сообщили, что и с другой стороны на нас идет вражеская колонна. Навстречу ей я выставил часть четвертой роты. Другая часть этой роты охраняла правый фланг. Третья рота находилась на постах кругом лагеря.

Итак, все наши силы были в расходе. В резерве оставались группы разведчиков и комендантский взвод.

Часов в десять утра начался бой. По нашей первой роте каратели открыли бешеный огонь из пулеметов и автоматов. Плотной колонной, во весь рост они продвигались под прикрытием минометного и пулеметного огня. Ответный огонь наших станковых и ручных пулеметов лишь на время заставлял их останавливаться и ложиться. Затем снова слышалась немецкая команда, солдаты поднимались и шли в атаку.

Подпустив карателей на расстояние автоматного огня, наши перешли в контратаку. Загремело партизанское «ура».

Вторая колонна немцев тоже пошла в атаку. Там дралась часть нашей четвертой роты.

В лагерь несли и вели раненых.

Мы знали, что длительного боя нам не выдержать: у нас было мало патронов. Поэтому я послал связных в отряды Балицкого и Карасева с просьбой выслать небольшие группы в тыл врага, чтобы это, хоть бы частично, отвлекло силы карателей.

Артиллерия противника стала пристреливаться по лагерю. Но снаряды рвались за лагерем — в двухстах метрах.

Из первой роты дали знать, что патроны на исходе, что станковый пулемет уже молчит. Мы им подбросили группу партизан из комендантского взвода. Через некоторое время снова сообщают — патронов почти нет, присылайте, иначе не выдержим.

— Бьют, как мух, а они лезут и лезут,— говорил связной.— Психикой хотят нас запугать.

Прошло уже четыре часа, как вышла рота Семенова, но она пока ничем себя не проявила. Где она, что делает?

В первую роту мы стали направлять небольшие группы свободных людей из разных подразделений. Но это поддержало ее лишь на короткое время.

Казалось, мы проигрываем бой.

Вернулись связные от Балицкого и Карасева. Балицкий ответил, что послать никого не может, его отряд лежит в обороне, ждет нападения. А Карасев писал, что высылает для удара с фланга целый батальон.

Каратели с обеих сторон все больше нажимали, и уже стрельба приблизилась к самому лагерю. Вышли в бой последние наши резервы — комендант Бурлатенко с группой в пятнадцать человек легко раненых, только что получивших медицинскую помощь.

Мины рвутся в самом лагере. Огромные сосны ломаются и с треском падают. Фашисты подступают все ближе.

Бой идет уже семь часов. Партизаны Карасева себя не обнаруживают. Рота Семенова тоже.

В шестом часу вечера я отдаю приказ: запрягать обоз, грузить тяжело раненых и штабное имущество. Из раненых, способных держать оружие, с трудом удалось набрать четырнадцать человек. Цесарский и остальные врачи должны были прикрывать раненых и обоз. Сам я с остатком комендантского взвода направился на центральный участок, с тем чтобы дать приказ об отступлении с боем и прикрыть отход обоза и раненых.

Я отчетливо сознавал, что если нам не удастся продержаться дотемна, мы уйти не сможем. Каратели обступали нас кругом.

И вдруг с той стороны, откуда стреляли вражеские пушки и минометы, мы отчетливо услышали русское «ура».

Еще не смолкло «ура», как стрельба, будто по мановению волшебной палочки, прекратилась.

Через пять минут снова был открыт огонь из вражеских минометов... но уже по немцам.

Растерянность и паника мигом охватила карателей, они стали бросать оружие, разбегаться, наши бросились в погоню.

Что за чудо?



Валя Семенов

Чуда, конечно, никакого не было. Успех боя обеспечила рота Семенова. Она зашла в тыл противнику. Следуя приказу, Семенов основательно, не торопясь, разведал, где находятся артиллерийская и минометная батареи, установил, что в двухстах метрах от батареи расположился в палатке командный пункт карателей.

Семенов разделил роту на две группы, и обе одновременно ударили по противнику. Одна группа захватила артиллерию и минометы и повернула стволы на врага, другая овладела командным пунктом и радиостанцией, через которую шло управление боем. Девятнадцать офицеров штаба, в том числе и сам командующий экспедицией генерал Пиппер, были тут же убиты. Это и решило дело.

Надо сказать, что и батальон Карасева успел перед концом вмешаться в бой. Он удачно зашел во фланг карателям и тоже ударил по ним.

Лишь к одиннадцати часам вечера бойцы собрались в лагерь: они преследовали в лесу разрозненные группы карателей. Человек полтораста вражеских солдат укрылись в Берестянах, ожидая нашего нападения. Но нам теперь не было смысла связываться.

Я был уверен, что каратели завтра же с новыми силами пойдут на нас и начнут бомбить лагерь с воздуха. Ночью уже стало известно, что со станции Киверцы продвигается новая немецкая колонна. Было принято решение: до рассвета уйти на новое место.

В бою мы потеряли двенадцать человек убитыми и тридцать ранеными. Мы похоронили убитых, оказали помощь раненым — и начались сборы.

Я послал связных к Балицкому и Карасеву с записками, в которых сообщал, что с рассветом мы уйдем из лагеря и что они могут взять себе часть наших боевых трофеев.

Трофеи были огромные. Мы отбили у карателей весь их обоз, который состоял из ста двадцати повозок, груженных оружием, боеприпасами, снарядами, минами и обмундированием. Были взяты три пушки, три миномета с большим количеством мин и снарядов; автоматы, винтовки и много патронов.

Из захваченных штабных документов мы узнали, что бой с нами вели карательная экспедиция генерала Пиппера и три полицейских батальона СС, всего около двух с половиной тысяч.

Судя по документам, карательной «деятельностью» генерал Пиппер занимался с первых же дней войны. Он со своими эсэсовскими батальонами побывал во всех оккупированных гитлеровцами странах. На Украине он свирепствовал месяцев пять.

На штабной карте генерала Пиппера красной точкой был обозначен тот квартал леса, где мы находились. Это, конечно, было делом рук Наумова-Науменко, но место он указал не совсем точно. Поэтому-то вражеские мины и снаряды разрывались в стороне от лагеря.

В два часа ночи партизаны, впервые за сутки, поели. А в три часа отряд уже покинул свой лагерь. Жаль было оставлять такое хорошее жилье, не хотелось снова мерзнуть на холоде и мокнуть под дождем. Но делать было нечего.

Мы решили временно отойти к северной границе Ровенской области, чтобы здесь привести в порядок отряд и попытаться самолетом отправить раненых в Москву. Здесь, в Цуманских лесах, была оставлена небольшая группа под командованием Бориса Черного. Он должен был маневрировать, скрываться от карателей и принимать наших людей, которые будут приходить из Ровно.

Через день после нашего ухода гитлеровцы принялись бомбить с самолета и обстреливать теперь уже пустой квартал леса. После мощной артиллерийской подготовки они беспрепятственно подошли к лагерю. Обратно из лагеря каратели волочили «трофеи» — трупы своих же солдат. Мы уложили в этом бою не менее шестисот карателей.

Мертвую тушу генерала Пиппера немцы отправили самолетом в Берлин. Фашистские газеты, оплакивая этого генерала, писали, что Пиппер был надежной опорой оккупационных властей, но больше уже не называли его «мейстер тодт» — «мастером смерти».

А наш партизанский поэт Борис Зюков добавил к своей песне новые слова:

Наших метких внезапных ударов
Не забудет фашистская мразь,
Как казнили в тылу генералов
И господ офицеров не раз.
А жандармы-ищейки отметят
В панихиде ноябрьских ветров
Октября двадцатишестилетье
Шестьюстами дубовых крестов.

Глава девятнадцатая

Альфред Функ носил звание «оберфюрера СС». До назначения на Украину он был «главным судьей» в оккупированной немцами Чехословакии и безжалостно расправлялся с чешскими патриотами. Здесь, на Украине, Функ продолжал свое кровавое дело еще с большим усердием. По его приказам поголовно расстреливались заложники, чинилась зверская расправа в тюрьмах и концлагерях, гибли тысячи ни в чем не повинных людей.

В связи с убийством Геля и Кнута и ранением Даргеля Функ, оставшийся единственным заместителем имперского комиссара, издал приказ о расстреле всех заключенных в ровенской тюрьме. Тогда и было решено казнить этого палача.

Акт возмездия был приурочен к следующему утру после похищения Ильгена. Нельзя было давать немцам опомниться. Валя Довгер и Ян Каминский, Николай Струтинский и Терентий Новак со своими товарищами тщательным образом готовили эту новую операцию Николая Ивановича Кузнецова.

Альфред Функ имел привычку ежедневно по утрам, за десять минут до начала работы, бриться в парикмахерской близ помещения главного суда. Парикмахер, местный житель, оказался преданным советским патриотом. На предложение Яна Каминского помочь ему в совершении акта возмездия он ответил безоговорочным согласием. Было условлено, что как только генерал войдет в парикмахерскую, парикмахер отодвинет одну из занавесок на окне. Это послужит знаком Каминскому: Функ сел бриться. Сам Каминский должен был находиться на таком расстоянии, чтобы видеть окна парикмахерской и во-время подать сигнал Кузнецову.

В то самое утро, когда гитлеровцы сбивались с ног в поисках партизан, похитивших Ильгена, когда по городу шли массовые облавы, Николай Иванович сидел, развалившись в кресле, на втором этаже здания главного суда, в приемной оберфюрера СС Функа.

Он пришел сюда в тот момент, когда главный судья усаживался в кресло парикмахерской. В приемной была только секретарша, и Кузнецов «беспечно» болтал с ней, не забывая, однако, поглядывать в окно. Из окна было видно, как прогуливается по улице Ян Каминский.

Каминский в свою очередь не спускал глаз с занавески парикмахерской. Как только он увидел, что она отодвинута, он подал условленный знак Кузнецову. «Заметит или не заметит? — подумал он.— А вдруг Кузнецов в это время как раз не посмотрел в окно...» Каминский решил на собственный страх и риск «удлинить» сигнал. Он снял фуражку и принялся усердно чесать голову. Он делал это с таким ожесточением, что внушил тревогу Николаю Ивановичу. «Что могло случиться?» — подумал тот. И решил, что случилось что-то непредвиденное, непредусмотренное, поскольку Ян дает новый, не обусловленный между ними сигнал. Что же это могло быть? Не является Функ? Но тогда Ян не давал бы вообще никакого сигнала. А Ян— Кузнецов снова посмотрел на него в окно — продолжал раздирать себе голову. «Ага! — сообразил Кузнецов,— Функ приехал, но в парикмахерскую на этот раз не пошел, а направляется прямо сюда». Времени оставалось — считанные секунды.

К этому моменту Кузнецов успел уже назначить секретарше свидание, и теперь, когда он попросил ее принести свежей воды, девушка услужливо побежала с графином. То, что вода находится на первом этаже, было Кузнецову заранее известно.

Когда секретарша вернулась с водой, обер-лейтенанта в комнате не было. В ту же минуту мимо нее прошел в свой кабинет генерал Функ.

Функ снял плащ, повесил фуражку, подошел к столу и уже взялся рукой за кресло, как услышал за спиной:

— Не трудитесь, генерал! Сидеть не придется!

Функ резко повернулся и увидел выходящего из-за шкафа офицера с обнаженным пистолетом. Обер-лейтенант приблизился к нему со словами:

— Прими, гадина, за кровь и слезы невинных людей!— и дважды выстрелил в упор.

Палач упал к ногам Кузнецова. Кузнецов бросился к столу, схватил все лежавшие там бумаги и быстро вышел из кабинета. Он прошел мимо обезумевшей секретарши и стремительно спустился по лестнице.

Когда он открыл дверь парадного, то увидел у подъезда два грузовика с карателями. Очевидно, машины только что остановились. Гитлеровцы сидели словно завороженные, с задранными вверх головами, с удивлением глядя на окна второго этажа, откуда послышались выстрелы.

Кузнецов остановился рядом с ними и тоже, как и каратели, посмотрел на окна главного суда и затем спокойно ушел. Когда раздались крики и гестаповцы, соскочив с машин, бросились к зданию, Кузнецов был уже за углом во дворе. Перескочив через забор, он оказался в переулке, где его ждала машина.

— Коля, газ! — крикнул он Струтинскому, захлопывая дверцу.

Ян Каминский, в нарушение данного ему приказа, не ушел сразу после того, как подал сигнал Кузнецову. Он оставался на улице и видел, как вышел из здания суда Николай Иванович, как затем весь квартал был оцеплен гестаповцами и фельджандармерией, как, окружив дом плотным кольцом, гестаповцы лазали по крыше и чердаку в поисках партизана и, наконец, вывели из помещения суда десятка два сотрудников, в том числе и офицеров, которых тут же увезли в гестапо.

А Кузнецов и Струтинский были уже далеко за городом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТРЯД СПЕШИТ НА ЗАПАД



Глава первая

Красная Армия развивала стремительное наступление. 6 ноября 1943 года войсками 1-го Украинского фронта был освобожден Киев, а уже в начале декабря наши танки появились на улицах Житомира. Теряя технику, оставляя убитых и раненых, объятые паникой «завоеватели» откатывались на запад. Близился час полного освобождения Украины.

Незабываемы эти дни в памяти советских людей. Почти каждый вечер столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам, одержавшим победы над гитлеровскими захватчиками. Кто забудет эти вечера, когда людей, возвращавшихся с работы, останавливали волнующие звуки позывных; репродукторы собирали вокруг себя толпы слушателей. Затаив дыхание, люди внимали торжественным словам приказа Верховного Главнокомандующего, и, когда, читая приказ, диктор называл города, освобожденные от врага, улицы оглашались рукоплесканиями.

Нам не довелось быть в числе тех, кто видел столицу в каскадах разноцветных огней салютов.

Гром двухсот двадцати четырех орудий Москвы по поводу взятия города Белая Церковь мы слушали по радио, находясь в пути. Мы уходили от места нашего боя с карателями, куда со дня на день могла притти новая экспедиция.

На три километра растянулась по лесу колонна отряда. Наш обоз состоял из пятидесяти повозок, запряженных парой лошадей каждая. Все шесть месяцев пребывания

в Цуманских лесах мы незаметно накапливали хозяйство, и вот, когда пришло время сняться с места, сами удивились: откуда у нас столько имущества — пятьдесят фурманок! Взяли бочки с засоленным мясом и салом, ящики с запасами колбасы, кухонную утварь, посуду; слесарная мастерская Риваса занимала особую повозку; везли инвентарь портняжной и сапожной мастерских, шли упряжки с трофеями. Тут было погружено то, с чем шел на нас «мастер смерти» Пиппер и что оставил он на поле боя: пушки, минометы, ящики с боеприпасами... Наконец, везли горы мешков с пшеницей, которую убрали партизаны с полей тех сел и хуторов, где жители были поголовно истреблены или вывезены на каторгу в Германию.

Дорога от дождей раскисла, передвигаться было трудно, но еще труднее расстаться с хозяйством, дорогой ценой доставшимся.

Всю дорогу не оставляло беспокойство: что, если каратели, получив подкрепление, тронутся по нашим следам? А следы после нас остаются, их делают еще более заметными идущие по одной с нами дороге отряды Прокопюка, Карасева, батальон Балицкого, группа Магомета. Все они снялись со старых мест. Следы остаются такие, что ничем не замаскируешь.

И действительно, как вскоре же выяснила разведка, каратели пошли за нами.

Но, во-первых, пошли они с большим опозданием; во-вторых, им приходилось тратить массу времени на «прочесывание» лесных массивов. На открытой местности они двигались довольно быстро; когда же наш след уходил в лес, тут они шли цепями, ощупью, озираясь, боясь неожиданной встречи. Особенно задерживали их болотистые места.

И вот пройдено сто пятьдесят километров. Мы приближаемся к селу Целковичи-Велки, где рассчитываем расквартироваться.

Утро. Мы только что вышли из лесу на открытую поляну. Перед глазами открылось невиданное зрелище: справа, на востоке, поднимается огромный огненный шар.

— Что это сегодня с солнцем? — спрашиваю у старика-крестьянина.

— К метели,— отвечает он коротко, с интересом разглядывая проходящих партизан.

— Какая метель, папаша? На небе ни облачка, да и ветра никакого,— смеется Александр Александрович.

Но крестьянин оказался прав.

Солнце, поднимаясь над горизонтом, становилось все меньше, блекло, из красного делалось матово-бледным, покрываясь мутной пеленой облака, неизвестно откуда взявшегося. Поднялся ветер.

Мы едва успели, добравшись до села, разместить людей по квартирам, как начали падать крупные пушистые хлопья. Они падали все гуще и гуще, ветер подхватывал их и, кружа в воздухе, горстями бросал в лицо. Начиналась метель.

Это первый снег, и мы радуемся ему: он замел наши следы. Наутро, когда он растает, наши преследователи завязнут в хляби дорог.

— Вот хорошо! — говорит Стехов, останавливаясь в сенях и старательно стряхивая снег.— Природа работает на нас.

Здесь, в Целковичи-Велки, нам предстоит немало хлопот.

Прежде всего необходимо позаботиться о раненых, отправить их самолетом в Москву.

С первых дней пребывания во вражеском тылу установилась у нас неписанная традиция: забота о раненых — прежде всего.

Суворовский принцип «сам погибай, а товарища выручай» стал у нас непреложным законом. С поля боя раненые попадали в отрядный госпиталь и здесь содержались в самых лучших условиях, какие только могли мы создать. Каждый из городских разведчиков считал своим долгом раздобыть и прислать в отряд медикаменты, инструменты, перевязочный материал.

Все самое хорошее — начиная от лучших продуктов и кончая дровами самого высокого качества — предназначалось для госпиталя.

Возвращаясь в лагерь из города, из сел, с боевых операций, партизаны обязательно заходили проведать раненых товарищей.

Это вошедшее в обычай участие в заботах о раненых имело, помимо всего, и большое воспитательное значение: каждый из бойцов твердо знал, что и его не оставят в беде, если с ним что-нибудь случится. Крепла товарищеская спайка, вселявшая в душу бодрость, придававшая новые и новые силы в нашей борьбе.

Когда Марина Ких принесла радиограмму, в которой сообщалось, что самолета за ранеными не пришлют и что

нам нужно отвезти их в лагерь к Федорову-Черниговскому, мне стало не по себе.

— Как, передать наших раненых в другой отряд?

Этот приказ относился и к нашим соседям — к отрядам Прокопюка и Карасева.

Они, как и я, слышали много хорошего о Федорове-Черниговском и его отряде, но испытывали ту же тревогу: а каковы там условия для раненых?

— Надо бы съездить посмотреть,— предложил я обоим командирам.

И мы, в сопровождении группы партизан, выехали в гости к Федорову-Черниговскому.

Он встретил нас приветливо, оживленно рассказывал, расспрашивал, знакомил, угощал. Высокий, плотный, с пышными украинскими усами, карими сверкающими глазами и упрямым, волевым лицом, он напоминал легендарных вожаков народной борьбы. Генеральская шинель с погонами, сшитая партизанами, полугенеральская-полукавказская шапка с красным верхом, с красной партизанской лентой вместо кокарды и самое имя Федоров-Черниговский как нельзя больше шли к его лицу, ко всему его облику партизанского командира, народного вожака. И в то же время это был простой, сердечный человек, хороший собеседник, радушный хозяин.

Мы беседовали почти целые сутки, но и за это время не исчерпали всего, о чем хотелось поведать друг другу.

Оказывается, мы заочно знакомы еще по Брянским лесам. Алексей Федорович прошел их со своим отрядом и был в тех же местах, где и я в зиму 1941—42 года.

— Вас, товарищ Медведев, там помнят. Встречали мы могилы ваших партизан. Хорошо вы их хоронили. Места выбирали красивые, живописные. Никогда не забуду могилу вашего начальника штаба — как его? Староверова, кажется? Это в лесу у деревни Батаево.

— Да, Дмитрий Дмитриевич Староверов.

— Мои хлопцы обязательно каждую могилу подправят, возложат венки, все как полагается. А за Староверова еще раз и крепко отплатили фашистам: в деревне Батаево разгромили крупный вражеский отряд.

Госпиталь в отряде Федорова мне понравился. Я увидел здесь ту же всеобщую заботу о раненых товарищах. И я сказал Алексею Федоровичу о приказе командования.

— Какие могут быть разговоры! Конечно, давайте всех раненых сюда. Врачи у меня хорошие. А как только организуем аэродром — улетят в Москву.

Вернувшись в Целковичи-Велки, я зашел в госпиталь:

— Вас, товарищи, повезут в госпиталь партизанского соединения Героя Советского Союза генерал-майора Федорова Алексея Федоровича,— сказал я.— У нас, по-моему, вам было неплохо, но и у Федорова будет не хуже. Я там был и убедился, что соединение крепкое, боевое, такое, каким оно и должно быть под командованием депутата Верховного Совета. Мы передаем вас туда со спокойной совестью. Об одном прошу: высоко держите престиж нашего отряда; будьте во всем достойными звания советского партизана.

Через несколько дней приехал к нам в свою очередь и Алексей Федорович. Ему хотелось повидать Николая Ивановича Кузнецова.

Наш отряд, совместно с отрядами Карасева и Прокопюка, устроил Федорову торжественную встречу. В самый разгар товарищеского обеда над селом появились немецкие истребители. Один из них покружился над нами и, видимо, ничего не приметив, улетел вслед за остальными.

Мы облегченно вздохнули.

Но не прошло и четверти часа, как раздался грохот, потрясший всю округу. Самолеты сбрасывали свой груз на села в пятнадцати-двадцати километрах от нас. Бомбежка длилась весь день. Клубы черного дыма застлали собой горизонт. Ветер принес запах гари. Огромное зарево повисло на небе, окрасив его багрянцем.

Наутро мы перебрались в лес. Нельзя было подвергать опасности налета население Целковичи-Велки, так гостеприимно принявшее нас. В лесу был спешно построен временный лагерь. Там мы продолжали приводить себя в порядок, переформировывались, так как к нам вернулась из-за Случа оставленная там группа.

Это был отдых, может быть, и заслуженный, но тем не менее тяготивший каждого.

По вечерам люди собирались для тихих бесед, для песен, но с каждым новым утром острее ощущалась неудовлетворенность. Отдых томил людей. «Скорее бы назад, в Цуманские леса»,— слышал я на каждом шагу. Партизаны знали, что наше возвращение на старое место задерживается отсутствием отечественных боеприпасов и пи-



Радистка Лида Шерстнева за работой

тания для рации, что мы ждем самолетов с этим грузом, а их все нет. «Что Москва? — спрашивали Лиду Шерстневу и Марину всюду, где бы они ни появлялись. — Что самолеты? Когда обещают?..»

«Маневренная группа, оставленная в Цуманских лесах, разве она может там заменить целый отряд? А тем более, если нет с ней никакой связи»,— так думал каждый из нас.

— Не во-время мы ушли,— все чаще и чаще слышались голоса.

Действительно, теперь самое время держать тесную связь с ровенскими и здолбуновскими товарищами. Можно себе представить, сколько у них скопилось ценнейших сведений, которые нужно немедленно передавать в Москву, сколько намечено боевых дел, которыми нужно оперативно руководить.

Гитлеровское командование в надежде закрепиться то на одном, то на другом рубеже перегруппировывало свои войска, перебрасывало их с одного участка фронта на другой,— нашей задачей было улавливать эти передвижки и своевременно сообщать о них в Москву. Сколько работы для наших разведчиков — для Кузнецова, Шевчука, Струтинского, для Красноголовца в Здолбунове и Новака в

Ровно! И главное — не только разведка, но и активные действия поручены нашим товарищам: всеми мерами сеять панику в рядах оккупантов, мешать готовить оборону, не давать эвакуироваться с награбленными ценностями. В помощь ровенцам мы теперь же, с дороги, направили в город несколько групп наших боевиков. Сейчас бы всему отряду быть где-нибудь поблизости от города.

Но и здесь мы не сидели без дела. Ежедневно группы партизан расходились по селам в радиусе до пятидесяти километров. Они вели беседы с местными жителями, раздавали им листовки со сводками Информбюро, проводили разведку.

О местонахождении нашего отряда стало известно гитлеровцам, и снова у нас с врагами стали происходить почти ежедневно бои и стычки.

Почти каждый день бывали у нас гости из соседних отрядов. Особый интерес проявляли они к двум нашим новым бойцам — Мясникову и Кузько, тем самым «казакам», что помогали захватить Ильгена. Надо сказать, что эти «казаки» оказались превосходными рассказчиками. У Кузько была своя манера вести рассказ.

— Хожу и мечтаю,— хитро улыбаясь, начинает он:— Неужели и обер-лейтенант — партизан?.. Э-эх, мечтаю, пропадать, так с музыкой!..

И он во всех подробностях, ярко и красочно описывал, как генерал брыкался, как его связывали, затыкали рот, как он затем вырывался и как взяли в машину вместе с генералом личного шофера Коха в качестве «понятого»...

Это «хожу и мечтаю» долгое время оставалось излюбленным и непременным номером всех отрядных вечеров. Стоило появиться в лагере связным Балицкого или Карасева или другим гостям, как тут же разыскивали «казаков» и заставляли от начала до конца повторять всю историю.

Визиты гостей заканчивались обычно просьбой отпустить к ним на денек Кузнецова и братьев Струтинских. Уважить эти просьбы я не мог. Мы и в своем отряде, как могли, маскировали наших городских разведчиков, опасаясь, что их приметы могут стать известными гестапо.

К Карасеву я их все же отпустил. Да и нельзя было не отпустить — так расположили нас к себе и своему отряду Виктор Александрович Карасев и его комиссар Михаил Иванович Филоненко. Они приняли наших разведчиков на

редкость гостеприимно. Кузнецов потом часто рассказывал, как изысканно их угощали у Карасева, как специально для них затопили баню, построенную по-сибирски, «по всем правилам».

— Давно не получал такого удовольствия! — с увлечением рассказывал Николай Иванович. — На верхней полке от пара дух захватывает, а внизу — мороз. Попарился наславу! Прямо как у нас в Зырянке когда-то!

— А про нашу баню забыл? Про ту, что завалилась!— напомнил Дарбек Абдраимов.

Все кругом засмеялись, вспомнив, как однажды «парился» Кузнецов в нашей бане. Это была «знаменитая» баня! Мы построили ее вроде обыкновенного чума, но с огромной дырой, чтобы выходил дым. На костре в больших котлах грелась вода. Чтобы далеко за ней не ходить, здесь же, в бане, вырыли колодец. Мыться в такой бане, конечно, не доставляло большого удовольствия.

В довершение ко всему баня обвалилась. Это произошло как раз в тот момент, когда в ней мылся Кузнецов. Как на грех, он успел хорошо намылиться и во время обвала угодил в колодец с холодной водой. Оттуда ему помогли выбраться, но был он весь в грязи. Товарищи поливали его из котелков теплой водой, которую носили из чумов, а он стоял на холоде и смывал грязь и мыло. Один котелок выльет на себя и ждет, пока принесут еще. Так «напарился», что потом еле согрелся.

У нас любили вспоминать эту историю. Сам Николай Иванович от души смеялся, когда заходила о ней речь. Вот и сейчас, после слов Дарбека, он принялся хохотать, заражая смехом всех остальных.

Но в Целковичи-Велки Кузнецов был более задумчив и менее общителен, чем обычно. Нередко мы видели его сумрачным, ушедшим в свои мысли и от этого рассеянным. Я знал, что он страдает от бездействия, но отпустить его не мог. Кузнецов мучился еще и тем, что не знал ничего о Вале. После похищения Ильгена и убийства Функа были все основания за нее беспокоиться.

В день его возвращения от Карасева я узнал еще об одной причине, заставлявшей его так томительно волноваться.

— Вы слышали — Бердичев! — крикнул он мне еще издали.

Бердичев взяли наши накануне.

— Понимаете, что получается,— заговорил он озабоченно.— Чем лучше наши их бьют, тем меньше у меня остается надежды добраться до Коха! Он и раньше предпочитал сидеть в Кенигсберге, а теперь вовсе не покажет к нам носа... Позавчера освобожден Новоград-Волынский, вчера — Белая Церковь, а сегодня вот Бердичев. Я услышал и, честное слово, расстроился. Конечно, расстроился не из-за того, что освобожден Бердичев, — это радостно знать, а все-таки мне обидно... из-за Коха!

— Скоро уйдем отсюда, Николай Иванович. Еще неделя, и вы — в Ровно.

— Я-то буду в Ровно, а вот гаулейтер...

С этими словами он достал из кармана шинели две сложенные вместе газеты и протянул их мне. Это были номера «Правды» за 18 и 19 декабря, которые накануне сбросили Карасеву с самолета.

В обоих номерах содержались сообщения, представлявшие для нас чрезвычайный интерес.

Я невольно представил себе заснеженную московскую улицу, людей, столпившихся у газетной витрины. Миллионы наших соотечественников, миллионы людей во всем мире прочли или услышали по радио эти два коротких телеграфных сообщения. От этой мысли захватывало дух.

> «Стокгольм, 17 декабря. (ТАСС). Немецко-фашистская газета «Минскер цейтунг» сообщила, что на днях, в своем служебном кабинете, был убит один из гитлеровских главарей в городе Ровно — оберфюрер СС Альфред Функ».

Казалось бы, что особенного! Прочли в газете о факте, который кому-кому, а уж нам достаточно хорошо известен, но сознание, что этот факт — убийство палача Функа — стал предметом широкой гласности, наполняло сердце гордостью. Я не видел лица Кузнецова — он молча стоял поодаль, развернув газету и читая что-то совсем другое,— но я знал, что и он испытывает то же чувство.

Второе сообщение, помещенное в «Правде» от 19 декабря, гласило:

Заявление Рузвельта на пресс-конференции

> «Лондон, 17 декабря. (ТАСС). По сообщению вашингтонского корреспондента агентства Рейтер, Президент Рузвельт на пресс-конференции сообщил, что

он остановился в русском посольстве в Тегеране, а не в американском, потому что Сталину стало известно о германском заговоре.

Маршал Сталин,— добавил Рузвельт, — сообщил, что, возможно, будет организован заговор на жизнь всех участников конференции. Он просил Президента Рузвельта остановиться в советском посольстве, с тем чтобы избежать необходимости поездок по городу. Черчилль находился в британском посольстве, примыкающем к советскому посольству. Президент заявил, что вокруг Тегерана находилась, возможно, сотня германских шпионов. Для немцев было бы довольно выгодным делом, — добавил Рузвельт, если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мной в то время, как мы проезжали бы по улицам Тегерана.

Советское и американское посольства отделены друг от друга расстоянием примерно в полтора километра...»

Лицо Кузнецова сияло счастливой улыбкой. Да, читая это, он имел право гордиться. Он был одним их тех, кто разрушил злодейский план гитлеровцев. Не могло быть сомнения, что гитлеровские агенты, о которых шла речь в телеграмме, в том числе, конечно, и фон Ортель, занимавший среди них не последнее место, во-время найдены и обезврежены. В это благородное дело внес свою лепту и Кузнецов.

— Поздравляю вас, Николай Иванович!

— Ну, я-то, может, здесь и ни при чем,— ответил Кузнецов.— Тут ведь, надо думать, десятки людей потрудились... Впрочем...— проговорил он задумчиво и хитро прищурился,— впрочем, я-то, пожалуй, один из них. Приятно знать, что и твоя работа пошла на пользу...

В этот день на очередной политинформации Стехов прочитал партизанам сообщение о провале немецкого заговора в Тегеране. Разумеется, имя Кузнецова не было при этом упомянуто.

Однажды дежурный по лагерю доложил мне, что к нам едут гости. Я вышел навстречу. Человек десять верховых медленно приближались к лагерю.

— Бегма,— отрекомендовался подошедший ко мне коренастый человек.

— Милости прошу, Василий Андреевич!

Василий Андреевич Бегма до войны был секретарем Ровенского обкома партии и теперь он оставался на своем посту, являясь членом подпольного ЦК КП(б)У, начальником штаба партизанского движения Ровенской области и командиром партизанского соединения.

До этого дня я не был знаком с Василием Андреевичем, но много слышал о нем и долго ждал встречи с ним. Как кстати его теперешний приезд! Мы сможем познакомить Бегму с подпольной организацией Новака, свяжем его людей с нашими.

Василий Андреевич прибыл издалека — с северо-востока. После деловых разговоров, за обедом, Бегма стал рассказывать нам о том, что какой-то партизан, переодетый в форму немецкого офицера, наводит ужас на всех немцев в городе Ровно; что он убивает крупных фашистских заправил среди белого дня прямо на улице; что он захватил немецкого генерала.

Рассказывая, Василий Андреевич и не подозревал, что этот партизан сидит рядом за обеденным столом. Лукин порывался перебить рассказчика, но я дал ему знак, чтобы он молчал. А Николай Иванович бесстрастно слушал рассказ Бегмы.

— Вот это — дела! Не то, что мы с вами делаем,— закончил Василий Андреевич.

— Дела замечательные, — подтвердил я и представил Василию Андреевичу того партизана, о котором он с таким восхищением рассказывал.

В лагере под Целковичи-Велки мы задержались значительно дольше, чем предполагали. Ожидаемый из Москвы груз все не прибывал, да и командование не разрешало нам пока возвращаться на старое место.

Больше того, когда мы, гонимые нетерпением, снялись и двинулись к Цуманским лесам, от командования последовал короткий приказ:

«Немедленно вернуться и ждать прихода маневренной группы Черного».

Непосредственно с Черным мы связи установить не могли. Он связывался с нами через Москву, и командование было больше в курсе дела, чем мы сами.

Делать нечего: вернулись в Целковичи Велки.

— Разрешите мне с группой отправиться к Берестянам,— обратился ко мне Лукин.— Разведчики нервничают. Рвутся в дело.

Я согласился, и Александр Александрович с ротой бойцов и группой конных разведчиков направился в Цуманские леса. С ним пошли также трое связных и радист.

Уже через три дня мы получили через Москву радиограмму от Лукина. Он сообщил, что после перехода железной дороги неожиданно столкнулся с большой колонной противника и здорово расчесал ее.

Через неделю было получено разрешение на переход в район Ровно всего отряда. Добрались мы туда благополучно, без единого выстрела.

На одном из привалов в небольшой деревушке, расположенной среди огромного соснового леса, Лида Шерстнева подала мне радиограмму из Москвы. Командование поздравляло нас с успехами и сообщало, что Указом Президиума Верховного Совета награждено орденами и медалями Советского Союза до ста пятидесяти партизан нашего отряда. Орденом Ленина были награждены Кузнецов, Николай Струтинский, Стехов, Ян Каминский и я, Шевчук и Жорж Струтинский — орденом Красного Знамени. Цесарский и Валя Семенов получили ордена Отечественной войны 1-й степени. Радисты, все без исключения, были награждены орденами. Более двухсот партизан наградили партизанскими медалями. Получил партизанскую медаль 1-й степени и Коля Маленький.

Весть об этом молниеносно облетела весь отряд. Начались поздравления.

— Вы, Николай Иванович, больше, чем кто-либо заслужили эту награду,— сказал я Кузнецову, поздравляя его.

— Теперь я еще в большем долгу перед Родиной, — ответил он.

Так празднично закончилась наша временная передышка.

Глава вторая

В середине декабря имперский комиссар Украины Эрих Кох отдал приказ о начале эвакуации немецких учреждений. Вскоре после этого гаулейтер, следуя своему же приказу, сам покинул «столицу» и уехал в Берлин.

Приказ Коха оказался несколько запоздалым. К тому

времени город Ровно являл собою картину повального бегства, или, выражаясь языком имперского комиссара, тотальной эвакуации немецких оккупационных чиновников и офицеров. По улицам, волоча тюки и чемоданы, набитые награбленными у населения вещами, шли и шли наспех одетые господа-«завоеватели». Весь этот поток был устремлен к одному месту в городе — к вокзалу. У вокзального здания часовые с трудом сдерживали напор этой толпы, потерявшей всякое руководство, панически настроенной и охваченной одним лишь животным страхом и стремлением бежать.

«Улетел мой германский коршун,— писал в отряд Николай Иванович, подразумевая Эриха Коха. — События на фронтах и шум, поднятый нами в городе, здорово напугали этого хищника. Он и рождественский вечер, не дождавшись 25 декабря, устроил 22-го и уже на следующий день — был таков. Посылаю вам газету с отчетом об этом вечере. Обратите внимание на строчки, которые я подчеркнул».

«Гаулейтер сказал,— гласил газетный отчет,— что как свет побеждает темноту с рождением Христа, когда день становится длиннее ночи, так и великая Германия победит в этой войне большевистскую тьму».

«Этот «победитель» перед своим бегством врал, как видите, не совсем удачно,— писал Кузнецов дальше.— Он не учел, что гитлеровская Германия напала на нас 22 июня, а этот день знаменует удлинение ночи. Тьма нападет на свет... Не могу простить себе, что я опоздал на этот вечер. Кажется мне, что Кох больше сюда не вернется. Удастся ли вообще поймать его, чтобы, наконец, он ответил за все свои злодеяния?..»

С этим же письмом Николай Иванович посылал ценные разведывательные данные, добытые им за короткий срок своего пребывания в Ровно. Он сообщал о переброске частей с востока на запад, о передвижении штабов, о панике, царящей в «столице», о том, что гитлеровцы минируют в городе крупные дома.

Кузнецов писал также об усилившемся в Ровно терроре. С востока, с территорий, освобожденных Красной Армией, продолжали прибывать в огромном числе гестаповцы и жандармы. Ежедневно происходили аресты. На улице Белой, где обыкновенно происходили расстрелы заложников, теперь каждую ночь, с вечера до утра, шла беспрерыв-

ная стрельба. Крытые грузовики всю ночь вывозили за город горы трупов.

В числе арестованных был и наш подпольщик Казимир Домбровский.

Видимо, кое-что стало о нас известно гестаповцам, — заключил Александр Александрович Лукин, докладывая об этом аресте.

Его предположение вскоре подтвердилось.

На улице был схвачен Иван Иванович Луць. Он знал, что за ним следят, но продолжал оставаться в городе, хотя и имел полную возможность уйти в отряд. Эта неосторожность дорого ему обошлась.

За провалом Луця последовал новый: гестапо арестовало Марусю Жарскую, смелую советскую девушку, комсомолку, настоящего патриота. До войны Маруся была трамвайным кондуктором в Минске. В Ровно она попала по принуждению — была увезена немцами на «работы». Как только ей представилась возможность участвовать в подпольной борьбе, Маруся вступила на этот путь. Она прошла его достойно. Десятки секретных квартир обеспечил подпольной организации хозяйственный отдел, возглавляемый Марусей Жарской А сколько было добыто документов, сколько сделано по налаживанию питания, какой трогательной заботой окружались семьи погибших товарищей!

Почти одновременно с Марусей был арестован и Николай Поцелуев. Его предал сосед — украинский националист. Гестаповцы осадили квартиру Поцелуева. Он отстреливался, был тяжело ранен и увезен в ровенскую тюрьму.

Смертельной опасности подвергся Коля Струтинский. Всегда бдительный, строго соблюдавший конспирацию, он был все-таки выслежен.

Струтинский пришел на одну из своих явок. Спустя четверть часа он услышал, как за окнами остановилась машина. Затем раздался громкий стук в дверь.

— Иди в другую комнату! — сказал Коле хозяин квартиры.

Струтинский скрылся за дверью.

— Где он? — потрясая оружием, кричали ворвавшиеся гестаповцы.

— Кто?

— Не притворяйся! — и гестаповец замахнулся на хозяина револьвером. Но в то же мгновение в дверях по-

явился Струтинский и двумя выстрелами уложил непрошенных гостей.

Они оба, Струтинский и хозяин квартиры, выскочили на лестницу, но с площадки второго этажа увидели, что в кузове стоявшего у дома грузовика были жандармы.

— Хайль, гады! — крикнул Струтинский и открыл огонь по жандармам.

Те начали прыгать с машины, сбивая один другого с ног. Тем временем Струтинский с хозяином квартиры скрылись.

Такова была обстановка, создавшаяся в городе. С каждым днем она становилась тяжелее. С каждым днем все больше и больше опасностей подстерегало наших людей.

Ровенские товарищи знали, что в любой момент они могут уйти в отряд. Но никто из них не хотел воспользоваться этой возможностью.

— Наше место теперь в городе! — сказал Терентий Федорович Новак, покидая отряд уже через месяц после своего приезда.

Надо было устроить оккупантам «достойные» проводы.

Было время, когда гитлеровцы верили в непобедимость своей армии, в то, что они навеки закрепились на завоеванной земле. А теперь им надо было бежать, бежать без оглядки. Этим желанием — поскорее унести ноги — было охвачено все немецкое «население» города Ровно, а также и лакеи — украинские националисты.

За машину до Львова платили по пятнадцати тысяч марок. Но и за эти бешеные деньги ее нелегко было найти.

Новак и Струтинский во многих гаражах имели своих людей и дали им задание любыми средствами задерживать машины. Шоферами у немцев сплошь и рядом работали советские военнопленные. Они с радостью принимали предложение подпольщиков. Каждый старался как мог: насыпали в горючее песок, портили моторы, обрывали электрооборудование, уносили ключи от машин, а иногда просто жгли машины. Подступы к нескольким гаражам были минированы.

Единственным путем, которым можно было выбраться из Ровно, оставалась железная дорога. Фельджандармы оцепили вокзал и стали наводить там порядок. Первый класс был предоставлен исключительно старшим офицерам

и генералам; там же в ожидании поездов сидели со своими «трофеями» насмерть перепуганные фрау. Во втором и третьем классах кучилась сошка помельче, но тоже с большими чемоданами. Попасть в вокзальное здание можно было только по специальному пропуску. А Шевчук и другой партизанский разведчик Будник пропуска не имели. Тем не менее они хотели во что бы то ни стало попасть на вокзал. У них на обоих был один чемодан небольшой, но тяжелый.

— Пропуск! — остановил их при входе жандарм.

Пришлось отойти.

— Так ничего не выйдет,— сказал Шевчук, бормоча проклятия по-украински. — Нужно поискать попутчика. Бачишь, сколько офицеров прут на вокзал пешком?

Под вечер Шевчук ехал к вокзалу в фаэтоне. Будник сидел за кучера. Ехать приходилось медленно, так как на вокзальной улице было полным-полно гитлеровцев. Шевчук внимательно присматривался, подыскивая «попутчика».

Наконец он увидел, как, изнемогая под тяжестью двух больших чемоданов, обливаясь потом, тащился на вокзал немец-подполковник. Вот он поставил свои чемоданы, вынул платок и, сняв фуражку, начал вытирать красное от натуги лицо.

— Пан офицер! — почтительно окликнул немца Шевчук.— Изволите итти на вокзал?

— Вокзаль,— подтвердил подполковник.

— Ну, ты, помоги! — крикнул Шевчук на «извозчика».

Тот выпрыгнул, поставил на фаэтон чемоданы, услужливо подсадил самого подполковника и двинул к вокзалу.

— Спасибо, спасибо! — бормотал подполковник, облегченно вздыхая и не переставая вытирать пот, ливший с него градом.

Как только подъехали к вокзалу, Шевчук и Будник, не дав своему пассажиру опомниться, подхватили его чемоданы, а заодно и свой.

— Не беспокойтесь, пан офицер, мы поможем.

— Пропуск! — потребовал жандарм.

— Со мной, со мной,— отстранил его подполковник.

Шевчук с Будником вошли в первый класс, набитый гитлеровцами. Еле нашли место, куда поставить багаж подполковника. Рядом с ним нашлось местечко и для их чемодана.

— До свидания, пан офицер! — весело крикнул Шевчук.— Счастливого пути!

Шевчук и Будник скоро были в одной из квартир, откуда хорошо виден вокзал, и, усевшись у окна, ждали, когда сработает тридцатикилограммовая толовая мина, искусно вмонтированная в чемодан партизанским мастером Ривасом.

Взрыв произошел в два часа ночи. Рухнула стена первого класса, провалился потолок, придавив около сотни офицеров вместе с их фрау и чемоданами. Но этим дело не кончилось. В момент взрыва к перрону вокзала подходил воинский эшелон. Поезд остановился, и из вагонов в панике стали выпрыгивать и разбегаться фашисты. Они решили, что вокзал бомбит советская авиация. Фельджандармы и гестаповцы, оцепившие вокзал, заметив бегущих, решили в свою очередь, что это советские диверсанты и открыли по ним стрельбу. К вокзалу была вызвана еще рота гестаповцев, которая тут же включилась в бой с «диверсантами». Перестрелка длилась с полчаса и закончилась большими потерями для «обеих сторон».

Наутро в городе только и было разговоров, что о взрыве вокзала. Гитлеровцы пришли в смятение.

И вот среди бела дня раздается новый взрыв — в центре города.

Накануне в седьмом часу вечера к прилавку специального продовольственного магазина, предназначенного «только для немцев», помещавшегося на «Немецкой улице», в первом этаже здания ортскомендатуры, подошел человек в темных очках, почтенный и солидный, всем своим видом внушавший доверие и потому пропущенный в магазин охранявшим вход солдатом. Посетитель довольно долго рассматривал полки гастрономического отдела. Судя по строгому взгляду, он понимал толк в гастрономии. Затем посетитель обратился к продавцу, разбитному молодому человеку с пробором, попросил его завернуть двести граммов сыра поострее.

— Слушаюсь,— с готовностью отвечал продавец.

— Желательно с червями,— объяснил требовательный покупатель.

— Не могу предложить,— сказал продавец с сожалением.— Зайдите завтра пораньше.

— Когда у вас открывается магазин?

— В девять, пан, в девять.

Назавтра в половине восьмого утра продавец, выходя из дому, столкнулся в парадном со своим вчерашним покупателем — человеком в темных очках. Тот передал ему плетеную корзинку с уложенным в ней пакетом. Они обменялись рукопожатием и расстались.

Фамилия продавца была Тищенко. С Шевчуком он познакомился через военнопленного Козлова, служившего рабочим при ортскомендатуре. Сам Тищенко тоже был военнопленным. Он мучился тем, что вынужден работать у немцев, и горел желанием уйти в партизанский отряд.

— Я тебе помогу,— обещал Козлов, давно уже связанный с Шевчуком.— Но ты должен делом доказать, что ты наш.

— Давайте любое задание! — горячо потребовал Тищенко.

Шевчук предложил ему через Козлова помочь в организации взрыва ортскомендатуры. Тищенко охотно согласился.

Они выбрали день, когда Тищенко надлежало явиться в магазин первым для приемки товара. Пакет, переданный ему Шевчуком, Тищенко положил на верхнюю полку. В начале рабочего дня он отлучился и больше в магазине не появлялся.

В полдень мина замедленного действия сработала. Оглушительный грохот потряс ортскомендатуру. Рухнули пол и стена. Загорелись перекрытия. Под обломками лежали гитлеровцы, раздавленные камнями и досками.

А Шевчук не успокоился. Он искал новый объект, где мог бы применить имевшуюся у него противотанковую гранату. Эта граната была не похожа на обычные, ее «переконструировал» изобретательный Ривас, приделав к ней оборонительную рубашку из толстых гвоздей, надрезанных в нескольких местах и прикрепленных к гранате проволокой. Они высчитали с Шевчуком, что такая граната даст при взрыве сто двадцать осколков.

Граната была одна, и Михаил Макарович хотел использовать ее с толком. Несколько раз в день его подмывало бросить ее то в подъезд рейхскомиссариата, откуда то и дело выносили тюки, то в толпу фашистов на вокзальной площади. Проходя по Железнодорожной улице, он вспомнил об одной столовой, в которой всегда находилось много офицеров. На эту столовую Шевчук давно обратил внимание. Было около шести часов вечера. В столовой, как и

предполагал Шевчук, было полно обедающих. На улицу доносились звуки оркестра. Мимо Шевчука прошли два офицера и скрылись за дверью. Шевчук прошел мимо, но от угла быстро повернул обратно и, поравнявшись со столовой, швырнул гранату в окно. Раздался взрыв.

С трудом заставляя себя не оглядываться, Шевчук вошел в ближайший подъезд, поднялся по лестнице. Переждав некоторое время, он вышел на улицу и скрылся. По дороге у него проверили документы, все оказалось в порядке, и наутро Михаил Макарович просто и весело рассказывал об этой истории в отряде.

Вечером в тот же день Шевчук встретился со своим товарищем — подпольщиком Серовым. Днем тот по заданию Шевчука переоделся в женское платье и под видом уборщицы явился в помещение штаба генерала авиации Кицингера.

Этот генерал к фронту не имел никакого касательства. Свою авиацию он использовал иначе. Кицингер посылал самолеты на «непокорные» села. Его летчики расстреливали из пулеметов стариков, женщин и детей.

В штабе Кицингера, как и всюду, спешно готовились к эвакуации. По коридорам сновали солдаты с тюками бумаг. Столы в комнатах были оголены. Какой-то рыжий ефрейтор бросал в печку папки с документами.

Серов явился с намерением убить Кицингера. Но ему не повезло: генерала в Ровно не было. Этот «герой» успел уже удрать на запад на одном из своих самолетов.

Серов не желал уходить «с пустыми руками». Он вошел в кабинет к начальнику штаба Кицингера, подполковнику авиации. Тот, как нагнулся к камину, где жег штабные бумаги, так больше и не встал.

Глава третья

Тем временем Новак, вернувшийся в Ровно, развил лихорадочную деятельность. Он не хотел терять ни одного дня.

Несмотря на повальное бегство, немцев в Ровно было не меньше, а пожалуй, больше прежнего. На смену тем, кто успел бежать, в город прибывало великое множество «эвакуированных» с востока — из городов, освобождаемых Красной Армией. Накануне Нового года появились беглые

офицеры и чиновники из Житомира; этих нетрудно было отличить в толпе на вокзальной площади — багаж у них был весьма скудный: им было не до чемоданов. Вслед за «житомирскими» прибыли «шепетовские», «новоград-волынские». Все они рвались дальше, на запад, но из Ровно не так-то легко было выбраться. И с каждым днем здесь оседало все больше и больше гитлеровцев.

Гостиницы были переполнены; приезжих размещали в коридорах. Столовые, казино, при большом их количестве в Ровно, едва справлялись с потоком посетителей. В эти дни на «Немецкой улице», в первом этаже офицерской гостиницы, открылось новое казино, с надписью у входа «Только для офицеров» и с особой комнатой для генералов и полковников.

Вот это заведение по «Немецкой», 49, в особенности генеральская комната, и привлекло к себе внимание Новака. У него были все основания интересоваться офицерским казино еще и потому, что здесь в числе персонала находилось трое верных людей — члены подпольной организации Галя Гнеденко, Лиза Гельфонд и Ира Соколовская.

План взрыва был прост. Нужно было подвесить мины под обеденные столы — одну в офицерском зале, другую в комнате для генералов.

Мины Новак монтировал в квартире Гали Гнеденко. Он достал две большие жестяные банки и, помимо тола, вложил в них по магнитной мине замедленного действия, по одной противотанковой гранате и по три «лимонки»; все это было обложено гвоздями, гайками, обрезками железа. Для большей уверенности он решил положить в банки по толовой шашке с взрывателями.

В это утро, 5 января, Новак узнал, что накануне фашисты расстреляли его отца.

Девушки ожидали, когда он закончит работу. Они знали о вести, полученной Терентием Федоровичем, и не тревожили его расспросами. В первую шашку Новак поставил взрыватель с расчетом, чтобы она взорвалась в три часа дня — во время, когда офицеры обедают. Он начал ставить взрыватель во вторую шашку, но тут произошла неожиданность: тол стал гореть. Пламя ударило Новаку в лицо. Комната наполнилась дымом.

Кто-то из девушек бросился к окну.

— Не открывай окна! — крикнул Новак. Он опасался, что на улице могут обратить внимание на дым.

— Не открывай! — повторил Новак, оттаскивая в сторону готовую мину.

Кое-как огонь был потушен.

Девушки наскоро забинтовали ожоги, которые получил Терентий Федорович. Затем, обернув банки бумагой, они уложили их в ведра, сверху покрыли тряпками и вышли из дома.

— Пойдем разными улицами,— предложила Галя.— Если одну остановят, другая дойдет. Хоть одна мина сработает.

Это слово «остановят» она произнесла так, словно речь шла о какой-нибудь встрече на улице, о разговоре с кем-нибудь из знакомых, кто может задержать ее лишь на несколько минут. Но Галя Гнеденко знала, на что идет. Фронт проходил в двадцати километрах; город был на осадном положении, на улицах на каждом шагу жандармы проверяли документы.

До войны Галя учительствовала на селе. Она внушала своим юным ученикам высокие понятия о долге, о чести, о морали человека советского общества. В числе тысяч других женщин Галя была вывезена фашистами на принудительные работы. Бежав и найдя дорогу к подпольной патриотической организации, Галя вступила в ее ряды. И вот теперь она, гордясь сознанием своего долга, идет на дело, грозящее ей смертью, идет через весь город с миной в руках мимо сторожащих каждый шаг жандармов.

Отдельно, в сумочке, у Гали лежала граната. Девушка не хотела сдаваться врагу живой.

Гранату имела при себе и Лиза Гельфонд — хрупкая, с бледным лицом, выглядевшая старше своих лет. Лиза была женой офицера Красной Армии. О муже она не знала ничего с первого дня войны, как не знал о ней и муж, если только был он жив. В казино Лиза Гельфонд работала уборщицей. В организацию она вступила еще прошлой весной. Теперь, когда Новак предложил ей опасное задание, она согласилась, даже не поколебавшись при мысли об опасности. Подумала ли она в этот момент о трех малышах, которые оставались у нее дома? Подумала, конечно. И, конечно, в этот момент мелькнула у нее мысль и о том, что она рискует своей жизнью ради счастья своих детей и миллионов чужих, ради того, что свято и дорого для матери.

Девушки не ошиблись, рассчитав, что от квартиры Гали, где Новак монтировал и передал им мины, на путь

до офицерской столовой на «Немецкой улице», занимавший обычно минут двадцать, понадобится сегодня не меньше часа. На углу «Немецкой улицы» девушки,шедшие каждая своей дорогой, неожиданно встретились. Лизу задержал жандармский патруль.Не успела она показать документы, как подвели Галю.

У них проверили документы. Жандармам не могло не броситься в глаза, что у обеих девушек одинакового вида ноша. Неизвестно, чем окончилась бы эта история, если бы лейтенант-эсэсовец, к которому подвели задержанных, не оказался завсегдатаем казино. Он узнал Галю.

— Фрейлейн идет в казино?

— В казино, господин лейтенант! — обрадовалась Галя.— Нас задержали! Мы опаздываем на службу.

— Эта фрейлейн тоже работает в казино? — спросил лейтенант, оглядывая Лизу.

— В казино,— улыбнулась Галя. Она была действительно рада встрече с узнавшим ее лейтенантом, так как это давало надежду, что они благополучно избавятся от жандармов.

Лейтенант их отпустил и даже пообещал, что сегодня он обязательно будет в казино обедать.

— Пожалуйста, господин лейтенант! К трем часам! Мы будем вас ждать.

Неизвестно, пришел ли этот эсэсовец в казино, как обещал, к трем часам. Впрочем, если и не пришел — не беда. И без него там было много народу. Офицеры заполнили зал. В комнате для высших чинов, той самой, что выходила окнами на «Немецкую улицу», появился генерал в сопровождении двух подполковников. Их привез мышиного цвета БМВ, пришедший прямо с линии фронта.

Обед был в разгаре, когда в генеральской комнате раздался оглушительный взрыв. В общем зале поднялась паника. Никто не понимал, что происходит. Голоса тонули в шуме. Не прошло и минуты, как взорвалась мина и здесь. Взрывом разворотило потолок, стены и пол. Гул перерос в общий истерический вопль; затем этот вопль оборвался — наступила тишина.

Паника перекинулась на второй этаж, в гостиницу. Перепуганные гитлеровцы бросились к лестнице, но она была завалена кирпичами, обломками деревянных балок. Гитлеровцы прыгали в окна, вываливаясь на мостовую, давили и калечили друг друга.

Полуразрушенное здание офицерской гостиницы было оцеплено, но едва ли была нужда в этом оцеплении. Улица опустела с невероятной быстротой. Гитлеровцы метались по городу. Прошел слух, что в других казино и прочих местах скопления фашистов последуют взрывы.

Лишь к вечеру паника несколько улеглась. В шесть часов был объявлен приказ гестапо: к семи часам согнать население на площадь перед главным судом.

В городе уже знали, какое зрелище готовят советским людям оккупанты в эти последние часы своего хозяйничания.

Накануне ровенская подпольная организация понесла тяжелые потери. Вслед за арестом Ивана Ивановича Луць, Поцелуева и Маруси Жарской гестапо арестовало Федора Шкурко и Николая Ивановича Самойлова.

Провалы произошли в разное время и носили случайный характер. Организация не пропустила в свои ряды ни одного провокатора, ни одного изменника.

Виталий Поплавский, Люся Милашевская, Раиса Митиченко и другие ранее арестованные члены организации стойко перенесли нечеловеческие пытки, одним лишь бесконечным презрением ответив палачам.

Провалы товарищей были и на этот раз следствием их собственной пагубной неосторожности.

Трудно было примириться с мыслью, что Иван Луць, старый работник подполья, человек большого опыта, прекрасный конспиратор, оказался в когтях гестапо. Конечно, ему надлежало сразу же после ухода с фабрики Новака последовать его примеру, перейти на нелегальное положение, а лучше — уйти в отряд. Луць не сделал этого. После смерти Настки он забыл об осторожности.

Еще более грубую ошибку совершил Федор Шкурко. Гестаповцам стала известна его квартира, но они не знали его самого ни по имени, ни в лицо. Придя в дом, они искали Шкурко по его псевдониму «Белый». По счастливому совпадению рядом жил сосед с такой фамилией. Его и арестовали. Спустя два часа гестаповцы убедились, что перед ними не тот, кого они ищут, отпустили соседа и прибыли вторично. Что стоило Федору Шкурко за эти два часа покинуть квартиру! Он этого не сделал и тем самым погубил себя...

...Несмотря на все старания и угрозы жандармов и полицейских, на площади собралась очень реденькая

толпа. В начале восьмого подъехала крытая машина. Приговоренных вывели и, подталкивая прикладами, погнали к виселицам.

Палачи торопились. Только что стало известно о взятии Красной Армией районного центра Ракитне. Считанные дни оставались оккупантам хозяйничать в городе.

Впереди, прихрамывая, шел Иван Луць. Лицо его было спокойно. Он обвел глазами толпу, кому-то кивнул и продолжал свой путь. Вслед за Луцем шел еще более исхудавший и мертвенно бледный Федор Шкурко. Самойлов поддерживал Марусю Жарскую. Он хромал, и правое плечо его казалось от этого еще выше.

— Товарищи! — закричал Самойлов, продолжая итти.

— Товарищи! — повторил Николай Поцелуев. Лицо его горело. Он задыхался от волнения.— Товарищи! Наши близко!

Его подхватили и поволокли к виселице. Он отбивался руками, ногами, головой. Он плевал в лица палачам, ругался. Уже в петле он крикнул во всю силу легких:

— Прощайте, товарищи! Победа будет за нами!

Очередь была за Луцем.

— Гады! — крикнул своим тонким голосом Луць.— На что рассчитываете? Нас миллионы! Наши идут! Да здравствует Сталин!..

Новаку спазмой сдавило горло. Он и Соловьев пришли на площадь проститься с товарищами. Как хотелось в эту минуту ответить на призыв Луця и броситься его выручать! Новак изо всей силы стиснул руку Соловьева, то ли сдерживая себя, то ли удерживая его.

А в центре площади раздавались возгласы:

— Смерть фашистским палачам!

— Да здравствует Сталин!

— Да здравствует коммунизм!

Кричал Самойлов, кричал Шкурко, кричала Маруся Жарская. Кричали не переставая, не делая пауз, кричали все громче и громче, словно желая, чтобы как можно больше людей слышало их в эти последние минуты.

Горячая слеза скатилась по щеке Новака. Он в последний раз взглянул на виселицу, и ему показалось, что он встретился глазами с Федором Шкурко. Не в силах больше выдержать тяжелого зрелища, Новак пожал руку Соловьеву и ушел.

Накануне, готовя мины для генеральской столовой, Новак получил сильные ожоги, но он старался не обращать внимания на боль. Сегодня он приготовил новую тяжелую мину.

Он принес мину на Хмельную улицу, к фабрике валенок, близко за которой проходила железная дорога. Хотя руки его были обожжены, Новак, засоряя раны землей и превозмогая боль, установил мину и протянул шнур за угол забора, ограждающего двор фабрики валенок. Все обстояло благополучно. Ночь холодная, темная. Вблизи на улицах не слышно никакого движения. Прошло с полчаса, когда ветер донес издали грохот приближающегося поезда. Поезд шел из Здолбунова. В этот момент на полотне у переезда появилась немецкая охрана из трех солдат. Они шли, освещая фонарями рельсы. У Новака замерло сердце. Грохот поезда раздавался совсем близко.

Охранники обнаружили мину и столпились около, не зная, как ее обезвредить. Поезд уже показался. Он шел на большой скорости. Времени на то, чтобы предупредить взрыв, оставались секунды.

— Хальт! — размахивая фонарем, кричали они навстречу поезду.— Хальт!

Напрасно! Машинист то ли не заметил сигнала, то ли не придал ему значения. Поезд не сбавил хода. Когда паровоз налетел на мину, Новак дернул шнур.

Последовал оглушительный взрыв. Дальше Новак видел только, как метнулось пламя, вагоны полезли друг на друга. Треск, грохот крушения, крики людей. Крушение потерпел воинский эшелон.

До утра на железной дороге было приостановлено движение. Грузовики, вызванные с улицы Белой, вывозили трупы фашистских солдат и офицеров.

Глава четвертая

Эвакуация гитлеровской «столицы» с каждым днем принимала все более широкие и одновременно более панические размеры. Приближающийся фронт уже выкурил из Ровно не только фашистскую саранчу, слетевшуюся сюда с целью поживы и грабежа мирного населения, и даже не только частные «фирмы» и «конторы» грабителей, но и ряд правительственных учреждений оккупантов. Готовились к эвакуации многочисленные отделы рейхскомис-

сариата и сам рейхскомиссариат: никому из гитлеровских чиновников не улыбалась перспектива попасть в плен к стремительно наступающей Красной Армии.

Но фронт приближался и к нам, к нашему партизанскому лагерю. Мы решили тоже отступать на запад, так как никому из нас — не только командованию отряда, но и рядовым бойцам — не хотелось преждевременно попасть «в окружение» к своим. Общим желанием всего отряда было: проводить гитлеровцев как можно дальше, хотя бы до западных границ нашей Родины, и нанести им возможно больше потерь.

— Куда же нам «бежать», товарищи? — обратился я к работникам штаба и разведчикам отряда, собранным мною на совещание специально по этому вопросу.

— Только ко Львову, товарищ командир,— не задумываясь, ответил Кузнецов, перед самым совещанием вернувшийся из Ровно.

— Почему вы считаете, что именно ко Львову? — спросил я.

— Да потому, что из Ровно во Львов бегут и все мои «приятели».

Дружный смех не дал Кузнецову досказать его «доводы». Когда смех утих, Николай Иванович продолжал:

— Для меня лично во Львове должно быть много работы. Гитлеровцы, как я уже докладывал командованию, намерены там надолго закрепиться. Многие из них питают надежду повернуть от Львова фронт обратно...

Смех партизан снова прервал его слова. Когда стало тихо, Кузнецов закончил:

— Надо полагать, что, находясь во Львове, можно будет не только добыть интересные сведения, но и кое-кого из гитлеровских заправил к Бисмарку отправить. Возможно, что заглянет во Львов и Кох...

В тот же день мы передали в Москву радиограмму, в которой, изложив наши соображения, просили командование: санкционировать передислокацию отряда к городу Львову. На следующий день был получен ответ: «Разрешаем».

Мы немедленно приступили к подготовке. В Ровно был послан Митя Лисейкин и туда же, в последний раз, поехали Кузнецов и Коля Струтинский. Они должны были передать мои приказы нашим разведчикам и подпольщикам: кому из них следует оставаться в городе до вступления

частей Красной Армии, чтобы, так сказать, передать власть из рук в руки, кому надлежит «эвакуироваться» вместе с оккупантами на запад. Лисейкин, Кузнецов и Струтинский должны были договориться с «эвакуирующимися» товарищами о местах встреч уже там, на западе. Остальные должны были немедленно прибыть в отряд.

Заслышав условный стук, Валя отперла дверь.

— Николай Иванович! Наконец-то! Я уж бог весть что думала. Ну, разве можно столько времени пропадать!

В ее голосе звучал упрек, а глаза светились радостью. Кузнецов не стал объяснять причин своего долгого отсутствия. Они сели друг против друга и смолкли.

— Да чего же я сижу! — встрепенулась Валя. Она порывисто встала, бросилась собирать на стол.— Николай Иванович! — тихо позвала она через минуту. Кузнецов продолжал сидеть в раздумье. Трудно было понять, о чем его мысли, лицо его выражало нето грусть, нето разочарование.

— Почему ты такой печальный? — спросила Валя и подсела к нему.— Не случилось ли чего?

— Случилось,— рассеянно отвечал Кузнецов.— Кох уехал!

— Ну и что же?

— Это я виноват, если ему удастся уйти.

— Да не удастся! — убежденно воскликнула Валя.— Куда он денется! От своей судьбы не уйдет!

— Найдет куда. Ты же знаешь, на что они все надеются в случае поражения. «Мы еще, дескать, понадобимся мистеру Черчиллю».

— Да,— задумчиво протянула Валя.— Мы не должны позволить им удирать. Но что можно было сделать с Кохом, когда он отсюда на «стрекозе» улетел, прямо со двора! Боялся на машине до аэродрома доехать.

— Валя,— вдруг произнес Кузнецов и умолк. Валя насторожилась. — Не могу об этом думать,— продолжал он.— Как подумаю — руки опускаются. Ничего не сделано! — закончил он с досадой и раздражением.

— Ну уж, не сделано! — Валя даже засмеялась, настолько нелепыми показались ей эти слова.— Рисуешься!— заключила она.— Человеку весь отряд завидует, все им гордятся, его отличили, дали орден и какой — Ленина! А он все недоволен... «Не сделано!» Ты так говоришь, будто все уже позади — война кончилась! Ну, садись за стол.

— Конечно, кончилась война для нас с тобой,— ответил Кузнецов, неизвестно чему улыбаясь.— Еще три-четыре недели, и здесь будут наши!

В дверь постучали. Валя открыла, и на пороге появился Николай Струтинский.

— Готов, Николай Иванович? У меня уже все в порядке.

— Куда вы? — воскликнула Валя, с недоумением глядя то на одного, то на другого.

— Разве она не знает? — спросил Струтинский.

— Вот, Валя...— начал Кузнецов.— Я тебе еще ничего не сказал. Мы переходим на новое место. В сторону Львова.

— Всем отрядом?

— Всем отрядом.

— А я и не приготовилась!

Кузнецов и Струтинский переглянулись.

— А тебе не надо готовиться, — тихо и ласково проговорил Кузнецов.— Ты останешься в Ровно.

— Я? В Ровно?

— Эвакуируешься во Львов со своим рейхскомиссариатом.

Валя продолжала смотреть на него широко открытыми глазами.

— Что же я буду делать во Львове?

— То же, что и здесь,— сказал Струтинский.

— Одна?

— Одна... Таков приказ командира,— закончил Кузнецов.

Валя задумалась. Противоречивое чувство охватило ее. Еще три-четыре недели, и для них с Кузнецовым могла наступить новая жизнь, та, о которой они оба мечтали, не решаясь признаться в этом друг другу. И вот им нужно отсрочить наступление этой новой жизни. Впереди — снова подполье, снова борьба, снова — постоянная угроза смерти, снова — ожидание. И вдруг Валя почувствовала, что если бы даже долгожданное счастье наступило для нее сейчас, она была бы не в силах им воспользоваться. Это не было бы для нее счастьем. Это не было бы счастьем и для Кузнецова. Спокойствие и уверенность вернулись к ней в эту минуту.

— Хорошо,— прошептала она, и это слово вырвалось у нее, как вздох облегчения.

— Бояться не будешь? — вдруг спросил Струтинский.

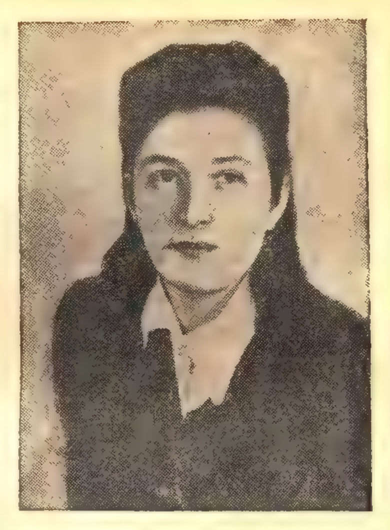
— Буду,— призналась Валя.— Ты тоже боишься... Все мы боимся, а делаем то, что надо... Я о другом думаю, где мы там встретимся?

— А ты запомни адрес,— сказал Кузнецов.— Мицкевича, двенадцать. Записывать не надо. Ты запомни.

— Мицкевича, двенадцать,— повторила Валя.

— Это адрес сестры нашей Марины. У нее и встретимся. Запомнила?

— Мицкевича, двенадцать,— вновь прошептала Валя. Казалось, теперь уже все сказано, но Кузнецов сидел в раздумье, словно он и не собирался уходить. Струтинский поглядывал на часы, но что-то мешало ему нарушить это молчание. Он понимал, что в эту минуту Валя и Кузнецов мысленно прощаются. Он ощутил вдруг чувство неловкости и уже хотел выйти, как Кузнецов встал и начал собираться в дорогу.



Валя Довгер в Ровно

— Коля, можно я поцелую Валюшу? — неожиданно весело спросил Кузнецов. Не ожидая ответа, он порывисто обнял Валю и, не оборачиваясь, пошел к двери.

— Мицкевича, двенадцать,— шептала Валя. Счастливая улыбка освещала ее лицо. Эти два слова звучали, как пароль, как надежда, как обещание чего-то доброго и счастливого, что должно наступить в судьбе двух людей, любивших друг друга и не смевших сегодня связать свои жизни.

В ту же ночь Кузнецов выехал в отряд на машине, позаимствованной у гебитскомиссара города Луцка.

Глава пятая

Времени было в обрез. Я попросил прислать ко мне Крутикова, и пока дневальный его разыскивал, мы с замполитом Стеховым попробовали наметить маршрут по кар-

те. Синий карандаш замполита уверенно дошел до черной цепочки, обозначавшей железную дорогу, на минуту задержался, потом осторожно пересек цепочку и дальше пошел медленно, нетвердо, с остановками, уже не ложась на бумагу, но только слегка ее касаясь и оставляя не линию, а скорее намек на нее.

— Трудно предвидеть,— сказал Стехов,— как все обернется. Надо дать Крутикову примерный план, а там пусть действует по своему усмотрению. Положимся на его находчивость.

— Во всяком случае,— сказал я Стехову, соглашаясь с его доводом,— не позже двадцатого января Крутиков с группой должен быть в районе Львова.

— Это, безусловно...

По нашему предположению, группа Крутикова должна прибыть в район Львова двадцатого, не позже, и уже двадцать первого во Львове должны быть все шестеро наших разведчиков, для сопровождения которых мы и посылаем группу, доверяя ей судьбу отправляющихся во Львов разведчиков и тем самым — судьбу одного из важнейших боевых дел.

Каждый день приносил новые и новые вести о наступлении Красной Армии. Фронт стремительно приближался. Еще неделя-другая, и мы окажемся в «окружении» у своих. Неужели же так мало времени осталось нам бороться в тылу врага! Нет, с этой мыслью никто из нас не хотел мириться. Продолжать борьбу, сопровождать врага, итти с оккупантами на запад!.. Немцы из Ровно бегут во Львов, значит, сейчас наше место в районе Львова!

Но не так-то просто перебазироваться крупному отряду. Для нас это было тем сложнее, что значительная группа наших товарищей еще находилась в Ровно, в Луцке, Здолбунове...

К тому же мы ждали самолетов из Москвы. Нам должны сбросить питание для рации и боеприпасы, которых осталось так мало, что с наличными запасами нечего было и думать о серьезном рейде. Мы все-таки порядком потратились в частых боях и стычках, которые пришлось провести в последнее время.

Чтобы не терять времени в ожидании самолетов, мы и решили: послать во Львов шестерых разведчиков и с ними радиста. Они получили задание: осесть в городе, подготовить несколько надежных конспиративных квартир и,

наконец, заняться активной разведывательной и диверсионной работой.

— Собирайтесь,— сказал я вошедшему Крутикову.— Выйти придется на рассвете. Возьмите карту. Сами понимаете, указанный маршрут не является обязательным. Обязательным является только указанное вам место базирования и срок — двадцатое января.

— Понятно,— сказал Крутиков, принимая карту.

— Вопросы будут?

— А как же весь отряд? Придет к нам туда?

Мы со Стеховым переглянулись. Что можно было ответить! Притти-то мы придем, но когда? И в какое именно место? Что можно сказать, когда не знаешь ни точного маршрута, ни обстановки, в которой придется итти!

— Значит, насовсем? — сказал Крутиков, нето спрашивая, нето делясь собственной догадкой.— Встретимся уже на свободной земле?..

— Не знаю,— сказал Стехов.— Всего не предвидишь... Ваши все знают, что итти придется под видом украинских националистов?

— Да, предупреждены.

— Знают и о том, что надо соответственным образом держаться?

— Так точно.

— Вести себя надо, как и подобает националистам — понахальнее,— продолжал Стехов.— Где нужно — забирайте в деревнях подводы, продовольствие... Но усердствовать особенно не надо: крестьян не обижайте,— предупредил замполит.

— Это ясно, товарищ замполит.

Но Крутикова, как видно, сегодня занимало другое. Его занимало главным образом то, где и как он снова встретится с отрядом, с товарищами. Я смог понять это его чувство только тогда, когда самому пришлось прощаться с боевыми друзьями, когда сразу отчетливо встало перед глазами все, что было вместе пережито, передумано; сколько пройдено вместе дорог, сколько отражено опасностей... Я понял Крутикова, когда тяжесть разлуки с товарищами пришлось пережить самому.

— Я думаю, выбор удачный,— сказал Стехов, когда мы остались одни. Он сказал это так, будто предполагал, что я сомневаюсь в том, справится ли Крутиков с заданием.— Человек он решительный, в случае чего — най-

дется, а главное, он знает порядки бандеровцев, спокойно сойдет у них за «своего хлопца». Как вы считаете, Дмитрий Николаевич?

— Документы нужны ему хорошие.

— Лучше подлинных,— сказал замполит.— Коля Струтинский знает свое дело... Из-за документов у нас не было ни одного провала.

По «документам» отряд Крутикова именовался «специальной группой» украинских националистов, бандеровцев, следующей «на связь к руководству». Стояла дата — 5.1.1944.

С железной дорогой Ровно — Луцк — Ковель соседствуют Цуманские леса. С севера они доходят до полотна дороги. Дальше на юг лесов нет,— здесь простирается открытая степь, лишь местами перемежаемая перелесками. За все время пребывания в лесах Цумани наши разведчики всего два или три раза заходили за железную дорогу. Возвращаясь, они докладывали, что партизан там нет. Наоборот, в селах закрепились так называемые «боивки» украинских националистов. Боивки немногочисленны — по пятнадцать-двадцать человек, вооружены немецким оружием и служат опорой назначенных гитлеровцами старост. Это подтверждали не только разведчики, но и товарищи, которым удалось бежать из этих мест от националистов, — Корень, Шевченко, Наташа Богуславская.

Поэтому мы и решили, что нашим товарищам, во главе с Крутиковым, под видом предателей легче будет пробраться в новые лесные массивы, в район Львова.

— Пойти поговорить с народом,— сказал Стехов.

Я не стал его задерживать, видя, что ему не сидится. Мне тоже не сиделось. Я решил, что изучением карты займусь попозже, ночью, и вышел на воздух. Но одиночество, которое обычно дает отдых после утомительного, проведенного на людях дня, сегодня не успокаивало, а скорее тяготило. Побродив по лагерю и не встретив никого, кроме часовых, я зашел, наконец, в первый же чум, откуда доносились приглушенные голоса. Там пели. Внутри чума было темно, но, войдя, я узнал голос Цесарского, затем отличил голоса Наташи Богуславской и Жени Дроздовой. Всего в чуме было человек семь или восемь. Они пели, пели очень сосредоточенно,— видно было, что для этого, собственно, они и собрались. Хотя наступил уже сорок четвертый год и в Москве знали другие песни, но в чуме пели «Зем-

лянку». В песне говорилось о гармони, о том, что она поет о далекой любви, о счастье, заплутавшем в снегах, и о смерти, притаившейся рядом; пели потому, что это была последняя песня, которую узнали еще на «Большой земле» и увезли с собой в Цуманские леса.

Запевал Цесарский. Он пел с чувством, отдаваясь целиком песне. Я сел рядом с ним и, видимо, помешал. Песня умолкла. Цесарский принялся рассказывать, как он отвозил наших раненых в отряд к Федорову-Черниговскому, как их там принимали и вообще, как федоровцы живут. Посыпались вопросы. Ну и, разумеется, оказалось, в конце концов, что говорят все о делах отряда, о нашей общей работе и особенно о планах на будущее. Всем сидящим здесь уже было известно, что Женя Дроздова, ее муж Василий и Наташа Богуславская включены в группу к лейтенанту Крутикову, хотя никто и не знал, куда и зачем отправляется эта группа. Но куда бы ни отправлялась, в отряде привыкли с завистью смотреть на тех, кто уходил по заданию. И вот теперь Николай Струтинский, сам только что вернувшийся из Ровно, прямо-таки напрашивался, чтобы я послал с Крутиковым и его.

— Неужели,— говорил он,— я меньше сделаю, чем некоторые?

— Никто не говорит об этом,— вспыхнула Женя Дроздова. Видимо, она приняла замечание Николая на свой счет.

Более спокойная Наташа сказала примирительно:

— Иной раз девушка больше сделает, а если у кого опыта пока нет, так ведь и Кузнецов не с первого дня научился...

— Ты себя, Наташа, с Кузнецовым не равняй,— заметил Николай, нето из желания продолжать спор, нето обидевшись за Кузнецова, цену которому он-то хорошо знал.

— А ты что думаешь,— вступилась снова Дроздова,— Наташа не сделает? Да она рвется как, ты посмотри!

— И правда,— подтвердила сама Наташа.— Мне много успеть надо! Скоро уже конец, а я...

Это стремление «побольше успеть» радовало нас в Наташе Богуславской. Радовал и самый спор, подоплекой которого было желание каждого получить наиболее опасную и ответственную работу. «Ничего,— подумал я.— Все вы, товарищи, еще очень пригодитесь, имейте терпение».

Что касается Наташи Богуславской и Жени Дроздовой, то они нужны были уже сейчас. Мы с Лукиным представляли себе дело следующим образом: шестерка разведчиков и радист Бурлак действуют во Львове, отряд Крутикова, расположенный недалеко от города, служит им базой, Женя же с Наташей будут работать связными. Разведчики разбиты на пары, каждая из этих пар действует обособленно, ничего не зная о других. Адрес Бурлака будет знать одна Женя, и связываться с радистом можно будет только через нее. Через нее же можно будет, если это понадобится, встретиться всем шестерым для совместных действий.

Понятно, при подборе людей мы учли то, что и разведчики, и Бурлак, и Женя Дроздова хорошо знали Львов. Когда-то они все там жили или, по крайней мере, бывали в этом городе, а Степан Пастухов, тот знал даже подземное хозяйство Львова — до войны он работал там инженером коммунального хозяйства.

Не знала города только Наташа Богуславская. Но у нее были другие преимущества: она знала порядки украинских националистов, у которых ей, против ее воли, пришлось побывать и от которых она, рискуя жизнью, бежала к нам. Эта скромная девушка зарекомендовала себя в отряде с самой лучшей стороны. Поражали рвение и тщательность, с которым выполнялись те задания, какие поручались Наташе. Кто-то сказал, что нет ролей больших и малых, есть большие и маленькие артисты. Вот Наташа и была прекрасным исполнителем своей маленькой роли. Она как-то умела улавливать большой смысл в самой незначительной работе, находя ее связь с чем-то другим и третьим, с тем, что было сделано вчера и будет сделано завтра, отчетливо представляя себе во всей значимости совокупность всех этих маленьких дел. Вообще Наташа по праву слыла среди партизан умным и развитым человеком, а ее прошлое секретаря райкома комсомола еще выше поднимало ее в глазах товарищей.

Я знал, что Наташа тяжело переживает известное недоверие к ней с нашей стороны, неизбежное на первых порах после ее бегства от бандеровцев. Знал также и то, что, отлично исполняя маленькие роли, Наташа не могла не мечтать о больших. И вот ей вручалась большая, серьезная роль — связной между Крутиковым и Дроздовой, иначе говоря, между разведчиками и их тылом. Опасный

путь из города и в город, неожиданности, которые могли здесь встретиться на каждом шагу, постоянная угроза провала, ответственность за общее дело — вот что предстояло отныне Наташе Богуславской. Я не мог не испытывать удовлетворения, когда услыхал ее слова о том, сколько ей еще надо успеть. Это было хорошее, честное, благородное желание, и, слушая ее, казалось, что доверие, которое ей оказано, она оправдает.

Попросив Наташу и Женю Дроздову покинуть товарищей и побродить немного со мной, я поделился с ними своими соображениями о наступлении Красной Армии, постарался нарисовать им общую картину нашей работы в условиях отступления гитлеровцев, рассказал все, что знал сам, о положении во Львове. Конкретных вопросов мы не касались, я только рассказал девушкам об одной образцовой конспиративной квартире в Ровно — квартире Вали Довгер. О Вале Довгер Женя уже слышала в отряде.

— Ну, значит, завтра? — спросила Женя, прощаясь.

— Завтра.

— И, значит, встретимся уже во Львове?

— Да.

— Ох,— спохватилась она вдруг,— мне же еще постирать нужно. Всего, товарищ командир! Пошли, Наталка!..

...В радиовзводе снова не оказалось никаких сведений о самолетах. Марина Ких, которую я за сегодняшний день навещал уже раз десять и все по этому поводу, не дожидаясь вопроса, только развела руками. Что могло случиться? Погода нелетная? Конечно же, все дело в погоде!

Я предвидел, что, узнав о посылке группы Крутикова, Марина начнет просить, чтобы отправили и ее, как это она обычно делала. Оказывается, до меня к ней заходил Стехов, просил написать письма во Львов, где у нашей радистки жили сестра и другие знакомые. Видимо, отчаявшись уговорить непреклонного замполита, Марина принялась за меня.

— Письма я, конечно, напишу,— сказала она.— Сестра там и приютить сможет, и помочь, и все... Но только вы скажите, товарищ командир... Во Львове я выросла, город знаю лучше других, кому же, как не мне, итти? Кто больше пригодится на такой работе — местный человек или чужой? Скажите прямо — кто? — настаивала она, не сомневаясь, что я скажу «местный», и она поведет наступле-

ние дальше, то-есть станет доказывать, что здесь в отряде есть кому ее заменить.

— Смотря какой местный,— ответил я.— И уж, конечно, не тот, которого слишком хорошо там знают.

Довод был веский, но его, как видно, приводил и Стехов, потому что у Марины уже был готов ответ. Она сказала, что изменит прическу, что жить будет не у сестры, что ни разу к сестре и не зайдет, что вообще никому в голову не придет искать ее сейчас во Львове... Все это звучало по-своему убедительно, но посылать Марину во Львов, рисковать ее жизнью я не мог.

Я предупредил ее, что письма нужны к утру, а сам пошел к Стехову. Вместе с начальником разведки тот сидел в штабном чуме, где, кроме них, находилось еще семь человек: шестеро разведчиков и радист Бурлак. Лукин их инструктировал или, вернее сказать, предупреждал о бесполезности всяких инструкций. Задача была одна: нанести врагу наибольший урон, а в остальном все зависело от инициативы каждого или, точнее, от его дерзости. Разведчики молча слушали и вопросов не задавали. Под конец только Пастухов спросил, будет ли действовать во Львове кто-нибудь помимо них. Александр Александрович сухо ответил, что это вполне возможно.

— Я к чему,— объяснил Пастухов, как бы извиняясь за неуместный вопрос,— если надо будет организовать что-нибудь покрупнее, тут, может, всем вместе, понимаете...

Он не договорил, поняв, что вопрос опять-таки упирается в то, что заранее не предвидишь.

— Кстати, товарищи, не нужно делать никаких попыток связаться с местным подпольем! — предупредил Стехов, прощаясь с разведчиками.— Соблюдайте максимум конспирации. И вообще берегите себя,— добавил он, пожимая всем руки...

Остаток ночи мы провели за картой. Все-таки удалось наметить для Крутикова маршрут, хотя и весьма приблизительный.

Утром Крутиков выстроил группу, отвел в сторону от лагеря и там прочел перед строем:

— Маршрут: Ровно — Дубно — Почаев — Броды — Злочев — Перемышляны — Гановический лес. На сборы дается час,— добавил он и, считая, что сказал все, разрешил разойтись.

Сборы были недолгие, а вот прощание... Прощались

со всеми, с каждым в отдельности и не раз. Возвращались, что-то еще досказывали и дослушивали и снова обнимали друг друга, а потом заглядывали в чумы, но в чумах никого, конечно, не оказывалось — все население лагеря высыпало провожать отряд и тоже участвовало, словами ли, делом ли, в его отправке.

Когда группа снова построилась, мы с замполитом сказали напутственные слова, Крутиков ответил: «До встречи на свободной земле!» и скомандовал: «Шагом марш!» Отряд тронулся в путь. Впереди шла группа наших разведчиков, которым было дано задание сопровождать отряд до железной дороги, помочь перейти полотно и вернуться обратно. Разведчики сразу же ушли вперед, ускорив шаг. Я стоял вместе со всеми и тоже следил глазами за уходившими, пока их фигуры были еще различимы между деревьями. Я стоял и думал о великом родстве, каким спаяло нас всех общее дело.

Глава шестая

До железной дороги оставалось примерно около километра, когда вернувшиеся разведчики остановили отряд Крутикова. Полотно охранялось парными дозорами немцев. Перейти и не вызвать шума, как это было приказано Крутикову, оказывалось делом трудным. Крутиков решил дождаться темноты. Едва начало смеркаться, он двинулся дальше, прошел с отрядом метров триста, уже остановился было, но не выдержал и приблизился к железнодорожному полотну еще на сто метров, затем еще на пятьдесят... Силуэты солдат, проходящих взад и вперед по насыпи, были ясно различимы на фоне снега.

— Снять часовых и — рывком вперед! — предложил кто-то, когда фигуры немцев показались в очередной раз.

— Нет,— коротко сказал Крутиков. Он уже решил про себя, что подождет еще полчаса, как раз до половины седьмого, а там — если ничего не изменится — пойдет напролом, будь что будет.

Однако не прошло и двадцати минут, как появилась новая, никем из них не предвиденная возможность.

— Поезд! — прислушиваясь к доносившемуся издали гулу, сказал Пастухов и вскочил на ноги. Своим движением он как бы подсказывал нужное решение. Все невольно поднялись. Шум поезда был теперь явственно слышен.



Борис Крутиков

Медлить было невозможно.— Вперед! — скомандовал Крутиков и, быстро простившись с провожавшими их разведчиками, группа тронулась с места. Теперь шаги людей скрадывал грохот поезда. Оставалось пропустить поезд и сразу же, пользуясь шумом, пересечь насыпь. Все это было проделано успешно. Группа оказалась на опушке леса, за линией железной дороги.

Впереди лежало небольшое, вытянувшееся вдоль дороги село, а за ним — чистое снежное поле.

Борис Крутиков никогда не был военным человеком. До войны он работал где-то на Полтавщине. В свое время он прошел действительную службу в Красной Армии и был призван вновь, когда началась война. Как это часто бывает со штатскими людьми, лейтенант Крутиков с особым рвением относился к службе, был ею целиком поглощен и требовал того же от подчиненных, к которым, как и к себе, был придирчив, ничего не прощая и не зная снисхождения.

Нынешним заданием Крутиков был особенно увлечен; эта опасная игра пришлась ему по душе. Казалось, он стал теперь еще строже и собранней, больше молчал и не располагал ни к каким разговорам, кроме деловых. Изредка, во время привала, он вмешивался в беседу, но и тут неизменно переводил разговор на то, что более всего его занимало, и заканчивал свою речь очередным внушением по поводу кем-то оброненного русского слова (разговаривать в группе разрешалось только по-украински) или же «репетицией». Репетиция заключалась в выкрикивании бандеровских приветствий и песен. Лейтенант, как истый режиссер, тщательно следил при этом за каждым из исполнителей.

Партизаны, очевидно, хорошо усвоили свою роль, потому что в первом же селе «боивка» бандеровцев их накор-

мила, во втором им удалось достать лошадей с ездовыми и заодно узнать пароль, а дальше они уже продолжали путь на санях. На рассвете 7 января они были в Дубенском районе.

И везде на своем пути они видели, с какой откровенной ненавистью относятся к ним, одетым в форму бандеровцев, крестьяне.

— Как мне это знакомо! — сказала как-то Наташа, обращаясь к Жене.— Хочется сбросить с себя эту личину и громко сказать людям: да мы же свои, партизаны...

— Отставить разговоры! — прикрикнул на них Крутиков.

Примерно в трех километрах от шоссейной дороги Дубно — Луцк Крутиков, ехавший на передних санях вместе со своими «адъютантами» Корнем и Шевченко, приказал остановить лошадей и сделать привал. Надо было решить, как быть дальше. На шоссе полно немецких машин.

— К лесу,— предложил Шевченко.— Непременно к лесу. Вон там домишко — постучимся. А чуть что — так и лес рядом.

— Погреться? — проворчал Крутиков. Видно было, что ему досмерти не хочется сворачивать куда бы то ни было в сторону от намеченного пути.

Но он поглядел на Корня, оттирающего варежкой нос, на Дроздовых, принявшихся плясать, чтобы отогреть ноги, на Наташу, которая сначала тоже пританцовывала, а теперь стояла не двигаясь, одолеваемая усталостью. Крутиков повернулся к Шевченко:

— Ну, будь по-твоему. К дому!

Испуганная женщина долго стояла на пороге, оглядывая их и не решаясь впустить. Наконец, она отступила, бросилась в заднюю комнату, вышла оттуда с мужем, оба молча смотрели на входивших в хату незнакомых людей, на то, как они отряхивали на пороге одежду и снимали шапки с кокардами в виде трезубов, как сбрасывали полушубки и рюкзаки, как рассаживались одни на табуретках, другие прямо на полу... «Будьте ласковы, заходите до хаты»,— пробормотал хозяин свое запоздалое приглашение и, не глядя на незваных гостей, ушел к себе. Хозяйка последовала за ним.

Валентин Шевченко хорошо знал Дубенский район. Они с Крутиковым легко наметили дорогу до бывшей австрорусской границы. Здесь кончалась Волынь и начиналась

Галиция. Дальнейший путь мог указать Василий Дроздов. Где-то в восьмидесяти километрах от границы лежала деревушка, в которой они с Женей жили до своего ухода к партизанам. Крутиков подозвал Дроздова, и они долго сидели втроем, склонившись над картой.

Их отвлек часовой, доложивший, что к дому идут двое вооруженных людей, по всем признакам — бандеровцы.

— Пойду, погляжу,— быстро решил Шевченко.

Через минуту он вернулся. Все настороженно ждали его слов.

Эти двое заявили, что «районовый эс-бэ» (службы безопасности) Дубенского района Калина находится в соседнем доме и желает видеть нашего командира.

— Надо итти,— сказал Крутиков, вставая из-за стола.— Ничего не поделаешь: начальство... В конце концов, документы у нас в порядке.

— Постой! — остановил его Корень.— Мы сами начальство, нехай они к нам приходят.

Крутиков согласился.

— Приготовить оружие! — приказал он.

Вскоре снова вбежал часовой. На сей раз к дому приближалась группа вооруженных бандитов.

— Вот видишь! — сказал Шевченко.— Гора не идет к Магомету, так Магомет идет до той горы. Ну-ка, Микола,— обратился он к Корню,— пойдем, примем гостей.

Они оба вышли и спустя короткое время передали через часового, что среди «гостей» находится и «сам» Калина.

Крутиков тем временем совещался с Бурлаком и Пастуховым. Каждый из них предлагал свой план встречи. Договорились, что Крутиков беседует с «районовым» в первой комнате, все остальные переходят во вторую, к хозяевам. Шевченко и Корень остаются снаружи, получив «подкрепление» из двух человек... Там, на хозяйской половине, сразу три окна и все три выходят в разные стороны, к тому же и дом стоит на бугорке — место, значит, для наблюдения удобное. Убедившись, что все готово к приему, Крутиков крикнул Дроздову, выходившему для «подкрепления» наружной охраны:

— Проси!..

Это было знаком и для соседней комнаты. Здесь сейчас же запели самую отвратительную из бандеровских песен. Крутиков кинулся к двери, куда уже входил «районовый

эс-бэ», стал «смирно», вытянул руку вперед и рявкнул бандеровское приветствие.

Калина оказался щуплым человечком, лицо его было напудрено, волосы завиты, на ногтях блестел лак. Крутиков ухитрился избежать рукопожатия, взял под козырек и, изо всех сил стараясь быть вежливым, спросил, чем он может быть полезен. «Районовый эс-бэ» предложил выйти за клуню для разговора. Крутиков взял с собой Корня, и они вышли. Калину сопровождал один из его «свиты» — типичный уголовник, по кличке «Цыган».

За клуней Крутикову было предложено предъявить документы и доложить о целях и пути следования отряда. «Районовый эс-бэ» долго вертел в руках бумажку, а Крутиков тем временем отвечал на вопросы о «целях».

— Почему едете без связных? — спросил Калина.— Почему не по линии связи?

— А зачем? — искренно удивился Крутиков.— Дорогу я знаю, пароль у меня есть...

— Да?! — недоверчиво пробормотал «районовый эс-бэ», и Крутиков, бросив взгляд на его пальцы с ярким маникюром на ногтях, все еще державшие «удостоверение», почувствовал неодолимое желание тут же, на месте, застрелить это двуногое, вызывавшее в нем омерзение.

— Вы абсолютно правы,— ни с того ни с сего вмешался Корень.— Без связного далеко не уедешь. Дайте нам связного, а?

Калина поднял на него глаза и... согласился.

Тогда Крутикову пришло в голову потребовать заодно и сани — пять пароконных повозок. «Районовый эс-бэ» согласился и на это. Независимый тон, каким с ним говорили, то, что его заставили ждать у дверей дома, а может быть и презрение, сквозившее в каждом слове и жесте Крутикова и Корня,— все это подействовало гипнотически. Он решил, что разговаривает с каким-то «начальством».

— Вот видишь,— говорил Крутикову Корень,— вышло по-моему! Здесь, у них, так: где нахальство, там и начальство.

И когда оказалось, что сани во-время не поданы, Крутиков и Корень решили взять их силой. Это им удалось довольно легко.

С помощью двух бандеровцев, выделенных Калиной для связи и, конечно, для наблюдения, погрузившись на сани, группа благополучно перевалила шоссе и оказалась на бе-

регу реки. Предстояла переправа. Но тут случилось неожиданное. Один из связных, тот самый Цыган, изрядно выпивший перед дорогой, но успевший уже отрезветь, узнал вдруг Наташу Богуславскую.

Он долго и откровенно присматривался к ней, затем подошел, взял ее за плечо и сказал:

— А я тебя знаю, красотка!

— Как же,— насмешливо отвечала Наташа, отстраняясь.— Сватов ко мне присылал.

— Сватов! — зло повторил Цыган.— Ты уж просватана.— И он обвел рукой вокруг ее шеи, показывая петлю.

Дело принимало серьезный оборот. Василий Дроздов, присутствовавший при разговоре, бросился за Крутиковым.

— Эту дивчину,— произнес Цыган, обращаясь к Крутикову,— разыскивает «эс-бэ».

— Ее? — спросил Крутиков недоверчиво.— Ты вот что, Цыган, ты давай-ка лучше лодку ищи.

— Лодку найдем! — входя в раж, грозно заявил Цыган, удерживая Наташу.— Я знаю эту невесту. Пусть она скажет, кто оружие к партизанам увез? Что? Не помнишь такого случая? Так мы напомним... А ты чего? — крикнул он на Крутикова, схватившего его за руку.— Большевичку укрываешь? — последовала отборная ругань.

— Доедем — разберемся, кто она такая,— миролюбиво сказал Крутиков.— А сейчас или ищи лодку или...— Крутиков нарочно помедлил,— или придется тебе окунуться в воду, а плавать ты не умеешь. Понял?

Цыган переглянулся со своим напарником. Их было двое, а в группе — двадцать один человек.

Сопровождаемый Дроздовым и Приступой Цыган отправился на поиски лодки.

Больше он ни слова не проронил о Наташе.

Он помог найти лодку, переправился вместе со всеми, но в группе подозревали, что он успел сообщить о своей догадке ездовым, отправившимся на санях обратно. Следовало торопиться. В ближайшем хуторе Крутиков снова достал лошадей и сани и, не задерживаясь, отряд помчался дальше. Во время стоянки Цыган и его напарник исчезли. Разыскивать их было некогда, да и бесполезно.

На следующую ночь группа перешла границу Галиции. Дорога лежала на Боратын — родную деревню Дроздовых.

Это был трудный путь. Шли по колено в снегу. Каждый шаг стоил больших усилий. А тут еще разыгралась пурга; итти стало еще тяжелее.

— Ничего,— успокаивала Женя, по мере приближения к родной деревне спешившая больше всех и забывшая про усталость.— Это хорошо, что пурга следы заметает.

Показалась деревенька.

— Это не наша,— сказала Женя,— наша дальше.

Видя, что все выбились из сил, Крутиков решил сделать остановку. Он облюбовал для этой цели крайнюю хату, в окне которой мерцал слабый свет. Не успели они приблизиться, как из хаты выбежала женщина, вероятно, хозяйка и, завидя незнакомых с трезубами, подняла крик. Со всех сторон начали сбегаться крестьяне, вооруженные вилами, топорами и кольями. Деревня, в которую, видимо, нередко наведывались бандиты, на этот раз приготовилась к отпору. «Раскрыться? — мелькнуло у Крутикова.— Нет, нет,— сразу же решил он,— чем чорт не шутит...»

Превозмогая усталость, отряд бросился в сторону.

Поблизости от Боратына, по словам Дроздовых, должен находиться домик лесничего, поляка, которого звали пан Владек. Место для остановки, казалось, подходящее.

— Этот пан Владек верный человек? — несколько раз осведомлялся Крутиков у Дроздовых.

— Человек хороший,— отвечала Женя, и Дроздов поддерживал ее оценку.— Ему можно поверить. Знаем его хорошо. Да о нем весь народ хорошо отзывается. Он у нас лет десять лесничим.

Пан Владек — круглый, румяный, неопределенного возраста человек — принял партизан очень радушно. В Дроздовых он узнал своих старых знакомых.

— Так, партизаны, выходит, — говорил он немного удивленно и как бы не веря тому, что видит. Он суетился, усаживая пришедших гостей; велел затопить печь, чтобы лучше обогреть хату.— А я открываю дверь и думаю, что еще за хлопцы пришли до меня ночью! Пустил — и тревожусь, а тут, можно сказать, пришла ко мне советская власть!..

Он открыл стоявший в углу сундук, выбросив из него все содержимое: несколько пар белья, кипу старых польских журналов и откуда-то с самого дна извлек сложенную вчетверо вырезку из газеты — снимок Сталина на трибуне.

— Пан Владек,— сказал Крутиков,— мы будем просить вас помочь нам выбрать более безопасную дорогу.

— Не надо говорить «пан Владек»,— поправил его лесничий. Лучше сказать «товарищ Владек». Дорогу я вам укажу. Я всю округу на пятьдесят километров знаю. Если у вас, товарищ командир, есть карта, я покажу на карте, как вам надо итти. Вам надо итти на Гуту Пеняцкую. Немцев там нет. Вот она — Гута, недалеко,— Владек взял карандаш и начертил им кружок на карте, раскинутой на столе.— Это не деревня, а крепость. Вокруг нее крестьяне поставили свои посты с пулеметами. Почти у каждого есть винтовка, гранаты. Женщины, и те владеют оружием. Только вы там эти... ваши... снимите,— он показал на трезубец на шапке Крутикова, которую тот забыл снять.

— Кокард, товарищ Владек, мы снимать не будем,— подумав, не согласился Крутиков с советом лесничего.— Мы сделаем иначе. Мы попросим вас сходить в Гуту... хорошо бы сейчас же, ночью, и предупредить там о нашем приходе. Мы будем там завтра. Сейчас половина третьего,— Крутиков взглянул на часы.— До рассвета мы успеем отдохнуть, а с рассветом выйдем. Вы нам окажете большую услугу.

— Хорошо,— согласился Владек. Было по всему видно, что он рад оказать услугу партизанам. Он быстро оделся, снял со стены охотничье ружье и, сказав партизанам, что они могут располагаться у него в хате, как дома, ушел.

Еще раньше Крутиков отпустил Василия Дроздова в Боратын. Тот вернулся задолго до рассвета. Он разведал обстановку, достал хлеба, табак. Побывав у тестя — отца Жени,— он узнал, что их — Василия и Женю — после их исчезновения из деревни долго разыскивали фашисты: старика таскали в гестапо, били, но он упорствовал, твердил, что ничего не знает.

Дроздов был возбужден свиданием с родными. Он говорил громче обычного, расхаживал взад и вперед по комнате; его волнение передалось Жене, которой очень хотелось увидеться с родными. Они оба начали упрашивать Крутикова сейчас же, не дожидаясь возвращения Владека из Гуты, итти в Боратын.

— Бандеровцев там нет,— говорил Василий.— Там мы сможем достать лошадей.

Женя, поддерживая мужа, говорила, что в Боратыне они легко обо всем договорятся. Крутиков, хотя и опа-

сался, что с появлением группы в Боратыне крестьяне могут узнать их, как партизан, все же согласился. У него нехватило силы отказать Жене в свидании с родными, тем более, что в Боратыне у нее остался ребенок. Соблазнила его также возможность достать лошадей.

В Боратыне, выдавая себя все также за бандеровцев, они потребовали лошадей.

Дроздовым Крутиков разрешил зайти домой.

Им открыл отец. Женя бросилась к спящему ребенку, припала к постели, не решаясь обнять, чтобы не разбудить, и расплакалась. Василий молча взял ее за плечи, отвел в сторону, усадил. Подошла мать и со слезами стала просить Женю, чтобы та осталась дома. Так как дочь молчала, мать стала о том же просить Василия и Крутикова, который зашел сюда в ожидании, пока закладывают лошадей.

— Ни, мамо,— тихо сказала Женя.— Ни. Как я могу...

Старик, молча до того наблюдавший эту сцену, вдруг выступил вперед и строго сказал:

— Нехай дочка идэ, куда совисть наказуе, за своим чоловиком.

Решив таким образом вопрос о дочери, он предложил гостям выпить на дорогу по чарке горилки.

Через несколько минут Крутикову доложили, что сани готовы.

В Гуте, действительно, были начеку. Партизаны заметили это сразу. Лошадей с ездовым отослали. Надеясь, что Владек успел предупредить гутовцев, Крутиков сказал партизанам, чтобы те подождали, а сам пошел в село. У околицы собралось человек сорок крестьян; большинство было без оружия, но кое-кто из них имел в руках винтовки.

Навстречу выступил высокий крестьянин. Он подозрительно поглядел на трезубы, красовавшиеся на шапках гостей.

— Кто вы? — спросил он, подождав, когда Крутиков в сопровождении бойца Клепушевского вышел вперед.

— Советские партизаны,— ответил Крутиков, глядя ему в глаза.

— Откуда идете?

— Из Цуманских лесов.

Сутулый, судя по повелительному тону, каким он говорил, видимо, начальник крестьянского отряда самообороны, недоверчиво шевельнул густыми бровями.

— Куда?

— На запад, — прямо и просто сказал Крутиков.

— На западе нет Красной Армии,— резко сказал сутулый.— Говорите, что вы советские партизаны, а почему на шапках у вас трезубы?

— Нельзя ли зайти куда-либо в дом? — не отвечая на вопрос, сказал Крутиков.— Там легче будет говорить. И добавил, улыбаясь:

— Мы слышали о вас.

— От кого?

— О вас говорил пан Владек, лесничий...

На строгом лице сутулого командира блеснуло что-то похожее на улыбку. Он более доверчиво посмотрел на Крутикова, но сказал попрежнему сухо и коротко:

— Идите за мной!

Сопровождаемые крестьянами, партизаны пошли в село. Их отвели в пустующее помещение школы. Здесь сутулый, оказавшийся на самом деле руководителем сельской обороны, сказав, что его зовут Казимир Войчеховский, продолжал свои расспросы. Его интересовали сообщения с фронтов, положение в стране, а также сведения о польской армии в Советском Союзе, причем во всех этих вопросах он оказался более осведомленным, чем Крутиков. Позже выяснилось, что у него был радиоприемник. Крутиков догадался, что Войчеховский продолжает «прощупывать» гостей, все еще не веря, что имеет дело с советскими партизанами.

К Клепушевскому подошел молодой крестьянин и спросил, не учился ли тот во львовской гимназии. Клепушевский повернулся и ахнул: он узнал товарища по гимназии. Хотя учились они в разных классах, так как Клепушевский был старше, но знали друг друга. Среди вновь пришедших в школу крестьян нашлись двое, которые узнали в Дроздове товарища, работавшего одно время вместе с ними в Бродах. Недоверие рассеивалось.

В школу собирались крестьяне. Появились женщины. Приносили хлеб и другие продукты. Женщины принялись готовить обед. Крутиков сидел около топившейся печи и беседовал с Войчеховским. Женю Дроздову и Наташу окружили женщины. Слушали рассказы о жизни партизан, о том, как фашисты бегут из Ровно, о наступлении Советской Армии.

Степан Пастухов затеял возню с набравшимися в школу

ребятишками. Степан любил детей, и игра с ними доставляла ему истинное удовольствие. Крестьяне осаждали Крутикова просьбами отпустить к ним партизан в гости. «Хоть на полчаса, пускай хоть он у меня хату посмотрит...»

После постоянной настороженности, в какой люди были в пути, после противных «приветствий», ненавистных песен и всей той напряженной игры в бандеровцев, которую скрепя сердце вели партизаны,— какое облегчение чувствовать себя снова самим собой, жить не таясь, говорить то, что думаешь, зная, что собеседник твой тебя не предаст.

И когда звонкий голос Наташи начал песню, хор голосов отозвался и подхватил ее так дружно, словно люди, собравшиеся здесь, давно живут вместе и поют, отдавая песне всю душу.

То была песня, сложенная крестьянскими девушками, увозимыми на чужбину, в Германию.

Сейчас эта печальная песня забылась, как забываются многие песни. Был и ответ на нее, сочиненный одним из наших партизан. Ответ этот тоже пели тогда в Гуте-Пеняцкой. Смысл ответа тот, что на голос девушки идет ее возлюбленный, находит ее и освобождает. Конец получался, таким образом, оптимистический. С другим концом, печальным, невозможно было примириться.

Подпевая хору, Крутиков следил за лицами крестьян. Он радовался, что советская песня так волнует и трогает людей, которым годами прививали ненависть ко всему советскому. «Нет,— думал он,— какая к чорту вражда, все это придумано нашими врагами...»

И вместе со всеми подтягивал слова:

Ты не турбуйсь, коханая,
Я йду вже на підмогу,
Тебе з ганебної тюрми
Я поверну до дому...

Глава седьмая

На рассвете 10 января ко мне в чум вбежал Николай Иванович Кузнецов, накануне приехавший из Ровно.

— Артиллерия! — крикнул он.— Наши! Наши!

Набросив на плечи шинель, я устремился за ним. Артиллерийские залпы были четко слышны в тишине леса. Люди высыпали из землянок. Все взволнованно слушали

этот то нарастающий, то утихающий гул. Красная Армия шла по пятам бегущих фашистов. Не сегодня-завтра мы могли попасть в «окружение» к своим.

Ко мне уже подходил запыхавшийся Лукин.

— Как бы не опоздать,— сказал он, тяжело дыша.

Мы зашли в чум и, подождав замполита, передали через связных приказ о немедленном выступлении.

С нами были теперь и ровенские товарищи — группа человек в пятнадцать во главе с Новаком. Соловьев и Кутковец продолжали оставаться в Гоще. Новак привел лишь тех, кому непосредственно угрожала гибель, в том числе и трех девушек, организовавших взрыв казино,— Галю Гнеденко, Лизу Гельфонд и Иру Соколовскую.

Сам Терентий Федорович явился забинтованный; виднелись одни глаза. Жена встретила его испуганным криком. На руках у нее был двухмесячный ребенок, сын, которого Новак увидел чуть ли не впервые.

— Ничего,— отвечал он, сверкая глазами и протягивая жене толстые от бинтов, несгибающиеся руки.— Ничего. До свадьбы заживет. Показывай героя.

Одна из женщин, пришедших с Новаком, худенькая, с усталым, бескровным лицом, обратилась ко мне:

— Товарищ командир! Что же будет с моими детьми?

Губы ее задрожали. Глаза затуманились слезами. Это была Лиза Гельфонд.

— Их у меня трое. Я их оставила у соседки. Теперь ничего о них не знаю. Что же будет?!

— Мы постараемся их найти,— сказал я.— Дадим радиограмму.

— Куда радиограмму?

— В Москву. Мы попросим, чтобы наши, как только они займут город, разыскали ваших ребятишек и позаботились о них.

— Да?!.— Лиза посмотрела на меня недоверчиво.— А можно это?.. Если можно, то пусть сделают, я дам адрес... Боже мой, только бы знать, что они живы... А как вы думаете, скоро наши туда придут?.. — И сама же ответила: — Теперь-то уж скоро...

К вечеру 10 января мы достигли железной дороги Ровно — Луцк.

Нам предстояла та же задача, что и Крутикову, с той только разницей, что их было двадцать один человек, нас — около тысячи четырехсот. Но дело даже не в этом.

С нашим обозом мы могли перейти железнодорожный путь только через переезды, а не через кюветы и насыпь дороги, по которой часто курсировали вражеские бронепоезда.

Итак, мы вынуждены искать переездов. Первый, который мы нашли, был завален камнями, землей, деревьями. Это постаралась фельджандармерия. Идем дальше. Та же картина: завал на переезде и подступы к нему заминированы. Наконец, разведка донесла: есть свободный переезд, но перейти дорогу будет трудно.

— В чем же дело?

— А в том, товарищ командир, что охрана большая.

Вместе с разведчиками я поехал туда посмотреть, что за охрана.

Сани, как назло, ползут медленно, натыкаясь в темноте на кочки и коряги.

— Здесь, товарищ командир.

Оставили сани, прошли немного вперед.

— Здесь бункера, тут кишмя кишат фрицы.

Двое разведчиков пробрались почти к самой дороге. Скоро они вернулись и сообщили:

— У немцев тут пушки, пулеметы. Видно, как дула торчат из амбразур.

Когда мы вернулись к отряду, там уже зажгли костры.

— Утро вечера мудренее,— как бы подтверждая то, что сейчас мы ничего не решим, сказал Стехов,— подождем.

Наступило утро 13 января. С первыми лучами солнца с востока вновь донеслась канонада.

...Мы бродили несколько суток всем отрядом вдоль линии железной дороги. Много раз разведчики пытались скрытно подобраться к бункерам и забросать их гранатами, но всякий раз гитлеровцы встречали партизан шквальным огнем своих пулеметов.

Все серьезнее нам угрожало «окружение» своих.

Стехов, Лукин и я сидели у небольшого костра и обсуждали положение, ища выхода.

Вдруг позади себя я услышал:

— Товарищ командир! Разрешите мне с группой партизан пойти прямо на переезд и там ликвидировать охрану.

Я оглянулся и увидел стоящего в положении «смирно» высокого немца. Стальной шлем закрывал половину его

лица. На складно сшитой немецкой шинели были погоны лейтенанта. На ногах — щегольские офицерские сапоги с «бутылочными» негнущимися голенищами. С левой стороны пояса — в кобуре пистолет. Хотя голос говорившего и был мне знаком, от неожиданности я машинально опустил руку в карман за пистолетом. Цесарский — а это был он— продолжал:

— Немецкого обмундирования у нас много. Охотников на это дело еще больше. Разрешите рискнуть. По-немецки я говорю неплохо...

Он подробно изложил свой план, но я с ним не согласился.

— Сделаем еще несколько попыток. Если не прорвемся, тогда и рискнем,— ответил я Цесарскому.

В свою очередь и Кузнецов настаивал, что ждать он больше не может, что, как ни больно оставлять отряд, он хочет попробовать проскочить на свой риск.

Я знал, как он дорожит каждым днем, и не стал возражать. Серый «оппель» был еще раньше перекрашен в черный цвет, снабжен новым паспортом и фарами другого образца, так что даже сам бывший владелец, гебитскомиссар города Луцка, вряд ли мог бы узнать свою машину. Шофера Белова одели немецким солдатом, на самом Кузнецове была его неизменная шинель с погонами обер-лейтенанта. Вместе с ними отправлялся и Ян Каминский, который должен был следовать под видом крупного спекулянта, удирающего из Ровно от большевиков. Разумеется, все это подтверждалось соответствующими документами.

Им предстояло заехать сначала в Луцк, где была возможность запастись бензином и маслом, а уже оттуда двинуться во Львов. Намечалось, что во Львове все трое обоснуются у кого-нибудь из многочисленных родственников и знакомых Каминского.

— А что, если отряд нескоро подойдет ко Львову? Что же я там буду делать? Война сейчас идет быстро,— обратился ко мне Николай Иванович.— Все, что бы я вам ни передал,— любые сведения через два-три дня окажутся устаревшими. Мне не хочется попусту рисковать жизнью. Разрешите в таком случае заняться там кем-нибудь из крупных гитлеровцев!

Я назвал Кузнецову двух фашистских главарей, которыми, по-моему, следовало бы заняться: губернатора Галиции доктора Вехтера и вице-губернатора доктора Бауэра.

Собирая Кузнецова в дорогу, мы условились с ним о месте встречи его тройки с отрядом и о пароле на случай, если к нему будет послан от нас незнакомый ему человек.

— Старайтесь чаще сообщать нам о себе,— предупредил Кузнецова Лукин.— Выполнили задание — сообщайте. Не удалось выполнить — сообщайте. Вот вам координаты Крутикова. Вот вам два адреса во Львове, куда вы также сможете передать все, что нужно. Держите нас постоянно в курсе вашей работы.

Мы условились, что если Кузнецову, Каминскому и Белову не удастся встретиться с отрядом, они должны будут разыскать группу Крутикова и остаться с ней. Не выйдет и это,— перейти самим линию фронта. Если же и тут неудача,— уйти в подполье и ждать прихода Красной Армии.

Как всегда, Лукин хотел предусмотреть все возможные варианты. Он отдавал себе отчет в том, что всех комбинаций нельзя предвидеть, что это — шахматы, где можно задумать только первые два-три хода, а в остальном положиться на талант, но, понимая это, он в то же время добивался максимальной точности расчета, какая только возможна в шахматах, и не допускал мысли о проигрыше.

Николай Иванович спешил. Приближение Красной Армии и радовало его и, вместе с тем, побуждало уйти как можно дальше на запад, как можно позже встретиться со своими.

Разведка донесла, что на одном из переездов замечены немецкие колонны, переходящие через полотно и движущиеся на запад.

Кузнецова взволновал не сам по себе этот факт, а то решение, какое этот факт подсказывал. Он решил попытаться «отступить» вместе с немцами.

— Ну, прощайте, Дмитрий Николаевич! — сказал мне готовый в дорогу и одетый в полную немецкую форму Николай Иванович.

Я обнял его, и три раза по русскому обычаю мы с ним расцеловались. Когда он прощался с Лукиным, Стеховым, Струтинским и другими своими товарищами, я по глазам их видел, сколько у всех нас было уважения и любви к Николаю Ивановичу.

«Оппель» двинулся в путь.

Разведчики, сопровождавшие машину, доложили спу-

стя два часа, что наш «оппель» благополучно «втерся» в немецкую колонну, пересек полотно и продолжает следовать в общем потоке.

Прошло еще три дня, и, найдя выход, мы всем отрядом оказались за железной дорогой. Путь лежал на запад.

Труден был этот путь, предстоявший нам. Двести километров — и буквально на каждом шагу можно ждать нападения из засады. Фронт близко, мы — в ближайшем тылу, кругом немцы и не только немцы, но и предатели-националисты — они в последнее время стали очень активными, стараясь заработать себе право на эвакуацию в Германию.

Уже на следующий день после перехода через железную дорогу нам пришлось драться с вражеским отрядом. Мы истребили его почти весь. Через несколько километров повторилась та же история. Так мы и шли почти все время с боями.

Отечественных боеприпасов осталось очень мало. Чтобы выйти из положения, мы организовали две роты специально с трофейным оружием, к которому имелось много патронов. Эти роты выдвигались вперед.

Обстановка подсказывала новый распорядок жизни: одно подразделение ведет бой, другое готовит обед и отдыхает.

Владимир Степанович Струтинский оказался неоценимым помощником в этом суровом походе.

Николай Струтинский, Шевчук, Гнедюк и Новак неизменно шли впереди отряда, просматривая дорогу.

Почти все деревни мы занимали с боем. Чтобы не нести излишних потерь, выработали особую тактику: если у деревни замечены часовые или вооруженные группы, то после нескольких залпов из пушек и минометов в деревню с громким «ура» врывалась одна из наших рот. Кавалерийский полуэскадрон, разбившись на две части, окружал деревню. Всякий, кто бежал оттуда с оружием, попадал в руки кавалеристов.

К моменту вступления отряда в деревню она таким образом, как правило, была уже очищена от противника.

Но бывали иные случаи. Однажды вошли мы в деревню, а она оказалась пустой. Ни людей, ни скота, ни птицы, даже мебели нет в хатах.

Куда все исчезло? Неужели людей со всем их скарбом гитлеровцы вывезли в Германию?

Ответ на этот вопрос нашли Коля Струтинский, Михаил Шевчук и Валя Семенов.

В одной из хат они обнаружили в чулане яму. Яма была тщательно закрыта пустой бочкой. Отодвинули бочку, Семенов с фонариком полез в дыру. Вдруг под землей — выстрел. Семенов — назад.

— Выходи по добру! — крикнул Струтинский.

Ответа не последовало.

— Давай дымовую гранату! — предложил Валя Семенов.— Мы их сейчас выкурим оттуда.

Через несколько минут Шевчук вернулся с дымовой гранатой. Несколько таких гранат мы захватили в недавнем бою. Мы не знали, где и как их можно применить, а вот теперь они пригодились. Шевчук бросил в дыру гранату. Отверстие тотчас же закрыли бочкой. Прошло три-четыре минуты, и из ямы послышался кашель. Дым душил засевших там людей. Они держались еще довольно долго, но, наконец, не выдержали.

— Выходим, не стреляйте! — послышалось из-под пола. Бочку откатили, и вот из дыры показался человек. Он был ни жив ни мертв. За этим вылезли второй и третий. От них мы и узнали, почему опустела деревня.

Гитлеровцы не хотели, чтобы Красная Армия нашла на освобожденной территории людей, имущество, продукты. И вот населению под страхом расстрела предлагалось устраивать под домами так называемые «схроны», складывать в них хлеб, все имущество и прятаться самим; устраивались «схроны» даже для скота.

Мы проверили. Действительно, «схроны» оказались под многими домами. Иногда это были настоящие подземные квартиры, где стояли кровати, помещались склады с зерном и имуществом. Везде была заготовлена на много дней вода.

Всем жителям было предложено выйти из «схрон», куда их загнали предатели. Люди вышли. Невозможно описать, как велика была их радость, когда они увидели, что пришли свои! Старик-крестьянин принялся нам рассказывать:

— Воны пугали нас, что придут червоны, пограбують все майно, а нас знichтожат. Мы не верили. Но коли воны бачили, что «схроны» не копаем, стали грозить расстрелом, ниби-то мы симпатизуемо Червоний Армии!

Глава восьмая

Помня наказ Николая Ивановича, Валя предприняла попытку разузнать подробно о Кохе. В том, что имперский комиссар Украины и гаулейтер Восточной Пруссии больше в Ровно не вернется, не оставалось никаких сомнений. Важно было выяснить другое: находится ли он в Кенигсберге или выехал в Берлин. Из осторожных слов одного майора, знакомого по рейхскомиссариату, Валя заключила, что Кох в Берлине и, по слухам, в немилости у «фюрера», который не очень-то жалует гаулейтера за поспешную «эвакуацию». Другой валин «сослуживец», маленький, щуплый, но горластый гауптман, прозванный «герром Геббельсом» и, действительно, чем-то на него похожий, на вопрос о гаулейтере сказал, что не имеет чести быть осведомленным.

В этот день в рейхскомиссариате подготовка к эвакуации приняла лихорадочные темпы. Валя возвращалась домой в хорошем настроении, испытывая необыкновенный подъем; она не шла, а бежала, как бы ускоряя этим время. Не сегодня-завтра она будет во Львове, а там...

В десять часов вечера к ней постучали. Она услышала голос Лео Метко, того самого Метко, который был одним из ее первых «знакомых» в Ровно и в свое время помог ей с пропиской. Метко знал Валю как фольксдойче. Что могло ему понадобиться?

Метко был не один. С ним вошли в комнату четверо гитлеровцев и двое гражданских. Эти гражданские сразу же прошли в кухню.

— Чем могу служить? — по-немецки спросила Валя, стараясь не терять самообладания.

Обер-лейтенант, очевидно, старший, подошел к ней вплотную и спросил по-русски, приставив к ее щеке пистолет:

— Где Пауль?

— Не понимаю,— ответила Валя, ежась от прикосновения дула. Гестаповец не отнимал пистолета.

— Где? — нетерпеливо повторил он, не опуская дула.

— Какой Пауль? — притворяясь испуганной и ничего не понимающей, спросила Валя.— У меня есть несколько знакомых, которые носят это имя.

В квартире начался обыск.

— Одевайся! — приказал обер-лейтенант, говоря по-русски.

Он, видимо, хотел подчеркнуть, что знает ее происхождение, и ждал, что она от неожиданности тоже заговорит по-русски, но Валя была упряма.

— Я эвакуируюсь с рейхскомиссариатом. Вы не имеете права меня задерживать,— продолжала она говорить по-немецки.

— Не беспокойтесь! — переходя на немецкий, сказал обер-лейтенант.— Мы вас эвакуируем именно туда, где вам надлежит быть.

— Но я лучше знаю...— начала было Валя, но не закончила фразы.

— Всех взяли, эта последняя,— услышала она из кухни, где, что-то ломая, чем-то грохоча, возились жандармы.

Разговор был бесполезен. Им нужно знать, где Кузнецов, а она этого никогда им не скажет.

Ее вывели на улицу. Там, у каждого из окон квартиры Вали стояли автоматчики. За углом она увидела три легковые машины. Валю втолкнули в одну из них. Валя знала, какими улицами ее повезут в гестапо. Она ни о чем не думала, следя лишь за поворотами. На улицах было безлюдно. После восьми хождение было запрещено. На одном из перекрестков машины остановил патруль. Валя вспомнила, что город объявлен на угрожающем положении, и хотя это не было для нее новостью, но сейчас она несказанно обрадовалась этому. Впервые так ясно и неопровержимо ощутила она торжество приближения своих.

В два часа ночи начался допрос. Какой-то незнакомый майор, тоже с пистолетом в руке и тоже тыча дулом ей в лицо, потребовал назвать место дислокации партизанского отряда и фамилию командира. О Пауле пока не было речи. Видимо, это берегли на конец.

— Какой отряд? — недоумевала Валя.— Какой командир? Вы меня принимаете за кого-то другого!

Она много раз слышала, как ведут себя на допросах партизаны. Она знала, что нужно молчать и отвечать одним словом: «нет». Но надежда на то, что, может быть, не все потеряно, а может быть, и хитрость, выработанная месяцами опасной игры в «немку», вошедшая уже в привычку, побудили ее сейчас говорить и доказывать, что ее арест — недоразумение, доказывать и требовать немедленного выяснения и освобождения.

— Я не понимаю, что вы мне говорите, господин майор,— убеждала она гестаповца, стараясь смотреть ему прямо в глаза.— Как я, немка, могла позволить себе связаться с партизанами! Мой отец погиб от рук негодяев.

При этом в голосе ее, вероятно, звучали нотки глубокой искренности. Именно память отца, дорогая ее сердцу, привела ее к партизанам, и ради этой памяти в эту минуту она, как никогда еще, ненавидела подлинных убийц своего отца, один из которых стоял перед нею.

Ей показалось, что майор склонен поверить ей. Поэтому она все тверже настаивала на своем требовании немедленно отпустить ее и дать возможность эвакуироваться.

Но, очевидно, майору было известно и кое-что другое.

Он, не торопясь, пошел к столу, сел в кресло и занялся какими-то бумагами. Он долго сидел так, углубившись в свое занятие и, казалось, забыв об ее существовании. Валя продолжала стоять перед ним, не зная, что ей теперь делать — ждать, пока он вспомнит, или заговорить самой. Рядом стоял табурет, и, вдруг почувствовав непреодолимую усталость, Валя села. «Это даже хорошо, что я сижу,— подумала она.— Это даже хорошо, я ведь ни в чем не виновата, я «честная немка», и мне нечего бояться».

Майор продолжал читать.

Но вот он поднял глаза и, увидев, что Валя сидит, заорал:

— Встать!

Валя встала.

Майор закурил, откинулся в кресле и, испытующе глядя, спросил:

— С кем вы были на приеме у гаулейтера?

Валя поняла, что теперь-то и начинается допрос.

— С одним офицером,— сказала она спокойно.— Знаю его с сорок второго года, познакомилась в поезде, а здесь мы случайно с ним встретились. Он земляк господина гаулейтера, очень заслуженный офицер, имеет награды; господин гаулейтер очень благосклонно его принял,— быстро говорила она, все время боясь, что вот-вот ее перебьют, и последует новый вопрос.— Это очень достойный офицер, он сражался во Франции и в России...— Она немного перевела дух.— Но у меня есть еще знакомый, тоже Пауль... Если бы я знала, кого из них вы имеете в виду...

— Я имею в виду советского разведчика,— сказал майор.

— Да?..— спросила она, изо всех сил стараясь показаться наивной.— Тогда... тогда не знаю.

— Не знаете? — протянул майор.— Я вам советую вспомнить. Подумайте!

И Валю увели в подвал.

Глава девятая

От Гановического леса, в котором предполагала остановиться группа Крутикова, ее отделяло километров сорок пути, на котором были, однако, такие препятствия, как железная дорога и шоссе. Крутиков рассчитывал перемахнуть эти препятствия в следующую ночь, а сейчас остановиться в каком-нибудь одиноком хуторе, отдохнуть и накормить лошадей. От разведчиков он знал, что хутора находились где-то неподалеку, за большим селом Ремизовцы, в которое они как раз въезжали.

Они миновали мельницу и повернули влево, как и намечалось по маршруту. Внезапно к ним навстречу вышло трое полицейских. Это были «мельниковцы».

Хлопцы «атамана» Мельника отличались от бандеровских тем, что своей службы немецким захватчикам не пытались скрывать. Несмотря на столь малое различие во взглядах, те и другие находились между собой в постоянной вражде.

«Удостоверение» Крутикова, «подписанное» бандеровскими властями, произвело совсем не то действие, какого он ожидал. Мельниковцы начали их окружать.

Крутиков быстро разбил отряд на три отделения, назначил командовать ими Корня, Шевченко и Харитонова, дав каждому из них свою задачу.

Шевченко надлежало подавить пулемет, выставленный против них на дороге, и затем проводить вперед коней; Корню — нанести быстрый удар с правого фланга; пистолетчики Харитонова должны были гранатами обеспечить тыл и двигаться вперед за отделениями Шевченко и Корня.

Не успел Крутиков закончить все указания, как впереди, возле пулемета, появились те же трое, что и вначале, и один из них, видимо, старший, издалека громко прочел по бумажке:

— Предлагаю сдать оружие. В случае неисполнения будете уничтожены. Даю пятнадцать минут.

Крутиков решил использовать эту четверть часа для лучшей подготовки к бою.

Когда три бандита снова появились, он крикнул, что как командир желает сдать оружие первым. Смотреть на сцену сдачи оружия «бандеровцами» пришло еще несколько молодчиков из той же шайки.

Крутиков вышел вперед, ближе к бандитам, демонстративно снял гранату и автомат, нагнулся, будто кладет их на землю, и, не дав бандитам опомниться, метнул в них гранату. Это было сигналом к атаке.

Кругом открылась стрельба. Партизаны выкрикивали бандеровские лозунги, о чем в случае стычки с противником в группе заранее было условлено. Где-то рядом Крутиков слышал звонкий голос Наташи. В темноте ничего нельзя было разобрать. Все кричали одно и то же. Тогда Крутиков сам закричал во весь голос:

— К чорту игру!.. Вперед, за Родину, за Сталина! Ура!..

— Ура! — услышал он впереди и позади себя.— Ура! — кричали справа и слева.

Крутиков рванулся вперед, бросился на землю и, завидев новую группу бандитов, дал по ней очередь из автомата. Он увидел, как двое отделились от бегущих, подкошенные его пулями. Он продолжал стрелять, уже ничего не слыша, кроме своего автомата, и не видя ничего, кроме бегущих и падающих фигур.

Вдруг он почувствовал, как что-то изменилось в самом воздухе, которым он дышал, что-то, к чему уже привык его слух, вдруг смолкло, оборвалось, на мгновение обнажив странную тишину. «Пулемет подавили»,— понял Крутиков и сразу пришел в себя.

— Молодец Шевченко! — крикнул он изо всех сил, устремляясь вперед. Харитонов и пистолетчики кинулись за ним.

Бандиты не выдержали натиска. В небе появились две цветные ракеты — знак к отступлению.

— Забирать сани! — скомандовал Крутиков Харитонову, заметив вражеский обоз.— Выходить к мельнице!..

За мельницей, на окраине деревни, Крутиков нашел бойцов из отделения Шевченко, приведших сюда своих коней, как это и было намечено. Самого Шевченко почему-то не было. Очевидно, он продолжал оставаться на месте боя.

Вскоре подъехали на четырех трофейных санях пистолетчики Харитонова и с ними все отделение Корня, тоже потерявшее своего командира.

Крутиков пересчитал людей. Нехватало троих: Шевченко, Корня и Величко. Уходить было нельзя.

Время шло. Крутиков нетерпеливо смотрел на часы. Наконец, он принял решение.

После небольшой перестрелки они снова вошли в деревню и там сразу же нашли убитого Величко, а затем и Шевченко, который оказался тяжело раненным. Корня нигде не было. Крутиков гонял людей, сам метался из стороны в сторону, но безрезультатно.

За мельницей, уложенный на сани, окруженный безмолвными товарищами, умирал Валентин Шевченко. На побледневшем лице его застыло выражение однажды испытанной отчаянной боли; губы, искаженные криком, так и сохранили эту гримасу; казалось, что Шевченко продолжает кричать, никем не слышимый... Над раненым, разорвав фуфайку, хлопотали Наташа и Женя.

— Ничего, ничего,— приговаривала Наташа, ловко орудуя бинтом.— Вот еще немного... Теперь уже не больно... Женя, подержи бинт... Вот так... Теперь совсем хорошо, правда? Еще чуточку...

— Где наши? — одними губами произнес Шевченко.

— Здесь наши, все здесь... Ты спокойно лежи, Валентин!.. вот так... Ты что-то сказал? — Наташа припала ухом к самым губам раненого.— Что?.. Корня зовет! — обернулась она к бойцам.

— Корень! — снова, уже совсем внятно, позвал Шевченко.

— Выслушай, Валентин,— успокаивая его, заговорила Наташа, глотая слезы.— Ты слышишь? Мы разбили этих гадов... Слышишь? Мокрое место от них осталось...

Появился Крутиков. Он подошел к саням, стал молча.

— Скорей, Наталка, — заторопилась Женя, поглядывая на командира.

— Ничего,— сказал Крутиков, нетерпеливо глядя по сторонам. Люди уже устраивались на санях.— Ничего... Делайте как следует...

Он не решался их торопить.

Шевченко, услыхав голос командира, открыл глаза. В них были слезы. Он прошептал еле внятно:

— Не надо!

— Эх, Шевченко!.. — с укоризной, отводя глаза, на которых навернулись слезы, промолвил Крутиков. Ему хотелось сказать что-то совсем иное, но слова не шли на язык.

Шевченко снова открыл глаза. Он посмотрел на Крутикова, на хлопочущую около Наташу. Вдруг он что-то вновь зашептал, Наташа склонилась над ним. Она повторила то, что услышала:

— Ростов... Невская, шестнадцать... маме.

Когда она поднялась, Шевченко был уже мертв.

Погибших товарищей уложили в сани. Крутиков скомандовал:

— Вперед!

Началась бешеная гонка. Крутиков задался целью затемно проскочить через железную дорогу и шоссе, как было намечено. Лошадей гнали во-всю; даже деревень решили не объезжать, а гнать напрямик. Но в первой же деревне их появление вызвало крик, шум и стрельбу. Отряд проскочил галопом, даже не отстреливаясь. Проехали еще деревню, еще... Начинало светать.

— Не жалеть коней,— торопил Крутиков.— Скорей!

Но рассвет наступал удивительно быстро, словно состязаясь с их бешеной ездой.

Утро застало их в километре от шоссейной дороги. В дымке наступающего дня заметны были движущиеся по шоссе машины. Партизаны были до того измучены после напряженного боя и бессонной ночи, что Крутиков решил остановиться. Ехать дальше днем было опасно. Неподалеку был расположен хутор. Место, для того чтобы переждать день, показалось удобным. Хутор стоял между небольшой горой и лесом. Здесь, у подножия горы, была вырыта яма и похоронены погибшие товарищи. На холмике осталась скромная доска с надписью, выведенной химическим карандашом:

«Дорогие наши друзья Шевченко В. и Величко А. погибли в боях с врагом за свободу и независимость своей Родины».

Отряд занял небольшую хату на окраине деревни. В санях, отнятых у мельниковцев, находилось много награбленного бандитами добра, вплоть до детских игрушек. Бойцы располагались на отдых, как вдруг влетел часовой Близнюк с криком: «Немцы!»

Крутиков схватил автомат и в чем был выбежал во двор. Гитлеровцы двигались цепью, опоясывая дом.

Бой был неизбежен.

Кольцо врага сужалось. Фигуры и даже лица солдат были уже ясно различимы. Среди зеленых касок мелькали черные шапки с трезубами. Так вот кто привел сюда гитлеровцев!

Крутиков и Близнюк открыли огонь, давая возможность всем остальным выбежать из дома и принять бой.

Наташа Богуславская выбежала первой и, что-то крича Крутикову, вырвалась вперед. Он потерял ее из виду и увидел вновь лишь тогда, когда она уже падала навзничь в снег, прижимая к груди автомат. Крутиков бросился к ней, услышал свист пули где-то около себя, что-то обожгло его. Он упал в снег возле Наташи и, уже ни о чем больше не думая, продолжал стрелять и так стрелял бесконечно долго, а потом, нето придя в сознание, нето отрезвев от боя, начал отползать назад, отстреливаясь и таща за собой Наташу.

Теперь Крутиков ничего не различал впереди, кроме леса, плывшего в его глазах темным пятном, и зеленых фигур, закрывавших ему это пятно. Надо было во что бы то ни стало убрать эти зеленые фигуры, закрывающие ему дорогу. Вдруг он замер. Что-то твердое, на что он наткнулся, не пускало его дальше. Это был труп. Крутиков увидел перед собой скрюченные пальцы с красными ногтями. «Маникюр!» — мелькнуло в сознании. И он снова пополз, чувствуя, что к нему возвращаются силы.

Он нашел товарищей на лесной опушке. Не было Бурлака. Кто-то видел, как он упал, сраженный насмерть. Не было Дроздовых и Приступы. Знали, что Женя ранена, что Дроздов и Приступа вырвали ее у врага и на руках унесли в лес. Видимо, они отбились в сторону.

Не оставалось сомнения, что гитлеровцев привели националисты. Были ли это мельниковцы, с которыми отряд дрался накануне, или хлопцы из «эс-бэ», спохватившиеся после возвращения Цыгана,— оставалось неизвестным. Крутиков утверждал, что он ясно узнал в убитом бандеровце «районового» Калину.

Продолжая бой, группа отходила. Убитую Наташу унесли с собой, чтобы похоронить ее в лесу. Она так и не дождалась своей «большой роли», своего большого подвига. Но кто из нас, мечтающих о подвиге, желал бы умереть иначе, чем она!

В группе осталось тринадцать человек. Они залегли на опушке чащи, готовясь продолжать бой. Но фашисты, понеся большой урон, прекратили преследование.

Глава десятая

Тринадцать человек, смертельно усталые, молча брели по лесу. На носилках, наскоро сделанных из ветвей, Харитонов и Кобеляцкий несли раненого Крутикова. Нужно было где-то остановиться, отдохнуть. Нужно было решить, что делать дальше. Все оказалось труднее, чем они предполагали. Они потеряли товарищей, лишились рации, обессилели. Впереди километры и километры пути.

И двое из них предложили итти назад.

Они остановили Харитонова и Кобеляцкого, несших раненого Крутикова, и начали уговаривать его немедленно возвращаться в отряд, взяв направление через район Берестечко на Цуманские леса. Приводилось много доводов. Главный из них был тот, что задание все равно не может быть выполнено и, следовательно, надо думать о том, чтобы остаться в живых и принести пользу в другом месте.

— Пастухов! — позвал Крутиков.

— Слушаю,— откликнулся Пастухов.

Кобеляцкий и Харитонов опустили носилки на землю.

— Пастухов,— повторил Крутиков, изо всех сил стараясь казаться спокойным.— Хочу знать твое мнение.

— Приказ есть приказ,— пробасил Пастухов.— Надо итти дальше, а кто не согласен... вольному воля.

— Каждый, значит, по своему усмотрению? — Крутиков поморщился.— Так?

— Да, я так думаю. Лично я буду выполнять приказ.

— Кобеляцкий, ты?

— Итти и никаких разговоров!

— Ты, Харитонов?

Крутиков знал, что все равно, что бы ни было, поведет группу вперед, и, если сейчас обратился к товарищам, то только за поддержкой. И когда они поддержали, а Клепушевский, тот даже сказал, что скорее умрет, чем не выполнит приказа, Крутиков приподнялся на локтях и крикнул, побагровев от напряжения:

— Пораженцев щадить не буду... Вперед!.. Выйдем из лесу, найдем деревню, возьмем лошадей и — вперед!

В небольшой деревушке, на которую они к вечеру набрели, удалось достать не только сани и лошадей, но и кое-какие медикаменты. Клепушевскому, который был тоже ранен, но держался на ногах, и Крутикову сделали перевязки. После пищи и отдыха все заметно приободрились. Очень удачной оказалась и встреча со связным ОУН, который дал Крутикову пароль, действующий до 20-го, а также сообщил, где и сколько расположено в районе вооруженных националистов. Связной вызвался свести «друга провидника», как он называл Крутикова, в соседнюю деревню Байляки, где стояли мельниковцы. Крутиков отказался, но потом подумал, что мельниковцы могут сами пожаловать с визитом, и отдал приказ собираться в путь. Был предпринят обычный маневр: сначала взяли курс на Байляки, а затем свернули в сторону — в ту, от которой связной предостерегал. «Раз он предостерегает, стало быть, их там не очень жалуют».

Весь следующий день был проведен в лесу. Клепушевскому стало хуже, он побледнел и с трудом передвигал ноги. Разведка принесла неутешительные вести: впереди гитлеровцы. Возобновились разговоры о возвращении в отряд. На этот раз просьбы сменились настояниями. Крутиков, все время хмуро молчавший, вдруг усмотрел долю истины в этих нетерпимых для него предложениях.

Он понял, что упорное следование приказу, ставшее для него необходимостью, почти привычкой, не всегда есть самый целесообразный путь к выполнению долга. И он согласился с предложением Пастухова возвращаться не в отряд, а в Гуту-Пеняцкую, так гостеприимно их принявшую, там обосноваться и оттуда уже отправить разведчиков во Львов. Может быть, удастся также разыскать Женю и Василия Дроздовых и Приступу. Расстояние до Гуты надо было покрыть в самый короткий срок — до 20-го, пока действителен известный им пароль.

Остаток дня, ночь и весь следующий день группа пробыла в пути. Препятствием, заставившим группу остановиться, была и на этот раз шоссейная дорога. По ней двигались немецкие автомашины и патрули на мотоциклах. Препятствие это было последним: проскочить шоссе, пройти несколько километров лесом — и они в Гуте. Но это-то и оказалось трудным.

Им так и не удалось перейти в этом месте шоссейную дорогу. Как потом выяснилось, это было к счастью.

Впереди, в Гаевке, которую предстояло проехать, чтобы попасть в Гуту-Пеняцкую, стояли немцы.

Крутиков повернул группу в лес, к небольшой деревушке. Но и здесь оказались немцы. Началась стрельба. Их стали преследовать.

Выручил старик-крестьянин, оказавшийся в лесу. Он услышал стрельбу, понял, что фашисты кого-то преследуют, и поспешил на помощь.

— Кто вы? — крикнул он издали.

— Партизаны,— последовал ответ.

— Бросайте сани, идите за мной.

Его звали Павло. Фамилии Крутиков не запомнил и потом долго жалел об этом. Старик знал лес вдоль и поперек. Он умело запутал следы, а потом повел партизан к себе на хутор, стоявший под горой, на опушке леса.

Здесь они были гостеприимно приняты хозяйкой, женой старика. Крутиков попросил старика сходить в разведку. Вернувшись, тот доложил, что гитлеровцы не пошли по их следам, вернулись в деревню.

— Вы куда путь держите? — осторожно осведомился он и, не ожидая ответа, как бы боясь, что ему могут не поверить, стал рассказывать о своем сыне, который работал в органах милиции и сейчас скрывается от немецких жандармов и бандеровцев.— Коли вам в Гуту-Пеняцкую, — сказал он, услышав ответ Крутикова,— то можем проводить. Мы такими тропками пойдем, что ни одна собака не дознается...

— А на шоссе как? — спросил Крутиков.

— Что шоссе! — отозвался старик.— Мы такое местечко найдем, что никто не помешает.

Но после новой разведки, в которую он пошел вместе с Кобеляцким, старик признался, что это его «местечко» не подходит: сани здесь не провезешь, а тащить на руках до самой Гуты раненого невозможно.

Клепушевский, державшийся в первое время после боя очень бодро, теперь чувствовал себя так плохо, что не мог двигаться. Его везли на подводе. Крутиков, хотя и с трудом, но передвигался сам. Как быть? Люди все настолько обессилели, что донести Клепушевского на носилках до Гуты-Пеняцкой были не в состоянии.

— Пускай останется, — предложил старик, показав на раненого.— Мы и доктора найдем, и отходим, и скроем, если что...

— Останешься? — спросил у того Крутиков.
— Придется,— ответил тот тихо.
— Ты подумай,— повторил Крутиков.
— Останусь,— твердо сказал Клепушевский.
— Мы посмотрим, как за родным,— пристала к разговору хозяйка и тут же, чтобы совсем успокоить раненого, добавила: — У меня сын такой, как ты. Белобрысый...

Крутиков протянул Клепушевскому сверток.
— Держи. Две тысячи марок. Заплатишь доктору.
— Ладно,— сказал Клепушевский.— Вы только дайте знать, если будете уходить из Гуты. А то я приду, а вас нет...

— Ты, папаша, присмотри за нашим Клепушевским. Чтобы все как следует! — напомнил старику Пастухов, после того как они, перейдя шоссе, попрощались.
— Как своего сберегу,— ответил старик.— У меня покойно ему будет.

Пастухов пошел в Гуту-Пеняцкую один, оставив товарищей в лесу. В селе оказались немцы, двенадцать человек. Это был персонал аэромаяка, находившегося поблизости. Приехали они за курами. Пастухов дождался, пока немцы уйдут, потом разыскал Войчеховского и, договорившись с ним, отправился за товарищами.

Войчеховский сам предложил им остаться в Гуте. Он обещал всяческую помощь, требуя взамен одного — поддержки в случае нападения бандеровцев. Но это и так подразумевалось.

Прием, оказанный Крутикову и его товарищам в Гуте, был таким же сердечным, как и в первый раз. Их разместили по хатам. К Крутикову позвали врача — еврея, скрывавшегося здесь от немцев и националистов. Узнав от Крутикова о раненом товарище, который остался на хуторе, врач забеспокоился, и на другой же день Войчеховский снарядил двух крестьян, которые поехали на хутор к старику и забрали Клепушевского.

А через несколько дней в Гуте стало известно, что старик Павло и его жена убиты и сожжены в своем доме.

Та же участь, как выяснилось, постигла и пана Владека, товарища Владека, предоставившего свой кров партизанам. Старого лесничего бандеровцы заперли в его доме и дом сожгли.

Двадцатого января, как и намечалось по плану, Пастухов и Кобеляцкий были отправлены во Львов. Они взяли с собой письмо от Войчеховского к его отцу, жившему там на Жолкеевской улице, и еще несколько адресов.

Крестьяне вышли провожать разведчиков. Маленький, щуплый, лишенный всякой выправки Пастухов, одетый к тому же в городское, модного когда-то покроя, пальто, подаренное Войчеховским, производил впечатление небогатого служащего и казался нелепым на подводе, рядом с вооруженными крестьянами в тулупах и Кобеляцким, одетым в старую немецкую шинель. Пастухов снял шапку и долго махал ею крестьянам до тех пор, пока сани не скрылись за деревней.

Дроздова и Приступу после боя под Сиворогами никто не видел. С тяжело раненной Женей, которую они несли на руках, партизаны ушли от преследователей и скрылись в лесу.

Кобеляцкому, ближе всех находившемуся от них, Дроздов что-то прокричал, но понять можно было только то, что он назначает встречу, но где, в каком месте — Кобеляцкий не разобрал. Очевидно, в Гановическом лесу.

— Нет,— сказал Крутиков, которого нередко теперь упрекали в том, что тогда, в лесу, он не принял мер к розыску отбившихся товарищей.— Нет, дойти туда они не могли.

Но Дроздов и Приступа дошли. Дошли одни, без Жени, которую похоронили в лесу.

Тогда же, в лесу, они набрели на крестьянина, который приехал за хворостом. Он привез их на хутор, укрыл и спустя день проводил в дорогу.

Они шли, почти не разговаривая. Приступа понимал, что утешать Василия не надо, как незачем и высказывать сочувствие горю друга. Они шли упорно и тяжело, с короткими остановками, почти без пищи, и верили только в одну возможность — что они дойдут.

Но, добравшись к Гановическому лесу, они поняли, что весь проделанный ими путь бессмысленен: группы не было. Не было ни на вторые сутки, ни на третьи... Что же было делать? Возвращаться?

Но возвращаться невозможно. Достичь заветной цели — и отступать... Они все же надеялись, что, может быть, придет сюда весь отряд? Как знать!

И Приступа с Дроздовым пришли к простому выводу: надо действовать самим.

Они решили осесть для начала в одной из деревень. Это удалось сравнительно легко. Хозяин оказался преданным человеком.

Вторым шагом — самым опасным — было установление связей, прощупывание новых знакомых, подготовка. В этом смысле их хозяин был плохой помощник: он ничего не мог сказать им толком о ближайших соседях, будучи, как это поняли Приступа и Дроздов, занят только самим собой. «Вот народ,— удивлялся Приступа.— Неужто все такие?..»

Но тот же хозяин предоставил свою хату для первого собрания сколоченной ими группы. Присутствовало семь человек, включая самих Дроздова и Приступу. Единодушно решили собрать еще человек пятнадцать и уйти в лес партизанским отрядом.

Глава одиннадцатая

Белая, пустая, холодная равнина. Ночью она кажется серой. Мы идем и идем, и уже розовое зарево восхода занимается за спиной. Мы ушли далеко вперед. Перед нами — село Нивице. Стехов измеряет по карте: до Львова осталось по прямой шестьдесят километров. Близко.

Нивице встретило нас тишиной.

Где сейчас наши товарищи? Встретим ли мы Крутикова в Гановическом лесу? Где Кузнецов?

— Все хорошо,— говорит Стехов.— Все очень хорошо. Завтра мы будем у цели.

Подходит Марина Ких:

— Теперь-то вы меня отпустите? Ну, я не говорю сегодня, а вообще? Жалею я теперь, что пошла в радистки...— сетует она.

В селе мы с Лукиным и Стеховым заходим в первую хату.

Хозяин, высокий, крепкий старик, смотрит на нас удивленно, но впускает без слов. Кроме него, в комнате находится молодая женщина, лицо у нее испуганное. Первое, что бросилось мне в глаза, был черный диск репродуктора на стене.

— Работает? — показывая на репродуктор, спрашиваю хозяина.

— Работает,— отвечает хозяин, продолжая нас разглядывать.— У нас и школа работает, и церковь.

— Немцы есть?

— Сейчас никого.

— Ну, а вообще, как с ними живете?

— Всяко бывает.

— Часто они сюда наведываются?

— Приезжают по три-четыре человека. Вывозят из лесу древесину.

За окнами — брезжит рассвет, похожий на сумерки. Последние дни мы шли с непрерывными боями. Села встречали нас стрельбой. Враг всячески препятствовал нашему движению. Не верится — неужто на этот раз нас оставят в покое?

Я вызвал командира первой роты Ермолина.

— Ты все-таки, товарищ Ермолин, поставь дополнительные посты. На всякий случай...

Лег, но никак не могу заснуть. Уже больше месяца как я болен. Последние дни совсем не поднимался с повозки. Сейчас боль в спине усилилась, не дает спать. Сумерки редеют: снег, недавно еще серо-стальной, плотной пеленой устилавший улицу, теперь, когда рассвело, становится белым и потому кажется еще более холодным. Не в силах больше лежать, я встал и пошел проверить посты.

На улице тихо. Сразу же за огородом простирается открытое поле.

И вот, на сером фоне снежного поля, сливающегося с небом, я замечаю движущиеся вдали черные силуэты людей. Ровная цепочка их ярко выделяется на снегу. Что за люди? Может быть, это Ермолин расставляет посты?

Нет, это не развод! Люди идут цепью, а не группой. Идут к селу. Я припал к земле, чтобы лучше рассмотреть идущих.

Вот они уже совсем близко. Нерассеявшаяся темнота мешала мне раньше определить расстояние. Неужели гитлеровцы?

— Кто идет?

Молчание.

— Кто идет?

— А ты хто? — доносится голос.

— Я командир.

— Ходы сюды!

Выхватываю пистолет. В ту же секунду раздается автоматная очередь — одна, вторая. Даю несколько выстрелов — вижу, как впереди кто-то упал. Но вот еще один выдвигается вперед. Дает очередь. Мимо. Я успеваю выстрелить. Автомат умолкает.

Слышу — наши открыли огонь. Но что делать мне, как выбраться? От врагов я в пяти метрах, от своих в двадцати.

Стреляют и те и другие. Пули — вокруг меня, одна сбивает шапку. Я плотнее ложусь на снег. Если сейчас ползти — заметят, начнут стрелять; да и свои откроют огонь, увидев, что к ним приближается какой-то человек...

Вдруг чувствую — кто-то тянет меня за ногу. Поворачиваюсь — человек в немецкой каске. Решив, что я мертвый, он старается снять с меня меховые унты. Стреляю в упор и выдергиваю ногу из-под трупа.

Стрельба разгорелась во-всю. В петлицу моей шинели попала разрывная пуля. Пробую кричать:

— Прекратить огонь!

Слов не слышно. Где-то рядом строчит пулемет, рвутся гранаты, мины.

— Прекратить огонь! — кричу изо всех сил.— Это я, Медведев!

Услышали! «Прекратить огонь... прекратить огонь...»— прошло по нашей цепи.

Под ливнем вражеских пуль я отполз к своим. У плетня меня подхватили.

— Вперед! Ура!

— Ура! — разносится вокруг. Подхватываемые, как ветром, какой-то могучей силой, мы устремляемся на врага.

Шевчук, Струтинский, Новак и Гнедюк с группой бойцов из комендантского взвода врезались во вражескую цепь и в упор расстреливают неприятеля.

Приютившись за плетнем, бьет по черным фигурам Коля Маленький.

Противник отступает. Шум боя становится глуше.

Я направился в хату, где расположилась санчасть. Там полно народа.

— Где доктор?

— Здесь! — весело кричит мне Цесарский.

Люди расступаются, и я вижу, что он полулежит на полу, держа в руках расколотую колодку маузера и вы-

тянув забинтованную ногу со следами крови, сочащейся через бинт. Рядом с доктором лежат другие раненые. Над ними хлопочут сестры. В ответ на мой укоризненный взгляд Цесарский оправдывается:

— Я не покидал санчасть. Просто фашистам удалось сюда заскочить. Ну, мы их и выперли,— он показывает на свой маузер, с оттянутым назад затвором.

Вошел Лукин. Он сказал:

— Вы знаете, что за группа на нас наскочила? «СС-Галичина», и протянул документы, взятые у убитых.

Бой отодвинулся еще дальше. Стрельба шла уже километрах в двух от села, где наши продолжали преследовать противника. На месте боя враг оставил до трех десятков трупов.

— Сегодня у вас второй день рождения,— сказал мне Новак, видя, как я считаю дыры на одежде. На шинели я насчитал их двенадцать, на шапке — две.

— Товарищ командир, вас просит Дарбек Абдраимов.

Я обернулся. Передо мной стоял Сухенко.

— Дарбек? Где он?

— Вот там, в хате. Ранен тяжело.

Я тут же направился в хату к Дарбеку. Он лежал на топчане, устланном перинами, бледный, осунувшийся, с горящими глазами, обращенными к двери.

— Командир, ты жив? Не ранен? — спросил Дарбек, как только увидел меня.

— Жив и не ранен.

— Ну, хорошо.

Он улыбнулся, протянул руку и слабо сжал мою. Оказывается, он первый услышал мой крик, когда я был под перекрестным огнем, бросился вперед, на выручку, и был срезан пулеметной очередью.

— Ну, а ты как себя чувствуешь? — спросил я Дарбека.

— Плохо. Помираю, кажется.

— Ну, это ты брось. Мы еще будем кушать твои «болтушки по-казахски».

Дарбек ничего не ответил, только улыбнулся.

Через несколько минут он умер.

Горько сознавать, что его больше нет с нами, нашего Дарбека. Как он любил жизнь, какие прекрасные дали открывались перед ним, как смелы были его мечты, ждавшие своего осуществления! Сын солнечного Казахстана,

колхозный тракторист, он мечтал об ученьи, о том, что станет агрономом, о том, как превратит свою землю в страну изобилия. Я вспомнил, как еще в Брянских лесах Дарбек делился своими планами с Сашей Твороговым; припомнил и то, как горячо приглашал Абдраимов друга в Казахстан, как они условливались ехать туда вместе. Оба они, Саша и Дарбек, прожили, быть может, треть своей жизни, но и эта короткая жизнь прожита ими честно и гордо.

...Мы ожидали нового наступления и решили подготовиться к нему. На повозке я объехал кругом деревни и отдал все распоряжения.

В хате, где остановился штаб, ни хозяина, ни хозяйки уже не было.

— Вот так спокойная деревня! — сказал я.

Теперь нам стало известно, почему так скоро и неожиданно подверглись мы нападению. Оказывается, мы остановились у старосты, предателя, и он успел немедленно сообщить о нас фашистам.

Вскоре началось новое наступление. Сначала появились бронемашины и танкетки, заработали крупнокалиберные пулеметы, пушки и минометы.

Крайние хаты села загорелись. Фашисты пришли с той стороны, куда мы собирались итти, — с запада. Но ворваться в село они медлили — боялись, что им подготовлена хорошая встреча.

Боеприпасов у нас было мало, и с наступлением сумерек я решил отойти.

Отходили с хитростью: сначала отошел отряд, оставив в селе одну роту, которая отстреливалась, потом рота отошла, оставив там взвод. Взвод выскользнул, и немцы стали драться между собой — из лесу била по селу одна часть немцев, когда другая уже ворвалась сюда. Мы ушли, а там еще часа три шла стрельба.

На первом же привале после боя Лида Шерстнева с торжественным и многозначительным видом подала мне радиограмму: приказ командования о выводе отряда в ближайший тыл Красной Армии.

Это был по существу первый приказ, полученный нами за все полтора года. До сих пор все директивы мы получали в форме запросов. Командование запрашивало, можем ли мы выполнить ту или иную задачу. Разумеется, ответ был всегда один: «Можем, сделаем», и это звучало как «есть!»

На этот раз из Москвы получен не запрос, а настоящий приказ, категорическое предписание возвращаться обратно на восток. «Вывести отряд в ближайший тыл Красной Армии для перевооружения»,— гласила радиограмма.

Отряд двинулся в обратный путь.

Пятого февраля, близ железной дороги Ровно — Луцк мы в последний раз дрались с немецкими захватчиками.

Метрах в трехстах от полотна расположились кавалерийские части Красной Армии. Здесь эти части оседлали шоссейную дорогу, по которой должна была отступать большая мотомеханизированная колонна немцев. Гитлеровцы сунулись на шоссе, напоролись на кавалеристов и пошли в обход... к деревне, где расположился наш отряд.

Сгня у нас было мало — боеприпасов оставалось пустяки. Но тем сильнее была наша воля к победе и тем громче гремело наше дружное, захватывающее «ура». Враг был смят и опрокинут.

В этом бою мы потеряли восемь человек. И это был наш последний бой. Вечером того же 5 февраля мы перешли железную дорогу. Было это в том месте, где и в первый раз, когда отряд шел на запад, сопровождаемый канонадой нашей артиллерии. На этот раз, перейдя железную дорогу, мы очутились у своих. Подвижные части Красной Армии были уже здесь. Кавалеристы встретили нас, как братьев.

Глава двенадцатая

Прошла ночь, за ней день, и вот кончалась уже вторая ночь, а Валю все не трогали. Она ждала страшных мучений и пыток, была к ним готова, а к ней в подвал никто не приходил, о ней не вспоминали, даже пищи не несли.

«Не знаю, не знаю»,— шептала она про себя, словно хотела навсегда затвердить эти слова, которые отныне должны заменить ей другие два слова, затверженные с того памятного дня, когда в последний раз приходил Кузнецов,— «Мицкевича, двенадцать».

Ночью ее разбудил жандарм. Он вывел ее по лестнице в коридор, здесь несколько раз ударил наотмашь по лицу — очевидно, так полагалось перед допросом — и втолкнул в ту же вчерашнюю комнату, к тому же майору, который в той же позе продолжал сидеть за столом, как будто прошли не сутки, а каких-нибудь пять минут, в течение кото-

рых ее били в коридоре. Как будто вчерашний допрос не был прерван, а продолжался.

Он в самом деле продолжался.

— Не замечали ли вы чего-либо подозрительного за своим знакомым Паулем? — спросил майор, с брезгливой гримасой бросая ей тряпку, чтобы она вытерла кровь.

— За каким Паулем? — снова спросила Валя.

— За тем самым, который нами арестован и подтверждает свою связь с вами,— сказал майор, следя, как она будет реагировать на эти слова.

— Не знаю, ничего не знаю,— сказала Валя.

— Ваш друг, однако, благоразумнее вас. Он сказал нам, что вы партизанка и помогали ему.

Вале казалось, что она не меняется в лице. Наверно, так оно и было, потому что она не поверила.

— Полюбуйтесь,— сказал майор, протягивая ей листок с надписью: «Протокол допроса».

Она решила, что не станет читать. Кузнецов не мог попасть им в руки. Она без слов вернула листок майору.

Ее это даже рассмешило: этот майор потерял целый час на сочинение дурацкого протокола! Неужели он не мог додуматься до того, что это глупо; не таков был Кузнецов, советский разведчик, чтобы он выдал себя и товарищей. «По себе судишь»,— подумала Валя и вдруг представила, как вот этот самый гестаповец сидит на допросе перед советским офицером и какой у него при этом вид. И она улыбнулась.

— Расстрелять! — крикнул майор, свирепея.

Ее схватили за руки и, не давая опомниться, вытащили во двор. Там ее поставили лицом к стене. Она зажмурила глаза, не зная, что будет дальше, но все еще не веря, что ее могут расстрелять.

За спиной выстрелили. Сверху на голову посыпалась штукатурка. Она подняла руку, отряхивая волосы.

Раздался второй выстрел. Пуля просвистела над головой.

Вдруг ей стало страшно смерти. Ей показалось, что стоит она на морозе в одном легком платье и что ей очень холодно. Больше она уже не слышала выстрелов.

Валя очнулась в подвале. В маленькое окно проникал свет. Рядом с собой, на полу, она нашла миску с какой-то жидкостью и кусок хлеба.

Валя съела холодную похлебку, потом осмотрела себя, пощупала иголку, спрятанную в воротничке платья и

принялась зашивать разорванный рукав. Она шила, пока хватило нитки. Потом подумала, чем бы еще заняться. Бездействие и одиночество доводили ее почти до оцепенения.

Когда солдат в следующий раз принес пищу, Валя отказалась от нее, заявив, что объявляет голодовку.

Солдат ушел и вернулся лишь спустя несколько часов, опять с миской. Она повторила свое заявление.

Тогда ее перевели в другой подвал, с водой, доходившей до колен. Здесь было совершенно темно и можно было только стоять. Валя начала ходить, держась рукой за мокрую стену. Ее колени ударились о что-то твердое, плывущее в воде. Она стала щупать руками и поняла, что это труп. Она отшатнулась. Вскоре другой труп стукнулся о ее колени. Она перебралась к противоположной стене и прижалась к ней, зажмурив глаза. Она подумала, что может умереть в этом страшном подвале, силы оставляли ее.

Глава тринадцатая

По вечерам школа наполнялась народом. Здесь никто не жил за исключением старого молчаливого учителя Власа Власовича Григоренко, занимавшего крайнюю маленькую комнату, где прежде была кладовая. Влас Власович почти не покидал этого своего убежища. Говорили, что с тех пор, как бандеровцы убили его семью, он избегает людей, оставил свое село, свой дом, ничего не взяв из добра, и поселился здесь, выбрав самую крохотную и темную комнатенку, то ли из-за того, что в ней теплее, то ли чтобы не видеть дневного света. Однажды Григоренко появился в большой классной комнате, где обычно все собирались. Ему уступили место, но он не сел, а продолжал стоять, слушая рассказ Крутикова о Москве. Крутикову задавали вопросы, он обстоятельно отвечал каждому. Ему хотелось просто, доходчиво рассказать людям о Москве, о том, где он бывал и что делал до войны и как мыслит себе послевоенную жизнь. Но интересы слушателей были гораздо шире. Они хотели знать, каким будет после войны Польское государство, что станется с Германией. Слушатели интересовались решительно всем: и положением в Италии, и греческими делами; не верили Черчиллю и ругали польских эмигрантов в Лондоне. Люди, казалось, не мыслят своей жизни без демократических преобразо-

ваний на Балканах и обуздания фашистского диктатора в Испании. Крутиков, вначале относивший все эти вопросы к любопытству собравшихся, наконец, понял, что в вопросах, которые задаются ему, сказываются не праздные обывательские интересы, а что жители Гуты-Пеняцкой живут широкими общественными интересами, что для них вовсе не безразлично то, что происходит сейчас в Польше и других странах, что их симпатии всецело на стороне демократических сил, борющихся за национальное освобождение от фашистского варварства. «Стехова бы сюда,— подумал Крутиков.— Тут нашему замполиту было бы о чем поговорить». Но Стехов сейчас, наверно, где-то под Львовом, Крутиков же был здесь, в Гуте-Пеняцкой, представителем советской власти, Красной Армии, Москвы. И он, давно не видавший газет, оторванный от событий, говорил то, что сам он думал по тому или иному вопросу, и не боялся ошибиться.

Казимир Войчеховский обычно садился в стороне и вопросов не задавал: он подавал голос лишь тогда, когда обращались непосредственно к нему. Он как бы подчеркивал свою привилегию человека, имеющего возможность один на один поговорить с советским командиром, жившим у него. К тому же он имел радиоприемник; это обстоятельство тщательно им скрывалось даже от Крутикова. Крутиков, однако, узнал о приемнике. Он удивился скрытности своего хозяина. Он знал также, что у Войчеховского в отличие от его односельчан есть свои особые взгляды на события, расходившиеся с его, Крутикова, взглядами, но и об этом Войчеховский избегал разговаривать.

Крутиков понимал, что отчужденность и недоверие друг к другу были свойством этих людей, вынесенным еще из жизни прежней, из общества, где человек человеку волк.

Ночью, когда школа опустела и Крутиков с товарищами собирались итти по домам, к нему неожиданно подошел старый учитель.

— Если вы партизаны, почему вы здесь? — спросил он требовательно.

— Значит, надо, папаша,— отвечал Крутиков, открывая дверь наружу и впуская с улицы морозный пар.— Так уж привелось,— добавил он и тут же пожалел, что он так сухо ответил старику, но как сказать иначе — этого Крутиков не знал. Ведь не будешь рассказывать, что отправил

людей во Львов, что здесь их база, что приняты меры к розыску отряда...

И все же вопрос учителя озадачил Крутикова. Он возвращался к Войчеховскому с испорченным настроением. «Все не так,— думал он,— все не так. Живем в селе, сыты, не подвергаемся опасности, как мирные обыватели». По утрам Крутиков не раз наблюдал, как партизаны носят воду и колют дрова для своих хозяев. За этим ли надо было совершать переход, переносить лишения, терять товарищей?.. Он чувствовал, как кровь приливает к вискам.

На крыльце стоял Воробьев с дочерью Войчеховского. Они чему-то смеялись.

— Ступай к себе, — сказал Крутиков, проходя. — Герой войны!

Воробьев, чтобы показать свою «независимость», постоял еще с минуту и ушел. Девушка, вернувшись в комнату, нето с обидой, нето с удивлением посмотрела на Крутикова.

«Все не так, не так, — твердил себе Крутиков, стараясь осмыслить положение группы.— Для чего мы торчим здесь? В качестве базы... чьей? Пастухова и Кобеляцкого, с которыми нет связи?» Если бы не погиб Бурлак и не потеряй он рацию, все было бы иначе. Если бы не погибла Наташа, не отбились от группы Дроздовы... А теперь: задание командования не выполнено, связи нет.

«От командира ничего не будет»,— вспомнил он разговоры партизан перед тем, как они решили вернуться в Гуту-Пеняцкую. Это говорили те, кто хотел повернуть назад, и он согласился. Крутикову стало мучительно стыдно, когда он подумал, что формально они поступили правильно, у них почти не было возможности итти вперед, но разве в этом дело?

«Все-таки кто-то виноват, если срывается план,— думал Крутиков.— Надо было действовать. Не вышло одно, попробовать другое, третье, но не отступать, не отсиживаться от трудностей». Он вспомнил старика-учителя. За кого он их принял? За кого их могут принять мирные, честные люди? За дезертиров, за людей, спасающих свою шкуру. Разве можно сказать вот хотя бы этому старику-учителю, семью которого замучили бандеровцы,— разве можно ему сказать так, или почти так, как он, Крутиков, сказал давеча: «Мы не виноваты, папаша». Виноваты,

виноваты уже тем, что сидим здесь, и нам нечего сказать в свое оправдание.

В эту ночь Крутиков почти не мог заснуть.

Утром он вызвал к себе Воробьева и Харитонова и приказал им немедленно отправиться во Львов. Разведчики повторили приказание, откозыряли и через полчаса доложили, что готовы к отъезду. Крутиков дал им явки, снабдил инструкциями и сам проводил в путь.

Вскоре от них прибыло письмо. Из письма следовало, что дела идут успешно, хотя и есть затруднения с деньгами.

А спустя две недели вернулись и сами Харитонов с Воробьевым. Они доложили о своих действиях и о действиях Пастухова и Кобеляцкого. Спешный отъезд их из Львова был вызван массовыми репрессиями, начавшимися в городе после того, как неизвестным лицом был убит на улице вице-губернатор Галиции Отто Бауэр.

Глава четырнадцатая

По своим «удостоверениям» Пастухов и Кобеляцкий получили в Злочеве билет на львовский поезд. 21 января они были во Львове.

Был ленинский день — двадцатилетие — они вспомнили об этом еще накануне, в поезде. Теперь, идя по улице мимо немецких шинелей, мимо незнакомых и чужих людей, мимо витрин и подъездов, они вспоминали, где и чем бывала отмечена эта памятная дата, связывавшая их с Родиной, со всей их жизнью, прошлой и будущей.

Они быстро нашли дом по Жолкеевской улице, указанный в письме Войчеховского. Старик долго читал письмо, в котором сын писал ему, что надо принять и приютить его друзей. Наконец, он сложил письмо и сказал то, чего они от него ждали, что друзья сына могут на него положиться, пусть живут у него, он рад им помочь.

— А знаете,— сказал старик Войчеховский, собирая для них на стол,— сегодня какой особенный день? Не знаете? Ленинский день сегодня!

Как это сразу приблизило к ним старика! И как подняло дух обоих разведчиков! Свой человек сидел с ними за столом, человек, чтущий память Ильича. И думалось о том, что всюду в этом занятом врагом городе живут такие же, свои, родные люди, не смеющие сегодня в этом

признаться. И от этого сознания близости своих легче дышалось и радостнее казался завтрашний трудный день.

Наутро они столкнулись с большим для себя неудобством: к старику, который был по профессии портным, начали приходить клиенты. Комната была одна. Они подвергались риску.

Пришлось искать новое пристанище.

Нелегко постучаться в дверь, не зная, кто тебе откроет— свой или враг. Время суровое, кто знает, что сталось со старыми знакомыми, живы ли они и, если живы, то какую жизнь выбрали себе при немцах.

Дорожный инженер Руденко, давнишний знакомый и сослуживец Пастухова, выслушав скорее с любезностью, чем с участием их рассказ о том, как они эвакуировались из Ровно, и ни о чем не расспрашивая, предложил кров. У него на квартире жили два брата по фамилии Дзямба, Василий и Юлиан, он представил их гостям.

Все пятеро долго молчали, мялись, не зная о чем им говорить. Неловкость становилась невыносимой. Пастухов чувствовал под столом ногу Кобеляцкого, толкавшего его. Он задал ничего не значащий и ничем не мотивированный вопрос одному из братьев. Вопрос был о том, где и кем тот работает.

Юлиан Дзямба ответил, что работает в дорожном отделе кассиром и тут же добавил, что по профессии он педагог.

Пастухов прикусил губу. Это был вызов — начать разговор начистоту.

— Сейчас многие профессии перестали быть нужными,— сказал он неопределенно, но, встретившись глазами с Юлианом Дзямбой, добавил: — И наоборот, понадобились некоторые такие профессии, на которые раньше не было спроса.

Дзямба усмехнулся.

— Разве раньше не нуждались в кассирах? — спросил он.

— Я не имел в виду вашу сегодняшнюю профессию,— ответил Пастухов.

— Какую же вы имели в виду?

— Не нужны учителя,— сказал Пастухов, не сводя глаз с лица Дзямбы и видя, как оно сделалось серьезным.— Не нужны врачи,—проговорил он отрывисто и добавил: — Нужны могильщики.

— Ну, а ваша профессия, позвольте узнать, все та же, что была, или переменили? — спросил Руденко после молчания.

— Переменил,— последовал ответ.

— Вот как? И в каком направлении?

Тянуть дальше было бессмысленно. И Пастухов сказал, кто он.

Младший Дзямба, до сих пор молчавший, встал из-за стола, подошел сначала к Кобеляцкому, затем к Пастухову и пожал им руки.

За столом стало оживленнее. И Руденко, и братья Дзямба оказались своими. Кобеляцкий сказал им, что нужны квартиры и для других товарищей, которые могут прибыть во Львов. На это Руденко отвечал, что знает с десяток безопасных квартир, принадлежащих честным советским людям. Василий Дзямба предложил только одну квартиру, но зато, как он выразился, вполне обеспеченную, то-есть изолированную, с отдельным входом, с выходом из кухни на чердак. Пастухова это заинтересовало.

— А кто хозяин? — спросил он.

— Мой хороший товарищ,— ответил Василий.

— Может быть, скажете адрес?

— Улица Николая, двадцать три.

— В центре, значит?

— Так точно.

— А вы ручаетесь за вашего товарища? — спросил Кобеляцкий.

— Ручаюсь,— просто сказал Василий.

Преданный, скромный и, как видно, очень деловой, этот юноша внушал симпатию и доверие. Судя по всему, он давно искал случая связаться с партизанами.

Товарища, жившего на улице Николая, звали Дюник Панчак. Он был предупрежден Дзямбой и принял партизан сердечно. Панчак располагал к себе, подобно своему товарищу Дзямбе. Оба они относились к партизанам с нескрываемым уважением. В этом уважении было что-то от зависти и удивления людей, стоящих в стороне от борьбы, что-то даже от сознания своей вины в том, что они оказались в стороне.

Пастухов решил дать Панчаку задание.

Он поручил ему одно из тех дел, которые они с Кобеляцким себе наметили; дело, которое не входило в задание, взятое ими по собственной инициативе. Надо было собрать

как можно более полные данные о фашистских зверствах во Львове, поименно указать виновных, узнать, кто из украинских и польских националистов принимал участие в расправах, проследить, кто выпускает антисоветскую и антипольскую якобы «подпольную» газету, установить адреса. Нельзя было допустить, чтобы убийцы, насильники, организаторы «лагерей смерти», нанесшие незалечимые раны населению Львова, могли уйти от справедливого возмездия. Это был долг перед родным городом.

Сначала Панчак, затем Василий Дзямба и, наконец, один бывший польский офицер, присоединившийся к ним, начали вести это тайное, но справедливое следствие. То, что суд народа над фашистскими преступниками близок,— в этом они не сомневались.

Тем временем Пастухов и Кобеляцкий занимались своими делами. Прежде всего необходимо было добыть денег, чтобы приобрести подложные документы и тем самым легализовать свое пребывание в городе. В связи с притоком беженцев из Ровно жандармерия усилила наблюдение за квартирами, устраивая постоянные облавы и расправляясь с теми, у кого не было разрешения на жительство, хотя это все были люди, бежавшие от Красной Армии и, следовательно, имевшие «заслуги» перед оккупантами.

Скоро партизаны установили связь с Харитоновым и Воробьевым, которые были в таком же, как и они, положении, и предложили им организовать налет на немецкое учреждение, чтобы добыть денег на документы. Те не согласились. Произошли разногласия. Воробьев утверждал, что пойти на это значит уронить честь советского партизана. Харитонов с ним согласился. Пастухов же с Кобеляцким настаивали на своем предложении как на единственном способе выполнить задание. Шел стародавний спор о цели и средствах, и решить его оказалось им не под силу.

Возвращаясь с этого неудавшегося свидания, Пастухов и Кобеляцкий были ошеломлены неожиданной встречей. Когда они подходили к зданию городского театра, их остановил жандарм, приказавший перейти на другую сторону улицы. Театр был оцеплен. Вдоль тротуара стояло несколько автомобилей. Образуя вереницу, подъезжали все новые и новые машины. Одна из них — черный лакированный «оппель-адмирал» — резко затормозила, почти коснувшись их, когда они переходили улицу. Не дожидаясь, пока шофер найдет место для стоянки, находившийся

в «оппеле» офицер вышел из машины и, небрежно захлопнув дверцу, устремился к театру. Пастухов с Кобеляцким как стояли, так и застыли на месте, провожая глазами высокую фигуру в зеленой шинели.

Они узнали этого офицера. Это был Кузнецов. При мысли, что здесь Кузнецов, стало как-то радостно и легко на сердце. И хотя всякое свидание с Кузнецовым было исключено, они чувствовали рядом с собой сильного друга. Они были не одни, и сознание этого их воодушевляло, придавало сил.

Возвращаться домой не хотелось. Они пошли на вокзал. Это было одно из тех мест в городе, которые их особенно интересовали, сулили наибольший успех. В вокзальное здание не впускали без специальных документов. Они и до того не раз толкались в толпе на привокзальной площади; но проникнуть к вокзалу было нельзя. Все попытки их оказывались безнадежными. Сегодня, когда они очутились на площади, Пастухову неожиданно пришла в голову счастливая мысль. На площади то и дело появлялись рабочие с тачками, так называемые «возпори». Они имели свободный доступ в вокзальные помещения и на перрон. Кобеляцкий остановил одного такого возчика и строго спросил, на каком основании тот здесь крутится. Возчика смутила немецкая шинель Кобеляцкого. Он достал из-за пазухи «аусвайс» (разрешение) и патент. Кобеляцкий долго изучал обе бумажки и, наконец, швырнул их возчику, давая понять, что тот свободен. Итак, если запастись такими же двумя бумажками и тачкой, можно беспрепятственно действовать на вокзале.

Они возвращались, окрыленные смелыми планами. Дома их ждали Панчак и Дзямба со своим списком, пополненным новыми именами.

На следующий день по городу пронеслась весть об убийстве Бауэра и Шнайдера. Передавали, что утром, когда вице-губернатор в сопровождении Шнайдера собирался выезжать из дому, возле его особняка остановилась машина, из которой вышел человек в форме гауптмана. Он спокойно приблизился к Бауэру и Шнайдеру и спросил их фамилии. Получив ответ, он со словами: «Вы мне и нужны» — несколькими выстрелами убил обоих, после чего вскочил в машину и скрылся.

Пастухов и Кобеляцкий ликовали. Они садились в трамваи, ходили по рынку, прислушиваясь к разговорам



Ян Каминский

и ловя все новые и новые подробности. Загадочный гауптман был в центре внимания, и они испытывали такую гордость, какой, пожалуй, не мог бы испытать даже сам Кузнецов, появись он сейчас в толпе. Для всех оставалось загадкой, зачем понадобилось этому смельчаку спрашивать у вице-губернатора фамилию. Пастухов и Кобеляцкий это-то хорошо понимали.

Как и при каких обстоятельствах было совершено убийство — этого ни Пастухов, ни Кобеляцкий не знали. Слухи, какие носились по городу, раскрывали все новые и новые подробности.

Накануне вечером, в театре, где шло совещание немецкой администрации Галиции, Кузнецов, проникший туда, намеревался застрелить губернатора Вехтера, но не смог приблизиться к президиуму. Дождавшись конца совещания, он вышел из театра и стал ждать на улице. Губернатор и его заместитель сели каждый в свою машину. Не зная, который из них Бауэр и который Вехтер, Кузнецов поехал наугад следом за одним из них. Машина остановилась возле музея имени Ивана Франко. Напротив музея находился особняк владельца машины. Кузнецов заметил место и уехал.

На следующий день машина Кузнецова, проезжая мимо музея имени Франко, неожиданно «испортилась». Белов вышел из машины и начал копаться в моторе. Кузнецов тоже вышел из машины и принялся громко по-немецки бранить шофера.

— Вечно у вас машина не в порядке. Вы лентяй, не следите за ней. Из-за вашей лени я опаздываю...

Он видел, как на противоположной стороне, к особняку, подкатила комфортабельная машина.

Ровно в десять часов утра из особняка вышли двое. Шофер выскочил из кабины и услужливо открыл дверцу. Но в эту минуту к машине подошел Кузнецов.

— Вы доктор Бауэр?

— Да, я Бауэр.

— Вот вы мне и нужны!

Несколькими выстрелами он убил обоих. Затем бросился к своей машине. Пока он бежал, Каминский и Белов открыли огонь по часовому, стоявшему у особняка.

Машина пронеслась по улицам Львова за город.

Крутиков еще и еще вчитывался в строки газеты, принесенной Харитоновым и Воробьевым. Этот газетный листок был их оправданием, их ответом на суровый вопрос Крутикова: «Почему вернулись?» Газета была немецкая, на украинском языке, называлась «Газета Львивська». Некролог появился в ней лишь 13 февраля, на четвертый день после акта возмездия. Он был подписан губернатором Галиции Вехтером. Начинался он так:

> «9 февраля 1944 года вице-губернатор д-р Отто Бауэр, шеф правительства дистрикта Галиция, пал жертвой большевистского нападения. Вместе с ним умер его ближайший сотрудник, испытанный и заслуженный начальник канцелярии президиума губернаторства дистрикта Галиция ляндгерихтсрат д-р Гейнрих Шнайдер. Они погибли за фюрера и империю»

Тщетно искал Крутиков в газете упоминания о совершившем покушение «неизвестном». О нем нигде не было ни слова. И это было верным признаком того, что ему удалось благополучно скрыться.

Да, это было именно так: неизвестному патриоту удалось скрыться. То, о чем промолчала фашистская газетка во Львове, сделалось достоянием всех телеграфных агентств и радиостанций мира.

Советские люди прочли это сообщение 15 февраля 1944 года в «Правде» и накануне 14-го слышали его по радио.

> «Стокгольм. По сообщению газеты «Афтенбладет», на улице Львова среди бела дня неизвестным, одетым в немецкую военную форму, были убиты вице-губернатор Галиции доктор Бауэр и высокопоставленный чиновник Шнайдер. Убийца не задержан».

В эти дни, в середине февраля, я лежал в московском госпитале.

Сразу же после нашего последнего боя (мне пришлось командовать им лежа на повозке, через связных) прибыла

новая радиограмма от командования — снова приказ. Мне предписывалось немедленно возвращаться в Москву, передав командование Стехову.

Вместе со мной в санитарной машине поехали Коля Маленький и раненые, в том числе Цесарский.

Лишь много времени спустя узнал я о том, каким образом стало известно командованию о моей болезни. Я нашел радиограмму, которую по собственной инициативе, вопреки моему запрещению, отправила в Москву Лида Шерстнева.

После жизни, полной борьбы и опасностей, я оказался в тишине и покое. Дел никаких. Кругом ни души. Только время от времени зайдет в палату врач или наведается сестра. Никогда не было мне так тоскливо, как теперь. Единственное утешение — это ежедневно свежие газеты и возможность слушать радиопередачи, не опасаясь, что нехватит питания для рации. Целыми днями во всех мелочах и подробностях я вспоминал нашу жизнь в тылу врага. И странно: насколько тогда, в ходе борьбы, мне казалось все недостаточным, мелочным, теперь, когда я мысленно составлял отчет командованию, все мне представлялось значительным, заслуживающим серьезного внимания.

Мы передали командованию много ценных сведений о работе железных дорог, о переездах вражеских штабов, о переброске войск и техники, о мероприятиях оккупационных властей, о положении на временно оккупированной территории. В боях и стычках мы уничтожили до двенадцати тысяч гитлеровских солдат, офицеров и бандитов — предателей Родины. По сравнению с этой цифрой наши потери были незначительны: у нас за все время было убито сто десять и ранено двести тридцать человек. Мы поднимали советских людей на активное сопротивление, взрывали эшелоны, мосты, громили немецкие хозяйства, предприятия, склады, разбивали и портили автотранспорт врага, убивали фашистских главарей.

И по нескольку раз в день я вспоминал Николая Ивановича Кузнецова. Где он теперь? Что делает? Встретился ли во Львове с Валей?

И вот я получил о нем весточку.

Я лежал с наушниками и слушал последние известия по радио. Без десяти минут двенадцать диктор прочел сообщение из Стокгольма.

Да, это весточка о нем, о Николае Ивановиче! С поразительной отчетливостью — слово в слово — вспоминаю я теперь свой последний разговор с ним, перед отъездом его во Львов.

— Не задержан! — повторяю я слова передачи и силюсь подняться с постели.— Не задержан! ..

После этого акта возмездия во Львове создалась чрезвычайно напряженная обстановка. Жандармерия свирепо расправлялась со всеми, кто казался сколько-нибудь подозрительным. Оставаться в городе без документов становилось опасно. Тогда-то Харитонов и Воробьев покинули Львов и уехали в Гуту-Пеняцкую.

В ночь на 14 февраля в квартире Панчака раздались звонки.

Сомнений не оставалось. Наскоро собравшись, Пастухов и Кобеляцкий кинулись в кухню, к лестнице, ведущей на чердак. Тем временем звонки продолжались. Начали колотить в дверь. Панчак в одном белье стоял посреди комнаты, не решаясь открыть. Наконец, он собрался с духом и пошел к двери. Он не рассчитал. Пастухов и Кобеляцкий были еще на лестнице. Они поднимались очень медленно, так как деревянные ступеньки скрипели. Дверь на чердак еще не была открыта, когда в квартиру ворвались эсэсовцы.

Украинский полицейский, шедший вместе с эсэсовцами бросился в кухню с фонарем в левой руке и с пистолетом в правой. Когда он осветил лестницу, Пастухов выстрелил. Полицай грохнулся на пол. От неожиданности фашисты бросились вон из квартиры. Выбравшись на улицу, они открыли стрельбу по крыше и по окнам. Панчак, Кобеляцкий и Пастухов были уже на чердаке. Они выбрались через слуховое окно на крышу и стали искать, где бы можно было спуститься, надеясь перебраться в другой квартал и там скрыться до утра.

Сделать это не удалось. Через двадцать-тридцать минут весь квартал был оцеплен жандармерией.

Тогда все трое стали пробираться по крышам. Неподалеку был дом, в котором, как утверждал Панчак, жили одни немцы. Проникнув на чердак этого дома, они, наконец, свободно вздохнули.

Но надо было уходить и отсюда. У них не было ни спичек, ни фонаря. Пришлось искать дверь наощупь. Наконец, нашли ее. Она оказалась запертой.

На улицах тем временем шла стрельба. Жандармы прочесывали весь квартал, забрасывали гранатами подвалы, давали автоматные очереди по чердакам. Были обысканы все квартиры, подвалы, сараи. Заодно происходил грабеж.

К рассвету все следы на крышах занесло снегом. Дом, где они скрывались, обследованию не подвергался. Итак, они в безопасности.

Чтобы выбраться с чердака, пришлось вынуть дверь вместе с дверной колодой, которая, к счастью, не была плотно заделана в кирпичную кладку. Дождавшись сумерек, они втроем осторожно спустились во двор, перелезли через забор и другим двором вышли на улицу. Панчак был в одном нижнем белье. Пастухов дал ему свое пальто, снял с себя портянки, которыми Панчак обмотал ноги, и они разошлись в разные стороны: Панчак к Дзямбе, Пастухов и Кобеляцкий — к Руденко.

После происшествия на улице Николая за ними стали нередко следить тайные агенты жандармерии. Одного такого фараона Пастухов водил за собой три часа. Решив, наконец, избавиться от него, он направился к Краковскому базару, оттуда к развалинам еврейского квартала, завернул на узкую и темную улицу Старова. Притаившись за углом, дождался, когда тот появится, и выстрелил в упор.

Пастухов и Кобеляцкий жили теперь на квартире у стариков Шушкевич, по улице Лелевеля, 17. Они работали возчиками на вокзале. Старики и знали их как возчиков. Возки стояли тут же, в коридоре. Их купили, вместе с разрешением и патентом, на деньги, собранные братьями Дзямба и инженером Руденко. Нет, они не были одиноки!

Я забыл сказать о списке Панчака. Он, этот список, был оставлен в квартире по улице Николая. Но Василий Дзямба хранил копию. Она была передана Пастухову, дополнена им и Кобеляцким и в свое время предъявлена правосудию.

Глава пятнадцатая

В восемнадцати километрах от Львова, в селе Куровица, черный «оппель-адмирал» был остановлен пикетом фельджандармерии.

Сухопарый майор долго рассматривал документы, протянутые ему через окошко машины.

— Герр гауптман,— проговорил он озабоченно и как бы извиняясь,— мне придется попросить у вас дополнительных документов.

Кузнецов побагровел. Резким движением протянул он овальный жетон со свастикой и номером, прикрепленный цепочкой к поясу.

— Может быть, этого с вас достаточно?

— Нет,— сказал майор все тем же извиняющимся тоном.— Я попрошу каких-нибудь дополнительных свидетельств.

Было ясно, что он предупрежден.

Стараясь быть спокойным, Кузнецов схватил автомат, дал очередь. Майор упал. Вслед за ним повалилось на землю еще четверо. Остальные в панике разбежались. Кузнецов наклонился к мертвому майору и забрал свои документы.

Белов уже включил мотор. Машина ждала.

— Бросай машину! — крикнул ему Кузнецов.— В лес!

Это был единственный выход.

Они шли лесом несколько часов и, наконец, набрели на подводу, везущую хворост. Возчик был одет в форму полицая.

— Вези! — крикнул Кузнецов, взобравшись на подводу и сбрасывая хворост.

Полицай не стал упираться, когда увидел направленный на него пистолет. Подвода тронулась.

Кузнецов рассчитывал найти отряд в Гановическом лесу. На третьи сутки бесплодных поисков разведчикам встретились евреи-беженцы. Группы скрывавшихся от фашистов людей часто попадались в лесах и, если встречали партизан, то вливались в отряды, как это бывало у нас в Цуманских и Сарненских лесах.

Завидев немецкого офицера, люди пустились бежать.

— Стойте! — кричал Каминский. — Мы свои! Стойте!

Но беженцы только ускорили шаг.

Пришлось броситься за ними вдогонку.

Убедившись, что они имеют дело с советскими партизанами, беженцы привели их к себе в землянки и устроили на ночлег.

И вот ночью, сквозь дремоту, Кузнецов услышал поразительно знакомую мелодию и, уловив слова песни, вскочил и бросился к поющему. Это был средних лет че-

ловек, страшно худой, в широком плаще из прорезиненной материи, который раздувался вокруг него и делал его похожим на колокол. Человек пел:

Запоем нашу песнь о болотах,
О лесах да колючей стерне,
Где когда-то свободный Голота,
С вихрем споря, гулял на коне...

— Откуда вы ее знаете, эту песню? — взволнованно спросил Кузнецов.

— У партизан слышал,— отвечал человек-колокол.

— У каких партизан?

— А тут есть поблизости.

— Отряд?!

— Ну как вам сказать — отряд не отряд, а человек сто наберется.

— Сто? — переспросил Кузнецов разочарованно.

— Почти все местные,— продолжал Марк Шпилька (так звали беженца).— Крестьяне. Человек сто, не больше.

— А это точно? — допытывался Кузнецов.— Если вы знаете, что это советские партизаны, почему тогда не идете к ним?

— Собираемся переходить линию фронта,— следовал ответ.

На утро Шпилька сам вызвался быть проводником. К нему присоединился его приятель, по имени Самуил Эрлих. Они сказали остальным, что перейти линию фронта всегда успеют, а сейчас надо помочь ее приблизить; оставили товарищам старую винтовку, которая была у Эрлиха, письма — на случай, если не дойдут раньше их, и тронулись в путь вместе с Кузнецовым, Каминским и Беловым.

Партизаны настороженно встретили немецкого офицера, о котором предупредили вышедшие вперед проводники. Никакой другой одежды у Кузнецова не было и не могло быть. Под конвоем все пятеро были доставлены к шалашу, где, видимо, жил командир. Здесь их остановили, и старший конвоя, оглядев себя и приосанившись, направился в шалаш и тут же вышел оттуда, пропуская вперед коренастого человека, одетого в тяжелый овчинный тулуп, какой бывает на сторожах.

— Николай Иванович!

— Можно быть свободным? — на всякий случай спросил старший конвоя, когда Приступа отпустил из своих объятий Кузнецова и перешел к Каминскому.

— Вот судьба! — ахал Приступа, улыбаясь.— Вот это встреча! — говорил он, толкая Дроздова, как будто тот не понимал значения этой встречи.

Они сидели в шалаше, рассказывая друг другу о пережитом, стараясь воссоздать картину во всей полноте, повторяясь и переспрашивая. Когда Кузнецов сказал, что видел Пастухова и Кобеляцкого во Львове, Дроздов и Приступа облегченно вздохнули. Это было все, что они могли узнать о своих спутниках.

Многое оставалось неизвестным.

— Послушай, Приступа,— сказал Кузнецов неожиданно,— а помнишь, в отряде девушка была, лесничего дочь...

— Валя? — спросил Приступа.

— Я вот думаю,— продолжал Кузнецов,— где она теперь может быть.

— Она ведь у тебя в Ровно работала? — вспомнил Приступа.— Ну, стало быть, эвакуировалась.

— Смотря какой приказ был, — заметил Белов. — Ежели приказ эвакуироваться, то, стало быть, во Львове она.

— Она бы меня там нашла, — проговорил Кузнецов.

— Ну это, брат, необязательно,— возразил Приступа.

— Нашла бы. Она знает адрес сестры Марины.

— Вместе ехать куда собираетесь?

— Да вот думаем.

— В Крым хорошо,— задумчиво произнес Дроздов.

— Нет, друг, мы не в Крым поедем, мы — на Урал, на родину ко мне.

— Мы до войны с Женей в Крым ездили, в Ялту,— сказал Дроздов и замолк.

— Так она ждет, говоришь? — спросил Приступа, продолжая разговор.

— Ждет. А я, понимаешь ли, вместо того чтобы к ней навстречу, бегу дальше.

— Ну, теперь-то ты...

— Что — теперь? Теперь как раз самое время мне в дальнем тылу быть, у гитлеровцев.

— Это где же?

— А хотя бы в Кракове. Хорошо? Ты как думаешь?

До этого разговора Приступа не сомневался в том, что Кузнецов останется в их отряде. Он уже предвкушал, какие дела совершит отряд, заполучивший такого знаменитого разведчика, каким был Кузнецов. Теперь эта надежда рушилась.

— Гм! — произнес Приступа.— Это как же понимать? А я, Николай Иванович, думал, что вы с нами остаетесь.

— Нет, друг, не могу,— сказал Кузнецов. — У меня есть свое, очень серьезное задание, если я не исполню его, то после хоть не живи.

— Вы уходите и товарищей с собой забираете?

— Придется...

— Ну, вот, — разочарованно протянул Приступа. — Видишь, Вася,— обратился он к Дроздову,— что значит радиостанции не иметь: не хотят люди оставаться!

— Не в том дело,— возразил Кузнецов.— Вы на меня не обижайтесь, товарищи! Я должен итти потому, что мне нужно как можно скорее попасть к нашим, а там, я надеюсь, удастся приземлиться на парашюте где-нибудь, хотя бы в том же Кракове или где подальше. Там, надо полагать, слетелись сейчас крупные хищники. Если им во-время не отрубить лапы, то, кто знает, может случиться так, что с помощью нашего «приятеля» Черчилля или другого такого же матерого зубра преступники останутся на свободе, даже будут процветать.

— Это верно, Николай Иванович, — согласился Дроздов.— Только, говоря по правде, жаль нам отпускать вас. Но это дело личное, а так я от всей души желаю вам удачи и счастливой звезды.

Кузнецова, Каминского и Белова взялись сопровождать те же двое беженцев — Эрлих и Шпилька, которые привели их в лагерь Приступы.

На рассвете все пятеро были готовы к походу. Покуда Приступа напутствовал проводников, Дроздов занимался, как он выразился, интендантской службой, и вскоре парнишка-партизан принес от него два самодельных рюкзака с продовольствием. Кузнецову пришлось их взять.

— Ну, бывайте,— сказал Приступа, когда обменялись рукопожатиями.

— Бывайте и вы,— отвечал Кузнецов.

В это слово вкладывали все, чего желали друг другу на прощанье: счастливого пути, удачи, скорой победы.

— Да,— сказал Кузнецов в последний момент, — девушке этой, Вале, если раньше меня ее увидите, скажите: привет, мол, передавал Кузнецов. Не забудете?

Валя в это время лежала без сознания, в тифу. Это было в Злочеве, куда ее вывезли вместе с другими заключенными. Потом, когда она поправилась, ее перевели во Львов где продолжались допросы, с каждым днем становившиеся все более жестокими.

Однажды рассвирепевший гестаповец так вышвырнул Валю из кабинета, что она, ударившись о дверь, распахнула ее и скатилась с лестницы. Девушку уволокли в новую камеру, где лежали больные. У нее оказалась раздробленной кость ноги.

Она не запомнила ни комнаты, в которой ее допрашивали, ни камеры, где пролежала пять недель, ни того, что было с нею после. Ей было безразлично, где она, что с ней и что ее ждет. Она была в том полуобморочном забытьи, когда человека покидают и восприятие окружающего, и страх смерти, и способность бороться. Два слова — «не знаю» — сопутствовали теперь всей ее жизни, стали единственной целью этой жизни, ее смыслом.

Впоследствии, вспоминая об этих страшных месяцах, прожитых в гестаповских застенках, Валя повторяла это затверженное ею магическое «не знаю» и однажды, как бы расшифровывая для нас его значение, сказала, что судьба Кузнецова была для нее дороже ее собственной. Но и эти слова кажутся лишь бледной тенью той великой мысли или, лучше сказать, идеи, которая возникла в сознании этой восемнадцатилетней девушки в тот момент, когда она, не думая сама об этом, совершала свой героический подвиг.

Ничего не добившись от Вали, гестаповцы все же решили, что и убивать ее пока не стоит. Очевидно, они рассчитывали, что рано или поздно удастся получить у нее показания и, таким образом, напасть на след неуловимого разведчика.

В том, что он во Львове, гестаповцы не сомневались. Убийство Бауэра было тому красноречивым свидетельством. Не сомневались они и в том, что эта хрупкая, слабая девушка, упрямо повторяющая свое «не знаю»,— что она знает, отлично знает львовский адрес Зиберта. Что только не предпринималось ими, чтобы вырвать из валиных уст этот адрес... Угрозы, посулы, пытки... Но не

было в мире таких средств, которые заставили бы ее сказать то, чего они от нее добивались.

Во Львове шла лихорадочная эвакуация. Заключенных в тюрьме убивали десятками. Та же участь ждала и Валю. Но последовал приказ откуда-то сверху: эвакуировать на запад для продолжения следствия. Так ее собственная стойкость спасла ей жизнь.

Ее везли все дальше и дальше на запад, и к середине лета она оказалась в Мюнхене, в тюрьме. Отсюда ее, вместе с партией заключенных, среди которых были русские, чехи, французы, болгары, послали на земляные работы. Она бежала из лагеря. Это было уже в начале 1945 года. Гитлеровская Германия доживала последние дни. Около двух месяцев Валя пробиралась на восток, днем скрываясь от людей, а ночью продолжая свой путь,— она шла навстречу Красной Армии.

Тут ее ждали новые испытания. Она оказалась в американской зоне оккупации и не могла оттуда выбраться. Тщетны были все просьбы и уговоры: ее не отпускали к своим. Тогда она решилась на побег — второй в своей жизни. Ей казалось, что появись еще новое препятствие, то она не выдержит— это был предел. И когда — впервые за много времени — увидела она фуражку с красной звездочкой, увидела гимнастерку с погонами — погон на наших военных она еще не видала,— когда, наконец, ей ласково протянул руку советский офицер в приемной комендатуры,— слезы покатились по ее лицу, и она не закрывала лица, она вспомнила, что уже очень, очень давно не плакала, кажется, с того дня, как убили ее отца...

Глава шестнадцатая

В ночь на 10 апреля 1944 года советские самолеты совершили первый налет на Львов.

В эту ночь с чердака дома № 17 по улице Лелевеля подавались сигналы электрическим фонарем. Кто-то настойчиво призывал летчиков сбросить бомбы именно сюда, на улицу Лелевеля, или на соседнюю улицу Мохнатского, или рядом, на улицу Колеча.

И один из самолетов спикировал на сигналы, сбросил парашют с термитной свечой, а затем начал бомбить весь район. Бомбы попали в немецкий склад на улице Лелевеля, разбили казармы на улице Мохнатского, разрушили

здание СС-жандармерии на улице Колеча, немецкую типографию на улице Зимарович. На улицах сгорело несколько автомашин.

После этой бомбежки кое-кто из жильцов дома № 17 по улице Лелевеля стал проявлять усиленный интерес к двум молодым людям — постояльцам стариков Шушкевич: почему этих двух не было вместе со всеми в подвале во время тревоги?

— Ну вас с вашим подвалом! — сказал один из них в ответ на прямой вопрос соседа.— Дом такой старый, что всех вас в вашем подвале когда-нибудь засыплет...

На следующий раз во время воздушной тревоги он и его товарищ все-таки спустились в убежище и сидели там вместе со всеми жильцами до тех пор, пока бомбежка не кончилась.

В городе можно было услышать много добрых слов по адресу советских летчиков. Оба раза они работали безукоризненно. И оба раза заранее предупреждали население листовками о предстоящей бомбежке.

Пастухов и Кобеляцкий испытывали торжествующую радость победителей. Им хотелось поделиться своим чувством с людьми, обнять первого встречного человека и сказать ему, что наши близко, чтобы он не отчаивался, а лучше подумал, как бы уничтожить побольше фашистов; хотелось бежать по городу, возвещая людям близкое освобождение.

Но это праздничное состояние длилось недолго. Оно требовало активности, действия и зримого результата, они же были заняты исключительно наблюдением, разведкой, делами мало ощутимыми. И праздничный подъем сменился острым чувством неудовлетворенности.

Пастухову первому начала изменять выдержка. Однажды вечером на улице Корольницкого между ним и Кобеляцким произошла стычка. Начал Кобеляцкий. Он сказал что-то о том, что его не удовлетворяет их работа. Пастухов раздраженно выругался и сказал, что пойдет сейчас и будет бить немцев без разбора.

— Стой! — почти крикнул Кобеляцкий, схватив друга за рукав.

— Да пусти ты меня! — и, вырвавшись, Пастухов побежал вперед, заметив фигуру немца.

— Стой,— повторил Кобеляцкий, уже без надежды, что Пастухов остановится.

По обе стороны улицы на тротуарах стояли в ряд автоприцепы. Кобеляцкий видел, как, догнав фашиста, Пастухов пропустил его в проход между домом и автоприцепом и затем ринулся туда же. Раздались один за другим два выстрела.

Искать Пастухова на улицах не было смысла, и Кобеляцкий решил итти домой, ждать там. Он был раздосадован поступком друга, видя в этом поступке больше мальчишества, чем настоящей храбрости. И все же, когда на углу улицы Лелевеля он был остановлен рукой Пастухова, легшей ему на плечо, он неожиданно для себя восхищенно пожал эту руку.

— Ты, извини, Миша,— сказал Пастухов миролюбиво и виновато.— Больше этого не будет...

И тут же поправился:

— Вернее сказать — будет, но делать будем вместе. Добре?

— Оружие взял? — переходя на деловой тон, спросил Кобеляцкий.

— Есть,— сказал Пастухов, беря его под руку. — Кольт.

— А документы?

— Документы не успел.

— Что это за фашист был?

— Майор какой-то.

— В следующий раз, значит, действуем на-пару?

— Обещаю тебе.

— И без этого, без лихачества. Без озорства.

— Пожалуй,— согласился Пастухов.— Но и с оглядкой тоже не пойдет дело... В общем, договорились.

Назавтра они вновь занялись каждый своим обыденным делом. Кобеляцкий наблюдал за прокладкой телефонного кабеля, Пастухов исследовал подземное хозяйство в районе вокзала.

Так прошло несколько дней. Оба работали с утра до ночи, не давая себе отдыха. Возвращались домой разбитые и довольные, ставили в передней свои тачки, молча ужинали. Стелили на полу матрац, ложились, укрывшись шинелью Кобеляцкого и модным пальто Пастухова. Ждали, пока уснут хозяева. Потом начинали тихий разговор.

— На вокзале полно народу,— рассказывал Пастухов.— Уже бежать начинают.

— Эх, сюда бы взрывчатку! — отзывался Кобеляцкий.

— За штабом следил?
— А как же.
— Ну, что?
— Взрывчатки нет, а то бы...
— Ты говорил, у тебя где-то генеральская квартира на примете?
— Есть. Рядом со штабом.
— Ты следи.
— Я слежу. Послушай, Степан, а ведь можно достать динамит...
— Где?
— У подпольщиков.
— Ты что, связался с кем?
— Еще нет.
— И не пробуй.
— А как же быть?
— А так. Сделаем, что сможем. А засыплемся, так и этого не сделаем.
— Надо осторожно.
— Как осторожно? Ты хоть кого-нибудь знаешь? Нет. Я знаю? Нет.
— А Руденко, Дзямба, Панчак?
— А где они возьмут для тебя динамит? Я предлагаю другое: возьмем взрывчатку у немцев.
— Как?
— Надо подумать.

И они ломали голову над этим вопросом, но так ничего и не могли придумать. Оба военных склада, известные им, усиленно охранялись, да и нельзя было предвидеть, в каком из них находятся именно взрывчатые вещества. Можно было притти в отчаяние от мысли, как много из-за этого теряется. Пастухов знал все подземные ходы. Он мог взорвать почти любое здание в городе.

Как-то среди дня, когда они не условились о встрече, Кобеляцкий разыскал Пастухова в районе вокзала.

— Пошли! — многозначительно сказал он.
— Куда? — неохотно отозвался Пастухов. Он стоял, прислонясь к столбу и провожая глазами немецкого полковника, шедшего к вокзалу. В нем снова назревало то раздражение, которое уже однажды заставило его очертя голову броситься на первого встречного гитлеровца.
— Идем! — повторил Кобеляцкий, беря его под руку.— В Стрийский парк мины завозят.

Спустя короткое время они были в Стрийском парке. Молча они поднимались в гору — мимо деревьев, уже покрывшихся листвой, мимо всего, чем напоминала о себе весна, прихода которой они так и не заметили. Налетел ветер, деревья зашумели над головой, тонкой складкой побежала волна на озере. Они шли, не оглядываясь, сосредоточенные на одной единственной мысли.

— Стой,— сказал, наконец, Кобеляцкий.

Справа виднелись штабели ящиков.

Склад окружала колючая проволока. Только что они подошли, как послышался шум автомашины. Партизаны притаились за деревьями. Грузовик прошел мимо и остановился у будки часового. Вышедшие солдаты начали выгружать из кузова ящики. «Минен», — прочел Пастухов немецкую надпись, сделанную черной краской по трафарету. «Взять»,— подумал он и сделал пальцами знак Кобеляцкому. Тот ответил едва заметным жестом. Взгляд его выражал сомнение. Пастухов повторил свой знак: «взять». «Куда?» — говорил всеми движениями лица и рук Кобеляцкий. «В самом деле: куда? — подумал Пастухов, — Далеко не уйдешь». Он стиснул руками ствол дерева, за которым стоял, чувствуя, как цепенеет от досады и злости.

Так они стояли оба, не решаясь действовать наобум, без шансов на успех, и в то же время не в силах уйти прочь.

Появление колонны немецких солдат вывело их из этого состояния. Пришлось быстро выбираться и уходить подальше от склада.

Так они окончательно убедились, что нечего и думать о совершении диверсий вдвоем, что их удел — разведка, и что если они хотят принести действительную пользу, то одной разведкой и следует заниматься, отбросив мечты о чем-то большем.

Но с этой мыслью не хотелось мириться.

— Постой,— сказал Пастухов, когда впереди, за оградой парка показались дома Стрийской улицы.— Тут должны быть казармы.

— Есть,— подтвердил Кобеляцкий, уже потерявший было надежду, но теперь вновь почувствовавший в словах товарища обещание.— Остановимся?

После нескольких минут наблюдения за главной аллеей стало ясно, что немцы пользуются этой дорогой, сокращая себе путь в казармы.

Начало смеркаться.

— Помни уговор,— сказал Кобеляцкий: — В одиночку не действовать — раз и чтобы действовать обдуманно — два.

— Ну, давай, обдумывай.

— А я обдумал,— ответил Кобеляцкий, и оба замолкли.

Когда на аллее показалась фигура немца, по всем признакам, офицера, Кобеляцкий шепнул другу:

— Пойти поглядеть, в каких чинах. Ты будь готов.

Он свернул на аллею, остановился, дал офицеру приблизиться, пропустил его. Потом пошел за ним следом. Офицер, услыхав шаги, обернулся. Тогда Кобеляцкий выхватил кольт и дал два выстрела в упор.

Подлетел Пастухов.

— Подполковник,— прошептал он, склоняясь над трупом и забирая оружие. Он принялся было обшаривать одежду убитого, рассчитывая взять документы, но услышал предостерегающий шопот Кобеляцкого: слов он не разобрал. Подняв глаза, он увидел, как большая группа солдат сворачивает на аллею. Надо было уходить. Кобеляцкий уже полз вперед по направлению к казармам.

Они встретились на Стрийской улице и пошли рядом. Обогнули парк и вышли к остановке трамвая. Стоять здесь было рискованно. Они пошли по безлюдной улице, вдоль трамвайной линии, и так шагали, пока не услышали за спиной звенящий грохот трамвая. Это шел «десятый». Они остановились, подождали и, побежав навстречу вагону, на ходу вскочили в него.

Теперь они были в безопасности, но и это не принесло облегчения. Порыв, владевший ими в парке, тревога, сменившая его, наконец, удачный отход — все это только на короткое время заслонило собой гнетущее чувство неудовлетворенности, разочарования и бессилия, которое их не покидало. Теперь, в трамвае, как только улеглось волнение, это чувство поднялось с новой силой.

Ночью Пастухов поднялся.

— Куда ты? — спросил не спавший Кобеляцкий.

— Пошли на улицу,— пригласил Пастухов.

— Брось, — снова сказал Кобеляцкий. — Ложись спать!

Пастухов сел. Они закурили.

— Слушай, Степан,— начал Колебяцкий после молчания.— Ты слышишь?.. Я лежал и думал скоро Первое мая.

— Ну?

— Наши, наверное, поздравят немцев с праздником. Налет, я думаю, будет.

— Попробовать еще разок с фонарем?

— Ага. Но знаешь где? На вокзале.

Эта возможность придала им бодрости. Наутро они были со своими тачками на вокзальной площади. Теперь они точно знали свою ближайшую цель: надо найти удобное место для сигнализации.

Место это вскоре было найдено, но воспользоваться им так и не пришлось. Уже в первые минуты налета, когда Кобеляцкий с Пастуховым только ринулись к лестнице, чтобы попасть наверх, советский бомбардировщик нашел здание вокзала и спикировал на него. Началась бомбежка.

В этот день с львовского вокзала отправлялось несколько эшелонов с немецкими солдатами, лошадьми и автомашинами на фронт, под Тарнополь и Броды. Кобеляцкий, строивший самые смелые планы в отношении этих эшелонов, но сдерживаемый Пастуховым, который после вылазки в Стрийский парк смотрел на вещи все более трезво и мрачно, предлагал свой очередной вариант, не более реальный, чем все прежние. Они шли по перрону, среди украинских националистов, отправлявшихся куда-то на запад, среди немецких офицеров, которым приходилось уступать дорогу. Сознание бессилия было невыносимым. Вдруг Пастухов, рассеянно слушавший Кобеляцкого, толкнул его локтем, заставив обернуться. Сзади них шел со свитой немецкий генерал. Они остановились, пропустили эту группу и пошли следом за ней в здание вокзала.

В этот момент и начался налет советской авиации.

Не объявлялось никакой тревоги. Бомбардировщики— сначала один, за ним другой, третий — беспрепятственно сбрасывали свой груз.

— Молодцы ребята! — восторженно шептал Кобеляцкий, стискивая руку друга.— Правильно! — говорил он с каждым новым удачным попаданием.

На путях пылали вагоны, метались люди и лошади, все с ревом и визгом бежало от пламени, а пламя передавалось все дальше, охватывая склады, вагоны, платформы с танками и автомашинами. Бомбы продолжали рваться. Горели все три эшелона, приготовленные к отправке. В вокзальном здании стояла толчея и неразбериха. Солдат набивалось все больше и больше. Толпа стремилась пробить-

ся к выходу и сама же его закупоривала. Животный инстинкт гнал каждого куда-то в воображаемое место спасения, и никакое другое чувство, никакая дисциплина не могла взять верх над этой звериной потребностью спастись. От пожара в зале становилось дымно, движение в толпе усиливалось еще больше. Часть людей, сминая друг друга, бросилась обратно на перрон. Послышались выстрелы, и вслед за этим что-то оглушительно грохнуло. Потух свет.

Держась за руки, чтобы не потерять друг друга, и освещая себе путь карманными фонарями, Пастухов и Кобеляцкий продолжали итти за генералом. Офицеры из генеральской свиты отдавали какие-то распоряжения, вокруг них толпился народ. Наконец, немцы устремились в подземные тоннели.

В это время бомба большого калибра попала в тоннель, завалив его, и тогда началась еще большая паника.

— Где генерал? — уже не шепнул, а крикнул Кобеляцкому Пастухов.— Не теряй генерала!

Кобеляцкий вырвался вперед и кинулся искать генерала. Он нашел его около билетных касс, несколько раз выстрелил в упор и тут же был подхвачен толпой и вместе с ней вынесен на улицу через главный выход.

Между тем бомбежка продолжалась. Сперва штукатурка, а потом и перекрытия потолка обрушились. Немцы бежали через вокзальную площадь к убежищу. Зенитная артиллерия не подавала никаких признаков жизни, и самолеты, снизившись, начали расстреливать из пулеметов фашистов, скопившихся на вокзальной площади.

С трудом разыскав друг друга, Пастухов и Кобеляцкий направились влево, к подземной уборной, которая и стала для них убежищем.

Они ликовали. Как только бомбежка утихла, они вышли на площадь, где все еще продолжалась сутолока, и двинулись в город. Сворачивая с Академической улицы на улицу Лелевеля, они были остановлены патрулем, стоявшим на углу. Пришлось действовать решительно. После нескольких выстрелов гитлеровцы замертво упали на тротуар. Пастухов и Кобеляцкий забрали у них оружие и, стараясь не бежать, чтобы не вызвать подозрений, направились домой.

На следующий день хозяева передали им возникший в городе слух. Говорили, что будто бы вечером во время бомбежки спустился большой парашютный десант. Друзья

снова направились в город. На улицах стояли патрули, они проверяли документы и у военных и у гражданских. У зданий штаба, губернаторства и других немецких учреждений, кроме часовых, стояли готовые к бою пулеметы.

В этот день они пополнили свои сведения о расположении немецких учреждений, казарм, складов с горючим и боеприпасами. Все эти точки были нанесены на план города. Какая могла бы быть удачная бомбежка!

— Это все равно, что сокровище закопать,— невесело шутил Кобеляцкий, складывая лист и пряча его в сапог.

— Сокровище твое хоть сгодится когда-нибудь,— ответил Пастухов,— а в эту бумажку через месяц-другой только селедку заворачивать.

Следующий день оказался неудачным. Промаявшись до вечера и вернувшись домой, они снова заговорили о том, что им делать с планом города.

— Переходить линию фронта, — предложил Пастухов.— Сдать нашим план, а потом — обратно. — На этом они и согласились. Оставалось уточнить план, занести на него еще кое-какие объекты, на это требовалось пять-шесть дней. Но вот эти дни и оказались самыми беспокойными для разведчиков.

Однажды вечером, вернувшись домой, они застали стариков Шушкевич в страшном смятении. Днем проходил эсэсовец с полицаями и спрашивал у них, где находятся их постояльцы. Старик догадался ответить: «Эвакуировались в Краков».

В тот же вечер Пастухов и Кобеляцкий узнали от Василия Дзямбы, что жандармы уже дважды наведывались к Руденко — проверяли, кто у него живет.

Оставался старик Войчеховский. Но оказалось, что и к нему заходили с проверкой.

В этот вечер Василий Дзямба обегал всех своих знакомых. Наконец, он нашел квартиру, где можно было день-два переночевать. Это было у одного инженера на Академической улице.

В ночь на 10 июня Пастухов и Кобеляцкий покинули Львов.

Но, выйдя из города, они сразу же столкнулись с отрядом националистов. Пришлось уходить от преследования. Завязывать перестрелку было нельзя: можно было сорвать этим все дело. Приближаясь к железной дороге, Пастухов и Кобеляцкий увидели колонну гитлеровцев.

Чтобы избежать встречи, они кинулись в сторону, к деревне Берлин. Итти приходилось болотами. Уже у самой деревни они снова наткнулись на группу фашистских солдат. Те обстреляли их и стали преследовать. Разведчики открыли огонь и отступили. После этого, где только ни пытались они проскочить линию фронта, всюду их встречали враги. Пришлось возвращаться во Львов.

Глава семнадцатая

Разбив группировку противника в районе Злочева, советская танковая бригада прорвалась на шоссе Злочев — Львов, вышла к подступам города со стороны Зеленой Рогатки и завязала здесь бой с немецкой дивизией. К вечеру 20 июля бригаде удалось преодолеть сопротивление противника и значительно продвинуться вперед. Танки вышли на окраинные улицы Львова.

Ночью к командиру бригады, расположившемуся со своим штабом в одной из уцелевших крестьянских хат, вбежал начальник разведки.

— Что, Ивченко? — спросил командир бригады, жестом прерывая начальника штаба, о чем-то докладывающего.

— Товарищ полковник,— сказал Ивченко, подходя к столу.— У меня двое городских. Просят допустить до командира бригады.

— Что за городские? — спросил полковник.

— Партизаны.

— Городские партизаны? — протянул полковник и, видимо, желая поскорее покончить с одним делом, чтобы приняться за другое, не стал задавать вопросов, отложил карту и сказал: — Давай их сюда!

Двое «городских партизан», один в поношенном пальто, в несуразной, сбившейся на затылок шляпе, другой в военном обмундировании, наполовину немецком, наполовину нашем, предстали перед командиром бригады.

— Рассказывайте в двух словах! — предупредил Ивченко.

Человек в шляпе помедлил, как бы соображая, с чего он начнет свой рассказ, и сказал:

— Можем указать, где противотанковые мины, какие здания заминированы, где находится минометная батарея.

Полковник и начальник штаба переглянулись.

— Откуда сведения? — спросил полковник.

— Собирали,— ответил партизан в военном, очевидно не склонный вдаваться в подробности.

— Хорошо,— сказал полковник.— Спасибо. Кстати,— обратился он к Ивченко,— ты, пожалуйста, распорядись, чтобы товарищей накормили, ну и... в общем, учти, запиши, дело стоющее.

— Кормить не обязательно,— сказал человек в шляпе.— Вы лучше вот что: давайте людей, мы пройдем подземным ходом, куда вам надо. Если есть взрывчатка, можно будет подорвать, что пожелаете...

— Подрывать не надо,— заметил полковник.— Город наш. Побережем. Ну, а что касается подземного хода, то тут что же,— он обернулся к начальнику штаба,— надо действовать. Полсотни автоматчиков...

— Сотню...— вставил Ивченко.

— Сотню,— согласился полковник.— Что ж, хорошо. Проведете к центру города сотню автоматчиков, армия спасибо скажет... Ну, поужинать все-таки надо. Или, — он посмотрел на часы,— или, вернее сказать, уже позавтракать...

Последние дни — дни наступления Красной Армии — были для Пастухова и Кобеляцкого днями величайшего удовлетворения, когда они как бы вознаграждали себя за испытанное ими бессилие. Они лазали по крышам; обстреливая гитлеровцев из автоматов, спускались в какой-нибудь двор, стреляли из подворотни и снова поднимались на крышу для того, чтобы бить сверху. Неистовое вдохновение носило их по городу — из дома в дом, с крыши на крышу, из подъезда в подъезд...

Полковник сказал:

— В центре, в театре «Золдатфронтиш», в соборе святого Юрия засело много фашистов.

Сто автоматчиков, ведомые Пастуховым и Кобеляцким, прошли подземными ходами к центру города.

Взятие театра потребовало двух часов

За время боев Пастухов и Кобеляцкий ликвидировали немецкого наблюдателя и регулировщика с рацией на улице Зимаровича, порвали подземную телефонную связь, откопав и перерубив кабель на Академической улице.

Это было их торжество.

Глава восемнадцатая

Шло время, а Эрлих и Шпилька не возвращались. «Не иначе, как тоже перешли линию фронта»,— успокаивали себя Приступа и Дроздов. Никакой другой возможности они не хотели допускать. Незаметно для самих себя они внушали друг другу уверенность в том, что переход Кузнецовым линии фронта прошел благополучно.

Сдав представителям советских регулярных войск трофеи своего отряда — 10 пулеметов, 22 автомата, 27 пистолетов, кучу винтовок, Дроздов и Приступа отправились во Львов и там разыскали Бориса Крутикова. Лейтенант, казалось, еще сильнее исхудал с тех пор, они как не виделись. Он ходил на костылях — потерял ногу. Встретил он их со своей обычной сдержанностью, за которой, однако, скрывалась подлинная радость. «Живы, значит,— приговаривал он, улыбаясь глазами. — И партизанили? Молодцы!»

Из рассказа Приступы и Дроздова Крутиков узнал о пребывании Кузнецова в Гановическом лесу. Сам он ничего не знал о судьбе Николая Ивановича. Сведения Дроздова и Приступы были самыми последними. «Надо немедленно сообщить в Москву командиру о том, что вы видели Кузнецова»,— сказал он.

На вопросы о судьбе своей собственной группы Крутиков отвечал немногословно. Группа пробыла в Гуте-Пеняцкой до конца февраля. Она превратилась здесь в сильный и многочисленный партизанский отряд. Сначала несколько человек, бежавших от оккупантов в леса, а затем около полусотни бывших полицейских, хорошо вооруженных и дисциплинированных, перебив своих командиров-националистов, пришли к Крутикову и соединились с его группой.

29 февраля отряд, состоявший из украинцев, русских и поляков, оставил Гуту-Пеняцкую. А через три дня село окружили гитлеровцы. Они подожгли Гуту со всех концов, спалили дотла все хаты и перебили все население, за исключением семнадцати человек, которые чудом остались в живых. Они-то и нашли Крутикова и рассказали ему об этой неслыханной зверской расправе над селом. Казимира Войчеховского среди этих семнадцати не было. Он погиб ужасной смертью. Каратели связали его, облили керосином и сожгли.

...Через несколько дней после встречи с Крутиковым Приступа увидел на улице знакомую фигуру человека в плаще, похожем на колокол. Он не сразу поверил своим глазам. Неужели Марк Шпилька? Приступа подлетел к нему, схватил за рукав и выкрикнул, задыхаясь, одно только слово:

— Ну?

И Шпилька рассказал то, о чем так мучительно гадал Приступа, о чем так хотели узнать Крутиков и Дроздов, замполит Стехов и Коля Маленький, Жорж Струтинский, носившийся по городу в поисках хоть каких-нибудь данных, и командир отряда, славший запрос за запросом из Москвы.

В районе Брод, рассказывал Шпилька, им пятерым пришлось выдержать бой с бандеровцами, одетыми в форму бойцов Красной Армии. Эрлих был убит в этом бою, сам Шпилька, раненный, отполз, двое суток скитался по лесу, пока не пристал к какой-то группе беженцев, а Кузнецов с товарищами, судя по всему, перешел линию фронта.

Сведения эти показались Приступе утешительными. Это было все-таки лучше, чем неизвестность. Появилась надежда, и Приступа спешил поделиться ею со всеми товарищами. Он, захлебываясь, выкладывал все, что узнал от Шпильки, слово в слово повторял его рассказ, тут же строил и свои предположения и все они сводились к одному: Кузнецов, Каминский и Белов живы!

Вскоре после этого, оправившись от болезни, я приехал во Львов в надежде напасть на следы Кузнецова. Прямо с вокзала направился я к музею имени Ивана Франко. Мне не терпелось побывать на том месте, где был совершен акт возмездия над Бауэром. Я ходил взад и вперед мимо особняка, живо представляя себе картину события, разыгравшегося здесь 9 февраля 1944 года. Одна мысль, что вот здесь стоял стреляющий Кузнецов, что по этим камням бежал он к своей машине, стоявшей на углу,— одна эта мысль как бы приобщала к подвигу.

Тогда же, стоя на этом тротуаре, я дал себе слово рассказать людям о Кузнецове, рассказать как можно большему числу людей, запечатлеть в их памяти его подвиги.

При мне было запечатанное его письмо с надписью на конверте: «Вскрыть после моей гибели. Кузнецов». Это

письмо лежало у меня с весны прошлого года, с того дня, когда Николай Иванович отправился на парад в Ровно.

Нет, я не смел его вскрыть. Это значило бы примириться со страшной мыслью, что Кузнецова нет в живых.

В те дни, наводя справки всюду, где возможно, я столкнулся с первыми документами о Кузнецове. Документы эти были обнаружены в делах гестапо: гитлеровцы в панике не успели их уничтожить.

Я прочел рапорт дирекции криминальной полиции во Львове об убийстве подполковника Ганса Петерса в здании военно-воздушных сил по Валовой улице, дом 11-а. В рапорте указывалось, что подполковник убит неизвестным в форме капитана. Там же, в делах гестапо, находился и рапорт № 96, в котором излагались обстоятельства убийства вице-губернатора Бауэра и Шнайдера. Затем следовало донесение об автомашине, найденной на шоссе близ Куровиц. «С этой автомашины,— гласил гестаповский документ,— 12.2.44 в Куровицах был убит военный патруль майор Кантер. Стрелявшие скрылись».

Так постепенно восстанавливались детали.

Но они мало что прибавляли к тому, что было уже известно о деятельности Кузнецова во Львове. Многое из того, что им сделано, рассказывал сам Николай Иванович Приступе и Дроздову в лесу. Картину покушения на Бауэра ярко описала мне свидетельница — сторожиха музея имени Франко, находившаяся в тот момент на улице.

Я искал дальнейших следов.

И вот они, наконец, обнаружены. В ворохе бумаг, оставшихся в помещении гестапо, найден еще один документ.

Начальнику полиции безопасности и СД
по Галицийскому округу

14 Н—90/44. Секретно. Государственной важности. Гор. Львов 2.IV.44 г. Считать дело секретным, государственной важности.

Телеграмма-молния

В главное управление имперской безопасности для вручения «СС» группенфюреру и генерал-лейтенанту полиции Мюллеру лично.

Берлин

При одной из встреч 1.IV. 44 украинский делегат сообщил, что одним подразделением украинских националистов 2.III.44 задержаны в лесу близ Белгородки в районе Вербы (Волынь) три советских агента. Арестованные имели фальшивые немецкие документы, карты, немецкие, украинские и польские газеты, среди них «Газета Львовска» с некрологом о докторе Бауэре и докторе Шнайдере, а также отчет одного из задержанных о его работе. Этот агент (по немецким документам его имя Пауль Зиберт) опознан представителем УПА. Речь идет о советском партизане-разведчике и диверсанте, который долгое время безнаказанно совершал свои акции в Ровно, убив, в частности, доктора Функа и похитив, в частности, генерала Ильгена. Во Львове «Зиберт» был намерен расстрелять губернатора доктора Вехтера. Это ему не удалось. Вместо губернатора были убиты вице-губернатор доктор Бауэр и его президиал-шеф доктор Шнайдер. Эти немецкие государственные деятели были расстреляны неподалеку от их частных квартир. В отчете «Зиберта» дано описание акта убийства до малейших подробностей.

Во Львове «Зиберт» расстрелял не только Бауэра и Шнайдера, но и ряд других лиц, среди них майора полевой жандармерии Кантера, которого мы тщательно искали.

Имеющиеся в отчете подробности о местах и времени совершенных актов, о ранениях жертв, о захваченных боеприпасах и т. д. кажутся точными. От боевой группы Прицмана поступило сообщение о том, что «Пауль Зиберт» и оба его сообщника расстреляны на Волыни националистами-бандеровцами. Представитель ОУН подтвердил этот факт и обещал, что полиции безопасности будут сданы все материалы.

Начальник полиции безопасности и СС
по Галицийскому округу
Доктор Витиска СС оберштурмбанфюрер
и старший советник управления

Советские офицеры, разбиравшие бумаги в помещении гестапо, долго читали этот документ, передавая из рук в руки. В комнате царило молчание. Когда я вошел туда,

один из офицеров, молодой лейтенант, которого я раньше просил сообщить мне, если в делах гестапо обнаружится что-либо касающееся Кузнецова, молча протянул мне листки с донесением.

— Вы знали его? — спросил он, когда я после долгого чтения отложил бумагу.

Я ответил:

— Знал.

Лейтенант подошел ко мне, долго собирался со словами и, наконец, промолвил:

— У меня мать и сестру убили в Виннице. Они были заложниками. Когда я прочел в газете про убийство палача Функа, я подумал: спасибо этому человеку. Вы передайте!

— Кому же теперь передавать!

— Не знаю. Товарищам, родным.

— Хорошо, передам.

— Я тогда думал,— продолжал лейтенант,— кто этот человек, как бы узнать фамилию, из какого города? В газете ничего не писали. Там было сказано — «неизвестный» и все.

— Его звали Кузнецов, Николай Иванович,— сказал я.

— Он был молодой?

— Да. Тридцати двух лет.

— В каком он звании?

— Гражданский.

— Необыкновенный человек!.. Так вы передайте! От нас от всех.

— Хорошо.

...В этот вечер мы, боевые товарищи Николая Ивановича, вскрыли его письмо. Мы долго бродили по затемненным улицам Львова, повторяя прямые и мужественные слова, прочитанные нами и отныне навсегда запавшие в душу.

В те часы впервые возникла мысль о памятнике, о бронзовом монументе героя, который должны воздвигнуть два города — Ровно и Львов. Но никто из нас не мог отчетливо представить себе фигуру Кузнецова в бронзе, торжественно застывшую над площадью.

С этой недвижной бронзовой фигурой никак не вязался тот живой Кузнецов, которого мы знали, который и сейчас незримо присутствовал среди нас — простой, скромный, обаятельный человек, наш дорогой товарищ.

И мы поклялись в ту ночь увековечить его память своими делами, своим служением тому идеалу, ради которого жил и умер он.

Я же еще острее осознал свой долг рассказать людям моей Родины историю жизни и гибели Николая Кузнецова.

Вот что прочли мы в его письме:

«... 25 августа 1942 г. в 24 часа 05 мин. я опустился с неба на парашюте, чтобы мстить беспощадно за кровь и слезы наших матерей и братьев, стонущих под ярмом германских оккупантов.

Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского офицера, пробирался в самое логово сатрапа — германского тирана на Украине Эриха Коха.

Теперь я перехожу к действиям.

Я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце.

Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны.

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!..»

Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его наша молодежь.

Я пойду на смерть с именем моего Сталина, отца, друга, учителя. Передайте ему привет.

Ваш Кузнецов».

Мы с удовлетворением и гордостью встретили Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым Николаю Ивановичу Кузнецову посмертно присваивалось звание Героя Советского Союза.

Эпилог

Трудно поверить, что все это происходило с нами — с теми, что сидят сегодня в уютной московской квартире, в штатских костюмах, и разговаривают отнюдь не о военных, не о партизанских, а о самых что ни на есть мирных делах. Передо мной за столом доктор Цесарский, врач одной из московских клиник и «по совместительству» актер, драматург, человек искусства. Рядом — Валя Довгер, только что приехавшая из Ровно; Владимир Филиппович Соловьев, кандидат геолого-минералогических наук, автор научного труда по океанографии. Звонил Терентий Федорович Новак — собирается притти. У него большое событие: он окончил Высшую партийную школу... Мы ждем и Лукина — он обещал быть попозже: совещание в министерстве...

Неужели все это происходило с нами? Бесконечные бои и стычки, рискованные операции, тяжелые переходы, подполье...

Теперь все это — дела давно минувших дней.

По всему Советскому Союзу разъехались мои товарищи — партизаны. Одни вернулись на свои фабрики и заводы, другие — в колхозы, третьи пошли на учебу. Большинство осталось в тех местах, где они жили до войны и где действовал наш отряд. Все они приобщились к мирному труду, стали участниками великой послевоенной стройки. С тем же воодушевлением и упорством, с каким они отстаивали свободу и независимость своей Родины, борются они ныне за дело мира. Ибо каждый из нас знает, что оплот мира — это наша Советская держава; укрепляя ее могущество, умножая ее силу, мы тем самым обеспечиваем проч-

ный мир, делаем невозможной новую войну, которую пытаются навязать нам в своем безумии нынешние претенденты на мировое господство. Что ж, их ждет та же участь, тот же бесславный конец, что и их бесноватого предшественника...

Трудно уследить за ростом наших людей. В книге «Это было под Ровно», в эпилоге, я постарался проследить дальнейшую судьбу моих товарищей-партизан. Не прошло и двух лет, а как устарели уже все эти данные!

Борис Крутиков успел окончить торгово-экономический институт и работает по специальности в одном из городов Украины. Соловьев защитил диссертацию. Цесарский написал книгу о работе врача в партизанском отряде. Николай Струтинский плодотворно трудится на посту депутата Ровенского городского Совета. Партийным работником, секретарем одного из райкомов партии Львовской области, стал Николай Гнедюк. Иван Кутковец прошлым летом окончил, наконец, сельскохозяйственный институт во Львове и стал агрономом — на этот раз настоящим.

Во Львове же живет и работает бывшая радистка нашего отряда Марина Семеновна Ких. Ныне она — заместитель председателя Верховного Совета Украины. Недавно Марина обрадовала меня известием, что у нее родилась дочь.

Матерью троих детей стала Оля Солимчук. Она с мужем, нашим партизаном Волковым, живет в Ровно.

Огорчал меня своими письмами Коля Маленький. Теперь он, собственно, уже не маленький, и я могу сообщить читателям его полное имя — Николай Янушевский. Он писал, что никак не найдет работу себе по вкусу. Окончил было школу юнг, но оказалось, что он подвержен морской болезни,— пришлось менять специальность. Одно время от Коли приходили письма из Одесской области, где он работал трактористом в колхозе. Потом он оказался на новом месте и на новой работе. Писал мне Коля, что и эта работа ему не по душе, хочется чего-то другого, а чего именно — он и сам еще не знает. Я написал ему, что мы, его старшие товарищи по отряду, многого от него ждем, что есть у нас опасение — не избаловался ли он,— и что мы верим: он, наш Коля, станет героем и на сегодняшнем, мирном поприще. Совсем недавно я получил от него новую весть — Коля писал теперь из воинской части. Он достиг



Автор книги Д. Н. Медведев читает рукопись книги товарищам по отряду. Сидят (слева направо): А. Цесарский, В. Довгер, Д. Медведев, Л. Шерстнева, В. Семенов и В. Соловьев

призывного возраста и служит в армии. Советская Армия — большая школа. Я уверен, что, пройдя ее, Коля определит свои стремления, найдет себя, выйдет на хорошую жизненную дорогу.

Служит в армии и самый юный из наших партизан — Вася Струтинский, младший член своей славной семьи. Отличные успехи в боевой и политической подготовке снискали ему авторитет среди однополчан.

К сожалению, далеко не всех удалось разыскать после войны. До сих пор ничего не знаю ни о Пастухове, ни о Кобеляцком, ни о Приступе, которые после расформирования отряда ушли на запад с Красной Армией. Не так давно узнал о судьбе Григория Сарапулова. Мне написал о нем Королев. Оба они, Королев и Сарапулов, были ранены в бою с карателями, переданы в госпиталь к Федорову-Черниговскому, а затем, оправившись после ранения, попали в отряд Прокопюка. В одном из последних боев этого отряда, командуя ротой, ведя бойцов в атаку, Григорий Сарапулов пал смертью храбрых.

Я долго и безрезультатно разыскивал родных Николая Ивановича Кузнецова, пока, наконец, не отправился сам на Урал в надежде встретить людей, знавших нашего героя. В Свердловске такие люди нашлись. Это были друзья Николая Ивановича, товарищи по учебе и по работе. Ныне уральцы знают о подвигах своего земляка и свято чтут его память. В Талице создан музей Кузнецова, установлены мемориальные доски. Земляки героя возбудили ходатайство перед правительством о переименовании села Зырянка в село Кузнецово, а Талицкого района — Кузнецовский район.

Родных Николая Ивановича удалось найти не сразу. Оказывается, все они давно разъехались в разные концы Союза. Мне все же посчастливилось добыть адреса сестер Николая Ивановича — Лидии и Агафьи; мы списались. Брат Виктор сам нашел меня после того, как услышал по радио передачу книги «Это было под Ровно». Произошло это весной 1949 года. До того времени Виктор Иванович ничего не знал о судьбе брата. Последнее письмо от него он получил летом 1942 года. Николай Иванович отправил его брату на фронт перед своим вылетом из Москвы. Виктор Кузнецов прислал мне это письмо. Вот оно:

«Москва, 27 июня 1942 г.

Дорогой братец Витя!

Получил оставленную тобой открытку о переводе в Козельск. Я все еще в Москве, но в ближайшие дни отправляюсь на фронт. Лечу на самолете.

Витя, ты мой любимый брат и боевой товарищ, поэтому я хочу быть с тобой откровенным перед отправкой на выполнение боевого задания. Война за освобождение нашей Родины от фашистской нечисти требует жертв. Неизбежно приходится пролить много своей крови, чтобы наша любимая отчизна цвела и развивалась и чтобы наш народ жил свободно. Для победы над врагом наш народ не жалеет самого дорогого — своей жизни. Жертвы неизбежны. Я и хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов за то, чтобы я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду на это, так как глубоко сознаю, что отдаю жизнь за святое, правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины. Мы уничтожим фашизм, мы спасем отечество. Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о нас песни, и матери с благодарностью и благословением будут рассказывать детям о том, как в 1942 г. мы отдали жизнь за счастье нашей горячо любимой отчизны. Нас будут чтить освобожденные народы Европы. Разве может остановить меня, русского человека, большевика и сталинца, страх перед смертью? Нет, никогда наша земля не будет под рабской кабалой фашистов. Не перевелись на Руси патриоты, на смерть пойдем, но уничтожим дракона! Храни это письмо на память, если я погибну, и помни, что мстить — это наш лозунг. За пролитые моря крови невинных детей и стариков — месть фашистским людоедам. Беспощадная месть! Чтоб в веках их потомки наказывали своим внукам не совать своей подлой морды в Россию. Здесь их ждет смерть. Будь всегда верен Сталину и его партии. Только он обеспечит могущество и процветание нашей Родины. Только он и наша сталинская партия и никто больше. Эта истина абсолютно доказана.

Перед самым отлетом я еще тебе черкну. Будь здоров, братец. Целую крепко.

Твой брат Николай.»

Бессмертна память о павших товарищах. Что перед ней время! Ее хранит вся Украина, хранит предание народа, хранит все живое, все сущее на нашей земле. Хранят ее яблони, некогда посаженные Новаком при оккупантах и ныне плодоносящие для нас... Как часто мы обращаемся мыслями к тем, кого нет с нами сегодня. Вы с нами! — говорим мы им. Мы были одним целым, одной великой армией патриотов; одна великая цель вела нас; одни и те же радости были у нас с вами, одни и те же невзгоды печалили нас и не повергали в уныние, а лишь умножали наши силы. Одна судьба предстояла нам и в будущем — нам предназначено сделать его прекрасным. И если вы погибли, а мы остались жить, то не для того ли, чтобы претворить в дела то, что было вашими мечтами...

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Часть первая. В лесах под Ровно 7

Часть вторая. Хозяева мнимые и хозяева настоящие 168

Часть третья. Отряд спешит на запад 365

Эпилог 473

☆

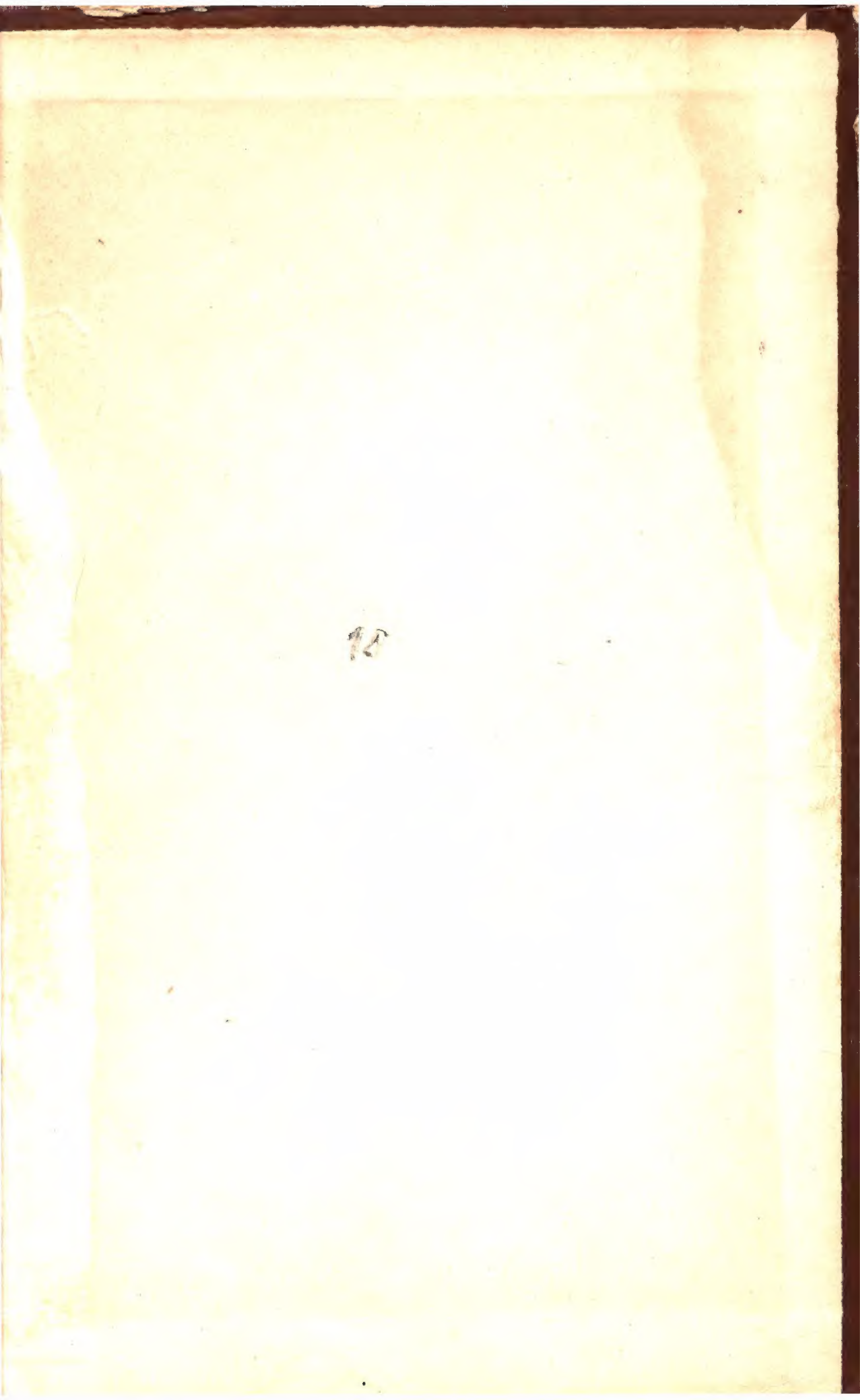
Редактор *Л. Гаряев*
Художники *Ю. Иванов* и *В. Васильев*
Технический редактор *М. Ульянова*
Корректор *С. Барышников*

*

Подписано к печати 21/XI 1952 г. Уч.-изд. л. 26,93. Бумага $54 \times 84/_{16} = 7{,}5$ бумажного + 1 вкл. — 24,7 печатного листа. НС 00367. Тираж 75000. Заказ № 145. Цена 9 р. 60 к.

*

5-я типография треста Росполиграфпром.
Свердловск, ул. имени Ленина, 49.



9 р. 60 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1952


СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ